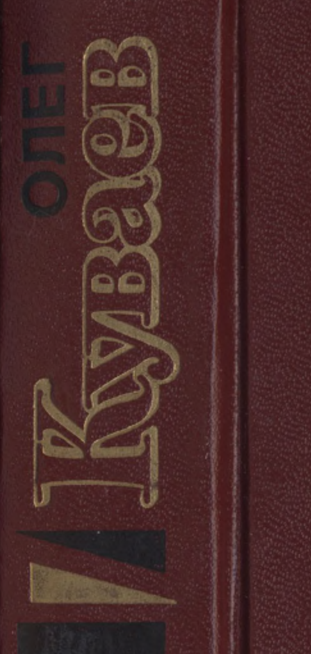


Олег

Куваев

Избранное

Олег Куваев

ИЗБРАННОЕ

Олег Куваев

ИЗБРАННОЕ

В ДВУХ ТОМАХ

Олег Куваев

ИЗБРАННОЕ

ТОМ ВТОРОЙ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1988

ББК 84Р7
К 88

Составление, комментарии
Г. М. КУВАЕВОЙ

Оформление
Ю. БОЯРСКОГО

Рисунки
С. КРЕСТОВСКОГО

$К\frac{4702010200-192}{078(02)-88}$ 103—88

ISBN 5-235-00139-7 (т. 2). (2-й з-д).
ISBN 5-235-00138-9

Повести



Дом для бродяг

1

Сейчас, когда пишется эта история, я живу в маленькой белой комнате. Окно расположено очень низко, и прямо в него лезет пухлый сугроб. За сугробом сгрудились тонкие сосны. Если высунуть голову в форточку, можно увидеть край хребта. Черные скалы и белый снег. Я никак не могу привыкнуть к прозрачности здешнего воздуха: кажется, что до скал и снега можно дотянуться рукой прямо с табуретки.

Сегодня гор не видно, потому что идет снег. Он идет крупными мокрыми хлопьями, величиной с чайное блюдце. Ветки сосен постоянно стряхивают снег, и оттого кажется, что сосны живые.

Эта комната принадлежит метеорологу, который большую часть времени живет на высотной метеостанции. «На пике», как здесь говорят. Один угол комнаты занимает печь, которую я топлю через день. У стенки стоит железная койка с байковым одеялом, а на стенке, чтоб не пачкаться о побелку, приколота ситцевая тряпочка. На противоположной стене вырезанные из журнала картинки: очень красные цветы, за которыми виден неясный контур зенитки, Джина Лоллобриджида и фотография неизвестной девушки в вязаной кофточке с чуть раскосыми глазами, по-видимому, узбечки. Девушка очень красивая, но подписи на фотографии нет и на обороте нет также, я проверял.

Благодаря этим фотографиям и ситцевой тряпочке я чувствую себя здесь уютнее, чем дома. Это происходит оттого, что значительный и, как мне кажется, лучший кусок жизни я провел вот в таких комнатах, где над кроватью приколочена занавеска и на стенах девушки, вырезанные из журналов. Еще в те времена я заметил, что полярные охотники, например, селившись на новом месте, первым делом вынимают из багажа эту тряпочку и прибивают над нарами или койкой, прикрепляют хлебным мякишем цветные картинки из журналов — и жилье сразу становится обжитым и уютным.

Оттого что растопленная с утра печь дышит теплом и у двери стоят разношенные горные ботинки со стер-

тыми триконями, а на гвоздиках висят полушубки, телогрейки и штормовки, к стенке прислонены тяжелые горные лыжи, жизнь кажется крепкой и основательной. Странно, что самые массивные и прочные городские здания не вызывают такого ощущения надежности бытия, как такая неприхотливая комната или хорошо натянутая палатка с сухим спальным мешком и разложенным в определенном порядке походным инвентарем должного качества и количества. Тогда ты не боишься неожиданностей завтрашнего маршрута, а возле костра смотришь на жизнь так, как и надо на нее смотреть, — в упор и открыто.

2

Я могу совершенно точно описать дом, по которому названа повесть. Он очень далеко от здешних сосен и высокогорных снегов. Дом стоит на берегу таежной реки, отмеченной на большинстве карт Союза. Река эта впадает в реку, которая уже отмечена на всех картах мира. А большая река самостоятельно впадает в Восточно-Сибирское море.

Дом выкрашен в голубую краску цвета весеннего полярного неба, кстати, и сам Полярный круг проходит где-то рядом. Совпадение это совершенно случайно, но точка на карте, означающая символически дом, попадает как раз на пунктир Полярного круга.

В доме пять окон: по два окна на длинных стенках, одно — на короткой, и одна стенка, подставленная основным здешним ветрам, глухая. Он совершенно новый. Его выстроили в прошлом году рядом с другим. Но четверо молодых мужчин продолжают жить в старом, где, по их мнению, привычнее, уютнее и теплее. Эти четверо — метеорологи по профессии и охотники-промысловики по призванию душ. Бороды они бреют, так как пижонский этап, когда их отращивают, они уже миновали. На сто пятьдесят километров в любую сторону других людей вокруг нет. Точного адреса я не называю, так как это дом для бродяг, а бродяги должны находить дома сами.

Дом этот, повторяю, есть на самом деле. Да и все, что излагается дальше, в сущности, попытка объяснить: как, почему и зачем я в нем оказался.

3

Есть такое поверье: для каждого человека на земном шаре имеется место, которое этому человеку неизвестно, но его можно видеть во сне. Если человек тем или иным путем все-таки разыщет его и поселится, он будет счастлив до конца своих дней.

Мне давно снится одна и та же местность. Я вижу ее, по крайней мере, раз в год. Если судить по рельефу и общему облику, она должна находиться где-нибудь в южном Казахстане, в предгорьях Тянь-Шаня, возможно, в Монголии. Я вижу всегда желтую выгоревшую степь в сентябре и небольшой хребет, возвышающийся посреди степи. Наверху его небольшие скалы из коричневого, горизонтально залегающего песчаника. Там живет стадо архаров, а на склонах, в ложбинах, поросших жесткой травой, много маленьких среднеазиатских зайцев — толаев. За архарами я и гоняюсь каждый раз во сне, но пока еще не подстрелил ни одного. Они уж очень хорошо знают меня, мои охотничьи привычки и методы. Каждый раз охота кончается поздно вечером. Я сижу под песчаниковыми скалами, которые еще сохранили дневное тепло, курю и смотрю на степь. Километрах в десяти проходит железная дорога, на ней небольшой степной разъезд, где я и живу. Потом я тушу окурок и думаю, что надо спешить домой, на разъезд, а то будут волноваться. На небе же выступают бледные звезды.

Я сбегаю по жесткой осенней траве к подножию хребта и вижу в вечерних сумерках, как по параллельному гребню спускаются на кормежку архары. Но уже поздно, и мы мирно расходимся. Бог с ними, пусть кормятся, думаю я. А архары, наверное, гадают, когда нелегкая принесет меня в следующий раз. На этом сон кончается.

4

Но с некоторых пор, когда я вошел в промежуточный возраст между молодым мужчиной и просто мужчиной, но еще без добавки «средних лет», мне стала являться в мыслях другая местность, которую я буду называть просто Река, потому что ее-то координаты уж точно известны.

Про Реку мы узнали лет десять тому назад, когда жили в сравнительной близости от нее, в небольшом по-

селке на берегу Ледовитого океана, в маленькой белой комнате с тряпочками и журнальными иллюстрациями на стенах. Мы работали тогда в геологии, а Река просто однажды попалась на карте.

Случилось это, я хорошо помню, в то время года, когда радость осеннего возвращения из тундры прошла, поселок стал уже обыден и снова тянет в тундру. Но до весны еще далеко, еще несколько месяцев.

Мы просто удивились, что так долго не замечали Реку. Она была большая, как-то очень целеустремленно рвалась на север к Ледовитому океану и вдобавок была совершенно ненаселенной. Даже на подробных картах был означен только один поселок — почти в верховьях. Вниз по течению от поселка не было даже избушек охотников, только метеостанция почти в самом устье. А вокруг нее сгрудились хребты: Торные горы, Остроконечные горы, Вулканный хребет, а один хребет назывался Синий.

Так получилось, что гораздо позднее, уже в Москве, я познакомился и потом подружился с человеком, который дал хребту это название — Синий. Знали мы друг друга, хотя бы понаслышке. Заочно были знакомы, а когда встретились, я был приятно удивлен, что человек этот крупный, седоголовый и, если так можно сказать, настоящий. Потом мы уже часто встречались, но о том, как он открывал горные хребты и давал им названия, мне рассказали жители мест, где он был первопроходцем.

Но я отвлекся.

Тогда, десять лет назад, мы твердо решили, что в ближайший отпуск поплывем вниз по Реке. Мы любили ослепительную северную весну, прозрачную полярную осень, любили заполненное копошением жизни лето Арктики. Ничего другого мы и смотреть не хотели.

Но, как говорят, действительность внесла свои коррективы. Мы собирались плыть по Реке вдвоем, и именно нас двоих перевели в центральное управление. Возникли другие заботы, и о плане на отпуск мы просто забыли. Потом с товарищем случилось несчастье, он уже никуда не мог плыть, а у меня стала другая профессия.

И вот спустя годы Река неожиданно напомнила о себе. Она стала мерещиться чуть ли не наяву, как что-

то очень важное, что нельзя больше откладывать, как нельзя долго откладывать мечту, чтобы мечта не засохла. Я вдруг понял, что просто надо на Реке быть.

5

Когда решение принято, остальное становится проще. В конце июля я уже летел знакомой дорогой на самый восток страны, в город, в котором когда-то работал, снимал комнатушку в доме под сопкой рядом с антенным полем и где знал, наверное, половину жителей.

От этого города в поселок на Реке теперь летал раз в неделю рейсовый самолет, точнее, делал там посадку по дороге на север. И я как раз успел к рейсу. Самолет этот был старый, привычный ИЛ-14, эпоха в гражданской авиации, как ЛИ-2 и бессмертная «Аннушка». Сейчас они уходят в прошлое и уносят с собой биографии или части биографий людей, жизнь которых была связана с этими самолетами. Уносят и часть моей биографии.

Перед отлетом из дому я дал телеграмму товарищу прежних лет, с которым было бы хорошо пуститься в это путешествие. Видимо, он понял суть и настроение момента, потому что ответил в духе времен, когда мы любили высокий стиль: «У меня, друг, сезон дождей», — вот что было написано в его телеграмме. Понятно! В прежние времена полагалось запросить «если нужен вылетаю немедленно» или просто прилетать без всяких запросов, что было бы еще более высоким стилем. Но сейчас, поскучнев с возрастом, мы уже стесняемся таких поступков и телеграмм.

Я решил плыть по Реке в одиночку.

...А самолет между тем снижался. Мы уже прошли район черных, таких безжизненных, если смотреть сверху, хребтов и вошли в долину Реки. В иллюминатор был виден потемневший от масла и выхлопных газов край плоскости ИЛ-14, ржаво-обожженные выхлопные трубы, а под ними пятнышки озер, стариц, тайга. Самолет мягко сел и побежал по полосе. Все! Прибыл! Волнение как бы смыло прошедшие десять лет, и как будто вчера смотрел на карту, и вдруг увидел...

6

Вокруг посадочной полосы росли маленькие нежнозеленые лиственнички. Было тихо и солнечно. Дремала двухэтажная аэродромная изба со стеклянной верандоч-

кой наверху. На земле, прислонившись к зеленому палисадничку, стояли аборигены и смотрели на самолет с привычным любопытством, с каким, наверное, в чеховские времена ходили на перрон встречать поезда. По посадочной полосе куда-то промчался на бешеной скорости расхлябанный грузовик. Притормозил, развернулся и так же на бешеной скорости помчался обратно. Он напоминал старого пса, который вдруг вспомнил юность и начал играть сам с собой. Натуральные, живые псы, в шерсти которых запутались веточки, строительный мусор, обрывки бумаги, также сидели у зеленого палисадничка. В глазах у них светилась тоска по какому-нибудь ЧП: драке, приезду незнакомой собаки или на худой конец появлению свежего человека. Словом, это были ездовые собаки во время мучительных собачьих каникул, когда они отдохнули и не знают, куда себя деть.

Трап давно опустел. В дверной проем самолета вышел пилот и сказал в пространство:

— Ну что, Серега?

— Да вот Надю жду, — ответили из-за шасси. И опять стало тихо.

Я подошел к одному псу, поставил на землю рюкзак, а пса погладил по голове. Шерсть у него была почти горячей от солнца. Пес лизнул мне руку, понюхал рюкзак и отвернулся. И все другие собаки, с некоторым интересом воззрившиеся было на меня, тоже отвернулись. Все-таки эта была торжественная минута: блудный сын вернулся в родные края и узнан.

От аэропорта к поселку шла разбитая, черная от торфа дорога. В конце дороги возвышались новенькие двухэтажные дома. Сердце у меня сжалось. Двухэтажные дома не соответствовали мечте. Я забыл, что прошло десять лет с тех пор, пока здесь была глухомань, и сейчас вот такие дома стоят на местах, где раньше, на нашей еще памяти, торчали яранги. И что там ни говорите, все равно грустно, когда уходит в прошлое целый пласт времени, целый комплекс эмоций...

Я закинул рюкзак в гостиницу. Гостиница была очень уютная, из двух комнат, с коврами, приемниками, современной мебелью. Это была как бы обратная сторона сожаления об исчезнувшем колорите таежной деревушки. Потом я пошел смотреть поселок. Людей на улицах не было. Летом в таких, как этот, оленеводческих поселках всегда пусто, потому что люди в оленьих стадах, а стада в дальних горных хребтах, отрезанные от мира

реками, таежными марями. Остается вертолет, но вертолет даже в авиации самый дорогой транспорт, по мелочам на нем не летают. Зима же, наоборот, время транспорта. Тайгу, реки и тундру прошивают следы вездеходов, оленьих, собачьих нарт. Можно и просто на лыжах прибежать в поселок, пообщаться с оседлым народом.

...Я выбрался в старую часть поселка. Он явно строился без экономии места — «на наш век земли хватит», стены бревенчатых домиков, разбросанных как попало, были обмазаны глиной для защиты от зимних ветров. На окнах висели ставни, обитые оленьими шкурами. В сторонке, на возвышении, одиноко, как памятник, стояла яранга. Видно, какой-то пастух-консерватор доживал свой век в привычном жилье. Около яранги горел костер. У костра сидел на земле старик в яркой ковбойке и разглядывал меня, отмахиваясь рукой от дыма.

За ярангой лес. Я пошел в противоположную сторону и вышел на площадь, окруженную фанерными стендами, отражавшими успехи животноводства, за стендами — правление колхоза с широким дощатым крыльцом. Было похоже, что в правлении также нет ни одного человека. Дальше было русло сухой в это время протоки, а по берегу рядком стояли все такие же обмазанные глиной дома. Где-то за протокой тревожно кричала дикая утка, наверное, спасала выводок от собаки или другого зверя.

Река же находилась в нескольких километрах отсюда, так как место для строительства определяли авиационные инженеры. А они прежде всего искали участок для посадочной полосы. Без посадочной полосы не было бы поселка. Так он и строился в конце сороковых годов, как возможный предвестник северных поселков будущего. Все потребное завозится сюда по воздуху. Оленьи шкуры и мясо также вывозятся самолетами. В каком-то смысле каждого живущего здесь можно считать оседлым пассажиром Аэрофлота.

Вечер наступил незаметно. Мимо меня пробежал озабоченный парень. В костюме, белой рубашке и галстуке.

— Коров не видели? Пастуха не видели? — на бегу спросил он.

— Нет!

— Пастух пропал. Коровы пропали. Стаду давно пора дома быть.

— Появятся.

— Сердце у пастуха больное. Вдруг не появятся.

Он побежал в сторону леса.

— Помочь? — крикнул я вслед.

— Не-е! Тут тропки. Найду! — донеслось уже от лиственниц.

Репродуктор на площади похрипел немного и вдруг запел в бледное вечернее небо: «Осе-е-нний свет, к чему слова-а, осенни-им светом полна голова-а...»

По площади, а затем мимо меня, как видение, проехала девушка. Девушка ехала на гоночном велосипеде, все честь честью: анодированный корпус, однотрубки, цена сто рублей, достать трудно. Она была одета в очень белый свитер и была очень красивой. Она ехала, глядя прямо перед собой. Белый свитер, зеленые эластиковые брюки, чешские белые полукеды на подошве из пробки, покрытое ровным загаром лицо и безукоризненный нос. Нос я рассмотрел хорошо, так как девушка ехала мимо меня в профиль.

Дальше я шел, размышляя о девушке и велосипеде. Велосипед, понятно, прибыл по воздуху. А зачем? Ездить на нем можно два месяца в год на протяжении пятисот метров. Все-таки была тут загадка.

Получалось так: она жила здесь по необходимости. Из-за папы с мамой или мужа. Мечтает же жить она вовсе в других местах, где можно неограниченно ездить на велосипеде или машине, носить белый свитер и японские брюки, не пугая приезжих. А там наверняка живет какой-нибудь чудак, который мечтает забраться в глухомань, чтобы попадать туда только по воздуху, куда кирпичи для печек возят на самолетах...

Цепь этих «глубокомысленных» рассуждений явно никуда не вела, и я постарался забыть о девушке с велосипедом. Кроме того, темнело, а надо было найти человека, который поможет раздобыть лодку. В кармане у меня хрустело рекомендательное письмо, написанное в Москве, на Арбате. Его написал товарищ, давший название Синему хребту. Когда-то они вместе работали здесь, а когда вышли на пенсию, то один стал жить на Арбате, а второй вот здесь.

Я подумал, что самые первые дома строились прямо на берегу протоки. Потому что по ней было удобно транспортировать бревна. И точно: на самом обрывчике я увидел дом, который явно выглядел старше других.

На крыше его лежал каюк — долбленая лодка. Именно такая мне и была нужна. Я уже без колебаний постучал в оконное стекло. Для этого пришлось нагнуться.

7

Он оказался погрузневшей копией моего друга. Те же белоснежно-седые волосы, крупная фигура, твердое лицо, покрытое неистребимым загаром. Следуя за широкой спиной через сени в дом, я успел подумать еще: какими же красивыми, колоритными и стоящими ребятами они были оба тридцать лет назад, когда бродили по неизученным хребтам в районе Реки. Все-таки люди высокой породы есть.

Бегло взглянув на комнату, я сразу понял, почему он не уехал отсюда, когда вышел на пенсию, и почему никогда не уедет. В домике с низким потолком, огромной русской печью посредине, самодельной мебелью было очень тепло, пахло свежевыпеченным хлебом. И был неповторимый уют, выработанный древней культурой русской деревни, странно совмещался здесь с благоденствием охотничьей избушки, до которой ты добирался очень долго в большой мороз или плохую погоду.

Из таких жилищ человек уезжает с трудом, чаще всего совсем не уезжает.

Мне хотелось поговорить про героические времена первопоселенцев. Но было ясно, что захватывающих дух историй я не услышу. В лучшем случае я услышу неспешный рассказ, и при этом будет подразумеваться, что и рассказчик и слушатель одинаково знают предмет.

Выяснилось, что каюк в этих местах, бывший когда-то главным речным средством, вытеснен дюралевыми «казанками», на которые ставят мощный мотор «Вихрь».

Специфика снабжения отдаленных мест изобилует чудесами. Например: ближайшим местом, где можно купить дюралевую лодку, был город почти в пяти летных часах отсюда. Доставить лодку можно только по воздуху, а стоимость этого: лодки, мотора «Вихрь» и провоза габаритного груза по воздуху — уже отдает рубрикой «Причуды миллионеров». Но тем не менее лодок этих на реке имелся не один десяток, и из них только пять поступили через местную торговую сеть.

Бензин сюда также завозят по воздуху, а мотор «Вихрь» требует его много. Элементарный выезд на рыбалку в здешних краях требует минимум литров сто.

Но меня интересовал каюк. Каюк — это когда лодка долбится из единого ствола тополя. Ширина ее делается такой, чтоб как раз поместилась нижняя часть тела. Но бывают каюки грузовые, говорят, бывали даже семейные. На нем удобно плыть вниз по реке, можно подниматься вверх бечевой. По-видимому, следующей и последней ступенькой легкости и верткости на воде является лишь каюк эскимосов, хотя плавать на нем мне не приходилось.

«Ветка» получается, когда каюк делают из досок. Чаще всего трех. Все-таки «ветка» более устойчива, так как имеет узкое, но плоское днище.

— Можно ли сплавиться вниз по Реке на каюке? — спросил я к концу первого чайника.

Мы сидели при свечке, потому что не было электричества. Блики света играли в синих табачных струях. От печи неистребимым потоком шло тепло, и я чувствовал, что нахожусь где-то вне времени, может, в средневековом семнадцатом, может, в просвещенном восемнадцатом веке.

— Почему же нельзя? Можно!

— Вы спускались?

— Неоднократно-о!

Новый чайник мы заваривать не стали. Просто вдумчиво покурили. За перекур я узнал, что каюк есть у двух рыбаков, учителя в школе — и это, пожалуй, все. У остальных они сгнили, унесены рекой, раздавлены трактором. Словом, остались у тех, кто сам не признает другого транспорта на воде, и потому он им нужен самим.

— Загвоздка одна есть, — тихо сказал хозяин.

— Какая?

— Когда плывешь, надо плыть. Верно?

— Примерно так.

— Питание добывать тоже надо.

— Надо! — согласился я.

— С каюка не стрельнешь. И рыбачить не очень удобно.

Вместо ответа я передернулся, вспомнив, как однажды в низовьях Колымы глубокой осенью чуть не утонул именно из-за того, что «стрельнул» с каюка. Очень дорогое ружье и служебный карабин я предусмотрительно привязал к каюку веревочками, чтобы не утопить ненароком. Эти веревочки и спутали мне намертво ноги, когда я перевернулся. Так я и плыл к бе-

регу: ноги наверху, потому что их держал на плаву каюк, голова внизу, а когда я задирал ее, чтобы глотнуть воздуха, лицо облепляли осенние листья, устилавшие воду, и сквозь эти листья плыла куда-то и смотрела на меня черным загадочным глазом ондатра.

— Плохо с него стрелять. А что посоветуете?

— Хуже резиновой лодки нет. Но есть лучше. У Шевроле есть ненужная лодка. «Ветка», но маленько пошире. И плывет, и на воде стоит. Советую так...

Когда я пришел в гостиницу, света еще не было. В темноте я увидел человека, молча сидящего на стуле в очень прямой, стеклянной какой-то позе. «Пьяный, наверное», — грешно подумал я.

Но тут как раз вспыхнул свет, и я увидел, что если он и был когда-либо пьян, то очень давно. Человек сидел в совершенно новом костюме, нейлоновой рубашке, носках и щурился на лампочку. Узконосые замшевые ботинки стояли рядом со стулом. Глазом горожанина я оценил выбор костюма, галстук, расцветку носков и понял, что человек либо знает толк в одежде, либо имеет врожденный вкус.

— Зоотехник?

— Пастух.

Было чертовски приятно смотреть на его свежее, промытое ветром, дождями и солнцем лицо, чувствовать, как он всеми мускулами воспринимает сейчас стул, ковры, чистоту. Впереди ему мерещилось вольное отпускное время, суета городов, которую забываешь за три года от отпуска до отпуска. Через два-три месяца его потянет обратно, и где-нибудь в Гагре или в Коктебеле ему начнет мерещиться запах лиственниц, снежный блеск под луной. Исключения из этого правила не бывает.

— К нам бы ты, — сказал он. — Самая глухая бригада. Среди зверья живем, рядом со зверем. Не поверишь, зверь у нас по-другому себя ведет. Необычно! Бараны, глухарь, медведь. Необычно! Рядом живем, поэтому.

Бригада их кочевала в верховьях главного притока Реки. Я стал расспрашивать о местности в устье притока. Мне предстояло там быть.

— Впадает в Реку как из винтовки. Вот и вся местность, — сказал пастух.

С утра на поселок начал валить дождь со снегом. Но мужики, сидевшие на крылечке правления, никакого внимания на него не обращали. Шло утреннее предрабочее зубоскальство. Ни один из этих заросших щетиной мужиков, в брезентовых куртках и кирзовых сапогах, даже не повернул головы в мою сторону, но я чувствовал, что они все про меня знают. Знают, как про комика, который прилетел из Москвы, чтобы плыть вниз по Реке. И давно меня заметили. По ритуалу надо было подойти поздороваться, и если они признают своего, бывалого, человека, то первым делом начнут высмеивать меня и предстоящее плавание. Если же не признают, то будут пугать. Я подошел.

В течение пятнадцати следующих минут я узнал, что вниз по Реке можно плыть только десять-пятнадцать километров. Дальше человека ожидают заломы — скопления деревьев, вырванных паводком, под которые со страшной силой бьет вода и затаскивает туда даже уток, прижимы — скальные участки, о которые вода разбивает лодки, кружила — где река крутит воронкой и не выпускает из себя лодки с мотором. От парня в замасленной куртке, видимо тракториста, я узнал, сколько человек утонуло под заломами в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом и в одна тысяча девятьсот пятьдесят девятом годах.

— Слышал, — сказал я. — Я тогда в П-ке работал.

— Где?

— У Николая Ильича, — сказал я.

— А в позапрошлом году? — не сдавался тракторист. — Пять человек в одной лодке. Налетели на топляк, лодку аж до транца располосовало.

— Да он никуда не плывет, ребята, — дурашливо перебили его. — Он корреспондент «Крокодила», приехал кладовщика Савельича зафотографировать. И напечатать его биографию. А Река для отвода глаз тут... ребята!

В ответ грохнул дружный хохот, и все мужики полезли по карманам за «Беломором». Видно, неведомый мне Савельич был притчей во языцех в колхозе.

Во всяком случае, равновесие сил восстанавливалось.

— А где Шевроле живет? — спросил я. И сразу понял, что сморозил какую-то глупость. Все с насмешкой, так уж мне показалось, стали меня разглядывать.

— Во-он за больницей. Палисадничек там, лодка перевернутая лежит. Черная лодка. Большая. А зачем он тебе, приезжий? Давай мы тебе лучше про Савельича скажем...

— Почему кличка такая?

— Шевроле — это импортная машина. У тебя ее нет и не будет. А у него была, — сказал один.

— Когда он послом в Копенгагене работал, — добавил другой.

— Не в Копенгагене. И не послом. Просто он на подводной лодке плавал и получил за подвиг.

— Не-е! За лодку он получил другую. А эта...

Под этот странный спор я и ушел.

9

За аккуратным забором, подкрашенным масляной краской, я увидел двор. Двор был выметен, дом имел ухоженный вид, крыльцо явно недавно вымыто. Посреди же двора стоял сухонький человек в телогрейке и разговаривал с рыжей собакой. Он грозил собаке пальцем, а та стучала хвостом по земле и виновато повизгивала. Я понаблюдал эту сцену из-за забора, потом поздоровался достаточно громко.

...На лице у него главным был нос. Это был огромный, бугристый, прямо какой-то учебный нос давно пьющего человека. Все свободное от носа пространство на лице заросло седой щетинкой, и еще посверкивали два любопытных глаза-буравчика. Интересное он производил впечатление.

— Зверовая? — спросил я про собаку, чтобы как-то завязать разговор.

— С той стороны, значит, с правления, — утверждал Шевроле, пропустив мой вопрос. — Мужики на крыльце сидят?

— Сидят.

— Про меня говорили?

— Было... немного, — замялся я.

— Говорили! — снова утвердил Шевроле. — Правильно говорили!

— Ну, как сказать, разговор такой...

— Не-е! Ох я им и вру! Такое воображаю, что сам иногда не знаю, чем кончить. Но все на основе... действительно произошедших событий. — Шевроле выпрямился и строго посмотрел на меня.

— А зачем сочинять?

— Ты ишо молодой. У тебя события впереди. А когда события жизни сзади, надо два правила: чтобы в избе и на дворе было чисто, а в душе интересно. Ну и обманешь когда. Я ж не во зло сочиняю...

Шевроле внимательно меня осмотрел, уселся на крыльцо, вынул пачку «Памира» и со вкусом закурил. Покосился на собаку и продолжил:

— Эт-та собака, про которую ты спросил, другая. Можно считать, совсем не собака. Вот перед ней у меня была со-ба-ка! Четвероногий друг человека, как говорится. Да ты чего стоишь-то? Ты садись!

Я сел.

— Верите-не-веришь, та собака была почти человек. На белковье, когда народу прет во множестве, она в лесу царь. Ее все знали, конечно. Другие собаки ишо воздух нюхают, а она уже лает. Будто сама белку сделала и на ближнее дерево посадила. Охотники народ, конешно, бессовестный. Што из-под своей собаки, што из-под чужой. Абы пальнуть. А она, как увидит чужого с ружьем, сразу на пустое дерево начинает лаять. Смотрит он, смотрит, этот охотничек, и получает вывод, что у Шевроле, у меня, значит, пустолайка. На сучья голос дает. Матернется и убегит. А тут я. Сам! И собачка моя сразу к дереву, где бель эта сидит. Да-а, есть умные собаки... Та моя только на пишущей машинке не могла печатать. Все остальное могла. В кино с ней придешь — на экран смотрит, переживает. Если, конешно, история там душевная. А еще с ней был случай... Дак а что же мы на крыльце? У нас ведь дом, спиной-то...

Мы перешли в дом, вскипятили чайник. В доме было скрупулезно чисто. Я знал пьющих людей, которые такой вот аккуратностью стараются как бы компенсировать порок, загладить его, хотя бы перед собой.

— А собаку с собой не берешь? — неожиданно спросил Шевроле.

— Нет! Нету у меня собаки.

— И правильно! Нынче стоящих собак нет. Последняя правильная собака была у меня в Оймяконе в одна тысяча...

— Говорят, у вас «ветка» ненужная есть? — перебил я его.

— Разве ненужное что бывает? — вопросом на вопрос ответил мне Шевроле.

— Я заплачу, разумеется.

— Так платить не за что. Лодку эту Кодя утащил на деляну и там бросил. Неведомо где.

Я молчал.

— Но самого-то Кодю сегодня в поселке видели.

— Так, может, найти его?

— Так как ты его найдешь? Разве за ним уследишь?

— Вы про собаку начали говорить.

— Я лучше тебе про медведя. У меня вниз по Реке избушка имеется. Возвращаюсь я, выходит, с сетей. И думаю про то, что забыл «Спидолу» выключить. Два часа расход батареям. Подплываю к берегу и вижу: стоит избушка, в избушке «Спидола» орет, а перед дверью сидит медведь и слушает. Дверь закрыта, ружье в избе. «Уходи!» — кричу.

Медведь и пошел в лес. Неохотно. Помешал я ему кантату дослушать...

...Я решил разыскать неизвестного Кодю самостоятельно. Шевроле вышел со мной до калитки. Из-за пелены дождя и тумана поселок казался маленьким, заброшенным и забытым всеми: начальством, родственниками живущих здесь людей, всем остальным человечеством. Забыли, и все.

— Такое время, что даже деньги не пахнут, — загадочно резюмировал Шевроле.

10

Отыскать Кодю не удалось. Без Коди не найти лодки Шевроле. Без лодки не поплывешь по Реке. Ничего не оставалось, как пойти к учителю. Интеллигенция все-таки. Может, поймет, что мне надо плыть по Реке, что ради этого я двадцать часов просидел в самолете. Я шел к нему с неприятной робостью просителя, так как понимал, что предлагать ему деньги за каюк неудобно. Можно только взять «просто так». Но я напрасно робел заранее. Оказывается, я был с ним знаком. Только в другом образе, в других местах.

...В дальних глухих поселках живут люди с неприметным, но сильным светом в душе. Ты замечаешь его, если смотришь на человека благожелательно и ум твой не отягчен суетой. Конечно, они есть и в больших городах. Но там ты просто не видишь их, их свет теряется в многолюдстве.

Учитель был из них. Он имел обобщающую особен-

ность для чудаков этого типа: мал ростом, сухотел, и у него были серые внимательные глаза. Эти глаза обладали свойством видеть мелочи, которые не замечают другие. Учитель рассказал мне про птичку здешних лесов, которая величиной с колибри. Чучело ее он недавно отправил в музей. Я узнал также, что в окрестностях поселка мыши «совершенно различны». На озере живут одни мыши, в кустарнике другие, около речки третьи. «Вы дайте мне мышь, и я сразу скажу, где вы ее поймали».

Весь вечер я провел в тихом прелестном мире. Я узнал о многих явлениях, которых сам бы никогда не заметил. Между прочим, учителю было всего тридцать пять лет, он окончил институт имени Лесгафта в Ленинграде и в свое время успешно делал карьеру спортсмена.

Но сейчас его мысли были заняты тем, чтобы дети, которые на лето остаются в интернате, не отрывались от леса и тундры. Я сказал о том, что эвенку и чукче гораздо интереснее алгебра, чем зверюшки родного края или умение ставить капканы.

— Я не о том. Конечно, алгебра необходима. Но они же детство теряют.

Так же просто он предложил свой каюк. Могу его взять в любое время. Я подумал о том, что удобнее попросить у седого ветерана-зоотехника, все-таки он хоть как-то меня знал.

— Не надо, — сказал учитель. — Он, конечно, отдаст, но он свой каюк любит. А я закажу другой.

На прощание он посоветовал мне сказать Шевроле о том, что он дает мне каюк.

— Зачем?

— А чтобы не считал вас в безвыходном положении. Местная психология. Человек он, знаете, своеобразный.

11

На лестничной клетке раздавались прыжки, детский голос напевал считалку:

Сделай фокус, смойся с глаз,
Я поеду на Кавказ...

Я посмотрел на окно. Снега не было, дождика вроде тоже. Над поселком тяжко ползли темные тучи.

По краям они были синевато-белые, в середине темнее.

В комнату без стука вошел Шевроле. На нем был плащ, под плащом телогрейка, под телогрейкой меховая рубашка из пыжика.

«Куда это он так капитально?» — подумал я.

— Понимаешь-ли-понял! — с порога закричал Шевроле. — Лодка его гниет, а он спит. Ты плыть будешь или нет?

Я стал одеваться, искоса поглядывая на Шевроле. С плаща его прямо текла вода. Значит, дождик все-таки был, просто ветер отжимал его от окна.

— Похмелиться нет? — застенчиво спросил Шевроле и отвернулся.

— Найдем.

— Маленько надо. В себя прийти. Вчера Кодю искал. Нашел, конешно, ну и...

Я достал пластмассовую фляжку со спиртом, колбасу. Шевроле налил спирт в пробку-стаканчик и, не разбавляя, выплеснул его в рот.

— В пластмассе спирт плохо держать, — сказал он. — Химией начинает пахнуть.

— Не нашел другой.

— Но ишо хуже, когда в резине. Например, в грелке, — утешил меня Шевроле.

— Сколько за лодку возьмете? — спросил я.

— Дак ведь как сколько? Што и как понимать сколько? Я ее вам дарю. Сейчас поедем к Реке. Потом вниз поплывем, искать, где Кодя ее оставил. Как найдем — так будет тебе подарок.

— Может быть, лучше деньги?

— Деньги, конешно, лучше, — со вздохом сказал Шевроле. — Но нет возможности их у тебя взять.

— Почему?

— Пожалуй, што я тебе останусь в долгах. Как ты смеялся вчера, когда я тебе про собак рассказывал. А здесь уж никто не смеется, когда я говорю. Думают, вру. А не поймут, что я вполовину. Я половину жизненно говорю. Не всякий это и знает. А половину присочиняю. Так ты и поступай как нужно: половину смейся, половину вникай. Де-е-ньги! Ты лучше ишо приезжай. Веришь ли, нет, я ночами не сплю иногда, рассказы наружу просются. Приезжай!

12

Неопытный человек никогда не увидит с берега величину здешних рек. Он может оценить их величие и мощь только с высоты, потому что на берегу в каждый данный момент он видит только одну протоку, малую часть Реки. Мерзлота, скальный грунт не дают рекам уходить вглубь, прорезать долины, и поэтому они расходятся вширь, образуют переплетение проток, островов, заводей, перекатов, и вся эта запутанная сеть меняется почти ежегодно, почти в каждый паводок. Я это знал, но здесь было иначе, чем на знакомых северных реках. Скрытая сила чувствовалась в протоке, которой мы плыли вниз по течению. Скрытая, как пружина. Течение было очень быстрым. Зеленые валы неслись вниз, скручивались в водовороты и плескали в заломы. Было холодно даже в полушубке, который взял для меня Шевроле.

Лодку мы нашли примерно через час. Она стояла в глухой протоке, затопленная почти доверху, так что торчали лишь обломанные края бортов.

Мы погрузили лодку на нос дюральки и помчались обратно в поселок. Мотор «Вихрь» хорошо тянул против течения.

13

Несколько дней после этого я сушил «ветку» на ветру, прежде чем заново проконопатить ее, сменить кое-где крепления бортов и залить гудроном. Такая работа, когда нет спешки, всегда очень приятна.

Дерево лодки за долгое время разбухло и не желало отдавать воду. Я содрал посильно старую осмолку и увидел внутри посиневшие от дряхлости доски. Гудрон к мокрому дереву не пристанет — закон физики.

Шли дни. Лодка стояла около дома Шевроле. Он предоставил мне инструмент и изредка сам приходил. Закуривал и говорил:

— Значит, не берешь собаку? А зря! Вот у меня, к примеру, была такая собака. Уйдем на охоту. Походишь, сядешь на лежащее дерево покурить. А портсигара нету. «Найда, — говорю, — сигареты-то мы дома забыли». Найда разворачивается и чешет в поселок. Вбегает в избу, портсигар в точности лежит на столе. Она без разговоров хватает в зубы, бегеть ко мне. Прибегает. Я хвать-похвать. «А спички?» Собака разворачивается...

— А эта собака, что сейчас у вас?

— Эта собака хорошая. Но... в лесу работает только до трех часов дня. Потом начинает зайцев гонять, кусты нюхать. Одним словом, культурный отдых. Видно, узнала про укороченный рабочий день...

В темноте прошли двое. Один был маленький в телогрейке, второй — в свитере с выпирающей из-под него пугающей мускулатурой. Маленький что-то пропел, замолк и сказал:

— Эта песня полноценна под гитару.

Большой повернулся ко мне, и я узнал его в огоньке папиросы. Это один из тех, у кого есть забытая комната в Москве, нет родственников и еще есть неумение жить по регламенту.

— Что ты смотришь на лодку утраченными глазами, — сказал он. — Стукни по ней топором, купи дюральку, «Вихрь» и дуй с ветром, чтоб деревья качались и падали. На скорости надо жить, кореш!

— Сейчас скорости нет, — сказал из-за забора Шевроле. — У меня в Индигирке была лодка. Та скорость давала. Баба у меня, сам знаешь, комплектная, а я легковес. Так я, когда скорость давал, к бабе привязывался, чтоб ветром не выдуло...

...В ночной темноте я, как тать, прокрался к недостроенному двухэтажному дому. Там была бочка с гудроном. И рядом лежал ломик. Кое-как я наколотил килограммов пять гудрона, сходил к магазину, нашел там выброшенную жестяную банку из-под галет «Арктика», сложил в нее гудрон и оттащил к лодке. Если с утра будет солнце, то к полудню буду шпаклевать лодку и заливать гудроном пазы и днище.

14

Со времен Даниеля Дефо принято перечислять запасы, которые берет с собой путешественник. Итак, у меня было:

1. Ружье «браунинг» и пятьдесят патронов к нему.
2. Спиннинг с безынерционной катушкой. Набор блесен.
3. Кухлянка и безрукавка из оленьего меха. Пожертвовано учителем.
4. Лодка с двухлопастным веслом от лодки «Прогресс». Весло мне также дал Шевроле. Скобу мы сняли, а вторую лопасть вытесали из лиственничной доски.
5. Топор.

6. Охотничий нож. Подарен семь лет назад одним якутом-охотником.
7. Кастрюля, сковородка — подарок жены Шевроле.
8. Одноместная палатка.
9. Поролоновый спальный мешок.
10. Восьмикратный бинокль.
11. Три буханки хлеба. Килограмм вермишели. НЗ: банка сгущенки.
12. Лавровый лист, перец, соль, сахар, чай.

Все остальное я надеялся добыть с помощью спиннинга, а если нет, то ружья.

На прощание седоголовый друг моего друга посоветовал: смотреть вперед и, следовательно, не плыть в темноте. Палатку ставить повыше, так как скоро должен начаться осенний паводок, который в этом году будет высоким. В устье Реки, которая «впадает как из винтовки», пристать к берегу и осмотреться. Может быть, лучше будет спустить там лодку на бечеве.

...От берега я оттолкнулся в несчастливый день — 13 августа и к закату доплыл до охотничьей избушки, где медведь когда-то слушал «Спидолу».

Избушка стояла на сухом галечниковом берегу под огромными ивами-чозениями. На нарах лежали неизменные ветки тальника, печка горела хорошо, и между двойными стенами бегали мыши. Постепенно они привыкли ко мне и взобрались на стол — темно-коричневые зверьки с любопытствующими глазами. Я кинул им корок, мыши корки утащили, а сами пришли снова. Видно, хотели посмотреть на приезжего. На столике горела свеча, в ночной темноте шумели деревья, хрустел валежником кто-то неведомый, кто всегда хрустит по ночам, когда ты один. Ветки тальника пахли горько и пряно. Они пахли осенью.

Я лежал на нарах и, естественно, думал о том, что так вот и надо бы жить, о том, что мы так умело обкрадываем себя, что и подумать некогда. Потом пожалел, что не взял собаку. Но взять ее не было никакой возможности. За такую дорогу с собакой сживешься, как с лучшим другом. Бросить ее в конце маршрута никак невозможно. Взять с собой также нельзя, потому что в коммунальных квартирах существуют соседи, согласие которых необходимо, а если и всех убедить в том, что собака — человек очень хороший, то все равно плохо. Я часто уезжаю из дому, и собаку надо кому-то оставлять. Короче, в темноте избушки, под потрескивание дров в печке, которая раскалилась и светила, как домашнее за-

катное солнце, я пришел к выводу, что надо жить так, чтобы было кому оставить собаку.

Ночью был сильный холод. Когда я вышел на улицу, то ступени леденил иней, севший у порога на гальку. Я подкинул в печку и стал в темноте думать про свой маршрут. До ближайшего жилья, таежной метеостанции, было около трехсот километров, затем около пятисот до устья Реки. При хорошей осени я планировал еще попасть в протоку Стадухина. На противоположном конце протоки когда-то давно стояла база партии, где я был начальником, и тот сезон мы, наверное, не забудем до конца своих дней, так что хорошо бы там побывать.

За ночь на березах и на ивняке пожелтели листья. Стволы и листья чозении, под которой стояла избушка, покрылись инеем. Мир был очень прозрачным. На западе выступал Синий хребет.

Ближний хребетик, который чуть ниже избушки обрывался в Реку скалистым прижимом, не был виден из-за кустарника. Я решил подняться на него, чтобы посмотреть на Реку сверху.

Дорога шла через заросли ивняка. Потом начался мшаник. Он был кочковатый, кочки переплетены стелющейся березкой. Выше березки начинались сплошные заросли шиповника, и ягоды на нем висели длинные и большие. Подлесок казался красным от этих ягод. Кое-где были кусты смородины. Ягоды свисали с кустов гроздьями, почти не уступающими гроздьям винограда «изабелла». Я не преувеличиваю. Так я и ломился сквозь этот лес, как сквозь огромный склад витамина С.

Дорога шла через высохшие протоки, кое-где заполнявшиеся водой уже осеннего паводка. Потом снова галечная площадка и снова протока, так до бесконечности. Протоки уходили на юг, как лента стратегических шоссе, которые вымостили, но не успели залить бетоном. В озерцах у борта долины сидели на воде утки. Они не улетали, а только отплывали к противоположному концу озера.

У подножия хребта держалась сырость. С трудом я прошел первые метры подъема. Камни покрывал влажный скользкий мох. Там, где не было мха и камней, сплелись прутья полярной березки. Они пружинили и цеплялись за сапоги.

Где-то выше яростно верещали кедровки. Раз кедровки, значит, должен быть стланик. Я стал забирать в сторону, так как идти сквозь стланик вверх вовсе уж невозможно. И сразу попал на звериную тропку.

Тропинка с бараньими и лосиными следами вела вверх, огибая склон. Скоро я вышел в лиственничный пролесок. Лиственнички были тонкие, они уже начинали желтеть, хотя от долины я поднялся всего метров на триста.

Еще через триста метров кончились лиственнички, почти исчезла березка. Был голый камень. Между камнями посвистывал ветер. Откуда-то взметнулась куропатка и побежала между камнями, припадая, чертя землю крылом. За ней с цыплячьим писком сыпали крохотные птенцы. Они еще пищали немного и вдруг исчезли. Точно растаяли. Я оглянулся. Синий хребет выступал на западе со своими снежниками, оголенными вершинами, красными от увядшей березки распадками, черными лавинами осыпей. Но, несмотря на все это многоцветье, можно сказать, буйство цвета, он был Синий, и никакой другой. Название точно соответствовало сути.

Отсюда хорошо просматривалась вся Река: желтые галечные острова, заросли кустарника, выходы прибрежных скал. Внизу, у подножия «моего» хребта, зеленел лосиный выгон. Все кругом было как бы подернуто дымкой умудренности бытия. Тут, на гребне, я и просидел целый день.

На следующий день Река напомнила старую заповедь о том, что в этих краях нельзя размягчаться. В километре ниже избушки начинался прижим. Я подплыл ближе к скалам, чтобы проверить лодку на быстром течении. Встречный поток сразу затащил лодку в длинную глухую протоку. Попытавшись выйти на веслах, я понял, что это не удастся, и наладил бечеву. Но бечевой можно было дойти только до первого уступа. Дальше скалы уходили отвесно в воду.

Я делал заход за заходом, и каждый раз течением относило лодку обратно. Когда я умаялся окончательно, Река сжалилась и вышвырнула лодку на струю. День почти кончился. За восемь часов я проплыл что-то около двадцати километров. Кое-как натянув палатку, я залез в мешок, но тут же чертыхнулся, вылез и натянул палатку по всем правилам, закрепив где можно борта камнями. Потом вытащил лодку подальше на берег и перевернул. На всякий случай привязал ее длинным шнуром к ближайшему кусту. Теперь, когда все предосторожности были сделаны, я спокойно залез в мешок. Проснулся я оттого, что горящая сигарета обожгла грудь. Оказывается, я заснул, едва успев прикурить.

«Докурю и засну», — подумал я и снова проснулся от ожога сигареты. Так продолжалось раза четыре. Наконец, я затушил сигарету, выкинул ее из палатки и отключился мгновенно, как будто выдернул себя из розетки.

...Уже перед утром я слышал, как мимо прошла моторка, за ней вторая, третья. Все они шли на полной мощности двигателя, и рев, отражавшийся от воды, казался особенно громким. Где-то в дальней протоке моторки соединились, гул слился, перешел в некий авиационный рев. И тут, наверное, впервые в жизни, в наивной попытке отступничества от века, я проклял двигатель внутреннего сгорания и того, кто его придумал.

Вечером я слышал, как моторки в своем адовом вое прошли обратно другой протокой.

И теперь я твердо знал, что долго их не услышу. Дальше, вниз, совхозные рыбаки не плавали.

Мы остались с Рекой с глазу на глаз. Как будто почувствовав это, перегруженная лодчонка стала лучше слушаться весла. Я долго плыл в этот вечер. На берегах давно уже легла ночь, но на Реке свет держался. Так я плыл по речному свету, обострившейся интуицией угадывая в тишине топляки, которые могли перевернуть лодку, прижимы с донным течением и заломы, под которые могло затащить. Могу сказать, что я совершенно при этом не думал. Забитая городом интуиция проснулась.

15

Плавание вниз по течению описанию почти не поддается. Оно состоит как бы из мелких отдельных событий, вплетенных в монотонные дни. Во всяком случае, сюда входит напряжение изо дня в день, и режущие блики солнца на воде, и минутные вспышки опасности, которые сознаешь, когда они уже миновали, и берега, заваленные тысячами кубометров древесных стволов, и лоси, которые в вечерний час выходят полежать на гальке, и ты их вспугиваешь в последний момент, потому что плывешь бесшумно.

У одного из прижимов я столкнулся с феноменом, именуемым «кружило». Вода у скал была густо-зеленой от глубины. Я греб в одном направлении и вдруг увидел, что плыву перпендикулярно. И в тот же момент весла как будто уткнулись в резину. Сопротивление ло-

пасти было тугим и сильным. Потом я поплыл назад, потом вбок с ужасающей медлительной равномерностью, которая вовсе не зависела от направления и силы гребка. Я бросил грести и увидел, что ничего не изменилось. Попробовал грести изо всех сил и сдвинулся примерно на метр. Лодка равномерно и мертво двигалась по какой-то таинственной траектории. Я покорился судьбе и стал ждать. Выглянуло солнце. Скалы от солнца были светло-коричневыми. В одном месте они были испачканы пометом, и, задрав голову, я увидел на приступке огромное гнездо орланов-белохвостов, сделанное из хвороста.

Солнце просвечивало воду, наверное, метров на десять. Я посмотрел вниз и увидел рыб. Спины их также казались зелеными. Я лихорадочно вытащил коробку с блеснами, нацепил на спиннинг и, забыв про «кружило», стал блеснить — подергивать блестящую приманку. Но рыбы не обращали никакого внимания. Я менял блесны одну за другой: большие, зимние, летние, белые, желтые, с краснинкой и без краснинки. По временам блесна наталкивалась на рыбу и тут же отскакивала, как будто рыбы были изготовлены из тяжелого и плотного материала, вроде хоккейной шайбы.

В азарте я не заметил, как Река вынесла меня из кружила по тем же непонятным законам, и я поплыл вниз, притихший и ошеломленный.

Огромные лиственницы высились по берегам. Вдали недосягаемо и странно выделялся Синий хребет. И в этот момент я начал понимать Реку. В это понимание входили речной шум, тысячетонные завалы дерева по берегам, наклоненные в воду лиственницы, солнечный свет и хребты, за которыми торчали еще хребты, а за теми торчали новые. Сюда входили и лоси, которые лежали глыбами на отмелях и, если стукнуть веслом, убегали. Из-под их копыт со шрапнельным свистом летела галька, а рога, чудовищные рога колымских лосей, самых крупных из всех лосей мира, плыли в воздухе тяжко и невесомо, как короны монархов. Хотя, признаться, ни корон, ни монархов я не видел. И эти проклятые рыбы тоже сюда входили.

Только теперь я понял, почему все говорили о Реке с оттенком мистического восторга и уважения. Я благословил день, когда решил плыть по ней.

На ночь я остановился у небольшого ручья, который со звоном влетал в Реку из зарослей топольника. На ко-

ренном берегу стоял мощный лиственничный лес. В темноте его была торная тропинка, по которой, вероятно, выходили с хребтов к Реке пастухи.

Я пошарил глазами и увидел лабаз, приколоченный в высоте к трем лиственницам. На лабазе стояли ящики, обтянутые брезентом, а сбоку была прислонена сколоченная на живую нитку лестница.

16

Вода поднималась. Это можно было узнать без всяких фуштоков по речным звукам. Склоненные в воду деревья, хлопанье которых бывает слышно за километр, теперь стучали чаще и оживленнее.

Затопленные сухие кусты издавали пулеметный треск. На перекатах было слышно, как о дно лодки постукивает галька, а на некоторых участках вокруг поднимался шорох, как будто лодку тащили на хвое. Наверное, это лопались пузырьки воздуха.

Река круглые сутки была наполнена звуком. В устье одной из речек я слышал, как кто-то, птичка или зверек, громко жаловался: «А-а, у-ай, а-а, у-ай!» Потом раздавался щенячий визг и снова: «А-а, у-ай!» Может быть, это скулил медвежонок. Дважды я видел медведей на отмели. Они шли, мотая головой, смешные большие звери, и, завидев лодку, убегали, как-то по-собачьи подпрыгивая и вскидывая зад.

По ночам вокруг палатки шло перемещение, о котором я уже говорил. Однажды треск был так громогласен, что я не выдержал и напихал в магазин браунинга пулевых патронов. Треск на минуту затих, потом на опушке чей-то громкий голос сказал: «Бэ-э, уэ», затрещали сучья, и все стихло. Я заснул, так как за день уматывался до того, что заснул бы, наверное, рядом с медведем.

На другой стоянке меня разбудили солнце и странный звук: свистели крылья больших птиц, которые одна за другой пролетали над самой палаткой.

«Глухари! — ошалело подумал я. — Глухари прилетают на отмель».

Я наскоро зарядил ружье, выпутался из мешка и выглянул в щелку палатки. И увидел всего-навсего одного глупого старого ворона. Он летал над кострищем, где лежали сковородка с остатками ужина и несколько выпотрошенных рыб. Ворон никак не мог решиться. Он от-

летал на отмель, делал круг и снижался из леса к кострищу, пролетая над самой палаткой, и опять делал круг. Наверное, так он летал все утро.

Я высунулся из палатки. Ворон сказал «кар-ра» и негодующе удалился вдоль Реки, очень черный и очень желчный.

Чтобы закончить разговор о рыбах, расскажу, как все-таки я начал их ловить. Меня предупредили, что в устье реки, которая впадает за Синим хребтом, живут огромные щуки.

Устье я прозевал, но по местности догадался, что оно должно быть где-то здесь. Я выбрал крутой торфяной берег, заросший шиповником и голубикой, и попробовал блеснить. Было на глаз видно, как плавают здешние крупные темные хариусы, стоят в затопленных кустиках пятнистые ленки, которые здесь бывают до пяти килограммов весом, притаились в тени небольшие полосатые щуки. Воистину это была земля рыб. Я начал бросать спиннинг, но интерес рыбы был вялый. Несколько хариусов хватались за блесну, но тут же срывались. Я долго метался по этому берегу и в довершение всех бед увидел в тени затопленного куста щучью голову. Щука стояла в тени и смотрела на меня недобрым глазом.

Цепляя самую большую блесну из коллекции, я шептал слова, стихи, и еще черт знает что. Руки неудержимо дрожали. Наконец я нацепил блесну, отошел в сторону и закурил трубку, чтобы успокоиться. Потом закрыл глаза и припомнил берег и речку, затопленные кусты, утонувшие стволы, о которые мог зацепиться крючок. Припомнив, я вышел вверх по течению и забросил спиннинг так, чтобы блесна прошла сзади щуки и метрах в полутора от нее.

Щука не среагировала ни на первый бросок, ни на второй, ни на третий. Я подошел ближе и поднес блесну почти к самому щучьему носу. Но щука не смотрела на блесну. Она все так же смотрела на меня тяжким, свинцовым, недобрым взором. Потом медленно повернулась и вдруг, дав бешеный водоворот, исчезла.

Я утешился тем, что здешние щуки жестки на вкус. Колымские старожилы едят у щук только кишочки, которые хорошо жарить, особенно с макаронами.

Я вытер пот, уселся на землю. «Что-то не так в основе, — думал я. — Рыбы чудовищное количество. На блесну не идет, червяков нету. Ягодой будем питаться?

Коля! Коля!» — взмолился я в адрес своего товарища, энциклопедического рыболова. Но Коля был далеко, в Москве. В сомнении я открыл блесенную коробку. В ней лежала самодельная блесна Шевроле, которую тот дал мне перед отплытием. Блесна была просто винтовочной пулей, в которую с одной стороны был впаян загнутый гвоздь от посылочного ящика, с другой — петелька. Я нацепил эту блесну и кинул ее в стремнину под берегом.

К ней кинулся хариус, но, опережая его, из кустарника молнией вылетел двухкилограммовый ленок, и спиннинг в руках согнулся. Через мгновение ленок уже плясал на траве, сверкая на солнце радужным боком. Вместе с ленком приплясывал я.

17

На шестой день случайно и без умысла я убил медведя. Не уверен, что надо пояснить это, но все же скажу, что возраст, когда этим гордятся, уже прошел и вообще медведи глубоко симпатичные звери, если только ты не сталкиваешься с ними нос в нос. Той же стадии самообладания, когда ты спокоен, столкнувшись с медведем нос в нос, я, наверное, уже не достигну.

Если искать первопричину... Все началось с шиповника... Проплывая мимо обрыва, я заметил огромные даже для этих мест заросли шиповника. Я пристал к берегу, привязал лодку к камню и полез наверх по плотному, спрессованному галечнику. Вдоль Реки дул упрямый ветер. Шиповник на вкус оказался чуть кисловат, полон мякоти, и волосистые семечки было очень легко выплевывать. Насколько хватал глаз тянулся этот шиповник. Я привстал на цыпочки, чтобы прикинуть это изобилие, и в просвете кустарника увидел лобастую голову с дремучими глазками. Медведь коротко и как-то утробно рявкнул. Все было слишком неожиданно, а в магазине браунинга лежали пулевые патроны...

На ночевку я остановился чуть ниже, где начинались скалы. В скалах торчали желваки, по-видимому конкреции *, я машинально отметил их, когда ставил

* Конкреции — минеральные образования с радиально-лучистой структурой. Иногда внешне напоминают крупные речные окатыши.

палатку, и все поглядывал на скалы, пока снимал шкуру, растягивал ее, потом разделывал зверя. Если на ночь класть мясо в проточную воду, оно будет свежим дней десять. Хорошо будет угостить встреченных людей медвежатиной. А в конкрециях вполне могли быть аметисты, как в известном месторождении не так уж далеко отсюда.

Я лег спать поздно. А утром пошел к скалам — может, какие конкреции выпали сами. Но у подножия скал был просто гладкий, поросший травой валик. Геологического молотка, конечно, не было, я сходил за топором и, как был в сапогах, полез по расщелине. Грело солнце, а камень был приятно прохладным.

Лез я, как показалось, очень долго, вдруг неожиданно сорвалась нога, и руки тут же сорвались с выступа. Я успел только отшвырнуть топор в сторону и другой рукой оттолкнуться от скалы, чтобы не ободрать лицо. Очнулся я в палатке. Я лежал на спине. Вход палатки не был застегнут. Мягко гудел затылок. Спина была мокрой и зябла. Наверное, от этого я и очнулся. Я поднялся и увидел, что лежу в луже. На улице шел дождь и попадал в палатку. Видимо, я ударился о спасительный травяной валик у подножия. Полез я при солнце, сейчас дождь, неизвестный час дня. Часы стояли.

Я выбрался из палатки. Лодка почти была на плаву, хотя я вытащил ее высоко. Медвежьей туши, которую я положил в воду, чтобы она хранилась подольше, не было. «Может, приснилось мне все это?» — тупо подумал я и подошел к тому месту, где растягивал на колышках шкуру. Шкура была на месте.

Потом я сходил к скале и нашел топор. Значит, ничего не приснилось. Значит, это просто своеобразная расплата за зверя, который, может, и не собирался нападать, а рявкнул от ужаса.

Дождик шел холодный, и ветер с севера налетал порывами. Надо было плыть к людям. До метеостанции оставалось километров сто пятьдесят. Точное расстояние по карте установить было невозможно из-за извивов Реки.

Я опасался потерять сознание, но чувствовал себя прежним, когда мы ничего не боялись. Быстро загрузил лодку. Ветер становился все сильнее, начинался снег. Мне очень хотелось скорее уплыть с этого места. Кисти рук сильно мерзли. В аптечке у меня были толь-

ко марганцовка и йод и еще мазь от комаров — диметилфталат с вазелином. Я смазал ею руки, и стало легче.

Конечно, это было глупостью — плыть одному. Всетаки техника безопасности, которую нам так вдалбливали в голову, существует. «Восемьдесят семь процентов несчастных случает происходит из-за нарушения техники безопасности». Я это помнил, как помнил и сводки о случаях по Министерству геологии, которые нам зачитывали.

На реке ветер был еще сильнее. Я натянул кухлянку и поверх нее штормовку. Но секущий дождик, сменившийся снегом, быстро промочил штормовку, затем кухлянку. Там, где встречный ветер шел по руслу Реки, лодка почти не двигалась. Вырванные с корнем деревья плыли вниз, обгоняя лодку, так как у них почти вся поверхность была под водой, и ветер им не мешал. Было бы хорошо уцепиться за одно из них, но это опасно. Дерево могло зацепиться, и тогда струя сразу подожмет лодку, перевернет ее.

Сверху на штормовку я натянул еще одну кухлянку, которую мне подарил учитель. Но и она промокла насквозь, и я прямо подпрыгивал от холода на мокром сиденье.

Я пристал к берегу. Ветер здесь падал сверху. Руки не слушались, и я извел коробок спичек, прежде чем развел костер. Но костер тут же затух. Я чертыхнулся от злости на себя. Есть нерушимое правило: чем медленнее ты будешь костер разжигать, тем быстрее загорится. Я нашел в лесу сухую тальниковую ветку и сделал из нее «петушка» — комок из стружек. Потом заготовил еще двух «петушков» потолще.

Костер загорелся. Я повесил над ним штормовку и одну из кухлянок. А на тело натянул сухой свитер. И вдруг обнаружил, что не помню, как привязал лодку. Похолодев от ужаса, кинулся к реке.

Но лодка была привязана прочно: двойным узлом к стволу ивы и еще страховочно к поваленной лиственнице. Автоматика.

Вернувшись, я обнаружил, что от штормовки остался один рукав и карман, где в металлической коробке лежали мои документы и деньги.

Потом снова плыл по Реке. Вода была свинцовой, и ветер не давал плыть. Оглянувшись, я увидел в двух-

трех километрах скалу, с которой упал, и место, где разжигал костер.

Смытые лиственницы теперь летели мимо меня, как торпеды. А снег все так же шел под очень крутым углом навстречу. Есть две заповеди, когда маршрут не получается: «Жми что есть сил» и «Остановись». Сейчас было место второй заповеди: остановиться. Поставить палатку. Натаскать как можно больше дров. Сварить сытный обед. Залезть в мешок и переждать.

Так я и сделал.

18

Я не очень удачно выбрал место стоянки. Лодку привязывать было не к чему. Я решил вытащить ее как можно дальше от воды и почаще проверять. Но лодка сильно разбухла, текла и поэтому сильно отяжелела. Я долго заносил то нос, то корму. Потом размотал длинный шнур, протянул его по берегу и закопал в гальку по всей длине. У воды я поставил несколько палочек в полуметре друг от друга, чтобы проверять ее уровень. Лишаться лодки было никак нельзя, потому что я был на острове. Найти же потерявшегося человека среди десятков проток и тысячи островов на сотнях километров Реки почти невозможно, даже с вертолета.

Потом я наносил дров. Натянул палатку так, что она звенела. Постелил медвежью шкуру и заварил крепчайший и очень сладкий чай. Варить было нечего, и я даже не шел искать зайцев. Есть объективный закон природы — когда исчезают продукты, автоматически исчезает и дичь. Надо просто переждать момент невезухи.

В истовой добродетели я вывесил кухлянки не к огню, где они могли быстрее высохнуть, но где их сушить не положено, а на ветер. Над ними я устроил навес из запасного куска брезента, приготовленного на парус в низовьях. Затем, решив, что именно сейчас и есть крайний случай, я открыл банку сгущенки — неприкосновенный запас. Потом выпил крепчайший чай, залез в мешок и подумал о том, что если я все-таки не схватил воспаление легких, то жить можно в любую погоду.

Над головой скрипели чозении, и палатка все-таки протекала. Но тут уж ничего нельзя было сделать, кро-

ме вывода — не брать в дальнейшем непроверенные палатки и, кстати, в конце маршрута выкинуть синтетический спальный мешок.

19

Через сутки небо прояснилось. Ледяной ветер все так же дул вдоль Реки, но уже без дождя и снега. Пора было плыть.

Лодка подсохла на ветру, и тащить ее к воде было легче. Все-таки я удивился, что так далеко ее отволок. Я поставил лодку на мели, загрузил половину груза и перевел ее поглубже, чтобы не обдирать дно.

Река была мутной и текла очень быстро. Почти сплошным потоком неслись по ней деревья, сухие валежины, сор, зеленые ветки — Река собирала весь оставшийся на отмелях с весеннего паводка хлам. И смывала новый с разрушаемых берегов.

К полудню ветер усилился, стало совсем ясно, и вышло солнце. Я держался главной струи, где течение все-таки пересиливало. За одним из речных поворотов я увидел заваленные снегом горные хребты. Хребты сверкали под солнцем, и небо над ними было ослепительно синим. И всюду была тайга лимонного цвета.

Я видел, как рушились подмытые берега и как падали в воду деревья. Некоторые стояли, угрожающе накренившись, и под ними я проплывал, боясь взглянуть наверх, чтобы не нарушить равновесие материальностью взгляда. Все-таки одна из этих лиственниц ухнула за лодкой и добавила воды, которой и так было в лодке по щиколотку.

Чем дальше, тем стремительнее становилось течение, и по очертаниям гор я знал, что скоро устье Реки, которая «впадает как из винтовки». Река делилась теперь на широкие плесы метров в триста шириной, и вся эта масса неудержимо и грозно катилась вниз. В водоворотах лодка начинала колебаться с борта на борт, как будто центр тяжести вынесли на высокий шест.

Над Рекой стоял неумолчный шум воды, хлопанье древесных стволов. Из воды неожиданно выскакивали затопленные стволы и исчезали снова.

Я увидел излучину, которую никогда не забуду. Высокий галечный берег здесь уходил изгибом, и струя воды била прямо в него. Берег с мачтовыми лиственницами осыпался на глазах. Лиственницы кренились и

падали в воду медленно и беззвучно, вздымая тонны воды. За ними виднелся край заваленного снегом хребта и синее небо над ним. Встречный ветер резал лицо.

С отрешенным восторгом я подумал, что если суждено где-то погибнуть, то хорошо бы погибнуть так.

Затем я увидел справа желтый бешеный поток воды, который несся вниз рядом с Рекой.

Это было устье главного притока Реки, и от устья до метеостанции оставалось километров тридцать. Надо было только разыскать эту избушку в хаосе воды, островов и сметенного паводком леса.

20

Метеостанция, судя по имевшейся у меня карте, стояла на левом коренном берегу Реки, у подножия длинного и низкого хребта.

Я все время выбирал левые протоки, чтобы как можно ближе подойти к коренному берегу. Поздно вечером я очутился в старице, видимо, соединявшейся с главным руслом только в высокую воду. Течения здесь почти не было. По берегам стояли засохшие лиственнички. Было очень тихо. Где-то вдалеке, справа, стоял неумолчный грохот, точно трясли решето с камнями. Я все плыл и плыл по черной зеркальной воде. Лиственнички исчезли, и начался темный мокрый ольшаник, стоявший непроходимой стеной по обеим сторонам протоки. Хребет справа кончился. Я подумал, что проскочил метеостанцию. И нечего было надеяться отыскать ее пешком.

Уже спустилась ночь. Но на берегу не было места для палатки. Только затопленный кустарник, черный, замшелый, и неподвижная вода. С воды взлетали выводки гагар и обязательно делали круг над лодкой. Свист крыльев и знаменитый гагачий вопль, от которого сходили с ума путешественники прошлого века.

Солнце еще держалось на гребне хребта. Он был красный. И тут я увидел лебедя. Лебедь летел высоко над этой неизвестно куда ведущей протокой, летел медленно и торжественно. Его еще доставал свет ушедшего за кустарники и тайгу солнца, и лебедь тоже был красным. Красный лебедь и красный горный хребет над черной тайгой.

С трудом я нашел выемку в кустарниковой стене, где можно было поставить палатку. Приткнул лодку и

посмотрел на часы. Получалось, что я греб без передыха часов десять. Я стал выгружать вещи, чтобы вытащить лодку. Мне совсем не хотелось оставаться без транспорта среди этих кустарников и черной воды. Впервые со дня отъезда из дома я захотел увидеть кого-нибудь из людей. Просто так покурить, перекинуться словом.

И точно в ответ на это мое желание раздался металлический удар, видно, кто-то ударил по железной пустой бочке, потом я услышал приближенный плотным воздухом голос, и тут же затарахтел движок. В жизни я не разбирался в двигателях, но голос движка я узнал, как голос друга. Это был двигатель для зарядки аккумуляторов, который применяется на полярных станциях и метеостанциях.

Я выстрелил. И в ответ также услышал выстрел. А дальше все шло как положено.

21

В начале повести я упоминал о месте, географической точке, которую мы можем видеть во сне и где будем счастливы, если разыщем ее. Но я как-то не задумывался, существуют ли такие места въяве. Очевидно, что в понятие места в данном случае входит география, комплекс так называемых «бытовых удобств», и люди, которые там живут.

...Четверо мужчин стояли у берега протоки. Они были в ватных куртках и тапочках на босу ногу. Несколько серьезных псов заливались лаем.

А теперь я скажу, почему походная палатка иногда кажется более надежным убежищем, чем городской дом. Потому что в палатке ты прежде всего рассчитываешь на живую силу: свою и товарищей. Камень же городских зданий мертв, но дает иллюзию, что можно на него положиться.

Дружеские руки вытащили лодку на берег вместе с грузом. Псы кончили рычать и нерешительно замахали хвостами.

Мы прошли в бревенчатый низкий домик. Горела лампа. Дышала теплом печь, и был ритуал, с которым ты встречаешь вернувшегося товарища и с которым он встречает тебя: сухие носки, чай и разговор про то, как проходила дорога.

22

Утром над тайгой началось бабье лето — заморозки, залитые желтым сиянием мира и щемящим сознанием быстротечности дней, а хотелось, чтобы так было вечно. Мы осматривали хозяйство станции, и тут я увидел этот дом бледно-голубого цвета. Я не заметил его ночью. Он был совсем новый, даже стружки вокруг него не пожелтели.

— Это что? — спросил я.

— Заботы начальства. Решили, что старый дом уже стар, вот осенью привезли самолетом новый. Мы в нем не живем.

— Почему?

— В старом привыкли. Там рация, печь, вообще...

— Да-а, к жилью привыкаешь, — откликнулся я.

— Или мало ли кто вниз по Реке поплывет. Или вверх. Или просто захочет пожить и подумать. Вот ты, например.

— Часто проплывают?

— За три года ты первый.

— Нет, выходит, бродяг?

— Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нет. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. Как считаешь?

— Что тут обсуждать-то! Так и есть, — согласился я.

Мы сидели на крыльце нового дома. Собаки подошли и улеглись рядом. Одна из них вздохнула и положила голову мне на ступню. В молчании и тишине пришло единение собачьих и человеческих душ. А над миром висела пора бабьего лета, когда жалеешь о быстротечности дней.

23

...Снег все шел и шел, ветки сосен стряхивали его и, стряхнув, долго и облегченно качались.

...Завтра с пика должен спуститься метеоролог, в комнате которого я живу. Хотя в такой снег вряд ли. Когда идет обильный и мокрый снег, это называется лавиноопасной обстановкой. Если же он все-таки придет, презрев лавиноопасную обстановку, я растоплю печь, поставлю чайник. К печке повешу его мокрую

штормовку, а горные ботинки на гвоздик в коридоре, к печке их вешать нельзя. Приятное дело — ухаживать за вернувшимся издалека человеком.

Сейчас на Реке полярная ночь. Морозы там в это время. Когда ребята идут на метеоплощадку, в воздухе повисает тончайшая снежная пыль. Она висит очень долго. Река помогла мне понять, что нельзя изменить тому, что считал правильным долгие годы. Теперь-то я точно знаю, что сердце мое навсегда отдано тем, кто живет на окраинах государства. Людям с тихим светом в душе.

...С улицы донесся невнятный далекий гул. Все-таки сошла где-то лавина. И, как эхо, с крыши дома сполз снежный пласт, заслонил на мгновение окно...

К вам и сразу обратно

Все эти дни за стенкой стоял глухой стук. Он походил то на грохот шаманского бубна, то на неуловимые африканские ритмы. В зависимости от настроения пурги. Стучали поплавки сетей, повешенных за дверью.

Теперь стук прекратился. В окне посветлело, и выступили сопки на противоположном берегу озера. Сопки были иссиня-белыми от черного камня и свежего снега.

«Конец пурге, — подумал Андрей. — Сегодня двенадцатое, началась в субботу, девятого. Значит, сети не проверялись три дня. Рыба могла испортиться. Хотя вода холодная... Надо ехать».

В железной печке, вырубленной из бочки, еще мерцали угли. Чайник не остыл. Андрей разрезал вяленую красномясую рыбину, достал из пластмассового мешка буханку хлеба. Последнюю. Шесть буханок он выменял на копченых гольцов у вертолетчиков. Они сели у избушки. Месяц тому назад. И бутылку спирта дали в придачу. Бутылку он поставил под нары в угол. Там и стоит. Может... а? В честь окончания пурги? «Не надо», — вслух сказал он самому себе. Или не сказал, а просто подумал. Мысли побежали привычным кругом. Мотор барахлит. Катушки магнето отсырели, когда возвращался перед пургой. Был ветер. «Москва» — дрянной мотор. Менять его надо на «Вихрь». А «Вихрь» привезут, когда уже пробьют зимник в поселок. Директор урса обещал оста-

вить. Лично ему. Недели через три озеро встанет. Дотянем, конечно, и на «Москве».

Он доел рыбу, стряхнул в кулак хлебные крошки и бросил их в рот. Достал мешочек с махоркой и свернул толстую — в палец — цигарку. Налил чай в почерневшую кружку. Запасной бачок для бензина не забыть... На северной стороне озера вертолетчики неизвестно для кого оставили две бочки бензина. Три года назад. Вообще, и избу надо было там ставить. Мелководье, вся рыба там. Мотаешься на проверку сетей через все озеро. Десять километров туда, столько же обратно. Но на северном берегу камень да ягель. А здесь низина, редкие увалы и широким языком выходит к берегу лиственничная тайга. Ягоды, птица по мелким озеркам, олени. Главное, конечно, тайга, за дровами ходить не надо далеко. Да и мясо. На одной рыбе долго не протянешь. На консервах — тем более. Обдувая пепел с самокрутки, Андрей посмотрел на свои руки: черные, с потрескавшейся кожей, обломанными ногтями. И усмехнулся рукам этим и мыслям. Это называется акклиматизация. Или перевоплощение. Экстренное, за полтора года.

Он докурил и швырнул окурок на угли. Стащил с веревки над печью портянки, обулся в резиновые сапоги. Кухлянка висела в крохотном коридорчике, на холоде. Андрей принес ее и натянул поверх свитера, подпоясался куском капронового шнура и подвязал к нему ножны с большим ножом.

Мотор стоял в углу у печки, и металл был теплым. «Хорошо прогрелся, — подумал Андрей. — Может, будет работать». Андрей похлопал по карману, пришитому на груди кухлянки. Загремели спички, и прощупалась пачка «Севера». Порядок. Пошли. Он взвалил мотор на плечо и, протиснувшись в сенях, толкнул дверь. Собрав в складку снег, дверь открылась. На улице было светло. Тундра и сопки побелели. Лиственницы настороженно торчали на белом полотне. Сугроб, надутый из-за угла избы почти вровень с крышей, тонким гребнем свисал к двери: его насквозь просвечивало появившееся в рваных клочьях серых облаков солнце. Ветер стих, и вода уже еле поплескивала в заледенелую кромку берега. И не подумаешь, что всего час назад она рушилась на этот берег двухметровыми штормовыми валами. Андрей покачал головой. Стремительно здесь все кончается. И начинается тоже.

— Валет! — позвал он, и, словно ожидая его призы-

ва, из-за стены выскочил лохматый рыжий пес, крупная, с сильными лапами ездовой собаки чукотская лайка.

— Пора работать, Валя, — сказал Андрей, и пес понесся к берегу, где из-под снега торчали загнутые нос и корма трехместной резиновой лодки.

Андрей положил мотор на заледеневшую гальку, освободил лодку от снега, подкачал ее, спустил на воду и осторожно положил мотор на мягкое дно. Метрах в тридцати от берега на якоре покачивалась «Чукчанка», грубая и тяжелая лодка, сработанная еще в поселке и заброшенная сюда трактором полтора года назад. Полтора года назад он подписал с урсом договор на ловлю рыбы на этом удаленном от человечества озере. Предлагали дюралевую «Казанку», но здесь она не годилась из-за частых штормов. Лодку он делал сам. Оттого она и вышла нескладной, что тогда он еще ничего не умел. А назвал «Чукчанка» из-за экзотики, потому что два года назад он был еще младенцем в смысле знания Чукотки. Ставить сеть с нее хорошо, а проверять плохо. Поэтому приходится таскать за собой надувную лодку-«резинку».

Андрей подплыл к «Чукчанке», отцепил и стянул с нее брезент. Валет прыгнул через борт, и Андрей, перебравшись за ним, приладил мотор, закрепил резинку на корме на длинном шнуре. Андрей промучился минут пятнадцать, прежде чем, после очередного рывка, мотор, выбросив голубой дымок, ровно затарахтел. Надо было вскрыть магнето, вместо того чтобы слушать эти проклятые поплавки трое суток. Ну да ладно...

Андрей включил скорость, ветер ровно нажал в лицо, и, развернув «Чукчанку», он направил ее на глубокую седловину между двумя сопками, торчавшими над северным берегом. Под носом идущей на буксире «резинки» лопались синие пузыри.

— Ну что, Валя. Закурим? — спросил Андрей и достал пачку папирос и спички.

В коробке было всего пять спичек. Сознание моментально зафиксировало «пять». Вот тебе и покурили! Вернуться бы надо, ах, вернуться... Но потом все пойдет кувырком, это уж верная примета. Да и от берега уже с километр. Ладно, пойдем вперед, погода хорошая, ветра быть не должно. С куревом можно потерпеть, пару спичек оставить на всякий случай. По такой погоде проверка вместе с дорогой займет часов пять, не больше. Хотя после шторма... Странный характер у северной рыбы — гольца. При теплом южном ветре она вялая и спокойно дает

выволакивать себя в лодку, а когда задует ледяной «северяк», рыба становится упругой, стремительной и живучей. Доставать из сети ее трудно.

В конторе за эту работу каждый день откладывается на его имя фиолетовая бумажка — четвертак. За это лето их должно поднакопиться прилично — платят-то рупь шестьдесят за килограмм копченой. Хм, мысли промысловика. Весной, по последнему снегу, трактором отправлено чуть меньше тонны, да вот за лето увязано в мешки и стоит в леднике не меньше. Теперь уже до крепкого ледостава, когда придет трактор с запасами на зиму и заберет эту рыбу...

Сопки как-то внезапно полезли в небо, полоса воды между ними и лодкой сразу сократилась, вода позеленела и внизу заискрились разноцветные камни. Под недалеким берегом раздался шум и гам чаек-мартынов. Покружившись, они полетели навстречу Андрею. Медленно и тяжело летели. Сыты. После шторма они всегда сыты. Да, чайки... птицы поэзии. Стихов-то о них, стихов. И столько же матерщины от рыбаков. Не от океанских, конечно, а от таких, как он. Внутриконтинентальных. Никто так не портит сети и рыбу в них, как они. И нет более наглой и безжалостной птицы.

Андрей выключил мотор, и лодка, поскрипывая, ткнулась в каменистый берег. Валет огляделся, заметил торчавшую коротким бурым колышком евражку, колымского суслика, бросился к ней. Евражка подождала, взвизгнула, исчезла в норе. Не надоест ему за лето...

Андрей отвязал «резинку», подтянул ее, уселся прямо на дно и погреб от берега к дальнему краю сети. Поплавков почти не было видно: верный признак, что сеть полна. Крупные тела рыб просвечивали по всей семидесятиметровой длине сети. Хорошо, особой возни не будет — лишь редкие рыбы живы, большинство уснуло, и они торчали, как листья на стебле: шести- или восьмикилограммовая рыба не может запутаться в мелкой для нее пятидесятимиллиметровой дели, только намотает чуть на зубы и усы.

Андрей подцепил первую от дальнего края уснувшую рыбину, отогнул жаберную крышку. Жабры были темно-красными. Это хорошо, значит, косяк запоролся только вчера и еще сутки мог спокойно ждать выемки. Свежий косяк. Ну, давай...

...И вдруг в небе или еще где тонко и остро, обреченно пропел журавль. Андрей вскинулся. Откуда? Но все

было тихо, плескала вода о борт. Почудилось. А крик так и стоял в ушах.

Рыбы одна за другой шлепались в лодку, покрывая дно, борта и одежду Андрея слизью и кровью. Спины тех, что еще были живы, отливали темно-коричневым перламутром, а на брюхе и боках ярко розовели пятна. Голец — хищник полярных рек и озер. Жрет в этом озере сам себя. Другой рыбы здесь нет. И хотя вытекает из этого озера большая река, в которой водятся и хариусы, и муксуны, и самая приятная для ухи и вялки рыба чир, в озеро они не заглядывают. Оно для них, наверное, вроде того света — непонятно и таинственно. А оттого страшно. За все время Андрей поймал лишь двух хариусов.

В середине сети Андрей увидел первого истерзанного гольца. Глаз нет, розовое брюхо вспорото, на боках дыры. Дель запутана в клубок с распущенными рыбьими внутренностями. Птицы поэзии, провались они пропадом! Их работенка. Андрей возился минут пятнадцать, пока распутал и очистил сеть, выложил рыбину под ноги. Такого красавца испортили, сволочи!

За первым истерзанным гольцом попался второй, потом еще и еще... Начинается... Спички забыл, теперь вот птицы поэзии.

После второй сети пришлось возвращаться к большой лодке и перегружать улов — в «резинке» рыба не умещалась. Во второй сети сидел свежий косяк, и Андрей возился с ним часа два. А были еще третья и четвертая сети, и только часам к пяти он разделался с ними, выправил и снова хорошенько закрепил на случай очередного шторма. Все. Теперь домой. Вот только закурить...

Мотор опять не заводился. Чуть схватывал и сразу глох. Андрей отлил из бака бензин в жестянку, вывернул свечи, протер, пополоскал в бензине и снова протер. Бесполезно. Тогда он зажег в жестянке бензин, сунул свечи туда и ввинтил их горячими. Рванул шнур. Мотор застучал, но как-то не так. Ясно: работает один цилиндр. Заглушить, но потом не заведешь. Темнеет уже. Андрей осторожно включил винт. Звук оборвался. Так. Пока он возился, легкий северный ветерок зарябил воду. Лодку потянуло от берега. Хорошо, хоть с севера тянет. Магнето проклятое... Андрей замкнул на корпус свечу и потянул шнур. Тонко треснуло, и проскочила слабая искра. Нижний цилиндр нормально. А верхний? Нету искры в верхнем. Все ясно. А разобрать магнето можно только дома. Лодку закачало — ветерок набирал силу. В борт зло за-

стучала волна. Последнее средство — дать мотору «чифирнуть». Запрещенный прием, а что делать? Может, хоть один цилиндр заработает.

Андрей плеснул в цилиндры бензина, ввинтил свечи, надел на концы колпачки, рванул шнур. Мотор взревел, он ухватил рукоять и прибавил газ. Несколько секунд мотор работал, выплевывая синий густой дым. Андрей убавил газ и тронул скорость. Лодка рванулась, и снова обрушилась тишина. Вот теперь все. Теперь ничего не сделаешь до самого дома. Андрей закурил и выбросил за борт последнюю спичку. Остается пилить на веслах. Иначе мотор можно угробить совсем. Хорошо, ветер несильный и будет дуть в корму, помогать.

— А ты, Валет, что приуныл? Часам к двенадцати доберемся, не волнуйся. Соорудить бы нам парусок. Но не из чего. Видишь, насколько было легче Колумбу? Да, да, Колумб... такой далекий берег...

Валет посмотрел на хозяина и тихо повизжал. Андрей выбросил обугленный мундштук папиросы и достал весла. Грести будет тяжело, это он сразу понял: сильно тормозила привязанная сзади «резинка». Рядом бежали мелкие волны, они плескали в корму и обгоняли лодку. Весла были самодельные, вытесанные из стволов лиственниц. Тяжелые. Он ими почти никогда и не пользовался. Так, подойти на волне к берегу, выгрузить рыбу, и все.

...Берег отодвигался медленно. Через час сопки все еще нависали над лодкой. Ветер стих. Над сопками разгоралось лунное зарево. Андрей остановился на минуту передохнуть. Могучая северная тишина, казалось, придушила все вокруг. И ветер тоже. Отрываясь с весел, звонко шлепали по воде капли. Они тоже были частью тишины. Андрей снова взялся за весла, уключины громко завизжали. Сопки маячили перед глазами и отдалялись очень медленно. Лучше на них не смотреть. Закрыть глаза и считать до тысячи взмахов.

Снова подул ветер, теперь с запада. Сначала легкими порывами, потом ровной упругой струей. Опять застучали волны, теперь уже в левый борт. Только бы не шторм — иначе выкинет в самый дальний угол озера, километров за двадцать. Там большие глубины, выходы сланцевых плит к самой воде. Пропадут и лодка и рыба. Рыбы килограммов двести, не меньше. Вот идиот, ведь было три дня, не мог посмотреть магнето! А теперь героически ворочай этими бревнами. Надо идти наискосок к ветру и посильнее, иначе далеко снесет. Героически надо идти.

Выглянула огромная луна, и сразу вокруг четко обозначился зазубренный темный горизонт. Теперь можно сориентироваться. На фоне вон той низенькой гряды, где она переходит в пологий скат двуглавой вершины, — дом. Слишком сильно отвернул нос к западу. Ну ничего, теперь пойдет дело. Дорогу, главное, видно.

Ветер опять запрыгал, несколько раз рванул с севера, потом неожиданно ровно задул с юга. Чтоб все провалилось! Андрей бросил весла. Парусом вздувался за кормой высокий нос «резинки». Теперь потащит, теперь не помогут эти несчастные обрубки бревен. Ведь просил же ребят прислать лист авиационной фанеры и новые уключины! А им что! Они сейчас сидят по теплым квартирам. Девиц в гости позвали. Угощают гольцами. «Есть у нас друг на озере, чудак-человек, хороший парень. Не верите — журналист! Поругался с редактором, ну этот — солидные очки и зеленый галстук. Поругался и, верьте не верьте, поехал рыбаком от урса. Крутой парень. А рыбу делает — объедение! Вот, попробуйте».

Андрей рвал весла, но лодку все равно медленно тащило к середине. Тоже мне друзья! Прилетят на неделю. «А рыбка как? И семужного посола есть? Да? Так мы бочонок заберем. И копченых мешочек. А? Ты не волнуйся, как прилетим, с первым попутным вертолетом все отправим — и хлеб, и гвозди, и фанеру. Чепуха, достанем, в авиапорту все знакомые».

— Достали, сволочи! — выругался Андрей. — Олафы Свенсоны!

Валет прополз на брюхе по рыбе и ткнулся носом в колени.

— Уйди, Валет, сиди спокойно! Ничего, они еще приедут, еще не раз рыбки захотят.

Ветер менял направление еще несколько раз, и стало ясно, что шторма не будет. Андрей с трудом ворочал веслами, засыпал, но руки автоматически двигались. Луна зашла.

До берега он добрался уже под утро. Берег был все так же засыпан снегом. Выпрыгнув в воду, Андрей определил, что его отнесло к востоку с полкилометра, не больше. Подняв раструбы сапог и ухватив веревку, привязанную за нос «Чукчанки», он пошел вдоль берега к избе.

Валет молча слетал домой и вернулся, притащив оленью лопатку с обрывками мяса.

— Не стыдно? — укорил Андрей. — Работы еще полно, потерпел бы.

Валет заскулил и понес лопатку обратно.

Возле избы Андрей перебросал всю рыбу на брезент рядом со столом, врытым в берег у самой воды, поставил лодку на якорь, вытащил «резинку» и привязал ее к обрубку дерева подальше от воды.

— Пока все, — вздохнул он, выпрямляясь. — Пойдем, Валя, в избу.

Валет снова поднял кость и побежал к двери.

Андрей зажег лампу, растопил печь, поставил чайник и кастрюлю с оленьим мясом. Через десять минут в избе стало тепло и уютно.

Развалившись посреди избы, Валет тщательно обглаживал кость. Андрей разделся, выпил кружку чаю, закурил, потом съел большой кусок оленьей грудинки и снова пил чай.

В спальный мешок бы сейчас, замотаться с головой и спать, пока не проголодаешься. Нельзя в мешок. Надо потрошить и солить рыбу. Рукавицы-то резиновые прошлый раз на улице оставил, теперь под снегом. Придется голыми руками в соленой, холодной воде. Ну, что, Валя, пойдем работать? Пойдем, собака.

В сером рассвете неясно обрисовывались дальние углы озера и прозрачные контуры сопок над ними. Андрей ополоснул и поставил на стол эмалированный таз для икры, поправил на оселке лезвие ножа и, вздохнув, положил на стол первого гольца.

Окончил разделку рыбы он уже за полдень. Получилось две полные большие бочки и маленький фанерный бочонок. Андрей прикрыл их брезентом. Теперь дней пять, пока просолятся, потом можно чуть подвялить — и в коптильню. Все! Спать!

Доковыляв до избы, Андрей с трудом разделся, залез в олений мешок и, бросив на пол окурок, моментально уснул. Попрыгала в закрытых глазах какая-то птица, улетела, растворилась, и вместе с ней растаяли последние мысли: «Мотор... магнето... перебрать...»

Он проспал и вечер и ночь и проснулся только утром следующего дня. Тело ныло, суставы походили на рассохшуюся дверь. Андрей откинул меховой клапан мешка и глянул в окно. Стекло в окне было грязным и сплошь покрыто дохлыми комарами.

С лета остались. Грязища! В углу паутина откуда-то взялась. Вон какие лохмотья висят. Печь вроде не коп-

тит, а потолок черный. Трактор придет где-нибудь в ноябре. После праздников, конечно. Кто захочет праздники в тундре торчать? Да и лед на реках будет жидковат, побоятся. Да-а... Ну, что ж, надо вставать.

В избе было холодно. Валет убежал куда-то, не прикрыв дверь, хотя и умел это делать. Андрей выгреб из угла сухие дрова, сунул поленья потоньше в печку и сбил дырчатую железку под поддувалом. Она давно уже на ладан дышит. Пока прилаживал ее на место, руки покрылись копотью. Андрей зажег спичку, сунул под дрова, вытер руки полотенцем, потом посмотрел на него и швырнул в угол. Край полотенца бахромой зацепился за ручку чайника, и тот загремел с печки.

— Провались все пропадом! Чокнешься тут! — Он обвел взглядом комнату и вспомнил про спирт. Вот чего надо — выпить! Смазать кости, прояснить взор, чтобы не цеплялся за всякие лохмотья. Помогает иногда эта штука, а однажды даже от самого краешка того света увела. Давно все это было.

Андрей горько ухмыльнулся, вспомнив, как расписались они тогда, четверо молодых парней, в полном пижонстве. Болота на Оби похлеще здешних, а они везли тогда груз из райцентра в поселок разведчиков. Зарядил дождь, пропала дорога. Куда ни глянь — вода. Километров сорок они чуть ни на себе волокли машину. И пришел момент — все! Вот так сели, кто где, прямо в безграничную лужу — пропадай все пропадом! Сыпет дождь, рукой шевельнуть невозможно, скажи слово — все заплачут. И сейчас бы, наверное, еще там сидели, но вдруг бригадир на карачках пополз по грязи к машине, ухватился за подножку, открыл дверь и осел назад с чемоданом в руках. Прямо в грязи раскрыл его и выволок на свет божий две картонные коробки и алюминиевую кружку. В одной коробке были флаконы с «Красной Москвой», в другой — с одеколоном «Сирень». Бригадир натряс из флаконов кружку до полноты и пустил ее по кругу. Ко второй кружке он уже и закуску разыскал в кабине — несколько кусочков почернелого сахара. А потом заставил всех раздеться и драить тела этой же самой жидкостью. «Лучше в нутро опять», — предложил кто-то. «Три! — свирепо сказал бригадир и повертел в воздухе большим кулаком. — Вкалывать еще сутки».

Тем и спаслись, даже гриппа никто не зацепил. Пахли потом изнутри и снаружи ровно месяц. До сих пор Ан-

дрей не переносит запаха одеколона. Но сейчас словно тот самый дождик растекается внутри.

— Выпью!

Андрей достал спирт, вылил в кружку, несильно разбавил водой, нарезал рыбы. Спирт резко осушил рот и горло. В желудке заполыхало, словно замерзший путник разложил там костер. Андрей понюхал кусок рыбы, медленно пожевал и глянул на паутину. Висит... Ладно... Он двинул посуду в сторону и достал мешочек с махоркой. Клочок газеты от грязных пальцев почернел. Андрей второй раз рассматривал их, словно они были чужие. Пальцы распухли. Такие руки в тундре у всех. Любая, самая маленькая царапина заживает не меньше месяца, долго гноится, и не помогает ни бинт, ни йод. Тем более каждый день в воде и в соли. Мишка прошлый раз обещал достать какую-то панацею: мазь с антибиотиками. Сидит сейчас небось в ванне и икает. И думает, что вспоминает его очень красивая девушка. Ошибаешься, милый, это я тебя вспоминаю. Квартиру ты получил в новом доме, с ваннами стали на Севере квартиры строить. А я когда последний раз в ванне сидел? Давно это было. На улице прогромыхивали трамваи, на табуретке лежали нейлоновая сорочка и белоснежное махровое полотенце. А мимо двери торопливо постукивали каблучки. Туда-обратно, туда-обратно. Звенела посуда... Давно это было... Туда-обратно... каблучки...

В ином мире, другом измерении, и он был тогда кем-то вторым. Или первым, сейчас вот... вторым.

Ладно, ни к чему все это. Интеллигентщина, так сказать. За мотор надо браться. Докурив цигарку, Андрей притащил с улицы мотор, снял кожух и поставил рядом со столом, уперев в нары. Ключ для маховика где-то затерялся, и он пользовался бо́льшим по размеру, подкладывая стальную пластинку. Когда он совсем уже приладился, пластинка выскочила, ключ под сильным нажимом резко повернулся вправо, и свободный конец его полоснул большой палец и тыльную сторону ладони левой руки, державшей мотор. Из побелевшей на несколько секунд раны хлынула кровь. Андрей несколько раз тряхнул рукой, и кровь полетела на пол.

— Опять начался денечек, — процедил Андрей.

Он зло посмотрел на мотор, потом перевел взгляд на стены. И опять полезла в глаза лохматая конопатка, паутина эта. Эх!..

...И вдруг сознание его раздвоилось, и тело тоже. Как-

то внезапно стало два Андрея, и один из них рванулся из избы вверх. Он поднимался все выше и далеко внизу видел просторы тундры и языки тайги, хмуро ползущей к северу, снег, лед и лабиринт сопок.

Чем выше он поднимался, тем ослепительнее становился свет, в свете этом плескались в южных морях загорелые женщины, смеялись люди, детишки, огромные самолеты брали на борт сразу по восемьдесят пассажиров. Это же надо — восемьдесят! Теплел свет, манили огнями и силуэты огромных городов, океанские корабли тяжко и в то же время невесомо отваливали от причалов. И все сменялись смеющиеся лица.

А посреди этого пульсирующего мира притаилось замерзшее озеро с маленькой избушкой на берегу. В избушке той на грязных нарах сидел сгорбленный человек, и кровь стекала у него с руки на пол.

...Он вспомнил вдруг один момент своей жизни, давно и тщательно похороненный в памяти. Тогда он очень любил себя. Было такое забалдение. Он хотел стать человеком-символом. Тщеславие гнало его дальше. Он не хотел прославиться в какой-то узкой области. Он хотел быть вообще. Великий Человек Вообще. Обаяние, ум, красота и фейерверк сверкающих дел, за какое бы он ни схватился. Он даже знал, как он должен выглядеть внешне. Загорелый, белозубый, да-да, тонкий юмор. Ах, пошляк. Вылечила его от этой глупости армия, куда он попал вовремя. Вовремя взял его в оборот старшина Семененко и на простых жизненных примерах научил уважать тех, кто в казарме, заставил забыть свой сверкающий лик. Так что же в итоге? В итоге «гордое одиночество», как с неподражаемым хохлацким акцентом говорил старшина Семененко. Так чему научили тебя прошедшие после армии годы, кроме профессии журналиста и рыбака? Или слова «на ошибках учимся» не более как утешительное бормотание у постели смертельно больного? Досада, досада! Нет Великих Людей Вообще. «Мне плевать, что ты гордый, — говорил старшина Семененко. — Ты выскреби пол в казарме, чтобы в нем потолок отражался, ты вычисти с любовью, извиняюсь, сортир, и я буду тебя уважать. Без этого я тебя уважать не буду...»

Андрей стремительно встал со скамьи. Торопливо заходил по избе, но потом тундровая привычка серьезно и детально собираться в любую дорогу пересилила, и он достал рюкзак, положил в него последнюю буханку хлеба, несколько коробков спичек, пачку чая и соли, папи-

росы, кусок оленины, сходил в ледник и принес трех крупных, килограммов по пять, копченых гольцов. Сверху засунул кружку, котелок и оленьи торбаса. На лямки рюкзака привязал большую оленью шкуру. В тундре, как в море, собираешься на день, готовь запас на неделю. После последнего ненастья должна продержаться несколько дней хорошая погода, но кто его знает.

Почуяв сборы, прибежал Валет, подцепил лапой дверь и удивленно уставился на хозяина. Куда это ты собираешься, на улице уже темно?

— А тут почти всегда темно, — сказал Андрей. — Десять месяцев зима, остальное лето. Так и сидеть прикажешь, ждать, когда рассветет? Можешь оставаться, а я пойду.

Валет обиженно взвизгнул.

— Тогда тоже собирайся, да побыстрее.

Валет убежал и через пять минут принес заснеженную, наполовину обглоданную лопатку.

— В лодку тащи, — приказал Андрей, снял со стены ружье, проверил патроны в патронташе и пошел за Валетом к резиновой лодке, ухватив левой рукой рюкзак.

Спихнув лодку на воду, он вернулся в избу, погасил свет, привалил к двери толстый обрубок лиственницы.

— Прощай, немытые пенаты.

Резиновая лодка скользила вдоль берега. Андрей в двух местах срезал по диаметру глубокие полукруглые заливы и подплыл к вытекавшей из озера речушке как раз, когда на небо выкатилась луна. Лодка скользнула в речушку, течение крепко ухватило ее, и песчаные заснеженные берега быстро понеслись назад. Андрей спрятал одно весло, а второе приладил в кормовую петлю для управления. Вот и все, и теперь только смотри вперед и вовремя проскальзывай среди камней, благо в лунном свете они хорошо видны. Черные макушки и белые буруны.

...Он плыл на юг. Редкие вначале лиственницы мелькали по берегам все чаще, собирались в группы, а потом потянулись непрерывной полосой. Часа через три Андрей услышал впереди густой ровный гул. Шумела главная река, в которую и стремилась речушка.

Надвигались из серебряной темноты спящие сопки и уплывали назад. Северные склоны сопок были чисты, южные — заросли редкой лиственничной тайгой. Похожи они были на залысевшие черепа видавших виды мужчин. Воспитывали их там, воспитывали на крайних

югах, потом собрали по указу, и сюда. А тут асфальта нет, тут болота. Болота торбаса держат, а разные там импортные мокасины тонут. Вот и остались одни макушки. Глазеют. Терпят. Ждут. Осушать, говорят, будут Крайний Север, тогда-то мы... Тьфу, какая чертовщина в голову лезет!

Вода гремела на перекатах. По длинным плесам река мчалась бесшумно, только иногда всплескивал под бортом ошалевший от сна ленок, да шарахались в береговом кустарнике задремавший заяц, куропатка или глухарь. Вот тоже — жизнь. Даже во сне держи ухо востро, иначе не заметишь, как слопают. Такая вот жизнь в зверином царстве, что притаилось по темным лесным берегам. Таись, исхитряйся, иначе сожрут.

Приблизительно так объяснил ему ситуацию Владимир Александрович Грачин, дорогой шеф. С глазу на глаз был разговор, и Андрея до сих пор берет оторопь, когда вспоминает, как неожиданно вызверился этот респектабельный человек. Черт с тобой, Владимир Александрович. Что было, то осталось в прошлом. И берега эти, и темный лес, и шум воды также останутся в прошлом. А люди... ребята. Такие, как Федя Валягин, что звал к себе. Он не останется в прошлом. И другие ребята. Где бы он ни был, его дом, его диван, его рубль — их дом, их диван, их рубль. Об этом не говорят. Это знают.

Не верю я, думал Андрей, не верю я во всеобщую пакостность мира. Только больные могут в это поверить. А здоровые не должны верить и во всеобщее выручательство, слюнявое побратимство. Пока можешь стоять на ногах — должен стоять сам, рассчитывать на себя. Опираясь на плечи друзей... Опираясь, не повисай... Он правильно сделал, что ушел на это озеро, в эту избу. Ладно, не ликуй. Сколько же времени? Морозит. Почти четыре. Надо остановиться, хлебнуть чайку. А сильно морозит...

Андрей причалил к берегу, вытащил лодку. Костер разгорелся быстро, и кругом сразу сгустилась чернильная тьма. Валет ошалело мотался по кустам. Обнюхал все вокруг, успокоился и затих. Только уши настороженно ловили ночные шумы. Андрей выпил кружку чая, затем налил самого крепачка, поставил кружку на землю и закурил. От костра шло тепло и спокойствие.

От таких вот костров, одиноких ночевок идет уверенность в жизни.

Андрей допил крепкий до горечи чай. Крепкая завар-

ка без сахара тонизирует не сразу, но надолго. Он залил костер. Стало совсем темно. Потом глаза привыкли, выступили ближние лиственницы, оловянный блеск реки. Он столкнул лодку, выгреб на середину. И снова ровное покачивание на воде, смутный бег берегов, а впереди, справа, небо уже наливалось бледно-зеленым.

Замызганная изба осталась далеко позади, и теперь уж пусть она готовится принимать другого хозяина. Интересно, как его встретит Мишка? Все-таки он парень хороший. Отличный парень. И журналист, наверное, неплохой. Хороший по сравнению с другими. А кто другие? Лида вышла замуж...

Валет заворчал, и в кустарнике на берегу что-то затрещало, метнулась огромная тень. Лось. Несколько секунд еще было слышно, как он ломился сквозь кустарник, а потом шум заглушил все. Валет успокоился.

Через час, когда начал брезжить рассвет, Андрей увидел устье Кечуткана. Он выбрался на берег, затащил в кустарник лодку и, выпустив из нее воздух, спрятал вместе с оленьей одеждой и шкурой. Оставшийся десяток километров надо идти налегке — еще никто из русских не научился ходить по тундре в меховой чукотской одежде, особенно летом и осенью.

Андрей зашагал вдоль ручья. Уже стало совсем светло. Срезая дорогу, он вышел на перевал в гряде сопок, подковой окружившей поселок. Весь он лежал внизу, под ногами, дикая смесь из самодельных хибарок, больших палаток на каркасах и шлакоблочных четырехэтажных домов. Домов было еще мало, они только пунктиром намечали улицы, и от этого казалось, что они тоже построены в беспорядке, где попало. Прямо под перевалом протянулась ровная блестящая в холодном рассветном солнце посадочная полоса. Стояли оранжевые ИЛы полярной авиации и вертолеты. Чуть в стороне выстроились цепочкой «Аннушки». Над поселком белыми шапками висели дымки: по первым холодам уже топили печи.

— Вот тут и будешь жить, — сказал Андрей Валету. Тот поморгал и вылизал морду длинным языком. — Предвкушаешь? Ну, ну! Пошли.

На улицах ревели «Татры», громыхали бульдозеры. Пахло смесью смолистых дров, солярки и горелого в масле железа. Так пахнет во всех поселках золотодобытчиков. В таежных поселках. А в тундровых — другой запах. Там топят углем.

Андрей дошел до здания, где помещался урс, и кас-

сир, потребовав паспорт, отсчитал ему пачку четвертных ассигнаций.

— Крупнее нет, — пояснил кассир.

— А на эти что, ничего не купишь? — спросил Андрей.

— Карман оттопыривают.

— У меня рюкзак.

— Тогда я могу рублями выдать.

— Считать долго, а я разучился. Закрывайте свою контору, пойдем в магазин.

— В магазин — это бы хорошо, — вздохнул кассир. — Но! При нашей работе! Недопустимо! А рыбы нет у тебя? Рыбы бы я поел. Знаменитая на твоем озере рыба.

— Есть, — Андрей развязал рюкзак и отдал гольца.

— Ох и спасибо! — запричитал в окошко кассир. — Ну, удружил! Приходи в любое время, если чего надо. Не стесняйся.

— Ладно, — Андрей вышел на улицу.

Он еще раз оглянулся на здание урса. Это был не дом, а именно здание. Срубленное из дерева, с углами, пристройками и отделенной от мира башней-мансардой. В мансарде горел свет. На месте, выходит, бог — хозяин и кит снабженческих дел тысячеверстных пространств Шакунов Семен Игнатьич. Фронтовик и Герой Советского Союза. Вот так-то! Видали ли вы, неизвестно к кому адресуясь, подумал Андрей, — видали ли вы снабженца — Героя Союза? И часто ли вы, часто ли вы вообще видали таких людей? Пространства тайги и тундры пронзает взором Семен Игнатьич. Туда колбаса, сюда картошка, сюда нейлон и перлон. Вот его, Андрея, уговорил на озеро. Не мельчи, говорит, душой. Тебе, говорит, Андрей, надо что: ушам тишину, рукам работу, башке спокойствие. Вот тебе озеро. Лови рыбу. Рыбаки мне нужны. Живем, представляешь, в краю рек и озер, а рыбу самолетами везем за семьсот километров. И, заметь, только на праздники. Там, конечно, не пансионат, но ты справишься. И вообще — почувствуй материальную самостоятельность, успокойся и решай, как тебе быть...

...Нет, не совсем так тогда было. Была весна, и он шел по весенней улице с характеристикой и трудовой книжкой в кармане. Лиственницы на снегу стояли четкие, залитые солнцем. А дорога была черной и мокрой. По этой мокрой черной дороге его обогнал грузовик. Грузовик шел в аэропорт. Сейчас все грузовики катили

туда, где круглые сутки ревели пассажи авиационных моторов. Экспедиционное время в экспедиционном поселке. В кузове лежали ребята. Еще без бород, еще по-зимнему бледные. Андрей мельком все это заметил, уступая дорогу. Но грузовик вдруг затормозил, и из кабинки вывалился Федя Валягин, начальник партии, шахматный враг номер один. Федя был в торбасах, на них — калоши. Конопатое лицо его светилось радостью. И Андрей рассмеялся, увидев знакомую драную шапку с полуоторванным ухом, прищуренную вятскую физиономию и эти калоши на торбасах.

— Новую моду вводишь? Калоши со скрипом или без?

— Тепло, сухо, дешево и практично, — ответил Федя. — До осени, значит.

— До отпуска, — сказал Андрей. — Твоего отпуска. В Москве встретимся.

— В такой день плоские шутки. — Федя сморщил веснушчатый нос.

Андрей молча показал трудовую книжку.

— Та-ак, — растерянно протянул Федя Валягин. — А с кем я шахматную корону делить буду. С кем говорить про прекрасное. В искусстве, в жизни и в женщинах. Брось! Залезай в кузов. Оформим вчерашним числом. Через час вылетим. Через три будешь ставить палатку, жизни радоваться. «Примула-16» — это мы. Наши позывные. Энтыгейская поисковосъемочная. А?

— Нет, — сказал Андрей. — Не могу. Мне надо...

— А солнце! А весна! Куропатки сейчас с ума сходят. В тайге запах стоит, как будто всю парфюмерию перебили. И «Примула-16» — это мы, писарская твоя душа.

— Домой полечу, — сказал Андрей. — В цивилизацию.

— Ума не надо. Силы тоже. Самолеты ходят, билет свободно. Ты вдумайся. Человеком за лето станешь. А мы, — Федя даже хохотнул, — будем каждый день про тебя в газету очерк писать. Какой ты романтик. Какой у костра задушевный товарищ. Как ты один на один съел медведя. Как не боишься трудностей. Как ты открыл ун-ни-к-каль-ное месторождение, стоял и думал: «Здесь будет город». И счастливая слеза текла по твоей небритой, опухшей от комаров щеке.

Андрей усмехнулся.

— Решай, — уже серьезно сказал Федя. — Два дня

можешь думать. Два дня нас еще забрасывать будут. Потом — все.

Андрей шел по поселку и очень хотел остаться один. Тут-то с небес и раздался крик: «Андрей». Он поднял голову и увидел, что стоит перед урсом, а с небесной башни окликает его Шакунов.

— Зайди. Дело есть.

— ...Нет дел, — сказал уже в мансарде Андрей. — Не работаю я в газете.

Шакунов прочел характеристику: «Вдумчивый, честный... принципиальный. Отличное журналистское перо...»

Статья в трудовой — «по собственному желанию».

— Ух, — Шакунов с уважением вернул характеристику. — Прямиком в АПН и сразу в загранкомандировку.

— Бросьте, — устало отмахнулся Андрей. — Вы же все знаете...

— Мало ли что я знаю. Дай-ка лучше твою книжку и бумажечку.

Запер Шакунов в сейф и трудовую книжку, и характеристику, а Андрей, «вдумчивый, принципиальный, блестящее перо», стал штатным рыбаком урса.

Мишкин дом он нашел на краю поселка, в конце улицы Обручева.

— Смотри ты, даже звонок! — сказал он Валету. — Тут лапой дверь не откроешь, тут интеллектуальный минимум не поможет — технический требуется. Вот, учись! — он нажал кнопку. За дверью взвыл звонок. Валет ощерился и отскочил к лестничной клетке.

Дверь распахнулась.

— О! — сказал Мишка. — Ух ты!

— Валя, — сказал Андрей, — заходи.

— И Валет здесь! — Мишка ухватил его за уши, втащил в прихожую, потом оставил пса и показал на вешалку:

— Давай раздевайся.

— А ванна?

— Что ванна?

— Я думал, ты из нее не вылезаешь.

— Ха! Там только вечером горячая вода, сам знаешь, как у нас с водой. Ну, проходи. Вот как я теперь выгляжу.

Он распахнул дверь направо: там была большая комната с большим окном без стола и стульев. У стены соб-

ранная раскладушка, в углу налево свернутый матрас, и по всей комнате книги и газеты.

— Во! — сказал Андрей. — Смотри, Валя, — литературное стойло литсотрудника районной газеты. Здесь и ты будешь спать. Пошли дальше.

Налево по коридору были ванная и кухня, а дальше, направо, еще одна комната, поменьше. Там у железной односпальной кровати стояла табуретка, и на ней машинка «Москва» с заложенным в нее листом, и по всей кровати валялись исписанные листы. На столе в углу, схоронив под собой электрическую плитку, громоздилась десятилитровая кастрюля. Груда рукописей лежала на чемодане, между окном и кроватью.

В комнате было два стула.

На широком подоконнике телефон.

— Ни дня без строчки, — сказал Андрей. — А где фанера? Сколько я тебя буду учить — журналист не имеет права на вымысел, а уж про обман и говорить нечего. Ты не отрок, но муж, ибо журналист даже районной газеты успевает прожить две жизни там, где остальные еле-еле протягивают одну. Журналист — это солдат на фронте жизни. Так где фанера, солдат?

Они с минуту смотрели друг другу в глаза. Мишка не выдержал первым, и они громко расхохотались. Андрей смеялся и чувствовал, как постепенно рассасывается напряжение, завод на мгновенность ответного действия, что всегда сопровождает одинокого человека в тайге.

— Достал я тебе фанеру, — сказал Мишка. — Даже два листа. Так что не сердись. Вывезти не смогли. У тебя там близко нет геологов, а сейчас все вертолеты на их вывозке. Сезон-то кончился.

— Тогда спасибо, — Андрей развязал рюкзак. — Только теперь не надо.

Он выложил на стол рыбу и жареную оленью грудинку. Мишка любил грудинку. Из кармана рюкзака Андрей выставил на стол бутылку спирта.

— Мне материал надо срочно доделать, — сказал Мишка. — Там чепуха осталась, две страницы. — Он достал стопки, налил и разрезал рыбу. — Ну, будь здоров.

Они выпили и по очереди отхлебнули воды из ковшика. Мишка ухватился за рыбу.

— А колбасы нет? — спросил Андрей.

— Навалом, — Мишка ушел и принес длинное по-

лено вареной оленьей колбасы. — Как может надоесть такая рыба?

— Надоела, — сказал Андрей.

Зазвонил телефон. Все поселковые телефоны кричали, словно проигрыватели.

— Сергеев! — услышал Андрей голос Грачина. — Где материал?

— Делаю, — сказал Мишка. — Срок до трех. Сейчас двенадцать.

— Ладно, знаю. Считай звонок проверкой исполнения. И не очень там...

— Что не очень?

— Мрачно на жизнь смотришь, Сергеев. Очерняешь. Учти, что руководству обстановка известна. Там же комиссия перед тобой побывала.

— Отчет комиссии у меня.

— Вот, вот. Руководствуйся.

— Директор перед комиссией дырки замазал, втер им очки.

— Не было дыр, Сергеев. Ездили опытные товарищи.

— Страхуемся, Владимир Александрович?

— Эх, Сергеев, — голос Грачина потеплел. — Производство — не футбол, там горячку пороть нельзя. Иногда полезно глаза закрыть. Или указать в частном порядке.

— За каким чертом я тогда ездил? — заорал Мишка.

— Проверять письмо.

— А что я людям скажу, которые его писали. Которые ткнули меня в дыры. После комиссии ткнули.

— А ты пиши: есть отдельные недостатки, устраняются после работы комиссии. Все будет правильно.

— Владимир Александрович...

— Ну-ну...

— Да нет, ладно... Материал принесу в три... — Мишка бросил трубку.

— Вот как, — сказал Андрей. — И тебя он выгонит.

— Жалеть не будем.

— Будешь, — Андрей налил в стопки. — Ты иначе не сможешь.

— А ты-то можешь?

— Могу. У меня все-таки школа жизни кое-какая. Я рыбак теперь. Рыбаки не злопамятны. Всепрощенцы мы... Да и домой я поеду.

— Где дом? — качнул головой Мишка. — Где дом наш и хлеб?

— У меня на «материке». В Подмосковье.

— Где дом наш, хлеб и наши идеи, — повторил Мишка. — Вначале ты учил меня честности в работе. Потом убежал на озеро. И я все думал: какую идею привезешь ты из тишины. Что, кроме рыбы и денег?

— Поеду. Не отговоришь.

— Ладно, — сказал Мишка. — Этот разговор впереди. А сейчас я устрою тебе контрабандную ванну...

Мишка вытащил из кладовки длинный шланг, перекрыл на кухне батарею с краником, протянул шланг до ванны, потом открыл батарею. В ванну полилась горячая коричневая вода.

— Во! Раздевайся и лезь. Я пойду достукаю материал.

Блаженство, думал Андрей, пошевеливая в воде коленями. И так можно каждый день. Или пока не осточертеет. Отойдут руки, исчезнет кислый запах, впитанный кожей от рыбы и шкур. Да, пора возвращаться к профессии. Бумага требует пера. Газет в Москве много. Журналы опять же, телевидение, радио. Будем проходить столичную школу работы. Счищать с себя мох. Буду элегантным и ироничным. Блестящее перо. А когда буду рассказывать, что полтора года прожил один и кормился рыбалкой, никто не поверит. Может, и сам уже буду не верить. Буду думать — приснилось. Потом прибежит Мишка. Ему прибежать труднее, так как для него слова «тундра», «Полярный круг», «тайга» — имеют особые значение и вес. Он эти слова любит. Он нежно их любит. Люди это чувствуют и верят ему. С улыбкой верят. Пакостно мне что-то. Как будто я что-то в избушке забыл...

— Я побежал, — крикнул за дверью Мишка.

— Сколько же сижу? — очнулся Андрей.

— Полтора часа. Одевайся. Там на кровати я все приготовил.

Хлопнула дверь.

Андрей вымылся, вытащил пробку в ванне и босиком пошел в комнату. Было чертовски непривычно идти босиком по теплому полу. На кровати лежали трусы, рубашка, брюки и свитер. Они с Мишкой были одного роста, только Андрей пошире. Пойдет: подсохло тело за это время. Одеваясь, Андрей заметил приколотую к стене фотографию, и волна нежности мягко толкнула сердце. Он эту фотографию делал. Сгрудились заснеженные па-

латки, и из печных труб вертикально в небо шли дымы. Ах, давно... Тогда он только пришел в газету. Вадик Глушин учил его: «...Стари-ик! В газете я вижу глы-бу! Именно так, старик. Каждый может об эту глыбу опереться спиной. Да! Газета — глыба-опора...»

Глыба-опора вместе с типографией помещалась в дощатой, утепленной торфом хибаре, а сами они жили в палатке с железной печкой. Весь поселок была сплошная палатка. И все было впереди для них, для поселка. Даже имя поселок получил позднее. Нет, тут не было наивных романтиков, считавших, что великая стройка обязана начаться с палаточных мук. Кто бесхозяйственность называл этой самой романтикой. Просто здесь иначе было нельзя. Такова была специфика горного дела. Все это знали, и никто не винил проектировщиков, снабженцев или начальство.

Здесь жили корифеи палаточной жизни. Когда размеры и контур золотоносного района стали ясны, новые дома возникли как по волшебству. И уже появились кое-где бетонные тротуары, и уже появились дети и женщины. Только стали исчезать знакомые лица. Старые кадры, профессиональные первопоселенцы. Может, они уходили, заскучав в многолюдстве, как уходили казаки-землепроходцы лет триста назад. А может, в других краях требовались корифеи палаточной жизни, высокие профессионалы.

Да, Вадик Глушин был идеальным редактором той поры. При нем в редакцию заходили кричать. Кричали про порядки в пекарне, забегал какой-то ошалевший от счастья папаша и просил выразить благодарность какой-то Людмиле Сергеевне из родильного отделения в городе Темрюке на Азовском море. И обязательно через газету. Заходили геологи и осторожничали в оценке перспектив. А Вадик каждому совал лист бумаги и толкал в угол к столу — «пиши».

...Ушел на повышение Вадик Глушин, заставивший сотрудничать в газете весь район. Уехал он в самом преддверии перемен. Газета перешла в новое здание. Линолеум, цельные стекла. Понаехала масса новых людей. И быстро исчез старый дух единой семьи, когда каждый к каждому мог завалиться в любое время суток. По принципу: раз пришел, значит надо. Модно стало иронически относиться к жизни. Не к трудностям пресловутым, а к жизни вообще. Разговоры пошли про диссертации. Каждый приезжий обязательно писал диссертацию или о

ней говорил. Впечатление такое, что под каждой кочкой лежало по диссертации.

...Ладно. Воспоминания, черт их возьми. Следом исчез Матвей Березовский. Худой, желчный, логичный и замкнутый. Березовский, известный под кличкой Странный Матвей. С Вадиком они были идеальными антиподами, единством противоположностей. Производство Странный Матвей изучил потрясающе. На каждом участке имел личную «шпионскую сеть» и обо всем, что делалось, знал иногда лучше начальства. И начальство, битые зубры, Матвея боялись и уважали. Он никогда не говорил зря, за это и уважали. Когда Березовский исчез, все решили, что его утянул за собой Глушин. Матвей любил окружать себя тайной, никто так и не узнал, почему он оказался в Хабаровском крае, совсем не у Глушина.

Андрея назначили на его место. Заведующим промышленным отделом. Он считал своим долгом продолжать традиции Вадика Глушина и Березовского. Березовский узнал о назначении, прислал письмо. «Помни, что журналист без позиции — не журналист, а некий субъект, который получает зарплату в редакции. Ты должен иметь позицию...»

Он выбрал позицию. Да, старый принцип: кто не с нами, тот против нас. Опоздал из командировки — служебное разгильдяйство. Написанный по «методу Березовского» материал — очернение действительности. Защитить кого-либо, как это делал Глушин, — «газета — орган печати, и мы должны стократно проверить: тех ли мы защищаем».

Все в папочку, все организованно. Когда получился разлад с Лидой, это легло в рубрику моральной нечистоплотности. Выпил с ребятами из геологического управления — систематическое пьянство в рабочее время. Скопилась папочка, прочтешь — удивишься, как такого гада земля носит...

Щелкнул замок.

— Сдал, — сказал Мишка. — Пусть читает дорогой товарищ редактор. Поддубенко, говорит, звонил. Удивляюсь я. Поддубенко же клевый мужик. Как он Грачина терпит.

— А Поддубенко — работяга. Он одну истину знает — район должен давать золото. Он и дает. Старой закалки кадр. Он Грачина просто не видит. Районная печать действует? Действует! Промахов нет? Нет! У Грачина все всегда гладко. Он письмо твоих работяг не

понесет Поддубенко. На прочтение. Он говорит: «Есть отдельные сигналы...» Ну и поехала комиссия этих авторитетных пенсионеров. Которые здесь пенсию ждут...

— Ну, — сказал Мишка, — преклоняюсь перед твоей интуицией. Именно так и было.

— Я Грачина знаю. Он не любит скандальные дела выносить на полосу. Скандальные дела всяко могут перевернуться. Те халтурщики тоже не без зубов.

— Поеду к Поддубенко, — решил Мишка. — Покажу письмо, расскажу, как обстоит дело.

— Ты рыбу ешь, — улыбнулся Андрей. — Закусывай лучше, Аника-воин.

— Ем. — Мишка отрезал ломоть. — А ты знаешь, я женюсь. Самым серьезным образом.

— Сергеев, ты Андрея забыл?

— Помню. А куда денешься? Голос потомков. Нет, серьезно. Мы сейчас с тобой пойдем в «Самородок». Она там будет. К семи часам.

— А я ее знаю?

— Нет, только недавно приехала. Полгода. — Мишка застенчиво хмыкнул.

— Угу! — буркнул Андрей.

— Дурак, — покраснел Мишка. — Собирайся, пойдем в «Самородок». — И неожиданно блатным голосом запел: — Топить гор-р-ре с-вое по р-р-рестор-р-ранам! Пус-с-скай р-р-ыдает с-саксофон!..

— Мне надо позвонить, — Андрей подошел к окну.

— Лиде, что ли?

— Нет. У Лиды Вася. Ей он звонит. А мне — в аэропорт.

— Ишь ты. Какие слова выговаривает. Ну, звони.

Андрей набрал номер. Аэропорт ответил.

— Мне билет надо заказать на Москву, на семнадцатое число. На послезавтра, значит.

— Значит, улетаешь? — спросил Мишка.

— Ага. Давай вместе.

— Нет, я жениться буду.

— Выпившая ты личность, — определил Андрей.

— Выпившая, — согласился Мишка. — Только я никуда отсюда не полечу. Совсем.

— Так и умрешь здесь, — кивнул Андрей.

— Так и умру, — опять согласился Мишка.

Он посмотрел на часы и заторопился:

— Половина седьмого, давай одевайся. Вон мою куртку возьми, я пальто надену. А Валета дома запрем.

— Пусть идет, а то без двери останешься.

Легкий мороз чуть туманил шары света над редкими фонарями. От печных труб прямо в небо торчали дымки.

Они шли через поселок, преображенный вечером, мимо окон, голосов, мимо притихших домов. В этот час великая северная тишина, казалось, приблизилась к поселку, и людской шум мирно соседствовал с ней. Андрей вдруг почувствовал мгновенный приступ тоски. Они проходили мимо геологического управления — самого большого здания в поселке. Каждый раз, когда он проходил мимо него, бывало вот так... остро и мгновенно. Когда проходишь мимо давней мечты. Во всех почти окнах горел свет. Джентльмены тундры работали. Вернулись из экспедиций, отшумели положенные три дня, и сейчас вот, в нерабочее время, везде горел свет, потому что в этом мире хороших парней было принято работать когда угодно.

Андрей увидел, что дорогу переходит знакомая долговязая фигура в полярной куртке. Парень крупно шагал, чуть согнувшись. Еще не отвык от полевой походки Костенька Раев.

— Эгей! — окликнул его Андрей.

Костенька мгновенно развернулся и заторопился навстречу — весь добродушие и радость.

— Здорово!

— Пропащая душа! Говорят, ты в эти... гольцовые короли заделался? Где? Не на Энтыгыне? Если там — жди зимой. Прибегу на лыжатах.

— Было. Там и было. Ты в управу?

— Туда. Канчагин прилетел на несколько дней. Кит по палеозойской фауне. У меня кое-что непонятное нынче. Поможет фауну определить. А ты?

— В храм угара. Может, вместе? Давно не видались.

— Рад бы, Андрюха, но... сам понимаешь... Посижу с Канчагиным вечерок. Он мне поможет, я у него поучусь. Вот и будет ладно. Понял?

— Ну, давай.

— Ну, бывай! Скажу ребятам. Будут рады. Недавно тебя вспоминали.

Они протянули руки, и каждый сжал ладонь другого, мгновенная проверка на крепость, и Костенька уважи-

тельно вскинул глаза на Андрея и пошел, понес свое тело на сухопарых длинных, как у лося, ногах.

Окна «Самородка» были по-южному огромны, изнутри они запотели, и сквозь них ничего не было видно, только через форточки вырывались клубы пара, похожие на дым.

— Крематорий, — сказал Мишка. — Здесь сгорают время, мысли и воля.

В гардеробе стоял дядя Вася с увядшим синяком под глазом.

— Это кто? — спросил Мишка.

Дядя Вася неопределенно пожал плечами и ответил:

— Третьего дня у нас в меню был коньяк.

— А-а-а, — понял Мишка. — А сегодня что?

— Сегодня, как всегда — шампань, «Зверобой» и разливной портвейн... Давайте вашу одежку.

— Куплены в дор-рогу сиг-гаре-ты! — закричал кто-то в углу. — Давай к нам, Мишка!

Мишка помотал головой и показал четыре пальца.

Столик они нашли у окна, в дальнем конце зала.

— Эстер, нас четверо, — сказал Мишка официантке.

— Очень понимаю. — Слова были сказаны с акцентом.

— Кто такая? — глядя ей вслед, спросил Андрей.

— Жена одного горняка. Ездил в отпуск в Прибалтику, а свадьба здесь была.

Эстер принесла бутылку «Зверобоя», шампанское, заливную оленину, салат из кислой капусты и осторожно достала из кармана фартука и положила на стол ярко-красное яблоко:

— Это... презент. Дамам. Ведь они будут?

— Да, — засмеялся Мишка. — Эстер, ты прелесть. Дай я тебя поцелую.

— Здесь полно людей, — улыбнулась Эстер. — Будет другой день.

— Ладно, — засмеялся Мишка.

— Очаг! — вздохнул Андрей, оглядывая зал.

...Действительно, этот огромный зал был чем-то вроде единого очага, где вечерами встречались поселковые жители, так или иначе знавшие друг друга, хотя бы в лицо. Сюда приходили ужинать холостяки, здесь отмечались разводы, свадьбы и дни рождения, здесь ты всегда мог найти нужного человека, если не нашел его в другом месте. Крепко пить здесь считали нужным лишь те, кто прибыл с дальних разведок или участков. И опять-таки

напиться здесь было нельзя. Слишком много мускулистого мужского народу было кругом. Человек не успевал заметить, как оказывался уже на крыльце в пальто, шапке и шарф был в кармане.

— Вон видишь, — сказал Мишка, — лезет через столы человек. Это наверняка к нам. Ленька Полухин со «Знаменного».

Крепкий смуглый малый в свитере продрался через частокол ног и столов, плотно опустился на стул и протянул руку Мишке. На Андрея он даже не посмотрел.

— Здорово!

— Ты что здесь? — спросил Мишка.

— За бульдозером прилетел.

— А обратно?

— На гусеницах. Желаешь? Распишешь там про перевалы.

— Брось, — отмахнулся Мишка. — Не люблю...

— Не обижайся. Хе! А здорово мы тогда харюзов жарили. Вспоминают тебя ребята. Веселый ты тогда был.

— Забеги завтра в редакцию, — сказал Мишка. — Я промывальщице книги обещал достать. Для техникума. Я достал.

— А Нинка сказала: зайди, спроси. Или, говорит, лучше не надо. Забыл, наверное. Журналист, говорит.

— Брось. У тебя работа, у меня работа, и надо делать ее лучше. Что, на бульдозерах халтурщиков нет?

— Есть. Только бульдозер что? Железо? А газету читают.

— Эх, не люблю я таких разговоров.

— Давай к нам пересядем. Ребята там. Выпьем маленько. Закурим, потолкуем про жизнь.

— Я не один.

Только теперь парень повернулся к Андрею, так уж полагалось по местному суровому этикету. Он протянул ладонь, твердо взглянул в зрачки.

— Леонид.

— Андрей.

— Будем знакомы, — парень улыбнулся.

И опять-таки по неписаному кодексу здешних мест считалось, что в возникшей, допустим, драке этот парень будет уже на стороне Андрея, что, попав на «Знаменный», он может разыскать Леньку-бульдозериста и получит стол, кров, деньги взаймы, любую помощь, и это будет действовать до тех пор, пока Андрей не дискредитирует себя каким-либо поступком, не окажется шкодни-

ком или, хуже всего, трепачом. Много понятий включало в себя это короткое «будем знакомы».

И в это время сзади раздался такой знакомый голос:

— Я же говорил! Я утверждал, что не сможет он. Не вы-не-сет о-ди-но-че-ства. Его к людям потянет. Сбежит. И — сбежал.

Андрей обернулся. Грачин стоял за его спиной. Всякий раз Андрея поражало лицо Грачина своей свежестью и розовостью. Он привык уже к темным обветренным лицам вездеходчиков, геологов.

— Я не сбежал, я пришел, Грачин, — попытался объяснить Андрей.

Но Грачин уже переключился на Мишку.

— А ведь я тебя, Сергеев, ищу.

— Вот он я. Обитаюсь в злачных местах.

— Ви-и-жу!

— Материал я сдал, — бубнил Мишка. — Что еще? У меня свободное время. Друг у меня приехал.

Ленька Полухин встал, пожал Мишке локоть, кивнул Андрею и, лавируя между столиками, пошел в дальний угол, откуда ему зазывно махали парни.

— Не совсем ты сдал материал, Сергеев, — возразил Грачин. — Идет он в завтрашний номер. Надо убрать два азбаца. Получится оч-чень хороший материал. Кстати, Поддубенко интересовался, ты знаешь.

— Я не разрешаю убирать ни единого слова.

— Тогда придется снять вообще.

— Я пошлю в область.

— До шантажа уже докатился, Сергеев? Грозишь?

— Нет. Ситуацию разъясняю. Все обстоит именно так, как написано.

— С него берешь пример? — Грачин кивнул на Андрея. — Он тоже склоками увлекался. И часто сюда заходил тоже.

— Есть такое слово «долг». С него и беру пример.

— Поддубенко на последнем совещании сказал, что от склочников надо освобождаться. Ты понял это, Сергеев?

— Грачин, — сказал Андрей. — Иди домой.

— А ты помолчи. Еще поболтаешься — проверку устроим. На какие средства живешь.

— Опоздал ты с проверкой. Билет у меня в столицу.

— Тише! — сказал Мишка. — Нам только скандала и не хватает.

— Кто здесь кричит! — неожиданно и весело прозвенел голос.

Андрей повернулся.

Две девушки стояли у стола. Та, что спрашивала — немного впереди, и Андрей сразу ухватил ее своеобразие. Крохотная и некрасивая, и стрижка, и мальчишеская угловатость, веснушки, и в то же время такой веселый свет шел от нее, что хотелось засмеяться.

Она смотрела на Андрея дружелюбно, внимательно, и где-то в уголках ее глаз пряталась радость.

Что она радуется, подумал Андрей. Сравнивает меня с Мишкой? Лучше, лучше твой Мишка.

— Вот, — представил Мишка. — Познакомься, Леля. Это и есть Андрей.

— Отлично, — сказал она, и стало ясно, что именно это отлично.

В возникшей суматохе, пока Мишка усаживал Лелю, пока изумлялся Андрей, осталась позабытой вторая девушка. Она села сама. Села тонко и прямо, только взметнулись длинные волосы, и блеск их как бы отразился в раскосых глазах.

Андрей посмотрел на нее, на Лелю, потом оглянулся. Грачин ушел.

...Черноволосая девушка выпила шампанское быстрыми мелкими глотками... раз, два, три... оставила фужер и улыбнулась Андрею. Метиска, подумал он. Или якутка, или...

— Надежда, — назвалась она.

— Ох, — вздохнул Андрей. — Какой далекий берег.

— Берег? — удивленно спросила она.

— Я же рыбак, — пояснил Андрей.

— Эй! — окликнул их Мишка. — О чем вы там говорите?

— О парусах, — сказала Надежда. — Хотим за них выпить.

— Ух ты! За паруса, — подхватила Леля и высоко подняла фужер.

— Эстер! — позвал Мишка проходившую официантку. — Принеси нам дикого зверя.

— Будет сделано.

— Эстер, — спросила Леля, — как вел себя этот человек в мое отсутствие?

— О, ужасно! — Эстер всплеснула руками. — Этот человек предлагал мне поцелуй. Это есть вероломство.

— Я так и знала, — кивнула Леля. — Спасибо, Эстер, он у меня сегодня попляшет.

— Не буду, — взмолился Мишка. — Никогда не буду!

— Где он ее нашел? — Андрей наклонился к Наде.

— В геологическом управлении. По распределению приехала. Занимается картографией. Они сдают новый прииск, готовят подсчет запасов.

— Вы перестанете шептаться? — спросил Мишка.

— Мы решаем твою судьбу, — пояснил Андрей.

— Я сам с ней управлюсь, — засмеялся Мишка.

Пришла Эстер и поставила на стол бутылку.

Пьянею, подумал Андрей. Отвык от гадости этой. От воздуха такого отвык. И вообще...

Мишка и Леля ушли танцевать. Потом Надежду пригласил какой-то парень с университетским значком. Она вопросительно посмотрела на Андрея и ушла. Только сейчас Андрей заметил, что она просто красива. Матовое лицо, и волосы эти прямые, и точеная фигура, унаследованная от таежных предков.

Оркестр шпарил твист про черного кота, и навязчивый ритм так и бил в уши, точно толчками загонял туда шум и табачный дым. Он разыскал глазами Мишку и Лелю. В этой толпе они были точно дети. Мишка, друг Мишка, обреченный быть ребенком до конца дней, есть такие люди, и он из них... И Леля. Женщина-подросток. Вот так, подумал Андрей, чудеса распределения сводят двух людей, никогда не знавших друг друга, сводят неведомо где их, придуманных друг для друга. Андрей вдруг почувствовал зависть. Это так ошеломило его, что он машинально встал, оделся и вышел на улицу.

Голова, действительно, кружилась, и морозный воздух еще четче оттенил и недавний чад и вкус «Зверобоя».

Туман загустел, и мороз был градусов двадцать. Из снежной кучи около крыльца вылез Валет, отряхнулся и широко зевнул, выгнув спину.

— Ждешь? — спросил Андрей и запустил пальцы в густой мех на загривке. — Хороший ты парень, Валя. Тебе бы говорить научиться. Или не надо? Лучше не надо. Пойдем, Валя...

Он долго ходил по поселку, пытаясь разбудить в душе прощальные чувства. Послезавтра его здесь не будет. Не будет лиственниц, посаженных строительством, и шлакоблочных домов, и снежных сопок, и всего ощущения отдаленности. Отдаленность, помноженная на размах души, — вот что такое эти места. Вначале была просто

тайга со зверьем, с лесом и климатом, потом прошел какой-нибудь Костенька Раев и изумился, глядя в лоток. После было много таких изумлений, были палаточные муки разведки, мозоли безвестных шурфовщиков и буровиков, бессонные ночи камералок, и уже выползал контур россыпи, а где-то на подходе били копытами армии снабженцев. Тысячеэтажный мат шоферов, инфаркты двигателей внутреннего сгорания, промороженные, проклятые, судьбами выстеленные дороги, и вот — пожалуйста: прииск, поселок. Лет через десять наверняка образуется город. А потом... Ладно. Все равно послезавтра он улетает.

В проулке между двух недостроенных двуэхтажных коробок Андрей увидел маленький скособоченный домик с ярко освещенными окнами. Заскрипел унтами человек, бухнула дверь. В просвет двери Андрей увидел другие фигуры. Закусочная «Север». О боже! Еще жива!

Перед дверью сидел черный лохматый пес чуть меньше Валета. Он молча посмотрел на них, потом осторожно подошел и понюхал Валета. Валет поднял губу, показав клыки. Пес дернулся назад, присел на лапах и положил морду боком на снег, потом подскочил и замер. Валет посмотрел на Андрея.

— Довольно приятная дама, — сказал Андрей. — Ты пока познакомься, я быстро.

Андрею вдруг захотелось прикоснуться к нерегламентированной жизни, к тому последнему, что так или иначе связано со словом «Север», что сопутствует рождению будущих городов.

Он открыл дверь и вместе с клубом морозного воздуха ввалился в закусочную. Низкий маленький зал был набит, даже у подоконников стояли люди с тарелками и стаканами. Толпа плавала в густом табачном дыму.

Здесь было место, куда заходили приехавшие с дальних разведок шурфовщики, если не имели при себе гардероб для «Самородка» и не хотели на один-два дня покупать новый, и здесь собирались те, кто получил 47-й пункт «г», в надежде встретить кореша, который поможет, опохмелит, найдет место в каком-нибудь штатном расписании. Раньше Андрей часто бывал здесь. Его интересовали эти потерявшие себя мужики, которые идут на любую работу, была бы крыша, топчан и возможность выпить.

Он протиснулся сквозь толпу к стойке, разыскивая знакомые лица. Знакомых лиц не было.

— Чего тебе? — спросила буфетчица.

— А что есть? — рассеянно спросил Андрей, озираясь.

— «Зверобой», портвейн и коньяк.

— Коньяк.

Он взял стакан коньяку, густо пахнувшего портвейном, тарелку оленьего холодца, притиснулся к столу. Его внимание привлекли два парня. Они резко отличались от посетителей этой забегаловки тем, что имели лица подонков. Да-да! У всех здесь были человеческие лица видавших виды ребят, а эти двое были подонки, причем разные. Один — длинный, с мягким и мокрым каким-то ртом, белыми расхристанными глазами. Истерик, подумал Андрей. Второй — пониже, плотный и осторожный. Жулик, определил Андрей.

— Иди, говорю, ко мне, не пропадешь. В бригаде у меня молодежный набор. Молоденькие еще, без опыта...

— Не-е! — пьяно возразил длинный. — Я полечу на Катык и набью бригадиру морду. Как мог он платить мне триста, когда на Хатейке зашибают пятьсот?

— Иди ко мне. Народ там строится, и за стройматериалы... Год работы — на жизнь хватит. Можно мотать на «материк».

— Набью ему морду, — долбил длинный.

— С этим долго не проживешь. Тихо жить надо. Бесшумно.

— Учат тебя, дурака. Усекай, — сказал Андрей и посмотрел в глаза длинному.

— Ты-ы! Ты-ы! — изумился тот. — Фраер!

— Тихо! Ладно! Без шума — заоглядывался плотный. — Пойдем лучше.

— Толкуйте! — Андрей допил коньяк и пошел к выходу.

Да, не довел социологического анализа.

— Стой, фраер! — крикнули сзади.

Он оглянулся, и в тот же момент что-то тяжелое обрушилось на затылок, и он, падая, успел увидеть Валета, который с удивлением смотрел на него. И услышал голос второго: «Брось! Убьешь! Убегаем!»

...Очнулся он скоро. Видно, шапка смягчила удар. Голова раскалывалась. Он пощупал затылок. Рука была в крови. Андрей шел по поселку, соображая, где тут живет Костенька Раев. Он не хотел идти к Мишке, не хотел

путать его и Лелю в свои социологические занятия, которые так кончаются.

Светились окна. За ними сидели отцы и рассказывали на ночь детишкам о тайге, медведях, евражках. Вертолетчики, которым завтра мотаться над районом, бухгалтеры. Ребята, думал Андрей, что ж вы мразь развели? Неужели забыли, как мы сами, без милиции, очищали поселок.

А улица все закручивалась бесконечной спиралью и была пустынна.

Потом откуда-то вынырнула тонкая фигурка и быстро приблизилась к Андрею.

— Боже мой, — сказала Надежда. — Я ищу вас по всем улицам.

— Зачем? — спросил Андрей и сел в снег и опустил в него пальцы. Снег был сухой и совсем не холодный. Мягкий теплый снег, в нем можно лежать очень долго и ничего не делать, а главное, ни о чем не думать.

— Вставайте, — Надежда потянула его за рукав. — Ну, вставайте же, тут два шага до моего дома.

— Зачем? — повторил Андрей.

— Мне надо топить печь, — сердито сказала она. — Я замерзну ночью, а вы тут расселись, ищи вас.

— Какая прелесть — женская логика, — улыбнулся Андрей. — У вас некому затопить печь? Где этот берег у печки?

— Вы еще помните?

— Я все помню. Меня тут били какие-то весельчаки.

Она сильно дернула его за руку, и Андрей встал. Надежда просунула ладонь ему под руку и повела по улице.

— Сейчас придем, — торопливо говорила она. — Еще несколько минут.

Они свернули в переулок и пошли по тропинке через поляну с редкими лиственницами. Поселок остался сзади, а впереди горела редкая цепочка огоньков. Потом огоньки стали квадратными, и обозначились маленькие окошки. За поляной у края тайги стояло несколько домиков. Надежда подвела его к третьему, позвенела ключами и открыла дверь. Щелкнул выключатель. Андрей стоял в маленькой кухне с большой печью, а в открытую дверь виднелась комната, там было темно, свет из кухни выхватывал только кусок тахты.

— За нами какие-то собаки всю дорогу шли, — сказала Надежда, сбрасывая шубку.

— Их накормить надо, — сказал Андрей. — Это мои собаки.

— Ну и хорошо. Накормлю. Давайте раздеваться. Только одну минуту. — Она распахнула дверцу печи, чиркнула спичкой и сунула под сложенные поленья. Огонь весело захрустел смолистой стружкой.

— Через пять минут будет тепло, — сообщила она и ловко стянула с Андрея куртку и шапку. — Вон умывальник, смойте кровь.

Андрей послушно ополоснул лицо и так же послушно пошел за ней в комнату, где уже горел свет. Было хорошо подчиняться.

— Ссадина под глазом, — сказала она. — Будет синяк. Вы подрались?

— Нет, — ответил Андрей. — Меня стукнули. Древним и очень удобным способом.

Она намазала ссадину йодом:

— До свадьбы заживет. Ложитесь пока.

Андрей опять с удовольствием подчинился. Головокружение проходило, только плыла какая-то рябь в глазах. Комната была маленькой. Тахта, стол, четыре стула, небольшой шкаф и тумбочка с радиолой. Он протянул руку и щелкнул выключателем. Играло трио — ударник, аккордеон и труба. В пустоте родился голос. Андрей через открытую дверь видел, как Надежда легко скользила в кухне от маленького столика к плите и обратно, тихо позвякивала посудой. Потом, набросив шубку, вышла на улицу и принесла килограммовую мороженую щуку, положила на толстый фанерный кружок и ловко разрубила пополам топориком, потом унесла половинки на улицу. Собак кормить, подумал Андрей. Ловко у нее получается, словно всю жизнь только этим и занимается.

Давно забытый удивительный запах заставил Андрея проснуться. Горел прикрытый сложенным цветастым платком торшер, которого Андрей вначале не заметил. В полумраке, залившем комнату, пахло печным теплом. Старый, еще с детства запомнившийся запах деревенской печи. Наверное, ничто не несет в дом такой уют, как этот запах.

За столом сидела Надежда и, подперев скулы руками, смотрела на него. Лицо ее было осыпано разноцветными тенями от платка, загораживающего торшер, а на плечах и груди эти тени мешались с рисунком халата.

— Вот ты и проснулся, — сказала она.

Андрей сел, потрогал затылок. Он еще чуть ныл от удара.

— У тебя же лайки. Они в таких случаях не заступаются.

— Знаю, — сказал Андрей.

Потом они молча сидели у стола, и Андрею казалось, что он вернулся в детство и вот сидит за столом в своей старой родительской избе. Правда, видение это продолжалось недолго, всего одну-две минуты. Видно, потому, что никак не возвращалось ощущение всезнающей детской мудрости, уверенности в простоте мира и его подчинении тебе.

Она налила в чашки чай и дополнила их коньяком.

— Выпей, сейчас это поможет.

Он вышел на кухню, отыскал в кармане куртки папиросы и закурил.

— Дай и мне, — сказала она.

В комнате было тихо, над столом тонкой пеленой плавал синий дым, и слышно было, как на кухне потрескивают в печи дрова и в такт им — разряды в динамике радиолы: станция перестала работать.

— Мой отец охотник, — сказала она. — Живет до сих пор так же. А мать — русская. Она прожила с нами пять лет, а потом не смогла, уехала домой, на «материк». Отец меня увез в тундру и спрятал у пастухов. Она потом приезжала два раза, и он всегда меня прятал. Прятал от матери. — Она погасила папиросу и посмотрела на Андрея. — Выйди, пожалуйста, в кухню, я постелю.

Он ушел, открыл дверцу печки и смотрел, как над фарфоровыми углями летают языки пламени. В комнате шуршало белье, потом ее голос тихо позвал:

— Можешь идти.

Надежда лежала на раскладушке, втиснутой между столом и стенкой печи. Она лежала выпрямившись, и черные волосы закрывали всю подушку и верх одеяла. Ему было постелено на тахте. Андрей погасил свет, разделся и лег.

Андрей проснулся около десяти. Нади не было, а на столе лежала записка: «Убежала на работу, буду в пять. Занимайся бездельем».

Андрей умылся, растопил печь и вышел на улицу. Валет со своей подружкой носился по заснеженной по-

ляне, а дальше, за поляной, высились дома поселка. Они все были синие от тумана. Слабо доносились ворчание машин и удары чем-то железным о железо.

— Не пойду я сегодня никуда, — решил Андрей. — Буду заниматься бездельем. А завтра... завтра на крыло и домой... Где дом наш, где хлеб...

В маленькой кладовке он отыскал мороженую рыбину и разрубил пополам на лиственничной колоде.

Примчались собаки, и Андрей бросил им куски рыбы. Валет скромно отвернулся, сделав вид, что внимательно разглядывает гряду сопок за домом. Подружка его обнюхала рыбу, выбрала себе кусок с головой и отбежала в сторону. Валет еще постоял.

— Бери, бери, — сказал Андрей. — Твоя осталась.

Валет махнул хвостом, лег около куска и начал грызть.

Чайник закипел, Андрей заварил кофе, нашел в столике банку колбасного фарша, горсть окаменевших конфет, позавтракал и снова улегся на тахту, убрав одеяло и простыни. Москва передавала концерт для рыбаков Дальнего Востока. Для меня, выходит, концерт, — подумал Андрей и усмехнулся.

Где-то внутри сидела тупая заноза, и Андрей никак не мог понять, в чем она. Нет, не для него кафе все эти, ресторанная жизнь. Лучше уж в избе, на озере. Вот! Грачин предупреждал, что сбегу. И видите — убежал. В этом и есть заноза. Избу оставил, значит, логически надо оставлять все, что здесь. А Надя чудесная девушка. А раз так, то надо бы встать сейчас, одеться и идти к Мишке. Не компрометировать человека. Улетать надо. Что ж ноет так, как будто подлость сделал?

Он просыпался и засыпал снова. Два небольших окна в комнате вначале светили, потом начали постепенно темнеть и стали черными, в углу у печи темнота свернулась пушистым клубком, словно там лежала росомаха. Андрей встал и зажег торшер, и сразу, словно только этого и ждали, за дверью раздались шаги, смех, и в домик ввалился Мишка, а за ним Надя.

— За битого двух небитых дают, — сказал Мишка и сел на диван. От него хорошо пахло морозом. — Опиши-ка мне этих голубчиков.

— Зачем?

— Для ребят, которые ими займутся. Ты там, на

озере, одичал, а у нас тут драки повывелись. Строго у нас. Ребята из дружины их вмиг накопытят.

— К чертям их, — сказал Андрей. — Подонки. Прощаю я их. Я же говорил, что мы всепрощенцы. Которые рыбаки.

— Я бы понял, если бы ты сам решил с ними сквитаться. Но ты ж улетишь, — помолчав, сказал Мишка. — Кстати, билет ты еще не сдал?

— Нет.

— Что-то совсем не так. Давай поедем на твое озеро. Организуем настоящую рыбацкую бригаду. Женщин с собой заберем. И...

— Грачин зарезал твой материал.

— Да. Сходил к Поддубенко и сказал, что я очерняю. Тот наложил «вето». Я в конверт и отправил в область.

— Твое право. Скоро и оно помогать не будет. Грачину что дороже: его авторитет или ты?

Мишка помолчал и вдруг сказал зло:

— Это ты смылся, а не я. А я уж буду стоять до конца. И посмотрим еще... Мой рог еще не обломан. И потом у меня здесь дом и... семья. Скоро будет.

— Ребенок ты, Мишка.

— Пойду я. Пойду, а то сегодня мы с тобой поругаемся. Мозги тебе, что ли, перетряхнули вчера. Вроде не ты, а так... холодец на блюде. Нет, я уйду от греха.

— Проводить-то придешь?

— Дурак. Я на трапе у тебя ключи заберу. От озерной избушки. Пойду туда, натащу дров и буду неделю лежать. Слушать пургу и думать. И найду смысл жизни. За неделю найду.

— Для избушки ты слабоват, Мишка. Там в одиночку. А ты без людей не умеешь. Ну ладно. До завтра. Я к Шакунову пойду. Проститься.

— Нет Шакунова,— тихо сказала Надя из кухни.— На мысу трактор с товаром под лед ушел. Он спасать улетел.

— А ты откуда?..

— Я там работаю. На приемке пушнины.

— Ух! — передернулся Мишка. — Ночь у человека провел, даже это узнать поленился. Замерз ты там, что ли, в своей избе. Ушел я отсюда.

Андрей открыл глаза. Окно было серым. Он медленно повернул голову и увидел Надю. Она сидела на раскладушке, уткнув подбородок в колени. Глаза ее были рас-

пахнуты прямо на него, но она, наверное, ничего не видела.

— Ты не спишь?

— Нет, — коротко вздохнув, ответила она.

— Сколько сейчас времени?

— Наверное, около девяти.

Далеко заработал авиационный мотор. Рев его наливался глухой мощью, потом сразу перешел на высокие ноты и стал стремительно приближаться. Домик затрясся, самолет пронесся низко над ним, и грохот быстро заглох.

— Это борт на Ледяной, он всегда проходит над нашим домом, — сказала Надя. — Сейчас половина десятого.

Андрей встал, нашел на столе папиросы и спички, закурил, потом налил холодного кофе и подошел к окну. Отсюда хорошо было видно гряду сопок, замыкающих с севера котловину, где лежал поселок. Над белыми вершинами их торчали кекуры, а выше, в зеленоватом небе, неподвижно висело одинокое облако. Где-то за сопкой поднималось солнце, и лучи его подсвечивали облако розовым и синим.

Неслышно подошла Надя и опустила ладони с переплетенными пальцами Андрею на плечо.

— Я никогда не видела живых ежей, — сказала она. — А говорят, эти сопки похожи на них.

— Да, похожи.

— Сегодня улетишь?

— Сегодня. Если будет погода.

— Когда это облако, обычно день солнечный.

— Облако-талисман. Посмотрим.

Надя промолчала.

Андрей осторожно освободился от ее рук, отошел, сел на тахту.

— Беда-то какая, — тихо сказал Андрей. — Где дом наш и хлеб.

— Что?

— Познакомиться нам с тобой было надо или на два года раньше, или, может, через... Так в семьдесят пятом...

И опять Надя промолчала.

Этот смутный и страшный день все же начался и медленно набирал силу. Облако в самом деле оказалось талисманом. Солнце висело над сопками, уже собираясь

скатываться вниз, и последние его лучи плясали на снегу, и от них шли мириады брызг. В отделе перевозок плавал папиросный туман.

— Сообщайте друг другу последние истины, — сказала Леля. — Я займусь делом.

Она забрала у Андрея билет и унырнула в табачный туман его регистрировать.

В углу, в клубах дыма, на рюкзаках и раскинутых спальных мешках сидели бородатые парни. Один держал в руках видавшую виды гитару. Второй, поглядывая на остальных, поблескивая зубами в улыбке, на разостланной газетке расставлял стаканы, соленые огурцы, колбасу, бутылки «Зверобоя». Это были те, кто прошел полевой сезон, и теперь начальство перебрасывало их на зимнюю капитальную разведку куда-нибудь за сотни верст, где сейчас в сторожких замерзших лиственницах стоят натянутые на каркас большие палатки, над крышами палаток торчат трубы и из труб не идет дым, потому что все на разведке, где ухают взрывы и вышвырнутый из шурфов грунт темными веерами усеивает снег, и вздрагивает тайга, а вечером эти палатки будут светиться насквозь, и видны звезды и людские тени, отделенные от мороза тканью палаток. Весной же они снова очутятся здесь, и вертолеты расшвыряют их на лето по тундре, тайге в нехоженые места. Извечный цикл работяги при геологии. Тот, с гитарой, с улыбкой смотрел на накрывающего «стол» товарища, дергал тихонько струны и пел:

Она ушла? Не надо, не зови,
На нитях чувств, оборванных однажды,
Как ни вяжи, останутся узлы —
Иссякший ключ не утоляет жажды.
Забыть не можешь? Покупай билет.
Твое лекарство — звезды над снегами,
Огни костров, зверей таежных след
И сотни верст, отмеренных ногами...

— Ах, черт, — поежился Андрей. — Такое чувство, как будто предал кого. Улететь бы, что ли, скорее.

— Держи. Посадочный тоже тут, — Леля вынырнула из толпы. — Через сорок минут посадка.

— Сорок минут... — сказал Андрей. — Вот что: дуйте домой, не травите душу.

— Не-е, — помотал головой Мишка. — Ты у меня бу-

дешь терпеть до конца. — Где «зверя» брали, ребята? — спросил он у крайнего из геологических парней.

— В летнем. Тут рядом.

Магазинчик был маленький и тесный, тут никогда не продавали спиртное, а сегодня в витрине стояли «Зверобой» и портвейн. Очередь была человек семь. И еще какой-то парень лез без очереди. Он был сильно пьян. Лез и бубнил:

— Пусти, ну, пусти, самолет ждет. Мне на Катык лететь, понял?

Андрей встал в очередь, а парень все лез и кричал, что ему надо лететь на Катык.

— Тебя вышвырнут с Катыка, — сказал Мишка. — Ты знаешь, какие там ребята?

Парень повернулся, посмотрел на Мишку:

— Все знаю.

— Тебе начальник из самолета не даст выйти, не любит он, когда с водкой прилетают.

В магазине было сумрачно, но Андрей узнал этого парня. Это был он, «знакомый» из закусочной «Север». Но что теперь делать? Не драться же на потеху окружающей публики с пьяным. И провались он пропадом, пусть летит своей дорогой, не до него сейчас.

— Вот этот голубчик меня благословил на прощание, — сказал он Мишке.

— Ну, пусти! — опять полез тот к прилавку.

Его пустили. Он насовал во все карманы бутылки и пошел к двери. По дороге глянул на Мишку.

— Я тебя еще повидаю.

Очередь рассасывалась, осталось два человека.

— Не курите, ребята, — попросила продавщица. — Ради бога. Голова уже кругом идет.

— Не горит она, — показал Мишка папиросу. — Но я выйду, давай, Андрей, быстрее.

— Ладно, подожди на улице, — кивнул Андрей.

Подошла очередь, он взял бутылку портвейна.

— Закусить чего?

— Вон конфет дайте грамм триста. «Мишек».

Продавщица упаковала конфеты в кулек, протянула Андрею, тот сунул его в карман и вышел на улицу.

Солнечные лучи сверкали и переливались в снежной белизне, и Андрей невольно прищурил глаза и так, ничего не видя, услышал крики, а когда глаза чуть привыкли к яркому свету, он увидел быстро растущую толпу. Крики прекратились, только толпа все увеличива-

лась, и над ней висел одинокий женский голос. Потом умолк и он, Андрей, пошел прямо в толпу. Там стояли один из бородатых ребят и еще парень в летной куртке, а между ними, намертво схваченный за запястья, вихлялся, неестественно выворачивая суставы, тот самый из «Севера». Он был без шапки, в распахнутой телогрейке, в карманах брюк торчали горлышки бутылок. Русые волосы падали ему на лицо, а из сжатых пальцев правой руки торчало тонкое лезвие, окрашенное красным. Ребята завернули ему руки назад, вырвали нож, и только тогда Андрей посмотрел вниз.

Мишка лежал на спине, на коленях перед ним стояла Надя и, обхватив за плечи, пыталась приподнять, и видно было, как быстро набухает кровью снег под лопатками Мишки.

Леля стояла рядом, и по лицу ее разлилось жуткое бессмысленное спокойствие.

— Он к девчатам приставал, — говорили в толпе.

— Ну да, а этот заступился...

— А он выматерился и отошел...

— Кто бы мог подумать...

— Достал нож и сзади...

— Вот сволочь... все они сзади...

Андрей опустился на колени рядом с Надей и взял Мишкину руку, она была теплой и вялой, и кончики пальцев были белыми, а ладони еще налиты жизнью...

Где-то далеко возник стремительный тоскливый вой, рос, ширился, захватывая все вокруг, и так же стремительно, как возник, оборвался совсем рядом... Еще Андрей запомнил, что от группы, уводившей парня, отделился Костенька Раев, кинул взгляд на лежащего Мишку и спросил:

— Что ж ты, Андрей? Где ж ты был?

Луны не было, но блеск крупных звезд заливал все вокруг холодным светом. Внизу, усыпанная серебряными блестками, неподвижно стыла чаша озера, мерцали по сторонам вершины сопок, и далеко впереди неясно вырисовывалась синяя тундра.

Андрей сбросил рюкзак, сел, прислонившись к нему спиной, положил на колени ружье и, вытерев пот на лице, закурил. Валет со своей лохматой подругой улегся рядом. Пес был спокоен, и на морде разливалась радость, а подруга его тревожно прислушивалась к шоро-

хам, доносившимся снизу, и ловила ушами каждое робкое дуновение ветерка...

Вот как это происходило...

...Грачин сказал: «Ушел еще один товарищ, беспредельно преданный нашему общему делу... Был отличным работником... Был честен и принципиален до конца...»

Грачин сам взял лопату, и Поддубенко поддерживал пирамиду с красной звездой. Стукала земля. Вот и все. Мишка уже никогда не увидит с самолета землю, и слова «Полярный круг», «тундра» для него уже не звучат. И умер он, так ни разу и не поверив по-настоящему, что существует подлость.

Андрей повернулся и побрел по пологому склону сопки, где редкими рядами стояли столбики со звездочками. Крестов тут не было, как и во всем крае. Столбики со звездочками.

Леля молчала все это время, и лицо ее, недавнее лицо девчонки из турпохода, стало точно вырезанным из дерева.

Потом женщины из геологического управления увели ее.

...Спина под кухлянкой стала мерзнуть. Валет лежал, положив на лапы голову, и косил глаза на Андрея. Андрей, сидя, всунул руки в лямки рюкзака, перевалился на четвереньки и затем встал. Ружье он повесил на шею. Склон шел вниз то круто, то почти неприметно. Снег скрадывал тени. Он чувствовал, как начинают уставать в коленях ноги. На спуске всегда так. На подъеме работают легкие, на спуске — ноги... Валет бежал впереди и озабоченно оглядывался на Андрея. Подружка пробовала кусать его в плечо, приглашала играть, но Валет бежал и оглядывался на Андрея. Ей-богу, хороший ты парень, Валя...

...Его тогда догнал Шакунов: «Зайдем ко мне».

Квартира у Шакунова была пустая. И было очень холодно: все три форточки настежь открыты. В режиме жил однолюб Шакунов после смерти жены. На столе грудой лежали какие-то строительные синьки, длинные «простыни» бухгалтерских смет, а к стопке книг была

прислонена акварель: бревенчатое коричневое здание на опушке леса с застекленной башней, площадка, шест и флаг на шесте. Лехи Молодова работа, сразу определил Андрей. Его акварель. Только где он такой пейзаж узрел?

— Пионерлагерь делаю, — загадочно сказал Шакунов. — Пока никто еще не знает, а я знаю. Выстроим на общественных началах. Поддубенко меня поддержит.

— Лагерь?

— Ну-у! Ну что, допустим, мальчишке на «материке» делать? Мороженым объедаться? А здесь ему — тайга, ягоды, грибы. Медведи для него за каждым кустом. Представляешь? Надо их с «материка» сюда привозить, а не наоборот.

— Давно хотел спросить, — перебил Андрей. — Почему вы в снабжении?

— Потому что направили. Я не ропщу.

...Пологий склон окончился, и вода заблестела совсем рядом. Андрей вышел на песчаную кромку берега. Песок и галька смерзлись и, припорошенные тонким слоем снега, были похожи на асфальт. Ровная двухметровая дорожка тянулась теперь до самого дома. Это пятнадцать километров, два часа хода. Пожалуй, часам к одиннадцати можно быть дома, а с утра заниматься сетями — они уже вторую неделю стоят без проверки. Правда, штормов за это время не было, и рыба в такие погожие дни попадается редко, но все же килограммов тридцать будет. И сети надо снимать: озеро вот-вот замерзнет. Вон вода переливается, как подсолнечное масло. А пока окрепнет лед, можно потихоньку готовиться к подледному лову и вплотную заняться охотой. Снега еще мало, олени в это время выходят к берегу часто. Потом олени исчезнут, до марта и все живое исчезнет. Разве что лось иногда забредет проведать. Еще надо готовить дрова, по глубокому снегу их много не натаскаешь, а печь должна гореть круглые сутки. Особенно во время пурги. Раньше весны Шакунов смену не пришлет, а точнее, пришлет летом. Оно и будет правильно: нечего тут зимой делать свежему, непривычному человеку.

...Надя вчера собирала рюкзак и все старалась не смотреть на Андрея. Он проверял ружье, а за дверью визжал и радостно прыгал Валет. Наконец настала ми-

пута, когда уже молчать было нельзя, и Надя подошла к нему.

— Я приду или прилечу к тебе с первым транспортом. Разрешаешь?

— Тогда это будет надолго. Так что подумай. Знаешь, один раз меня уже бросали. Тебя, наверное, тоже. Больше я не хочу. Мы не хотим.

— Значит, я прилечу, — просто сказала Надя.

Андрей знал, что надо бы сейчас поцеловать ее, и ему хотелось сделать это, но он боялся разбить хрупкую, как ребячья жизнь, нежность их отношений.

...Изба темнела, словно одинокий валун на бесконечном песчаном берегу древнего моря. Валет в нетерпении бросался на колоду, приваленную к двери, а его подруга настороженно обнюхивала углы, кости, разбросанные Валетом, и бочки с рыбой. Потом, успокоившись, молча легла спиной к двери, повернув морду к воде.

— Довольна? — спросил Андрей, и она весело захлопала по снегу хвостом.

— Ну и отлично, — сказал Андрей и погрузил руку в длинную густую шерсть. — Ох, и шуба у тебя, лучше, чем у Валета. Только имени нет. Ну, найдем, найдем тебе имя...

Собака заскулила и лизнула ему руку.

Андрей подошел к дому, откатил колоду и открыл дверь. Засветив спичку, он зажег лампу, принес дрова и растопил печь, а потом медленно разделся. Тепло постепенно заполняло избу, тихо замурлыкал чайник. Андрей убрал стол, подмел пол и пустил Валета, а сам уселся на маленький чурбачок у печи и долго смотрел, как пляшет и мечется огонь, рассыпаются в прах лиственничные поленья и красные блики вспыхивают и гаснут в сонных глазах Валета.

Потом Андрей перевел взгляд на стоявший у стола наполовину разобранный мотор.

— Работать надо, Валя, — сказал Андрей. — Труд создал человека. Такая есть истина, знаешь?

Валет радостно взвизгнул. Вторая собака шумно промчалась возле избушки. Знакомилась с местом. И вдруг тишину эту нестерпимо прорезал радостный Мишкин крик: «Лелька, нам Андрей избу подарил. Хочешь рыбачкой стать?»

Андрей замычал, как от зубной боли, замотал голо-

вой. Всепрощенец! Сучий сын, всепрощенец, апостол. Чистоплюй. Совесть свою замшей полировал, на свет разглядывал. Во-он есть какие плохие, и какой я хороший. Давай, Грачин, наглей, подбирай себе подобных. Мы в этих делах не участвуем, мы сохранением собственной совести заняты. Так удобно мне было осмеивать и поплевывать. А что именно я *лично* могу предложить, какую имею позитивную программу? Дерьмо самолюбивое! Не захотел пачкать святые ручки с Грачиным, ушел на рыбалку. Заскучал на рыбалке, полетел в Москву. Ладно. Спокойно. Мишки нет и не будет. Спокойно. Всегда есть начало начал. Материнское чрево, первый поцелуй, первый шаг. Шакунов отправил тебя сюда, чтобы ты стал человеком. Мужчиной. Вот с этой избы, с этого берега тебе придется начинать жизнь мужчины. Скидок больше не будет, все детские, юношеские и прочие лимиты на скидки использованы. И даже если до старости доживешь... Старик — это тот же мужчина, только седой. А если чувствуешь, что не сможешь... пусти себе пулю в лоб, не тумань людям мозги. Но и на это ты не имеешь права. Так что давай... Давай, де́ла невпроворот. Труд создал человека. Смешно. Учат этому в школе, а осознаешь в тридцать три. Смешно, честное слово, аж слезы текут...

Территория

РОМАН



ВСЕСТОРОННЕЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА

«...Золото — прекраснейший из металлов. Что происходит с драгоценными камнями, за которыми едут на край света? Их продают и превращают в конце концов в золото. С помощью золота можно не только делать все что угодно в этом мире, с его помощью можно извлечь души из чистилища и населить ими рай...»

Христофор Колумб. Письмо королю Фердинанду

«В их пустынях есть рудники, и самородки бывают такими большими, что видны, как трава на песке».

Абу-л-Хасан Али ибн ал-Хусейн ал-Масуди.
Промывальни золота и россыпи драгоценных камней

«...В один из этих дней случилось так, что Его Величество (Рамзес Великий) восседал на Великом троне из электрона *, увенчанный короной с двойным убором из перьев, чтобы подумать о землях, из которых доставляют золото, и обсудить планы сооружения колодцев на безводной дороге, ибо он слышал, что в земле Акита встречается много золота, но путь туда совершенно лишен воды».

Надпись на Кубанском камне,
1282 год до н. э.

«...Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Элофе... в земле Идумейской. И послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, вместе с подданными Соломоновыми; и отправились они в Офир, и взяли оттуда золота четыреста двадцать талантов **, и привезли царю Соломону...»

Третья книга Царств, гл. 9, стих 26—28

Офир искали в Аравии, Индии, Африке, на Цейлоне и в Южной Америке.

Примечание автора

---

* Электрон — сплав золота с серебром *(греч.)*.
** Талант — мера веса древнего мира.

Поводом и целью похода аргонавтов также служило золото.

Второе примечание автора

«Я царствую!.. Какой волшебный блеск!
Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастие, в ней честь моя и слава!»

А. Пушкин. Скупой рыцарь

«Спрячь золото верней!
Смотри, следят за нами.
Спрячь золото верней!
Свет солнца страшен мне:
Меня ограбить может пламя
Его лучей.

Спрячь золото верней:
Не здесь, а под семью замками,
Не здесь, а дальше, где-то там,
Зарой поглубже в мусор, в хлам,
Под хворост, за дровами...
Но как узнать, но как узнать,
Откуда вора можно ждать?»

Э. Верхарн. Золото

«Металл он и есть металл. Но *этот* — глупый металл. Из железа паровоз, или трактор, или башню какую. Из алюминия самолет, из меди провод. А из *этого* сплошная судимость».

Безвестный шурфовщик

«...только что поделенное богатство — пустяки по сравнению с теми, которые нас ожидают. Ведь знаем же мы теперь, какие здесь великие города и изобильные золотые прииски — все это наше, и все мы станем богачами...»

Бернал Диаз. Записки солдата

«...Да будем золоти, яко золото се...»

Древняя славянская клятва

«Все бросали свои обычные занятия и шли за золотом. Чиновники правительства, волонтеры, пришедшие для завоевания Калифорнии, бросали свои места. Офицеры, ожидавшие заключения мира с Мексикой, оставались одни, без прислуги, и губернатор

Монтерея, полковник волонтеров Меси, в свою очередь, исполнял обязанности артельного повара. Купеческие суда, пришедшие в порт Сан-Франциско, были оставляемы командой... Строгая дисциплина военных судов не в силах была удержать матросов от бегства. Только что родившиеся поселения опустели, и посевы хлеба, поднявшиеся в этот год замечательно хорошо, гибли по недостатку рук...»

Описание калифорнийской «золотой лихорадки»,
сделанное горным инженером Дорошиным.
Отчет о командировке в Калифорнию.
«Горный журнал», 1850 год.

ПРИМЕЧАНИЯ К МАРШРУТУ

Чтобы попасть на Территорию, вы должны сесть в самолет. Правда, летом вы можете добраться сюда и на пароходе — месячное плавание среди льда и тумана, когда кажется, что мир исчез и существует лишь железная палуба, перекличка сирен каравана и ваша каюта. Через несколько дней именно в каюте вы и будете проводить почти все свое время, ибо вам быстро осточертеет блеклая полярная вода, низкое небо и слово «навигация», которое произносится тысячу раз на дню. «В этом году навигация в отличие от прошлого года...» В мыслях своих вы привыкли к тому, что название Территории, даже само решение попасть туда, служит гарантией приключений. Это страна мужчин, бородатых «по делу», а не велением моды, страна унтов, меховых костюмов, пург, собачьих упряжек, морозов, бешеных заработков, героизма — олицетворение жизни, которой вы, вполне вероятно, хотели бы жить, если бы не заела проклятая обыденка. Во всяком случае, вы мечтали об этом в юности.

Однако пароходом на Территорию сейчас не плавает уже никто, кроме представителей творческого труда, которые мечтают познакомиться со «всей Арктикой» в короткое время.

Вы полетите туда самолетом. Лет двадцать назад это тоже было незаурядным дорожным подвигом. Но сейчас вы долетите без приключений. Когда же вам надоест почти сутки сидеть в самолетном кресле и продувать себе уши после посадок на забытых богом аэродромах, вы встретитесь с первой неожиданностью. Рейс ваш окончится не на той планете, с которой начался. Вас ожидает прохладный и влажный воздух, черный и желтый пейзаж, если вы прилетели летом, и некая суровая снежная обнаженность, которую трудно передать словами, если вас затащило туда зимой. Нет тут берез, кленов, ясеней, сосен, лиственниц. Есть сопки и тундра, чудовищно, даже как-то клинически голые,

и в вас поселится легкий страх, особенно если вы выросли среди мягких пейзажей Европейской России.

Вскоре вы заметите, что люди здесь также отличаются от тех, что остались в семнадцати летных часах. Если вы прилетели на неделю, на месяц или даже несколько месяцев, вы так и не поймете, чем они отличаются. Но они все-таки отличаются, то ли раздражающим снисхождением к вам, залетному и временному, то ли странной привычкой сидеть не на диванах и стульях, а на корточках у стены, то ли небрежением к деньгам, то ли отсутствием любопытства к свежим анекдотам и сплетням «из сфер». Не исключено: вы с тайным злорадством подумаете, что эпоха сверхзвуковой реактивной авиации и блочных домов скоро все и везде уравняет.

Если вы прилетели в Поселок, главный центр на севере Территории, у вас есть основания так думать. Те же блочные дома, как в Кузьминках, те же МАЗы, «Колхиды», «Татры», УАЗы гудят на дорогах, а ветер гоняет индустриальную пыль и обрывки газет. По улицам не бродят олени или ездовые собаки, на углах не торгуют пыжиком, люди одеты в те же пальто, плащи, туфли, что в Ленинграде. В квартирах крутят те же пленки на тех же магнитофонах, и на книжных полках стоят те же книги, что в вашей квартире. Но если душа ваша не очерствела от частых перемещений по государству или, наоборот, не поблекла от жизни в одном месте, вы постоянно будете чувствовать, что нечто главное идет мимо вас, и оно не умещается ни в рассказы старожилов, ни в кадры слайдов, ни в записные книжки. Возможно, это главное заключается в узкой полоске ослепительно лимонного цвета, которая отделяет хмурое небо от горизонта в закатный час. У вас вдруг сожмет сердце, и вы подумаете без всякой причины, что до сих пор жили не так, как надо. Шли на компромиссы, когда надо было проявить твердость характера, в погоне за мелкими удобствами теряли главную цель, и вдруг вы завтра умрете, а после вас и не останется ничего. Ибо служебное положение, оклад, квартира в удобном районе, мебель, цветной телевизор, круг приятных знакомых, возможность ежегодно бывать на курорте, даже машина и гараж рядом с домом — все это исчезнет для вас и не останется никому либо останется на короткое время. Во всяком случае, бессмертная душа ваша, неповторимое и единственное ваше бытие тут ни при чем. Что-то вы упустили.

Можно суеверно считать, что подобные мысли рождены пространствами, составляющими Территорию.

До настоящей «полярной болезни», или как там это называется, вам еще далеко. Просто вы начинаете чувствовать настроение, дух Территории. Позади вас гремит и перекликается Посе-

лок, над головой с мерным рокотом прошел оранжевый самолет Полярной авиации. Он идет в Город — центр обширной области, куда входит и Территория. Но вы видите только закатную полосу над хмурым морем. Над перевалом, красным от того же заката, клубится красное облачко пыли, и в нем исчез грузовик, идущий на дальний прииск с каменным углем в мешках, или с синтетическим барахлом в контейнере, или с яйцами в деревянных бочонках, или с разлапистым металлическим агрегатом на автоприцепе. В кабине того грузовика рядом с шофером сидит, наверное, командировочный вроде вас человек, смотрит на ленту дороги, рассекающую тундру и сопки, и сочиняет предварительный мемуар на тему «Когда недавно я летал в Арктику». Но постепенно рев двигателя, ползущие навстречу черно-белые сопки, редкие машины, подобные усталым бродягам на бесплодной, изорванной ветром равнине — все это, именуемое «трасса», завораживает командировочного человека, и найденные час или два тому назад слова мемуара предстают бессмысленными, глупыми и хвастливыми. В них есть личность рассказчика, слово «я», но нет Территории. И вообще все это не так, не так, все иначе...

Двадцать лет назад через этот перевал так же пылили грузовики, идущие на касситеритовый прииск, выстроенный во время войны. И через этот же перевал уходили тракторные сани, груженные взрывчаткой, брезентом, мехом, железом, детонаторами в плоских ящиках, соляркой, бензином и многим другим. А поверх всего на санях сидел разный народ и смотрел в бледное небо или на Поселок, который, конечно, был совершенно иным, но был. А теперь задайте себе вопрос: почему вас не было на тех тракторных санях и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер? Может быть, именно это поможет ответить на недовольство, которым мучаем мы сами себя во время бессонницы в серый предутренний час, когда светлеют окна и гаснут звезды.

I

ЛЕТО

1

В тот год на Территорию пришло необычное лето. Весна стояла затяжная, холодная даже для семидесятых широт, и больше походила на осень. Весь май шел снег, дули малосильные и потому особо тоскливые пурги. В июне свалилась невиданная жара — тридцать градусов. Комары расплодились в неделю и стали до смерти заедать оленят в безветренных тундровых урочищах и сидящих на привязи ездовых собак в прибрежных поселках. Собак, вопреки правилам, пришлось отпустить. Они сразу ринулись в тундру уничтожать птичьи гнезда и разгонять все живое.

Вслед за жарой пришли тундровые пожары. Горели на больших пространствах ягель, трава и торф. Дым застилал горизонт и окрашивал окрестности в сиреневые и фиолетовые тона. Оранжевое солнце безостановочно кружило по небу. Не было никому спасения от круглосуточного света полярного дня, запаха дыма и чувства беспричинной тревоги.

В конце июня лед оторвало от побережья. Почти сразу его вынесло и из морской губы, за восточный берег которой уцепился Поселок. Губа лежала гладкая, отражала в себе солнце и скалы.

Навигация в это лето началась почти на месяц раньше обычного. Дым старого ледокола, приведшего караван, смешивался с дымом горящей тундры. Силуэты судов на рейде зыбко дрожали и размывались в разноцветные миражи.

— Импрессион! Впечатление! — так сформулировал свое мнение образованный малый в стоптанных до стельки туфлях и телогрейке, накинутой на голое тело.

— В Гренландии растают ледники. Уровень мирового океана поднимется. Все затопит, кроме высокого плоскогорья Тибет. Далай-лама хохочет, — поддержал его стоявший рядом собрат. Они сплюнули в Северный Ледовитый океан и направились в порт зарабатывать на продолжение жизни.

Портальные краны вычерпывали из трюмов груз, который затем вереницы машин везли к обтянутым колючей проволокой приземистым складам «Северстроя».

От тяжкого бега машин на улицах Поселка висела

черная пыль, в окнах домов дребезжали стекла. Для тех, кто здесь жил, казалось, что к ним пришло буйное многолюдство, какой-то праздник: морячки в импортных плащиках, уверенные в себе летчики ледовой разведки, щеголеватые полярники из штаба проводки судов, бичи, грузчики, суперполярно одетые журналисты с мандатами — вся публика, что появляется вместе с судами и с ними же исчезает. Так называемый генеральный груз был уже на складах, грузы второй очереди на подходе к кранам, а суда с разного рода излишествами в виде эстрадных пластинок и дорогих коньяков уже ждали очереди на рейде. Такого никогда не бывало, как никогда не бывало, чтобы в середине июля, в самое жесткое время «сухого закона», в магазинах было пестро от винных наклеек. Старожилы, приученные к осторожности климатом и суровыми порядками «Северстроя», говорили, что надо ждать бед, потому что «если Территория начинает походить на Африку, то...». Они веровали, что все под луной сбалансировано неподкупным бухгалтером и неприятности обязательно уравновешивают удачи. Пока шла удача.

...Здание геологического управления виднелось с любого конца Поселка. Оранжевое солнце круглые сутки отражалось в окнах второго этажа. Вечерами казалось, что, охваченное пламенем, управление плывет по крышам окружавших его бараков. У входа лежал огромный, как колпак бетонного дота, череп быка-примигениуса. От входа начинался тамбур, заставленный железными бочками для воды (зимой и летом пресную воду в Поселок завозили в цистернах). За тамбуром — обитая войлоком дверь, и уж за ней сидел вооруженный охранник.

Длинные коридоры управления были пусты. Двери большинства кабинетов опечатаны. Масляная краска на стенах обшарпана спинами. Пахло пылью, сапогами, полушубками и хлоркой.

Кроме вахтера, в управлении в этот летний день находилось четверо. В угловой комнате первого этажа с надписью «В радиорубку! Категорически!» сидел управленческий радист Гаврюков, рыжий, как осень, человек электроники и ключа, из бывших флотских радистов.

На втором этаже были главный инженер управления Чинков Илья Николаевич по прозвищу Будда, его секретарша Лидия Макаровна и прораб-промывальщик Куценко по прозвищу Скарабей. (В «Северстрое» все, от работяг до генералов, имели прозвища — такая традиция.)

Лидия Макаровна сидела перед зачехленной машин-

кой, смотрела в стену и курила. В пепельнице неряшливой горкой дыбились докуренные до мундштука папиросы «Норд». Привычкой палить папиросы до «фабрики», одеждой (не то жакет, не то китель из темного шевиота), собранной кое-как прической и неласковым взглядом Лидия Макаровна напоминала замотанных вдов военного времени.

В кабинете напротив, захламленном, как при срочной эвакуации, Куценко поднимал с пола мятые листки, вырванные из журнала «Огонек» (когда-то в них были завернуты образцы), разглаживал, читал и складывал в стопку. Куценко был широк корпусом, со стриженым затылком, жестким чубом и действительно напоминал жука в брезентухе и сапогах. На Реке он имел репутацию виртуоза в работе с лотком, числился прорабом по штатному расписанию и адъютантом Чинкова по сути.

Сам же Чинков в своем большом и пустом кабинете сидел в странном кресле из черного дуба с уходящей под потолок спинкой и медными квадратными бляшечками орнамента. Зеленого сукна стол перед ним был чрезвычайно чист: ни карандаша, ни бумажки, ни даже пылинки. Те из геологов, которые успели до отъезда в тундру познакомиться с главным инженером, отметили странную эту привычку: сидеть в кресле перед пустым столом. Взгляд тяжко опущен, поза разбухшего идола, темный костюм, темная рубашка, черный галстук, и лицо тоже темное, чугунного цвета.

Где-то за управлением с натужным ревом прополз трейлер, стекла заныли, над крышей соседнего барака ветер взметнул струю фиолетовой пыли. Чинков встал и с неожиданной живостью пересек кабинет. Лидия Макаровна не повернула головы, лишь пыхнула раз-другой папироской. Чинков с порога сказал:

— Прошу записать приказ. Сегодняшнего числа предписывается главному инженеру Чинкову И. Н. выйти на базу Восточной поисковой партии. Срок командировки семь дней. Сопровождающий Куценко К. А. Подпись: главный инженер Чинков.

— И. о. главного геолога, и. о. начальника управления, господь бог, един в трех лицах, — не пошевельнувшись, сказала Лидия Макаровна.

— Что-нибудь случилось? — Голос у Чинкова был глухой и тихий, как это часто бывает у крупных людей.

— Гармыдр, — кратко пояснила Лидия Макаровна.

— В чем заключается... это явление?

— Зашла в общежитие для ИТР. Мальчики два месяца в тундре, а лед по углам до сих пор не растаял.

— Это забота начальника управления Фурдецкого, — сухо сказал Чинков.

— Придет осень, вернутся мальчики, выберу я себя в местком. И объявлю я вам, падишахам, войну на взаимное уничтожение. Великие планы! Пр-р-оекты! Банкеты и лауреаты. А выбрать мальчикам сухой барак некому. — Лидия Макаровна взяла новую папиросу.

Чинков промолчал, глядя на дверь приемной. Дверь медленно открылась. Просунулась голова Куценко.

— Сегодня выходим. Машина подбросит до прииска. Пересмотрите груз, приготовьте мне одежду и выбросьте все лишнее. От прииска пойдем поисковым маршрутом, — сказал Чинков.

— Старожилы пугают: снег должен быть. Если в июне палит, то в июле обязательно падает снег, — осторожно ответил Куценко и зашел в приемную.

— Как-нибудь перетерпим, — отвлеченно пробормотал Чинков.

— Обрадуются вам там. Нагрянете вместе со снегом. Палатки драные, из мешков шерсть горстями лезет. Сапоги в утиль не возьмут. И тут еще вы: «Считаю, что выполненные работы полезны, но можете сделать гораздо больше», — Лидия Макаровна очень похоже передразнила главного инженера.

— Именно так, — серьезно сказал Чинков. — Прежде всего работа, потом сапоги. Прошу оставить ненужные разговоры.

— А не будь мальчиков, вас, падишахов, дворниками никто не возьмет, потому что...

Раздался сиплый рев парохода. Какое-то судно спешило уйти по чистой воде и прощалось с Поселком.

— Пароходы и то сбегают. О господи! — закончила Лидия Макаровна. — Думала, старая дура, что удивляться уж разучилась, а...

В этот момент и возник радист Гаврюков. «Главного инженера товарища Чинкова требует Город на срочную связь», — соблюдая субординацию, сообщил он Лидии Макаровне, хотя сам Чинков стоял тут же.

Когда Чинков вернулся из радиорубки, на столе у Лидии Макаровны было прибрано, табачный дым выветрился, окурки из пепельницы вытряхнуты, в машинку вставлен свежий лист.

Чинков задумчиво постоял в кабинете и продиктовал:

— В изменение предыдущего приказа главный инженер Чинков сегодня отправляется в Город на совещание главных инженеров.

Лидия Макаровна быстро отстукала текст.

— Прошу машину. Узнать о самолетах. Если Фурдецкий задержится, прошу присмотреть.

— За чем именно?

— Вообще.

— Все будет в порядке, — со вздохом сказала Лидия Макаровна.

Чинков молча прошел к себе, уселся в феодальное кресло и принял любимую позу: руки на подлокотниках, голова набычена, взгляд в поверхность стола. Он сидел так долго, пока не вошла Лидия Макаровна.

— Повезло. Через два часа будет рейсовый борт. Машина внизу.

Чинков неторопливо выдвинул ящик стола, вынул дерматиновую облезлую папку черного цвета. Это была знаменитая на весь «Северстрой» «черная папка Чинкова», в которую ни один ловчила еще не сумел заглянуть.

— Я готов, — детским голосом сказал он.

...Среди множества фотографий, оставленных человечеством, есть такая: группа молодых людей в унтах, собачьего меха куртках, длинноухих якутских шапках стоят на фоне бревенчатого барака, окруженного редкими лиственницами. На бараке виден лозунг: «Привет совещанию горняков «Северного строительства». У молодых людей на фотографии гладкие волевые лица, светлые глаза, и во всем их облике видна уверенность, которая неизменно вырабатывалась в те годы на Реке у всех, кто уцелел, не сломался. Впрочем, на земле «Северстроя» слабый не жил. Слабый исчезал в лучший мир или лучшую местность быстро и незаметно. Кто оставался, тот был заведомо сильным.

Один из них погиб, один стал академиком, остальные просто вошли в легенду. Эта легенда закреплена в изданных книгах, газетных статьях, фольклоре и, если всего этого мало, во многих десятках тонн золота.

Третьим слева на ней стоял Илья Николаевич Чинков, уже тогда имевший прозвище Будда. Молодым инженером он по собственному желанию попал на Реку. К здешней инопланетной жизни Чинков пришелся с точностью патрона, досланного в патронник. Здесь ценили

крупных людей. Еще студентом Илья Николаевич был настолько солиден, что иной доцент выглядел рядом с ним мальчишкой. В «Северстрое» не терпели «балаболок» и выше всего ценили исполнение приказа. Чинков был всегда молчалив и вламывался в работу, как танк в березки. Никто не удивился, что через два года он стал начальником крупной разведочной партии на притоке Реки. К тому времени и относится фотография.

Он круто пошел бы в гору, как разведчик уже найденных золотых россыпей, но еще через год перевелся на новые земли, которые изучало геологическое управление «Северного строительства». Это было в среднем течении Реки. Именно здесь Чинков создал основы грядущей легенды, где беспощадность к себе и другим была помножена на удачу. Его экспедиция открыла одну из крупнейших золотых россыпей края. Самую северную и самую крупную золотую россыпь Реки. Он получил орден, Государственную премию и окончательное признание.

Чинков же подал руководству «Северстроя» рапорт. Он просил перевести его в заштатное геологическое управление на берегу Ледовитого океана. Человек с твердой репутацией удачливого «золотаря» просился в оловоносную провинцию. Управление Поселка, куда он переходил, было знаменито одним: геологи его считались старообрядцами геологии. Ноги — средство передвижения, геологический молоток — инструмент познания, все остальное от лукавого.

О причинах рапорта Чинкова в Городе много гадали. Одни решили, что Будда стремился в захолустье, чтобы написать диссертацию. В «Северстрое» не одобряли диссертаций. Другие высказали догадку, что он намеревался проверить свою фантастическую удачливость на олове. Считали и так, что Будда возжаждал неограниченной власти, которую за дальностью расстояния (все-таки пять летных часов) мало чем мог ограничить Город. Но не нашлось никого, кто спросил бы его о причинах. Внешность Чинкова, чугунное лицо его не располагали к расспросам.

...Каждый раз, прилетая в Город, Чинков останавливался в одном и том же номере гостиницы. Коллеги его останавливались у знакомых, друзей по давним походам, совместной работе или в их пустых квартирах, если те уез-

жали в отпуск. На худой конец останавливались в номерах «люкс», приличествующих их положению. Чинков друзей не имел, и его постоянный номер был очень скромным: умывальник, койка, письменный стол, окно.

Он подождал в гостинице час, пока из «его» номера кого-то переселяли. В номере он привычно глянул в окно на сопки, плешивые после вырубок. Затем вынул из портфеля свою черную папку и не спеша вышел на улицу. В управление он все равно опоздал и ждал перекура. Напротив гостиницы шумел асфальтовый пятачок. На одном углу пятачка стояло здание круглосуточного телеграфа, на другом — автостанция. Чинков не спеша прошел вверх, где Город взбегал на гору, а затем обрывался к Тихому океану. Город выглядел очень современным, культурным, потому что он был махом воздвигнут в эпоху архитектурных излишеств. Единый стиль башенок, колонн и выступов придавал ему законченный вид.

Здание геологического управления, выстроенное из серого массивного камня, было самым крупным в Городе. Напротив находился сквер с тоненькими березками, посаженными в субботник два года назад. Чинков окинул все это привычным взглядом и открыл высокую дубовую дверь управления.

Оказалось, что совещание еще не начиналось, потому что главный инженер управления Робыкин задержался в политотделе. Корифеи золотой промышленности чесали языки в коридоре — мужчины с изрезанными морщинами лицами, сверхчеловеки. Каждый нес за плечами груз легендарных лет. Каждый пришел на берег бухты, где сейчас Город, юнцом или ни черта не знающим, кроме веры в свою звезду, молодым специалистом или вольным старателем, которому стало тесно в изученных районах. Спины их по сей день были прямыми, и каждый, если даже позади числилось два инфаркта, считал себя способным на многое. Так оно и было, потому что любой из этих мужиков прошел жестокую школу естественного отбора. Они гоняли собачьи упряжки во времена романтического освоения Реки, погибали от голода и тонули. Но не погибли и не потонули. Глушили спирт ящиками во времена славы, но не спились. Месяцами жили на допинге, когда золото требовала война, и не свихнулись.

Чинков вошел в коридор как равный к равным. Походка его изменилась. Он легко нес тяжелое тело, держал папку за угол кончиками пальцев — весь независимость, доброжелательность и легкая настороженность.

Друг друга корифеи приветствовали с шумом и манерами беспризорников, но никто не устремился навстречу Чинкову. Лишь кивки, «о-о, привет» и еще заинтересованные косые взгляды. Чинков был самым молодым среди прославленных и седых, ворвался, раздвинул ряды. Даже преждевременная полнота отделяла его от них. Они сухопарые аристократы — основатели, он плебей, выскочка, продолжатель. И так далее. И Будда, темнолицый, улыбчивый и тяжелый, встал в стороне, прочно заняв кусок продымленного пространства. «Плевать, я сам по себе, я сам себе корифей».

Наконец появился Робыкин. Он шел в окружении приближенных и походил на стремительно летящий бильярдный шар — низенький, коротконогий, круглый, с какой стороны ни глянь, сверкающий бритой головой и улыбкой. Робыкин на ходу здоровался с корифеями, но мимо Чинкова прошел, не заметив. Они почти в одно время попали на Реку, оба горные инженеры. Робыкин выбрал себе администрацию, Чинков — поиски и разведку золота. Соперничество вначале было шутливым. Но позднее Чинков перебежал дорогу Робыкину, занял административный пост начальника экспедиции, куда вначале назначался Робыкин. Открыл россыпь и получил лауреата. Звезда Робыкина всходила с опозданием, но круто. Полгода назад он стал главным инженером центрального геологического управления «Северстроя», и ходил слух, что станет начальником.

Корифеи расселись в его кабинете и задымили, хотя Робыкин специальным приказом по управлению запретил курить в рабочих помещениям. Но корифеям он не мог ничего запретить, потому что от них зависела его сила и власть. Такова была одна из странностей «Северстроя» — никто из прославивших его людей, тех, кто открыли золотые россыпи Реки, основали Город, не назначался в высшее руководство. Возможно, в этом был повинен нрав корифеев, прямота применяемых ими методов, возможно, «Северстрой» требовал от руководителя специальных талантов и знаний. Корифеи правили на местах, в глубинных поселках. Но, объединившись, они могли свергнуть любого, как преторианская гвардия.

Чинков уселся в задних рядах. Вокруг были незнакомые лица: «Быстро меняются на Реке кадры», — подумал он. Но его-то заднескамеечники знали. Он чувствовал это по взглядам.

Робыкин звучным руководящим голосом (когда толь-

ко успел научиться!) сказал про заботу государства о геологах и об их ответственности. Дежурная часть речи шла под шум разговоров, чирканье спичек.

— Черт вас возьми! — неожиданно изменил тон Робыкин. — Бодягин! Не лапай соседа, это тебе не коллекторша. Василий Феофаныч! Заткнись.

«Ай молодец, Котя, — подумал Чинков о Робыкине. — Неужели я мало его ценил? Это опасно...»

— За последние три года добыча золота на Реке резко упала, — сказал Робыкин. — Это всем вам известно. Новых месторождений не открыто, прирост золотых запасов незначителен. Если будет так продолжаться, полетит моя голова, но и вас всех ждет унылая почетная пенсия...

Корифеи разом притихли. А Робыкин заговорил о том, что знает каждый студент. Всякое месторождение имеет конечную тенденцию к истощению. Так угасли золотые месторождения Урала, Лены, захирел Алдан.

— Давай про Реку, Котя! — рявкнул кто-то из корифеев. И снова мертвая тишина.

— С Рекой аналогичный случай, как говорят в анекдотах, — громко ответил Робыкин. — Многие, наверху и здесь, считают, что она уже кончилась. Снимали сливки в первые годы «Северного строительства». Ураганная добыча во время войны. Многие россыпи загублены некачественной промывкой. Нужны новые россыпи, или мы теряем славу валютного цеха страны. Этого, кстати, нам никто не позволит. Просто нас выгонят и поставят более умных и полезных для государства.

— Не пугай, Котя! Всю жизнь пугали, — сказал тот же голос. — Пока мы живы, валюта для государства будет.

Робыкин взмахнул короткими руками, стал веселый, улыбчивый.

— Вопрос: кого пугать? Ответ: самих же себя. Мы все связаны с Рекой намертво. И выход вы знаете сами: глубокая разведка, глубокие поиски. Все, что валяется сверху, мы взяли. Теперь надо идти дальше и глубже. Для этого нужны деньги. Очень большие. Есть план сократить все расходы, кроме расходов на золото. Например, Территория. Содержание управления на Территории стоит бешеных средств. Гоним туда корабли через половину земного шара. Мы добываем там олово. Мы ищем там олово. Так требовалось в годы войны. Сейчас олово не проблема. И мы туда картошку и лук везем самолетами. Зачем нам олово Территории?

— На всякий случай, — сказал кто-то.

— На всякий случай нам нужно золото. Есть предложение прикрыть геологическое управление Поселка. Оставить там минимальный штат, пусть занимается съемкой... Когда мы докажем правительству, что капиталовложения в Реку оправданы, мы откроем его снова. Это называется концентрация средств.

Все оглядывались на Чинкова. Тот сидел, опустив голову, ряды сидящих сместились и образовали просвет. С одной стороны Робыкин, сверкающий бритым черепом, за поднятым на возвышении столом, с другой — Чинков, со склоненной головой у стенки. Минута была настолько неловкая, что хрипатый и прямой, как нож, корифеевский голос сказал:

— В Поселке лишь одно из семи управлений. Прикрыть его можно. Но где остальные деньги? На Чинкова мне наплевать. Дай мне три миллиона, Робыкин, я тебе Клондайк принесу.

— В руководстве есть план, — сказал Робыкин, — и задача настоящего совещания...

Дальше Чинков не слушал. Ему вспомнился запах кедрового стланика. Дым забытых костров, палатки давних ночевок пришли к нему. «Нужны деньги, чтобы добыть деньги, нужны деньги, чтобы добыть деньги», — крутилась в голове глупая мысль. Давило сердце. Чинков украдкой отвинтил в кармане трубочку валидола, исподлобья оглядевшись, выбрал момент, сунул ее под язык. В «Северстрое» было принято щеголять валидолом, некоторые спирт им закусывали. Но Чинков скрывал недуги. Ему требовалось выглядеть вечным. Ах, товарищ Робыкин, мерзавец Котя. Выбрал момент для сведения счетов. Корифеи видят только одну цель.

Объявили перекур. Мамонты золотой промышленности снова чесали языки в коридоре. Громкие голоса — нависла опасность, и старые кони били копытами. Их удача была в прошлом, их звезда была в прошлом. Сейчас они были просто старыми ездовыми псами, которые тянули нарту валюты для государства.

Так думал Чинков. Он стоял теперь отдельно. Запах кедрового стланика, и победная уверенность счастья. Угасание Реки. Они считают, что конец Чинкову, а он даже еще не начинал. «Пора, — сам себе сказал Чинков. — Пора. Настало время».

Он повернулся и пошел прочь по длинному коридору центрального управления. Спиной он чувствовал недо-

уменные взгляды. Даже чей-то сдержанный изумленный оклик. (Надо лезть в драку, отстаивать управление, а он уходит. Чинков-то сопляк, ребята!) Но Чинков не повернулся. Папочка кокетливо взята за уголок, легкая походка. Грациозный бегемот в дорогом темном костюме.

...В тот же вечер, нарушив все законы субординации «Северного строительства», Чинков самовольно покинул совещание и на первом подвернувшемся грузовом ЛИ-2 вылетел обратно в Поселок. ЛИ-2 шел пустым. Чинков в одиночестве сидел в темно-зеленых дюралевых недрах. Хлопала неприкрытая дверца хвостового отсека. Дверь в кабину пилотов тоже была открыта. Чинков видел затылки и спины пилотов, широкие от сидячей жизни. Северстроевские летчики знали, кого везут. Для них он был столп, знаменитость, для них он был в сонме богов и, значит, свой человек. Перехватывая металлические ребра фюзеляжа, Чинков прошел вперед, закрыл дверцу в кабину пилотов, аэродромным башмаком заклинил хвостовую дверь. Ему требовалось быть одному. Он сел на металлическое креслице и закрыл глаза. Куценко! Жизнь и здоровье Куценко интересовали его сейчас больше, чем свое собственное.

Моторы ЛИ-2 монотонно гудели «боум-боум-боум». Чинков, казалось, дремал. Глаза закрыты, лицо спокойное. На коленях черная папка и благонравно сложенные руки с маленькими женственными кистями. Выдавало, что Чинков не спит, лишь некое движение пальцев, как будто перелистывавших листы неизвестного дела.

Чинков и в самом деле мысленно перелистывал, перебирал узкие листочки, исписанные собственным бисерным почерком — содержимое папки. На каждом таком листочке была мысль, или довод, или догадка, или соображение. Привычка записывать возникла у него в первые дни первооткрывательской славы. И началось все со странного факта: когда россыпь, открытая им, была оконтурена и разведана, Чинкова поразило, что контур и положение россыпи *полностью совпали с тем контуром, который был нарисован в его воображении два года назад.* Он узнал на итоговой карте зеленый мерцающий пласт, приходивший к нему во сне или просто при закрытых глазах.

Разведка россыпи стоила многие сотни тысяч рублей. Россыпь же, открытая чинковским воображением, была, так сказать, бесплатной. Если не считать предельного напряжения чинковского мозга.

...Интуиция в те годы числилась среди идеалистических штучек. Но Чинкову было плевать на термины, его интересовала техника дела. В областной библиотеке он обнаружил, что в свое время в Город попала библиотека известного философа-идеалиста, эмигрировавшего в конце двадцатых годов. Там Чинков и открыл, что вопросами интуиции всерьез занимались серьезные люди: Лейбниц, математик Пуанкаре и так далее. Идеалистического тумана Чинков не боялся. Его интересовала интуиция как инженерный метод познания. Так возникла черная папка. Он записал:

«**Интуиция.** Служит равноправным с прочими методом познания природы. Фундаментом интуиции являются: 1. Личные способности человека к ней. 2. Первичный материал, груда фактов, которыми он располагает. 3. Сильное и длительное напряжение мозга.

Достоинства. Это прямой и безошибочный метод познания.

Недостатки. Проверить правильность интуитивной догадки можно лишь обычными методами.

Применение. В геологии нужны прежде всего люди с развитой и тренированной интуицией. В науке о россыпях все зыбко и все расплывчато. С помощью интуиции надо выбирать район поисков и их направление. Далее обычными методами».

Чинков знал, что замкнулся первый круг его жизни. В этом круге образцом для Чинкова служил человек, снятый с ним на фотографии. Он стал академиком в сорок и умер в сорок семь. Но жизненная задача была выполнена. Чинков верил, что академик обладал чрезвычайной интуицией. Он первый угадал золотой пояс Реки. Нынешние корифеи «Северстроя» пришли вместе с ним или следом за ним. Они выиграли жизнь, эти честолюбивые молодые люди. Пришли в нужное место и в нужное время. Их фамилии спрягаются в геологических монографиях всего мира, на них заведены досье в иностранных разведках, у себя в государстве они числятся под литерами особо ценных людей. Но их привел, дал направление рано умерший академик. Их прославила его интуиция. И он, а не кто другой, не оставил на Реке места Чинкову.

Рапорт о переводе еще не был написан, еще шли телеграммы с поздравлениями, но Чинков уже знал — Территория. Если есть ему место на земле «Северстроя», то это место на Территории. Так сказал Чинкову внутрен-

ний голос. Риск — безусловен. Но если не рисковать, то что делать дальше? Бросать «Северстрой»? Из «Северстроя» уходят лишь неудачники, те, кто слаб. Что в принципе одно и то же. Если ты неудачлив и слаб, ты — ничтожество в рядах «Северстроя». Если удачлив, но слаб, ты — все-таки личность. Если ты силен и удачлив, ты — личность вдвойне. Он, Чинков, и есть такая личность. Следовательно, он создан для «Северстроя».

Территория — страна олова. Заповедь «Северстроя» гласит, что олово и золото несовместимы в одной провинции. С оговоркой «почти». Но про оговорку забыли. Может быть, потому, что золото на Территории упорно искали. Два года назад, собирая в черную папку материалы по Территории, Чинков выдумал какую-то комиссию по проверке архивных фондов, сам стал ее председателем и прочел все, что можно прочесть, не вызывая расспросов. Получалось так:

КОНСПЕКТ

Первичные предпосылки. «Голова золотого тельца находится на Юконе. Туловище его находится в Азии». Эта формула возникла в последние годы XIX века среди золотоискателей Клондайка. «Подтверждением» формулы являлись сведения, полученные от скупщиков «оленьего короля» Карла Ломена. Скупщики утверждали, что хорошее россыпное золото встречается у Заячьего мыса. Были еще невероятные слухи, что туземцы стреляют медведей золотыми пулями, и у некоторых из них видели мундштуки трубок, откованные из самородного золота. К 1900 году наметилось четкое движение проспекторов Клондайка в Азию.

Примечание Чинкова. Никто никогда не видел золота или изделия из золота, достоверно добытого на Территории.

КОНСПЕКТ

Экспедиция К. В. Богова. Для «сохранения русского суверенитета» над, возможно, золотоносными областями Азии была создана концессия, получившая преимущественные права на все полезные ископаемые Территории. В лето 1901 года была спешно организована экспедиция под руководством профессора Петербургского университета К. В. Богова, знавшего золотые прииски

Лены и работавшего несколько лет на Камчатке. Субсидировали экспедицию английские банки. Она снаряжалась в Сан-Франциско, экспедиционным судном служила шхуна «Гаваи» под командой норвежца Хансена. Инженерный персонал составляли англичане, рабочими были китайцы, снаряжение американское по калифорнийскому образцу. Для охраны прав экспедиции был выделен военный бриг «Якут». Экспедиция пришла к берегам Территории в начале июля 1901 года. В первой же бухте она столкнулась с судном владивостокского купца Бринера, который также искал золото по разрешению, выданному Иркутским горным управлением. Экспедиция закончилась в августе. Из-за конфликта с капитаном Хансеном, который потребовал захода в Ном для ремонта машины. В Номе Хансен сошел на берег и отказался вернуться на судно. Суд подтвердил расторжение контракта.

КОНСПЕКТ

Результаты. К. В. Богов составил геологическую карту узкой ленты побережья. Шлихи, промытые в устьях рек Территории, и также несколько шурфов, которые удалось пробить, показали повсеместное распространение золотых знаков. Но ничего более. Конечный вывод К. В. Богова — отрицательный. «Именно из-за повсеместной зараженности золотом на Территории нет промышленных россыпей».

Примечание Чинкова. Главной ошибкой была плохая организация экспедиции. К. В. Богов не столько занимался работой, сколько выяснением отношений между английским персоналом и начальником экспедиции, между капитаном Хансеном (запойная форма алкоголизма) и начальником экспедиции. Он не сумел преодолеть разочарование персонала от того, что в первых же пробах не полезли самородки. Снаряжение, отобранное в Сан-Франциско, не годилось. Калифорнийские кирки непригодны для вечной мерзлоты, насосы с коническим клапаном непригодны для откачки воды из шурфов. В результате пробито было всего несколько шурфов. Как специалист по золоту, К. В. Богов не мог не знать, что в устьях рек с их тихим течением вряд ли можно ожидать крупного золота. Экспедиции в верховьях не были организованы из-за неурядиц. Все предприятие окончилось крахом.

СВОДКА

Проспекторы. В течение последующих двадцати лет на Территорию ежегодно попадали группы американских и русских проспекторов. Об этом сообщает местное население. В районе Заячьего мыса найден ручной бур «эмпайр», который применяется для отбора проб в рыхлых грунтах. Достоверных сведений о результатах не имеется. По-видимому, знаки в шлихах неизменно встречались, иначе нечем объяснить упорство проспекторов, повторявших экспедиции из года в год, зачастую с риском для жизни. Но ни один старатель не нашел ничего, кроме знаков. Как и предсказывал К. В. Богов.

Примечание Чинкова. Одиночка-старатель или даже группа их не могла организовать сколько-нибудь тяжелые работы. Из-за отсутствия транспорта они были прикованы к ленте побережья.

СВОДКА

Первая экспедиция «Союззолота». Первую экспедицию мощного треста «Союззолото» представлял Константин Сергеевич Дамер. Работа его рассчитывалась на три года, из них первые два должен был посвятить составлению географической и геологической карты Запада Территории, третий год — прямым поискам золота. Базой служил домик Пугина на месте Поселка. В первую же зиму Дамер погиб в Кетунгском нагорье. Вероятно, от воспаления легких. Прибывший вслед за ним Д. И. Овцын закончил составление географической и геологической схемы. Поисками золота он не занимался. В геологических образцах, доставленных Овцыным с мыса Валькай, был обнаружен касситерит. Ни К. С. Дамер, ни Овцын ничего не сообщали даже о «знаках».

ПРИМЕЧАНИЕ ЧИНКОВА

Ошибки. Ошибки можно отнести лишь к руководству треста «Союззолото». К. С. Дамер и Д. И. Овцын являлись геологами академического плана, блестяще образованными и настойчивыми работниками. Но они не были поисковиками.

КОНСПЕКТ

Вторая экспедиция «Союззолота». Вторая экспедиция имела в своем распоряжении шхуну и состояла из четырех горных инженеров, знакомых с работой по золоту Лены, Алдана. К сожалению, ледовая обстановка была неблагоприятной, шхуна задержалась. Чтобы наверстать время, все четверо взяли одиночные маршруты от мыса Бараний камень к реке Китам, где их должна была встретить шхуна. По-видимому, они не учли тяжесть маршрута по осенней тундре, не учли климат Территории. Все пропали без вести. Шхуна зимовала в устье Китама, но никто из экспедиции не пришел. Результаты экспедиции поэтому неизвестны.

Примечание Чинкова. После открытий месторождений Реки интерес к золоту Территории исчез. Ключом к ее освоению стал касситерит, Официальное мнение «Северстроя»: олово и золото в одной провинции несовместимы. Это считается неопровержимой истиной. Возможно, так оно и есть.

ЗАПИСЬ ЧИНКОВА

Факты. В архиве мною найдено упоминание о бутылях с мелким пылевидным золотым песком, обнаруженных на касситеритовом прииске Территории. Спектральный анализ не позволяет их отнести к какому-либо месторождению Реки.

ЗАМЕТКА ЧИНКОВА

Катинский. «Три пробы с весовым золотом. Докладная записка. Соображение об идентичности золотонесущих гранитов Реки и Территории.

Главной ошибкой Катинского является отсутствие твердости. Он был *обязан любыми путями* пробить максимальное число горных выработок и доказать, что есть россыпь, а не случайный карман. Трех проб, чтобы получить деньги и рабочих, разумеется, недостаточно».

...Чинков один за другим мысленно перебирал листочки черной папки. Гул моторов давно уже стал еле различимым, стал фоном, к которому привык слух. Тон-

ко дребезжала какая-то железка, самолет постукивал, вибрировал, жил. В закрытых глазах Чинкова мелькнула белая вспышка, и он неожиданно, без подготовки, как это часто было с ним, пришел к выводу, что *проблема золота Территории даже не в том, что его искали неправильно или мало, а в том, что не было лидера.* Нужен честолюбец, который будет идти до конца.

2

Начальник Восточной поисковой партии Владимир Монголов с четырех утра сидел в камеральной палатке. Работа над картой требовала сосредоточенности, а днем солнце так накаляло брезент, что думать было почти невозможно. Монголов гладил сухое бритое лицо и смотрел на карту. На ней разбегались обведенные тушью петли маршрутов, выполненных с начала сезона. Мелкие цифры номеров обнажений, красные точки шлихтовых проб, черный квадрат на том месте, где били канавы, прямые черты шурфовочных линий поперек долины реки Эльгай. Все это было десятки раз взвешено, продумано, размещено так, как положено быть. И люди, и взрывчатка, и горные выработки. Прораб Салахов ушел в длинный шлиховой маршрут. Съемщик Баклаков сегодня вернется из очередной маршрутной петли. План по шурфам и канавам идет нормально — все катится и идет, как должно. Но все же Монголов чувствовал, что порядок неподвластен ему. Он же в свои пятьдесят три года привык к порядку, потому что жизнь Монголова прошла под словами «приказ» и «необходимо». Он служил кадровым офицером, потому что его направили в армию, потом стал горняком, ибо так требовалось, стал оловянщиком, потому что стране позарез было нужно олово, пошел на фронт, когда началась война, и оставил войну по приказу, ибо в олове война нуждалась больше, чем в командире батареи. Он был специалистом по поискам касситерита — главной оловянной руды. Здесь, в самом дальнем углу «Северного строительства», имелся касситерит, он создал Поселок, на олове специализировалось их управление. Монголов считал, что и его личная жизнь связана с оловом. Но в этот сезон, с самого начала его, Монголов чувствовал смутную глухую тоску, как будто утром, идя на работу, встретил вдруг старого недруга, неприятного, точно озноб, человека, и этим напрочь испортил день.

Проект на поиски касситерита в долине реки Эльгай писал Монголов. Проект был логическим продолжением предыдущих сезонов, и Монголов мог бы, если бы это допускали рамки проекта, предсказать содержание и запасы. Но касситерита в долине реки Эльгай не оказалось. Вопреки всякой логике. Не было в кварцевых жилах, где били канавы, не имелось в шлиховых пробах по долине реки, не встречалось в шурфах. Вместо этого в шлихах лезли недоброй славы золотые знаки.

Странная и печальная история золота Территории всегда угнетала Монголова, когда он читал отчеты. Гнусный мираж, профанация, обман и самообман. Мираж — когда крошечные золотые пылинки, видимые лишь под лупой или микроскопом, вылазят в каждом лотке, но нет весового золота, нет настоящих проб. Истории, слухи, легенды, сказки, главы в бойких книжонках, написанных дилетантами, статейки там разные про романтику поисков и загадки природы. А Катинский? Прекрасный оловянщик, давний друг Миша Катинский. Три года назад он руководил партией на соседней речке Канай. Задачей партии было установление границ оловоносной провинции. Тундровый черт подбросил ему в трех шурфах пробы с весовым золотом. Катинский срочно написал докладную о переориентации своей партии на золото. Где сейчас инженер и давний друг Миша Катинский? В Средней Азии! Сказал при отъезде, что подросли дети, требуют твердую руку отца.

Монголов в десятый раз провел по гладко выбритой щеке. Во всей партии брился только он, и только он считал необходимым ходить в стираном свитере, чищеных сапогах. Он взял тонко очиненный карандаш и чуть дрогнувшей рукой провел место очередной шурфовочной линии. Специфика геологии в том, что ты никогда заранее не можешь назвать результат, — может быть, он появится в последний день в последнем шурфе или последнем шлихе, промытом замотанным за сезон промывальщиком. Но нюхом старого поисковика Монголов чувствовал, что олова в этом году не будет. Неудачный, глупый и нехороший сезон. Наверное, пенсия подает сигнал, стучится в дверь дрожащей рукой. Жизненная наука заключается в том, что никогда не надо сдаваться раньше конца. И никогда не надо спешить раньше начала. Зачем поспешил Миша, Михаил Аркадьевич Катинский? Может, ему тоже пенсия постучала? Или суетная жажда славы затмила ясность ума? Инженер должен исходить

из реальности: Катинского уничтожили, насмешкой и властью убили боги. Те самые боги, что двадцать лет назад открыли знаменитый на весь мир золотоносный пояс Реки. Тогда они были действительно боги, как сейчас товарищи начальники — руководство.

Монголов снял с гвоздика у двери офицерский плащ. Под плащом прятался короткий винчестер. Монголов надел плащ, перекинул ремень винчестера через плечо и машинально хлопнул по карману. В кармане звякнули патроны. Монголов собрал со стола карты, положил их во вьючный ящик, навесил замочек и ключ положил в карман. Символически, но так полагается. Он тщательно притворил фанерную дверь камеральной палатки. От дыма дальних пожаров воздух казался белесым.

Монголов пересек ручей, впадавший в реку у базы. О сапоги стукнулся хариус, метнулся, рябь пошла по воде. От устья ручья Монголов свернул в кустарник. Прямая его фигура плыла над кустарником, приклад винчестера торчал над узким аккуратным затылком. Он легко выбирал дорогу, и шаг его был легок, как у юноши на лесной тропинке.

Впереди долина, река как бы кончалась, упираясь в тупоносый горный утюг. Там река Эльгай раздваивалась, делилась: Правый Эльгай и Левый Эльгай — две равнозначные речки. Донесся глухой хлопок взрыва — шурфовщики работали. Вскоре Монголов увидел их: двое стояли у темного пятна грунта, на котором белел вороток, и смотрели куда-то за реку, в сопки. Потом уселись, все так же разглядывая дальние сопки. Над ними кружилось плотное, палкой бей, облако комаров.

Шурфовщик Кадорин по кличке Седой, крупноголовый, чуть сутулый мужик со страшным шрамом, идущим от угла рта к уху, вежливо встал навстречу начальству, улыбнулся изуродованной улыбкой независимо и доброжелательно. Монголов поздоровался с ним за руку. Он уважал Седого. Гиголов, длинноволосый развинченный парень, прозванный из-за пристрастия к простокваше Кефир, дурашливо приподнял кепочку:

— Здрасьте, Владимир Михалыч, товарищ начальник.

— Где Малыш? — спросил Монголов.

— Пробы моет. С утра таскал, теперь моет, — ответил Седой.

— Точно! Топают двое, — провозгласил Кефир. Он снова уставился на дальний склон сопки. Седой промол-

чал. По остроте зрения невозможно было состязаться с Кефиром. Серые, вечно с придурью глаза его обладали дальнозоркостью хорошего морского бинокля.

— К базе идут, — дополнил Кефир. — Ид-дут к базе. А в рюкзаках у них спирт. Ха-ха! — Кефир юродствовал. — Начальник, выдашь по кружечке? Выпью и спляшу индийский танец под названием «Ганга». Есть такая река на берегу теплого синего океана. Средь храмов, пагод и идолов.

Он встал в позу восточной танцовщицы, вскинул руки. Одна ладонь сломлена вниз, вторая — вверх, и задергался развинченным телом. Развернутые носки драных сапог притоптывают по осоке, на немытом лице покой и загадочное блаженство.

— Вырезок человечества, — кратко определил Седой.

Палило солнце. На желтой осоке, на сером грунте полярной земли валял дурака нечесаный человек в драной рубахе. Пахло сыростью, горьковатым запахом взрывчатки, дымом горящей тундры.

— Давай, Ганга, в шурф. Выкачивать будем. — Седой нацепил на крюк воротка бадью.

— В сырость и глубь земных недр! — Кефир поднял брезентовую куртку, шагнул к бадье.

— Оба толстые. Прут нахально прямо на базу, — сказал он в заключение, глянув на сопку.

— Яз-зви его в веру, надежду и душу, — пробормотал Седой. Машинально глянув на сопку, он чуть не выпустил ручку воротка. Голова Кефира, стоящего в бадье, была уже на уровне среза шурфа. Он терпеливо и бесстрастно взирал на Седого, как некий Христос, не возносящийся, а уходящий вглубь.

Монголов по следам рассыпанного при переноске грунта пошел к реке. Малыш в коротких и толстых резиновых сапогах стоял в воде и медленно качал лоток. Он не вздрогнул, не оглянулся на шум шагов. Вниз по течению от лотка уходила желтая муть. Даже сквозь верблюжий свитер было видно, как ходят мышцы по спине Малыша.

— Как дела? — спросил Монголов.

Малыш медленно разогнулся и повернулся к Монголову корпусом. Внешне промывальщик напоминал литую глыбу с мягкими кошачьими движениями. В Поселок он попал из цирка, где работал силовым акробатом. Бережно слив из лотка последнюю воду, Малыш бесшумно и даже

изящно вышел из воды, вытер об узкое бедро ладонь и так же бережно пожал руку Монголова. Именно ровная вежливость, а не умение разнимать драки двумя движениями пальцев создали Малышу авторитет среди вольных людей, не боявшихся ни финки, ни лома, ни расправы многих с одним.

— Как? — повторил Монголов.

Вместо ответа Малыш кивнул на влажные мешочки с уже отмытыми пробами и подал Монголову большую шлиховую лапу в медной оправе.

— Ты продолжай, — сказал Монголов, наклоняясь за первым мешочком. Но Малыш остался стоять на месте, лишь беспокойно переступал с ноги на ногу. Монголов быстро просмотрел пробы. Мутные зернышки кварца, черная пыль магнетита, и кое-где чуть заметно отсверкивали блестки золотых знаков. «Что я психую, — желчно думал Монголов, — такие знаки под Подольском намыть можно. А вот намой ты под Подольском касситерит».

В то же время он не переставал думать о тех двоих на склоне сопки. «Оба толстые, прут нахально прямо на базу», — сказал Кефир. Рация у них с весны вышла из строя, война начнись — не узнают. Пастухи? Пастухи толстыми не бывают. Идут не таясь, идут со стороны, где работали канавщики, значит, не из «этих», не из случайных. Пожалуй, некому быть, кроме главного инженера их управления Чинкова, который по совместительству был и главным геологом. Кто-либо из начальства все равно должен посетить партию. Чинков как раз толст. Значит, идет Чинков и с ним сопровождающий с автоматом для соблюдения техники безопасности. Главного инженера Монголов знал плохо, потому что тот занимался золотом, а золото не интересовало Монголова. Золотарь, лауреат, человек с репутацией тяжелого танка с полным боекомплектом. Достаточно сведений о начальнике.

— Все отмытые пробы доставь сегодня на базу, — сказал Монголов. — К двенадцати ноль-ноль.

— Приказ начальника — закон для... — как-то неестественно улыбнулся Малыш.

— Кажется, главный инженер к нам идет.

— Порядок в танковых частях, — Малыш опять улыбнулся, на сей раз своей неизменной детской улыбкой, которая всегда выбивала Монголова из равновесия. За много лет он хорошо изучил экспедиционных рабочих.

Он любил и уважал их, как, допустим, командир мог бы любить и уважать свой непутевый, но надежный в бою взвод. Кому как не Монголову, прожившему жесткую жизнь геолога и солдата, было знать, что за праведным ликом сплошь и рядом прячется квалифицированное дерьмо, за косоухой небритой личиной сидит бесстрашный умелец, за гордыней прячется самолюбие и желание быть в деле честнее и лучше других. И еще Монголов знал истину, без которой не может быть командира — грань, где кончается попустительство и стоит слово «приказ». Знали эту грань и его работяги. Но Малыш не подходил под каноны.

— Пойду встречать, — Монголов поддернул ремень винчестера и еще раз посмотрел на сопку. Если Чинков идет с той стороны, значит, он был на канавах и обстановка ему известна. Идти на канавы незачем.

— Владимир Михайлович! — окликнул его Малыш.

— Слушаю.

— Все нормалеус. Пробы будут как штык, — вдруг сникнув, сказал Малыш.

Монголов несколько мгновений молча смотрел на него.

...У него опять заныло в желудке, под солнечным сплетением. Два года назад врач неопределенно находил то ли язву, то ли преддверие язвы. Отпуск кончался, а законы «Северстроя» строги. Боль была тупой и тягучей. Монголов даже скривил лицо. Мысли прыгали: приход Чинкова, глупые знаки золота и отсутствие касситерита. Вспомнив окрик Малыша, Монголов даже остановился. Что именно его насторожило? Нет, ничего. Что-то с нервами не в порядке. Наверное, от жары. Пора в отпуск. Монголов шел прямо, сжав губы, и даже несколько по-строевому печатал шаг, так сильно хотела его душа четкости и порядка.

Когда он дошел до палаток, Чинков был уже там. Он монументально сидел на ящике из-под консервов, и было похоже, что всегда тут сидел и будет сидеть. Мешковатая брезентуха придавала Чинкову простецкий вид. Они поздоровались.

— Вы на канавы зашли?

— Да-да, — соболезнующе покивал головой Чинков. — Полностью пустые канавы, такая жалость. А что шлихи?

— Пока все пусто.

— В полном противоречии с проектом. А что все-таки они говорят?

— Слабые золотые знаки. И ничего больше.

— Знаки обязаны быть. Конечно же, так, — пробормотал Чинков.

— Пойдемте посмотрим карты и пробы.

— Охотно! — Чинков встал, тонко и весело крикнул: — Алексеич!

— Тут! — с готовностью ответил голос из-за палатки. Только сейчас Монголов увидел второго. Точно в такой же брезентухе, как и Чинков, чуть поменьше в объеме, так же черноволос. Они походили друг на друга, как вынутые одна из другой матрешки.

— Сообрази чайку и уху, — сказал Чинков. — Знакомьтесь: Клим Алексеевич Куценко. Лучший промывальщик Реки.

— Чай и уху, — как эхо откликнулся Куценко. Монголов чуть не рассмеялся. Голос у Куценко был точно чинковским. Вся рота похожа на командира.

— И уху! — твердо сказал Чинков. — Ведите, Владимир Михайлович.

В камеральной палатке Чинков осторожно уместился на самодельном стуле и даже улыбнулся Монголову. «Смотрите-ка, даже стулья у вас. По-хозяйски устроились...» Монголов ничего не ответил. Зыбкое благодушное поведение Чинкова насторожило его. Уж очень все не вязалось с репутацией Будды. В палатке было сухо, жарко, темно. Солнце грело торцевую стенку, и мозаика комаров на потолке переползала лениво, менялась.

— Скажите, Владимир Михайлович, — тихо, даже как-то интимно, спросил Чинков. — Вы могли бы поверить в промышленное золото Территории?

— В промышленное золото здесь я не верю.

— А почему?

— Считаю, что не серьезно. Трепотня и пошлый ажиотаж. Игра в романтику, хуже того, честолюбие за счет государства.

— Золото всегда сопровождает пошлый ажиотаж, — наставительно произнес Чинков. — Вы, по-видимому, не любите золото, Владимир Михайлович?

— За что я должен его любить? Я не одалиска и не подпольный миллионер.

— Ну что вы! Вы, конечно, не одалиска.

«Что он ваньку валяет? Зачем?» — с внезапным раздражением подумал Монголов.

— Повсеместное распространение знаков и случайные

пробы ничего не доказывают, — резко сказал он. — Хуже того, дают почву для спекуляций.

— Ныряет, выныривает и снова ныряет, — загадочно пробормотал Чинков. Монголов видел лишь его склоненную голову с могучим покатым и гладким лбом.

— О чем вы? — спросил Монголов. Чинков молчал. За палаткой послышалось ворчанье Куценко, шаги.

— Пойдемте! — быстро сказал Чинков. Они вышли из палатки. Промывальщик Куценко шел по берегу с детским розовым сачком, каким ловят бабочек, и вглядывался в воду. Чинков воззрился ему в спину, приглашающе помахал рукой. Из палатки рабочих появился... Кефир, почему-то в одном нижнем белье китайского производства. Осторожно покосившись на начальство, он уставился в спину Куценко.

— Гиголов! Ты здесь зачем? — спросил, улыбаясь, Монголов.

— Живот болит. Пришел за аптечкой, — сокрушенно прошептал Кефир.

— Каменюку швырни! — неизвестно кому адресуясь, скомандовал Куценко.

Кефир сорвался с места, поднял тяжелый булыжник и замер.

— Пониже меня метров на десять. Бро-о-сь! — не оглядываясь, пропел Куценко.

Кефир охнул, швырнул камень. Взлетели желтые, просвеченные солнцем брызги. Куценко сделал неуловимое в быстроте и точности движение сачком, и в сачке заплясал крупный хариус. Чинков залился тонким счастливым смехом: «Не правда ли, цирк? Пятый год не могу привыкнуть».

— Сейчас еще выну, Илья Николаевич, — сказал Куценко и сердито добавил: — Ты больше-то не швыряй, дурило. В океан рыбу прогонишь.

Кефир восторженно выпрямился:

— Слышь, у тя глаза на затылке, што ли?

— Да-а-вай, да-а-вай! — лениво протянул Куценко. Было тихо. Пищали комары, светило солнце.

— В рюкзаке коньяк есть. Не откажетесь? — спросил Чинков. Лицо у него было безмятежным.

«А он ничего мужик, — неохотно заключил Монголов. — Вырвался в поле и рад, как пионер в походе».

Чинков с посапыванием копался в рюкзаке. У Монголова снова резко заныл живот, голова закружилась, и он подумал, уверовал вдруг, что в главном инженере сидит

какая-то чертовщина, что он, Монголов, присутствует при непонятной игре. Дело вовсе не в том, что Чинкову взбрела блажь искать золото. С неясной тоской Монголов подумал еще, что песенка его подходит к концу, да-да, пенсия на пороге и освободи место другим. Даже на фронте, где люди весьма склонны к приметам и суевериям, Монголов меньше других был склонен к мистике. Но сейчас — накатило, и он даже выпрямился, даже одернул складки несуществующей гимнастерки под несуществующим ремнем и мысленно произнес приказ: «Отставить, Монголов! Спокойно! Все в полном порядке». Все это промелькнуло в его голове в тот краткий миг, пока главный извлекал из рюкзака завернутую в шапку бутылку коньяка «Армения». Будда достал бутылку, посмотрел на свет, оглянулся кругом, и тотчас, точно привлеченный этим магнитным взглядом, из-за откоса выполз Куценко с хариусами, оттягивающими мокрую сеть сачка. Следом, не сводя обожающих глаз со складок на затылке промывальщика, шлепал босыми ногами Кефир.

— Штаны не надо носить? — насмешливо спросил Чинков.

— Счас! — Кефир с деланным смущением устремился к палатке. Вышел оттуда в штанах, но с кружкой.

Чинков засмеялся сдавленным кудахтающим смешком, пальцем поманил к себе Кефира и пальцем же показал на бутылке отметку.

— Извини, бутылка всего одна.

Кефир жестом заверил его в своей глубокой алкогольной порядочности. С кружкой он отошел от палатки, сел на землю и тонко просвиристел. От обрывчика к нему тотчас запрыгал толстый желтый зверек — евражка Марина.

— Давай устроим, Марина, отдых трудящихся, — бурчал Кефир. — Сейчас я тебе сыру дам. Хошь плавленого, хошь голландского, от империалистов.

Евражка Марина, северный суслик, тонко попискивала, стоя на задних лапках. Раскосые глазки преданно смотрели на Кефира.

— Кадры у вас... Владимир Михайлович, — растроганно сказал Чинков. — Я, знаете, люблю настоящий северстроевский кадр. Помню, у меня журавля держали, Степу. Отравился чем-то и умер. Такое горе было... «Не лезь, не мешай, начальник, нам Степу жалко. Ты и не знаешь, какой он был человек». Да!

Они снова прошли в камеральную. В полумраке ее

коньяк, налитый в кружки, казался густым, как олифа. Чинков со слоновьей грацией сидел на стуле. Вошел Куценко, принес две открытые банки шпрот, пачку галет в алюминиевой миске. «Уха будет через пятнадцать минут», — сказал он и вышел. Было нестерпимо тихо. Западная стенка палатки нежно окрасилась розовым. От этого было грустно. Боль в желудке не отпускала Монголова. Он знал, что от коньяка ему будет хуже — придется пить соду и, пожалуй, не спать ночь. Но в «Северстрое» от выпивки отказывались только под предлогом болезни. Монголов считал, что, если дела в партии идут неудачно, про болезнь говорить он не имеет права. «Не ко времени, ах, не ко времени», — думал Монголов.

— Не считаете ли вы нужным провести шурфовку вверху? Подсечь оба притока? — спросил Чинков.

«Вот оно что! Значит, все-таки просто идиотское золото, — зло подумал Монголов. — Вежливо. Но твердо. Твердо. Но вежливо. Пойду на обострение».

— Нет, — сказал он вслух. — Не считаю. У партии есть проект. Проект составлен на касситерит. Касситерит, как известно, легче золота. Если он есть в верховьях, он был бы и здесь. Линии вверху будут пустой тратой государственных денег.

Монголов ждал, что в соответствии с обычаями «Северстроя» последует: «А вы считайте, что это приказ». И он будет вынужден подчиниться. Но Чинков молчал. Он сидел все так же, наклонив голову, и вдруг мгновенно и остро, точно щелкнул фотоаппарат, глянул в глаза Монголову. Так, уколом зрачка в зрачок, оценивают людей бывалые уголовники. Монголов понял, что Чинков с легкостью «читает» его невысказанные мысли.

— Где ваши люди? — спросил Чинков.

— Съемщик должен сегодня вернуться. Шлиховая группа прораба Салахова вышла в многодневный маршрут. Кстати, он пройдет район Катинского, если вас это интересует. Я должен понять, где и, главное, почему выклинился касситерит. На западной границе планшета он есть. На самом планшете пока не обнаружено даже признаков. Восточнее — бассейн реки Ватап. О нем мы вообще ничего не знаем.

— Вы читали докладную Катинского?

— Конечно, читал. И дал дружеский совет выбросить.

— Почему?

— Ясно как... устав гарнизонной службы. Никто здешнего золота не видел в глаза. Если бы это был лю-

бой другой минерал, о нем бы просто забыли. Но золото обладает... свойством. Теряют голову даже опытные инженеры, как Михаил Аркадьевич Катинский. Мы с ним поссорились из-за докладной записки. Мальчишество. Здешние знаки можно намыть в Белоруссии, на Кавказе, даже в Подмосковье, — Монголов вдруг почувствовал себя усталым и старым из-за того, что вынужден был говорить очевидные вещи. — Я говорю очевидные вещи, — сказал он. — Ваш коньяк, моя база. Первый тост?

— Вы переписываетесь с Катинским?

— Редко. Новогодние поздравления.

— Может быть, он вернется?

— Думаю, нет. Недавно он защитил диссертацию по полиметаллам. Твердое положение. Его сильно обидели в Городе. Он не вернется.

— Возвращаются неудачники, — рассмеялся Чинков. — Не так ли? Поэтому выпьем за тех, кому нет нужды возвращаться.

Они выпили.

— Просто должны быть причины для возвращения, — переждав коньячный ожог в желудке, сказал Монголов. — У Катинского нет причин.

— Я рад, что вы отправили шлиховую группу за пределы Эльгая. Рад, что, несмотря ни на что, они пройдут район Катинского.

— Я просто веду нормальные поиски касситерита.

— В этой связи не хотите ли вы шагнуть за реку Ватап? Для обследования гранитных массивов. Допустим, дней на двадцать отправить в рекогносцировку вашего Баклакова.

— Все дело в реке Ватап. Потребуется на неделю снять людей с шурфовки, чтобы организовать переправу. И кого-то отправить с ним. Между тем жара. Мерзлота вот-вот поплывет. Людей с шурфовки снимать нельзя. Боюсь, что без лодок переправа вообще невозможна.

— И все-таки... — Чинков снова налил коньяк в кружки. Дверь палатки открылась, и вошел Куценко с кастрюлей ухи. Он поставил уху на стол, быстро принес миски, галеты.

— В такой маршрут должна идти группа или очень опытный тундровик. Карта нагорья приблизительна. Шальное лето. Все можно ждать. Паводки, ливни, снег. Со дня на день.

— А что вообще Баклаков?

— Нормальный молодой специалист. Работает у меня второй год. Звезд с неба не снимает. Старателен.

— Он, кажется, мастер спорта? — сонно спросил Чинков. Монголов понял, что Чинков изучил анкеты.

— Спорт есть спорт. Работа есть работа. Это разные вещи.

— Честолюбив?

— Как всякий молодой специалист. Пожалуй, чуть больше, — Монголов невесело усмехнулся. — Медведь тут на базу пришел. Он на него с ножиком бросился. Для проверки душевных сил.

— И что же?

— Медведь убежал. Оказался умнее.

...Ночью Монголов не спал. Смутное недовольство снова вернулось к нему. Беседа с Чинковым оказалась странной, уклончивой и непонятной. Монголов не стыдился прожитой жизни. Он не прятался за спины других на фронте. Выбрал профессию, тяжелее которой не так уж много профессий. Работал в местах, хуже которых разве что полярные острова. Он открыл две оловоносные россыпи и тем оправдал свою жизнь на земле. У него прошло немало неудачных, пустых сезонов, но чувства ошибки не было, так как новый сезон тянул за собой другой, как линии геологических границ тянулись за пределы планшета, отведенного на данное лето. Монголов, это Чинков угадал, всегда неприязненно думал о золоте. О золоте — самородном металле, приобретшем властную силу над миром. Его счастье, что он сухопарый. Геологи, склонные к ожирению, изнашиваются к сорока годам. Они не могут ходить в поле. В их медицинских карточках сложной латынью записано «сердечник». Он может ходить. Пока стоишь в строю... Взять бы разведку на оловянном прииске. Касситерит, насквозь знакомый и близкий ему минерал. Золото! Черт бы его побрал!

Монголов услышал шаги. Кто-то вышел из камеральной палатки. Зашуршал спальный мешок, и по тяжелому дыханию Монголов понял, что это Чинков. Решил, видимо, спать на улице. Будда уже не ходит в поле.

Чинков, забравшись в кукуль, спальный мешок из оленьего меха, смотрел на светлое небо, прохладный шар солнца, уже готовившийся к подъему от темных валунов сопок. Комары поодиночке с коротким посадочным писком атаковали лицо. Шумела река, и, как всегда по ночам, слышался стук перекатываемых водой камней. Не хватало лишь шума тайги. Там, где Чинков ходил в про-

славившие его маршруты, всегда была лиственничная тайга.

Чинков с трудом выбрался из тесного кукуля и раздул еще тлевший костер. Под мешком у Чинкова лежал полушубок, он вытащил его и надел прямо на тело.

Монголов из палатки видел неподвижную фигуру у бледного света костра. Он знал, что Чинков не заметит его, и долго смотрел на освещенное восходом чугунное лицо главного инженера. Пожалуй, сейчас Монголов понял, за что Чинков получил прозвище Будда. Но он не знал, что Будда в сей миг чувствует себя полным сил, честолюбия и веры в успех молодым человеком и что громоздкое, расплывшееся за последние годы тело не мешает ему, что он глубоко и ровно вдыхает дым костра, горький запах горящей на западе тундры, запах сырости и слегка плесени — сложный и тонкий аромат Территории.

Пригревшись под полушубком, Чинков задремал. Он очнулся, когда послышались шаги, и в следующий миг увидел у костра согнувшегося под рюкзаком парня. Парень в упор рассматривал Чинкова. У того мелькнула сонная еще мысль, видение, что это он сам и есть, что время вдруг вернулось и у костра стоит горный инженер Чинков. Видение исчезло. Перед костром стоял усталый парень с лицом, опухшим от комаров.

— Вы Баклаков?

— Да.

— Садитесь, — Чинков окончательно стряхнул сон. Теперь уже он в упор разглядывал Баклакова, скинувшего рюкзак. Лицо у Баклакова было некрасивое, нос уточкой, лицо деревенского простяги-парня.

— Устали?

— Нормально, — с недоумением сказал Баклаков. Вопрос по экспедиционной этике был неприличным.

— Что-либо интересное?

— Нормально, — повторил Баклаков. Как всегда после комариного дня, его слегка лихорадило. Он хотел чая, хотел спать и сильно робел. За весну он успел наслышаться всяких историй о новом главном инженере. Знаменитость!

— Что бы вы думали об одиночном маршруте дней на пятнадцать-двадцать?

— Можно сделать, — сказал Баклаков и снова не удержался. — Нормально.

— Нормально его выполнить невозможно. Маршрут по гранитным массивам, с большим количеством образцов для анализа. К реке Ватап, через нее и далее в Кетунгское нагорье. Пятьсот-шестьсот километров. Ориентировочно.

— Сделаю, — сказал Баклаков.

— Вы действительно уверены в себе?

— Уверен в себе. Нормально.

— Как вы думаете переправляться через Ватап?

— Не знаю. Надо посмотреть на реку, потом принимать решение.

— Кстати, что значит в переводе «Ватап»?

— Серая Вода, — сказал Баклаков.

— Мне сказали, что у вас нет дисциплины. Медведи, какие-то глупые ножики.

— Это я так... — Баклаков покраснел.

— Да-да, — покивал головой Чинков. — Судя по всему, этот дальний маршрут то, что вам надо. Не так ли?

— Если прикажут.

— Идите спать. Мы с товарищем Монголовым примем решение.

— Слушаюсь, — сказал Баклаков. За два северстроевских года он привык, что с начальством не разговаривают, а отвечают на вопросы.

Баклаков отнес рюкзак в палатку, бросил на улице спальный мешок и, не раздеваясь, лег на него, закутал голову бязевым полотнищем палатки. В глазах поплыла серая вода, катилось течение, и он заснул.

...Проснулся он оттого, что кто-то тянул его за сапог. Баклаков выпутал голову и увидел сидящего на корточках Куценко.

— Илья Николаевич требует, — прошептал Куценко. Из палатки вышел Монголов.

Чинков, похоже, так и не ложился спать.

— Владимир Михайлович! — окликнул он Монголова. Монголов, снимавший свитер перед тем, как идти к реке умываться, повернулся.

— Я согласен с вашим решением отправить Баклакова в многодневную рекогносцировку, — громко и весело сказал Чинков.

Монголов ничего не ответил. Взял полотенце, зубную щетку, пошел к реке. Так же молча прошел обратно, мокрые волосы приглажены, вид свежий и аккуратный.

Чинков, в овчинном своем полушубке, сидел у костра, как татарский хан. Рядом переминался Баклаков.

— Сергей! Принеси карту Дамера. Вьючный ящик, четвертая папка, — приказал Монголов.

— Я не понимаю, зачем этот цирк? — сухо спросил Монголов, когда Баклаков ушел.

— Боялся, что вы будете возражать. Решил поставить вас перед фактом. Не будете же вы ронять авторитет руководства перед юным специалистом. — Чинков весело улыбался. Белые зубы, глаза-щелочки. Татарин!

— Вы могли просто приказать.

— Тогда бы я взял на себя ответственность. А мне сейчас не нужны ЧП. Управлению не нужны ЧП, связанные с моей фамилией.

— Боитесь?

— Бог с вами, Владимир Михайлович. Оглянитесь. Вокруг вас «Северстрой». А я Чинков. Таких, как я, здесь не судят.

— Я знаю.

— Я не вурдалак. Мне ни к чему бессмысленный риск. Особенно если рискуют люди, нужные мне.

— Зачем вам этот маршрут?

Чинков вовсе прикрыл глаза и с легким посапыванием стал шарить в карманах брюк. Вытащил легкий пакетик. На желтой бумаге крафт тускло светился золотой песок. Чинков пошевелил его пальцем.

— Смотрите, какая неравномерность, — ласково сказал он. — От мелких и средних зерен до пылевидного.

— Откуда?

— Намыл в верховьях вашей реки. У Куценко, знаете, редкий нюх. Редчайший. Обе пробы взял на сланцевой щетке.

— Он не взял на тех щетках касситерит?

— К сожалению. Я просматривал все шлихи до доводки. Такое ощущение, что в ваших шурфах должно быть весовое золото, Владимир Михайлович. На речке Канай его обнаружил в двух пробах Катинский. В верховьях — я.

— У меня хорошие промывальщики. Но проверять — ваше право.

— Зачем? — удивился Чинков. — Если я проверяю, то лишь себя.

— У меня хорошие промывальщики, — раздраженно повторил Монголов и пошел в палатку.

Баклаков вернулся с картой Дамера. У костра снова сидел лишь один Чинков.

— Почему, Баклаков, вы не спросите меня, зачем я вас посылаю в Кетунг? — не поднимая глаз, спросил Чинков.

— В «Северстрое» спрашивать начальство не принято, — тихо сказал Баклаков.

— Если вы в таком возрасте будете ориентироваться на «принято» и «не принято», вы уже неудачник. Меня интересует, существуют ли массивы, нарисованные на карте, которую вы держите? Что они собой представляют? Образцы. Предварительное описание. Может быть, в них есть рудные жилы.

— Понятно, — сказал Баклаков.

— Это не все. В нашей власти направить сюда тысячи рабочих, колонны тракторов. Государство направит сюда караваны судов, флотилии самолетов, Госбанк выделит миллионы, если мы найдем совпадение условий. Поняли?

— Так точно.

— Вы прапорщик, что ли?

— Нет.

— Тогда почему «так точно»?

— Не знаю. Вырвалось.

— Дайте карту. Что-то вы, Баклаков, не очень мне нравитесь. Угодливы вы, что ли? Непохоже! Тогда какого черта вы боитесь меня?

3

Прораб Салахов с рабочим день за днем приближался к старой базе Катинского. С большими металлическими лотками, лопатами на коротких ручках, привьюченными поверх рюкзаков, они походили на старателей, вольных искателей фарта. У рабочего, остроносого застенчивого мужичка, была громкая и неудобная для произношения кличка Бог Огня. Получил он ее за невероятное умение разжигать костры в любое время и в любой обстановке.

В узких долинах зеленела осока, тонко пищали неизвестные птахи, грохотали осыпи, сдвинутые бегом снежных баранов.

Через каждые три километра Салахов и Бог Огня брали пробу: с косы, со сланцевой щетки, с борта долины. Бог Огня долго качал лоток, разбивал скребком

комья, выкидывал крупные камни и бережно доводил до кондиции перед тем, как слить его в полотняный мешочек. Когда он доводил шлих, то улыбался почти счастливо, хотя трудно представить себе счастливым человека с распухшими от ледяной воды кистями, с согбенной над лотком спиной и гарантированным на остаток дней ревматизмом. Слив шлих, Бог Огня в мгновение ока находил карандашные прутики топлива, ложился спиной к ветру, и откуда-то из живота у него сразу начинал валить дым. Бог Огня откатывался в сторону — и уже было бледное пламя крохотного костра, а у пламени примостились две консервные банки для чифира, и в них закипала вода. Подходил Салахов. Бог Огня подкидывал новые прутики, молча грел покрасневшие руки, затем мелкими частыми глотками выпивал свою кружку и шел мыть новую пробу. Или, если не требовалась его помощь, застывал у гаснущего костра, уставившись на угли.

Ночевали они в двухместной палатке, тесно прижавшись друг к другу. В палатке было тепло от дыхания. Разговаривали очень мало.

К Салахову во сне, в отличие от ясного настроения дня, приходило низкое полярное небо. Когда же ему во сне являлись сделанные в жизни ошибки, он просыпался и долго смотрел на палаточный потолок. Если ошибки не уходили, он перелезал через бесчувственное тело Бога Огня к выходу. Разжигал костер из заготовленных на утро веточек и долго сидел — одинокий человек в светлой тишине, окутавшей Заполярье. Среди молчания, нарушаемого лишь стуком перекатываемых ручьем голышей, Салахов думал о жизни.

Жизнь Салахова, по кличке Сашка Цыган, делилась на три этапа. В первом этапе была жизнь в Прикубанье: школа, армия, служба в десантных войсках. После армии он вернулся домой и женился. Устроился шофером на консервный завод. Валентина, его жена, хотела, чтобы все в доме вызывало зависть соседей и еще, чтобы имелся достаток тайный, неизвестный соседям. Из-за этого сержант-десантник Салахов связался с «левым» товаром, вывозимым с завода. Получил восемь лет.

Он оказался среди профессиональных уголовников. Его несколько раз били смертным боем, потому что он отказывался признавать установленные ими порядки — выполнять норму за какого-нибудь блатнягу, отдавать пайку. Салахов яростно защищался до тех пор, пока его

не сбивали подлым ударом. Один раз он даже плакал злой и скупой слезой в бараке, потому что в этот, в последний раз его, уже полумертвого, били всерьез. Он представлял себе, как будет сохнуть и медленно умирать. Все из-за жадности Валентины.

Но на сухом жилистом теле Салахова заживало, как на собаке. Обошлось и на этот раз. Уголовники от него отступились. Два последних года он ходил рабочим в полевые геологические партии. Там приобрел специальность промывальщика и после освобождения устроился в геологическое управление. Шоферы в Поселке зарабатывали дурные деньги, но Салахов суеверно считал, что баранка не принесет ему счастья.

Так начался третий этап его жизни. Зимой он жил в общежитии, которое в Поселке именовалось «барак-на-косе». Там зимовали все неженатые итээр управления, все инженеры, техники и прорабы. Салахов странным образом почувствовал себя легко и свободно среди веселых ребят. Никто и словом не поминал ему прошлую жизнь. Для всех он был ровней, столь же добродетелен, как и другие, не больше, но и не меньше. Салахов быстро понял, что для парней, населявших семидесятикоечный барак с сугробами по углам, главным в жизни были не деньги, не жизненные удобства, даже не самолюбие. Они весело и твердо подчинялись неписаному своду законов. Твоя ценность по тем законам определялась, во-первых, умением жить в коллективе, шутить и сносить бесцеремонные шутки. Еще главнее было твое умение работать, твоя ежечасная готовность к работе. И еще главнее была твоя преданность вере в то, что *это и есть единственно правильная жизнь* на земле. Будь предан и не дешеви. Дешевку, приспособленчество в бараке *безошибочно* чувствовали.

Салахов истово принял неписаный кодекс. Ошибиться второй раз он не мог. Жизнь как затяжной парашютный прыжок. В затяжном парашютном прыжке двух ошибок подряд не бывает. Если ж случилось, то ты уже мертвый. Ты еще жив, еще работает дрожащее от ужаса сердце, но ты уже мертвый.

...Чем ближе они подходили к старой базе Катинского на речке Канай, тем меньше Салахов спал. Он работал у Катинского два сезона, именно Катинский сделал его промывальщиком. И сейчас Салахов думал о том, не сдешевил ли он дважды? Если так, то он уже мертвый, нет исправления, и за любым углом ждет судьба. Катинский

ничего об этом не знал. Если бы он был здесь, Салахову было бы легче.

Когда они пришли на старую базу, Салахов долго ходил, пинал поржавевшие консервные банки и невесело улыбался, думая о людской и своей, в частности, глупости. Большой ли ум, высшее ли образование требовалось, чтобы предвидеть: дружки, с которыми он пил и целовался после удачной кражи с завода, продадут его еще даже не дойдя до кабинета следователя. И Валентина больше боялась конфискации имущества, чем мужнина осуждения. Через год выскочила замуж. Салахов травил рану, вызывал злобу и ненависть. Сволочи, куркули проклятые, ничего в жизни не знают, кроме ковров, телевизоров, сберкнижки. Ничего, кроме импортного тряпья, знать не хотят. На дефиците мозги свихнули. Ненавижу! Салахов скалил зубы и однажды сам больно с наслаждением пнул собственную ногу. Знали бы ребята в бараке! Морда каторжная. Уголовник!

Шлихи здесь он мыл сам. Но в лотках ничего не было. Даже золотых знаков. Салахов самолично копал пробы с борта, с тундры, с русла, самолично лез в воду с лотком, напрасно вглядываясь в мутный остаток.

Бог Огня заикнулся на третий день: «Чего на заржавевшем месте стоять?» Салахов зыркнул на него выкаченным цыганским глазом и внятно сказал: «Сколько надо, столько будем».

4

Крупный горный заяц ошалело выскочил из-за камня, метнулся вверх и замер на фоне бледного неба. Заяц казался почти голубым. Было видно, как ветер шевелит шерсть на спине и как вздрагивают заячьи уши. Сергей Баклаков тихо, беззлобно выругался: «Ах, клизма без механизма». Сейчас, на вторые сутки, он жалел, что не взял винтовку. Взял пистолет, оружие идиотов, но и тот с ремнем, кобурой и пачкой коротких патронов валялся на дне рюкзака. Баклаков нагнулся и прямо от земли швырком закрутил в зайца камень. Тот сделал некое движение ушами и сгинул, растаял в вечернем воздухе.

Баклаков вышел на перевал. Впереди массив круто обрывался, внизу лежала желтая тундра с бликами озер. Совсем далеко на горизонте тянулась черная полоса, прорезанная кое-где водными отсверками. Это и была леген-

дарная река Ватап на подступах к дикому нагорью Кетунг. Баклаков оглянулся. Река Эльгай, где стояла их база, исчезла средь путаницы черных и фиолетовых сопок.

Монголов приказал взять спальный мешок, пистолет, три банки сгущенки в качестве НЗ. Баклаков сказал «слушаюсь», пистолет взял, спальный мешок засунул под койку, чтобы он не лез на глаза Монголову. Сгущенку он терпеть не мог, поэтому выкинул и ее. Быстрота и натиск — вот ключ к решению маршрута. С грузом скорости не достигнешь. Впрочем, викинги ходили в набеги при полном грузе с оружием, в тяжелых морских сапогах и бегом. Черт с ними, с викингами. Их дело наскочить, грабануть и удрать. Его дело — выполнить задание Чинкова.

Баклаков выбрал затишек между камнями, скинул рюкзак и быстро разжег на камушке таблетки сухого спирта. Вместо котелка он носил консервную банку из-под консервированных персиков. Лужа воды была рядом. Пока чай закипал, Баклаков вынул из сумки маршрутную карту. Карта была старой, но верной. Тут что не знали северстроевские топографы, то не наносили, в чем сомневались — наносили пунктиром.

Облака разошлись. Тундра засияла желтым. Как в мультфильме, выступила синяя гряда Кетунгского нагорья. Над дальним синим туманом отрешенно и чисто сверкал ледовый конус горы, на которой никто не бывал. «Ах, боже мой, боже мой!» — от избытка счастья вздохнул Баклаков.

Он сидел, привалившись спиной к камню: кудлатая голова, насаженная на длиннорукое, длинноногое тело, грубо сделанное лицо выходца из вятских лесов и экономная поза, которая вырабатывается от жизни без стульев, в непрерывном движении.

Вечерело. Баклаков чувствовал это по особой тишине вокруг, по неуловимой смене освещения. Из внутреннего кармана он вытащил мешочек с махоркой и обгорелую с обломанным краем трубочку. Закурил, окутался сладковатым махорочным дымом. Вокруг него уже создался тот особый уют, который везде сопровождает бродячего человека. Он покуривал, вытянув ноги в драных брезентовых штанах, расстегнув телогрейку. Заросшее библейским волосом лицо Баклакова было умиротворенным и безмятежным. Сердце ровно отстукивало свои шестьдесят ударов в минуту, кровь, не отравленная еще никотином,

алкоголем и болезнями, так же ровно и мощно бежала по жилам. Прекрасна страна из желтой тундры, темных гор и блеклого неба. Прекрасно одиночество рекогносцировщика среди неизученных гор и долин. Прекрасно, что ты никогда не умрешь.

В том, что он бессмертен, Баклаков ни на минуту не сомневался. Кроме того, он знал, что за спиной его всегда стоит старичок-лесовик, болотный бог, который ворожит ему в нужный момент. Сейчас Баклаков был доволен и весел, потому что находился один на один с собой, а значит, являлся именно тем, что он есть.

Восемнадцатилетним недотепой, карикатурным Ломоносовым в пиджаке х/б и кирзовых сапогах он попал с глухого лесного разъезда прямо в Московский геологоразведочный. Потомственная хитрость вятских плотников помогла ему выбрать линию поведения. Про золотую медаль Баклаков не упоминал, первый же смеялся над своими ботинками, первый садился чистить картошку в общаге и не лез вперед на собраниях. Простяга парень, козел отпущения для курса — это он, Баклаков. «Почему в геологоразведочный? А разве с моей рожей в МАИ примут? Зачем в лыжную секцию записался? Дак мы привыкли на лыжах бегать. Ноги тоскуют». Где-то к третьему курсу все убедились в невероятной везучести Баклакова. Получает повышенную стипендию? Профессуре нравятся деревенские и основательные. По старинке думают, что геолог это помесь вьючного животного с человеком. Выполнил норму мастера по лыжным гонкам? Ребята сказали, что он один угадал мазь на первенстве Москвы, когда никто ее не мог угадать. Блаженным везет. Мало кто задумался к шестому курсу, что недотепа Сергей Баклаков взял от института много больше любого из них. Курс наук назубок, диплом с отличием, железное здоровье, отточенное шестью годами лыжных гонок, и распределение в никому не ведомый «Северстрой», где «белые пятна» на карте и неограниченные возможности для карьеры, работы и прочего. Спохватились, но поздно. И уж никто не догадался, что Баклаков пришел в институт с яростным честолюбием, верой: вятская фамилия Баклаков еще будет на карте Союза. Так шептал забытый и сморщенный болотный бог. И он же говорил Баклакову, что задание Чинкова и есть начало настоящей работы. Первое — скромно, без шума, доказать, что ты *можешь все.*

Баклаков быстро собрал рюкзак. Что-то изменилось

вокруг. Слева, над верховьями реки Ватап, повисла огромная, совершенно черная туча. Стало чересчур тихо. Гул комаров изменился. Тональность стала другая. Надо скорее дойти до реки. Хуже нет, как гадать, что предстоит. Действовать, а не размышлять — вот лозунг мужчины.

Уже внизу, врезавшись в кочки, Баклаков запел дурным голосом «о-о, если б навеки так бы-ыло».

К ночи, окончательно умотавшись, он отошел от массива километров на семь. Вершина массива грозно горела красным. Он долго ходил по ложбине и подбирал сухие прутики, веточки полярной березки. Затем распаковал рюкзак и достал палатку. «Клизма без механизма», — умиротворенно сказал Баклаков. Он давно уже привык разговаривать сам с собой. Еще в институтской общаге. Наскоро выпив чай, он притушил костерок, приподнял стенку палатки, засунул туда рюкзак, телогрейку, сапоги и влез сам, опустив за собой стенку. Сидеть в палатке было нельзя, и Баклаков лежа снял сапоги, надел сухие шерстяные носки, колени обмотал портянками, телогрейку застегнул на себе, оставив рукава свободными. Если даже ночь будет холодной, так он не замерзнет. В палатке было светло, и закатное солнце освещало все внутри угрюмым красным светом. Комары безучастно сидели на потолке палатки. Снаружи что-то происходило, и Баклаков не мог понять что. Но было тревожно. В отдалении сипло тявкнул песец. С шумом пролетела какая-то птица. Баклаков высунул из-под телогрейки руку и, криво усмехнувшись, расстегнул кобуру пистолета. «Спи, — сказал он себе. — Действовать, а не размышлять, такова истина. Чем больше думаешь, тем страшнее».

Прошел порыв ветра, бязь на потолке захлопала, вспыхнули, погасли в глазах искорки. Он уже смотрел сон, как идет в маршрут в какой-то южной стране. Идет в плавках, и в руках авоська с образцами. Он шел по берегу очень широкой черной реки и искал переправу. Он твердо знал, что отныне жизнь его делится на две половины: та, что до переправы, и та, что будет после. Вроде как школьная река Рубикон у школьного Цезаря. «Какого же черта, — сказал Баклаков, — река не черная, а серая. Это другая река». Он проснулся.

Он никак не мог сообразить, сколько времени. Перед глазами было серо. Потом он увидел, что полотнище палатки провисло почти до лица, и понял, что проснулся от

холода. Баклаков высунул голову и увидел, что тундра вокруг засыпана синим снегом. Сбылось предсказание! С неба что-то сыпало, не то дождик, не то мелкая снежная крупка. С ощущением беды Баклаков быстро оделся и выполз из палатки.

...Когда он вышел к Реке, снег перестал, и над Кетунгским нагорьем прорезалась холодная зеленая полоска. Река впереди шумела глухо и грозно, но Баклаков не видел ее. Перед ним стояла стена мокрого кустарника с зябко повисшими листьями. Снега навалило сантиметров десять. Он разжег костер и выпил полную банку очень крепкого чая, затем вторую. Закурил и сказал сам себе: «Вот и снова жизнь прекрасна и удивительна».

Баклаков прошел вдоль кустарника вниз по Реке. Вышел на небольшую тундровую прогалину. Прямо от нее начинался длинный косой перекат. Кое-где на перекате торчали черные блестящие камни. Вода была равнодушной. Рядом с заснеженным берегом она казалась черной. Чуть ниже берег переходил в торфяной обрыв. Обрыв был подмыт, и в темную пасть его вода устремлялась с сытым утробным бульканьем. Противоположный конец переката пропадал в серой мгле над серой водой. Плавать Баклаков почти не умел. Он скрыл это от Монголова и Чинкова.

— Ну и вот, а ты боялся! — громко сказал Баклаков, чтобы подбодрить себя. Но почему-то голос прозвучал глухо, и настороженная Река не приняла его.

— А вот я сейчас! — упрямо выкрикнул Баклаков. Он быстро стал раздеваться. Надо действовать, а не размышлять. Штаны и сапоги сунул под клапан рюкзака, коробку спичек положил под вязаную лыжную шапочку, дневник плотно замотал в портянки, так он не отсыреет, если даже попадет в воду. Телогрейку снимать не стал.

Вода охватила щиколотки, точно шнуровка горнолыжных ботинок. Галька на дне была очень скользкой, но скоро Баклаков перестал ее ощущать. Ноги онемели от холода, и он шел как на протезах, деревянными ступнями нащупывал камни и выбоины. Вода поднялась до колен, потом до бедер. «Сшибет», — отрешенно подумал Баклаков. Зеленая полоска над Кетунгским нагорьем расширилась, и сверху, как назидательный перст, простирался одинокий солнечный луч. Наклонясь против течения, Баклаков брел и брел через этот нескончаемый перекат, колени и ноги уже не ломило, просто они казались обмотанными липкой знобящей ватой. Когда вода

опустилась к коленям, он побежал, высоко вскидывая ноги, выскочил на узкую полоску песка за перекатом и без остановки вломился в кустарник. Весь облепленный узкими ивовыми листьями, вырвался на небольшую, с пятнами снега поляну. На полянке сидел заяц и смотрел на него. «Привет, братишка», — на бегу сказал Баклаков. Заяц даже в сторону не отскочил, только сделал следом несколько прыжков, любопытствующий, непуганый житель реки Ватап. Баклаков проломился через кустарник и остановился ошеломленный. Могучий речной поток в всплесках водоворотов катился перед ним. Вода мчалась и в то же время казалась неподвижной, застывшей в какой-то минувший давно момент. Она тускло сверкала. На миг Баклаков почувствовал себя потерянным. Среди сотен безлюдных километров. Тундровых холмов. Речных островов. Темных сопок. Под низким небом! Один!

...Ночью пошел сильный снег. Он падал крупными влажными хлопьями, и потолок палатки провисал все больше и больше. Земля была мокрая, и Баклакова сильно знобило. Если бы он взял спальный мешок, он мог бы залезть в него и спать несколько суток, не расходуя продуктов. Если бы он взял винтовку, можно было сидеть у костра и жарить оленину или тех же зайцев.

Полотнище палатки оседало все ниже и ниже, и вдруг его осенило: мокрая бязь не будет пропускать воздух. Если бы даже он был мастером спорта по плаванию, это не помогло бы ему в здешней воде. Может быть, поможет палатка. И все росло и росло томительное чувство необходимости. Выхода нет, а значит, зачем откладывать?

Снег все валил и валил. Было тихо, и даже шум воды шел как сквозь вату. Баклаков скатал палатку. Вытащил из рюкзака шнур и плотно перевязал его в двух местах. Не раздеваясь, перешел перекат. Сапоги стали очень тяжелыми. У следующей протоки он тщательно вымочил палатку в воде. Пока он ее мочил, руки закоченели. Баклаков взметнул палатку, как сеть-закидушку, и быстро собрал в горсть дно. Получился большой белый пузырь. Он вошел в воду и положил щеку на влажную бязь. Одной рукой он держал дно палатки, собранное в горсть, другой — греб. Он слышал, как шипят выходящие сквозь ткань пузырьки воздуха, как слабеет под щекой воздушная подушка, слышал холод, сжимавший грудь. Берег исчез. Быстро и бесшумно мчалась вода.

Водовороты скручивались вокруг него. Страха не было.

Пузырь палатки все слабел и слабел. Он перехватил левую руку повыше и стал быстрее грести. Но палатка как-то сразу вздохнула, и голова ушла в воду. Баклаков схватил палатку зубами и начал грести обеими руками. Но белесая, как привидение, ткань метнулась к животу, спутала руки. Он разжал зубы, и тут же его потянуло вниз — палаточные растяжки захлестнуло за сапоги. Течение несло его куда-то вниз, бесшумно и очень быстро, как во сне. Баклаков нырнул, чтобы распутать ноги. Шапочку смыло. Пеньковая веревка мертво держала ноги. В это время рядом с ним возник сморщенный бог-старичок. «Нож, — сказал он ему. — Успокойся, у тебя нож». Баклаков снова нырнул и просунул лезвие между спутанных ног. Сразу стало легче. «Скинь рюкзак, — сказал ему старичок. — Не бойся». Палатка колыхалась рядом. Баклаков погреб по-собачьи. В левой руке был мертво зажат нож. В телогрейке еще держался воздух, и плыть было легко. Впереди на воде мелькнуло что-то темное. «Куст застрял, отмель», — сообразил Баклаков. Он поймал метавшуюся рядом палаточную растяжку, просунул ее сквозь лямку рюкзака, опустился, оттолкнулся от дна и скакнул вперед, снова опустился и снова оттолкнулся вперед...

По отмели он прошел вверх, буксируя по воде рюкзак и палатку. Телогрейка и одежда казались неимоверно тяжелыми. Он вышел на остров, впереди была другая протока, но мордовский бог был рядом, и Баклаков без колебания вошел в воду.

...Снег шел все гуще, и Баклаков боялся потерять направление. Он вытащил из кармана компас, но внутри его была вода, и стрелка прилипла к стеклу. Буксируя палатку, один за другим он пересекал и пересекал мелкие острова и протоки, казалось, им нет числа.

Коренной берег он угадал сразу. «Вот так-то, товарищ Чинков! Клизма без механизма!» — сказал Баклаков. Снег шел. Баклаков выжал телогрейку. Отжал портянки. Судя по весу, вода в рюкзак почти не попала. Сейчас его лучше не трогать. Пленка в футлярах, фотоаппарат и дневник замотаны. У него оставалась коробка спичек, залитая парафином. НЗ в нагрудном кармане. Ее тоже трогать нельзя. Пятьдесят спичек — пятьдесят костров в сухую погоду. Есть нож, есть вата в телогрейке, а кремни найдутся. Продукты, кроме сахара, высохнут.

Баклаков надел сапоги, телогрейку и побежал. Берег

тянулся ровный, засыпанный снегом, вода рядом с ним была темной, как глубокий колодец. Он бежал очень долго, пока не наткнулся на другую воду среди белого берега. Это был приток Ватапа, и по нему надо бежать вверх, в Кетунгское нагорье. «Вот так-то, товарищ Чинков», — на бегу повторял Баклаков. Он знал, что ему надо бежать, пока не кончится снег. Снег кончится, он найдет топливо для костра, и снова жизнь будет прекрасна и удивительна. Вот так-то, товарищ Чинков.

Он шел всю ночь, угадывая дорогу, как зверь. Где-то в рассветный час река совсем сузилась, вода исчезла, и Сергей, проваливаясь, скользя и падая, полз по развалам заснеженных каменных глыб: вперед и вверх, вперед и вверх. Один раз он услышал в метели стук копыт и тяжелое дыхание убегающего, видимо, больного оленя. Потом в животе родился горячий ком, поднялся в грудь, в голову и все заслонил. Несколько раз Баклаков ударялся коленом об острые углы каменных глыб, но боли не чувствовал. Когда жаркий ком ушел, он увидел, что снег перестал, над горами на горизонте полоска синего неба, и он идет по склону сопки, по бараньей тропе, идет по темным, сильно метаморфизированным сланцам. «Все, Серега, — сказал он самому себе. — Пришли». Гранитный массив, первый из трех намеченных, был рядом. Баклаков чувствовал это. Он вошел в зону контакта. «Дошел-таки, клизма без механизма», — прошептал Баклаков. Но радости не было. Хотелось лежать. В узкой закрытой долинке Баклаков кое-как натянул палатку. С юга, с сопок нагорья неотвратимо и беззвучно ползла новая черная туча. «Немного полежу и буду работать, — твердил он. — Немного полежу и пойду дальше. Хочу полежать». Баклаков, не раздеваясь, лег на мокрый бязевый пол палатки, сунул ладони между коленями, положил голову на мокрый рюкзак. Голова оперлась об острый угол пистолета, лежавшего сверху. Он передвинул голову и провалился куда-то. Очнувшись в очередной раз, он услышал шуршание снега о палатку. Потолок палатки провис, и когда он коснулся его щекой, щеку как будто полоснуло раскаленным железом.

Баклаков заставил себя высунуть голову из палатки. Камни вокруг были покрыты пеленой мертвого синего снега. Напротив палатки опять сидел заяц и с интересом смотрел на него. Воистину зайцы преследовали его. А может, это уже бред?

— Сиди! — громко сказал Баклаков и пополз за пи-

столетом. Рюкзак не развязывался. Он перерезал шнуровку, вынул пистолет и передернул, загоняя патрон. Заяц все так же сидел на месте. Сергей поднял пистолет обеими руками и долго водил его. Ствол прыгал от зайца на метр в ту и другую сторону. Заяц сидел неподвижно, и косые ведьмины глаза его жутковато поблескивали. Баклаков закусил губу, остановил ствол и нажал спуск. Оглушительно грохнуло, и дымящаяся гильза упала рядом с ним. Заяц бился на снегу, сучил длинными ногами. «Врешь, товарищ Чинков», — пробормотал Баклаков, взял зайца за мягкие теплые уши и отнес в палатку. Он кое-как ободрал зайца длинным ножом и стал есть теплые кусочки мяса, стараясь тщательно прожевывать их. Так он съел всю заднюю часть зайца. Затем Баклаков выкинул оставшиеся окровавленные, облепленные волосом куски мяса из палатки и снова лег, прижал подбородок к коленям. Ему не было холодно, только он все время поднимался наверх по крутому и рыхлому песчаному склону, песок осыпался, и он оказывался внизу и снова полз. Песок был серый, свинцового цвета. «Мое время впереди, товарищ Чинков, — шептал Баклаков, поднимаясь по серому склону. — Ты нас, вятских, не знаешь. Где надо, мы буравом ввинтимся, где плечом шибанем, где на цыпочках прокрадемся, где дураками прикинемся. Мы, вятские, все такие».

5

Старый человек по имени Кьяе сидел на заснеженном тундровом пригорке в странной позе — плотно сомкнутые ноги были вытянуты перпендикулярно туловищу. Европеец не высидел бы подобным образом и пяти минут. Но Кьяе поза не доставляла затруднения — привык с детства. Считалось, что так лучше всего отдыхают ноги и позвоночник. Снег, падавший на плечи и непокрытую голову, также не мешал ему. Более того, снег напоминал, что скоро придет зима — лучшее время для пастуха. Подумав о зиме, Кьяе шевельнул плечами, руки выскользнули из широких рукавов вовнутрь меховой рубашки. Тепло. Уютно. Он втянул ноздрями холодный и влажный воздух. Запах дыма исчез — снег потушил верховой пожар. Остались гореть лишь торфяные ямы. Но чтобы загасить их, требуется затяжной дождь. Потом в эти ямы будут проваливаться и ломать ноги олени. Потом их затянет льдом.

Стадо лежало спокойно. В первый день снегопада, избавившись от комаров и жары, олени паслись почти круглосуточно. Он специально заранее пригнал их сюда на невыбитое, но маленькое пастбище. Пастбища хватит на неделю — как раз до новых комаров. Подумав об этом, Кьяе удовлетворенно хмыкнул. На старости лет он угадывал предстоящую погоду почти безошибочно. И потому выбирал точное месго для стада. Сейчас стадо спокойно лежит, набирает вес. А он спокойно, не тратя сил, сидит на пригорке. Он снова обманул старость.

Кьяе думал о Времени. Когда он думал о веренице прожитых лет, о том времени, когда не было еще самого Кьяе, но уже был отец, о еще более раннем, когда не было и отца, но был народ Кьяе, он всегда представлял себе вереницу холмов в тундре. Холмы в аналогии Кьяе были событиями, которые в сущности составляют Время. Без событий нет Времени — это Кьяе знал твердо. Если даже представить нечто отдаленное, как шепот умершего, то и тогда были события, а значит, было и Время. Холмы составляют тундру. Тундру можно сравнить с жизнью, с безбрежным ее пространством.

Такова была схема жизни, пространства и времени, выработанная пастухом Кьяе, и она вполне устраивала его. Одни холмы затеняют другие, из-за ближних не видно дальних холмов, точно так же обстоит дело с событиями. И между холмами существуют закрытые отовсюду низины, а вовсе дальние холмы исчезают в воздухе, как теряется, слабеет и тонет дальняя память.

Земля, где родился и состарился Кьяе, всегда лежала в стороне от истории, изучаемой в школе. Сюда не дошло влияние древних культур Востока. Европейская, или, как ее иногда называют, христианская, цивилизация узнала о Территории позднее, чем о народах южных морей. Захватившие в свое время Восток проповеди буддизма и мусульманства также обошли Территорию стороной. Сюда никогда не добирались миссионеры. То ли холод и дикая репутация Территории пугали их больше, чем жара и стрелы туземцев тропических стран, то ли земля ее заранее считалась нищей и непригодной для жизни, а потому вовсе не нужной церкви.

Тем не менее предки Кьяе здесь жили тысячелетия. Существует теория о том, что где-то на рубеже каменного и бронзового веков волны миграции зашвырнули сюда группу бродячих охотников и откатились обратно, оставив их на берегу покрытого льдом океана средь снеж-

ных холмов. Они называли себя «люди», или, точнее, «настоящие люди», «подлинные люди». Великая рациональность пропитывала их одежду, пищу, обычаи. Это была рациональность трав и лишайников, которые выстояли на мерзлых почвах и камнях Территории. Жизнестойкость племени Кьяе выражалась в освежающем душу юморе и беспечности. Без юмора, наверное, предки Кьяе быстро превратились бы в психопатов. Народ психопатов не может существовать, так что беспечность их также являлась рациональной.

...В стаде что-то тревожно взорвалось, заволновались спины оленей, вырвался в сторону старый рогач и побежал. Туловище его плавно и размеренно колыхалось, и лишь тяжелая корона рогов плыла плавно и царственно. Столь же неожиданно бык остановился и пошел к стаду.

Кьяе запустил руку за вырез кухлянки и достал массивную старую трубку.

...Кьяе наблюдал приближение старости не в зеркале, а по чувству усталости, которое все чаще приходило к нему. Его жизнь требовала непрерывных физических усилий: бега, ходьбы, метания аркана, погони за оленями, иногда стрельбы. Уже много лет он с легкой усмешкой смотрел на мир и обманывал старость тем, что экономил движения. Он знал, куда побегут олени, угадывал маршрут подбиравшихся к стаду волков. Он угадывал погоду, чтобы, даже уходя от пурги, экономить силы. Кьяе числил себя в прошлом гораздо больше, чем в будущем. Говорят, что после смерти человек попадает в другую тундру, но он не очень-то в это верил, хотя и не возражал бы пожить еще раз. Кьяе с детства усвоил, что лишенная движения мудрость бесполезна для ближних, а значит, служит обузой народу. Это была очень старая истина. Подумав о смерти, Кьяе глубоко затянулся табачным дымом, все-таки курить сладостно. Он закашлялся, и тут ему почудился выстрел. Он не мог точно сказать, был выстрел или нет, но смутная тревога погнала его к яранге. Олени стояли теперь, сгрудившись в кучу. Быстро перебирая ногами в мягких пастушьих олочах, Кьяе быстро взбежал на откос. От яранги шел дым, значит, внучка там, никуда не ушла. Все-таки он поддернул ремень длинного винчестера на плече и пошел к яранге, машинально стараясь не наступать на свой утренний след на снегу.

Внучку звали Тамара. В этом году она шла в десятый

класс и, может быть, последнее лето проводила в тундре. Редко кто из молодых возвращается после школы в тундру.

— Э-эй! — окликнул тихонько старик, подойдя к яранге. Ему никто не ответил. Над костром из веток полярной березки висел старый медный котел — предмет обывательской гордости старика Кьяе. Котлу было столько же лет, сколько ему. Он заглянул в полог. Тамара зашивала его старые любимые брюки из камуса. Зимой будет некому их зашить. Она сидела обнаженной по старому обычаю женщин их племени, только вместо пыжиковой шкурки на ней были спортивные трусики. Старик с удовольствием смотрел на крепкое тело внучки, на уже по-женски широкие бедра, на заносчиво торчащую грудь будущей матери. Может быть, он доживет еще до ее сына. Кьяе нравилось, что внучка соблюдает древний обычай и дает дышать телу. Во всяком случае, когда в яранге нет молодых пастухов. Тамара выскользнула из полога, сняла с треножки котел и повесила чайник. Она двигалась бесшумно и быстро, как горностай. И вся фигура ее была гладкой и обтекаемой, точно у горностая.

Сидя на корточках у стенки яранги, старик не отрывал глаз от внучки. Обнаженное тело было обычным в их образе жизни. Это было рационально, полезно для здоровья. Тело Тамары было смуглым, спортивные трусики белыми, на смуглых ногах красные спортивные тапочки, и волосы, черные и блестящие, как утренняя вода в торфяных озерах. Красиво. Кьяе спросил:

— Ты слышала выстрел?

— Никакого выстрела не было. Я бы услышала.

— Наверное, так, — согласился Кьяе.

Он выпил кружку кирпичного чая и заторопился обратно к стаду. Выстрела не было. Тамара — настоящая девушка из племени настоящих людей. Она слышит шорох мыши под снегом.

У Кьяе была пастушья походка — он переваливался из стороны в сторону, точно хромал сразу на обе ноги. Такая походка вырабатывается от бега по кочкам. Этот выстрел, наверное, пришел из-за дальних холмов Времени, может быть, он прозвучал пять или десять лет назад, а теперь вернулся. Наверное, так. Или пришел из будущего. Кьяе верил, что ничего в горах и тундре не бывает зря, и в памяти его осталась зацепка — выстрел, который почудился.

Олени все еще лежали. Скоро они начнут разбредаться в поисках ягеля, и ему уже будет не до сидения. Он снова достал трубку, набил ее крупно нарезанным табаком, который в магазине продавался на вес, как сахар или макароны.

Кьяе снова пригрелся и закрыл глаза. Он вспомнил быстрые движения внучки, скользящую ее походку, подумал вдруг, что видеть такое — и есть счастье, если ты уже пережил любовь к вещам, власти, самому себе.

Подумав о счастье, Кьяе снова вернулся к размышлениям о Времени. Все-таки в них не все было гладко. Особенно в сравнении событий с холмами. На один и тот же холм можно зайти многократно, и каждый год его кочевой маршрут проходит мимо одних и тех же холмов. События же не повторяются. Таким образом, жизнь — это длинный маршрут, каждый раз в новую местность. Начало этой перекочевки начинается в неизвестности и кончается в неизвестности же. За пределы нельзя заглянуть. Тогда почему к нему очень часто приходит ощущение, что все это с ним однажды уже было? Может быть, он по старости лет заблудился и повторяет местность? Но где тогда люди, которые проходили по ней вместе с ним? И вдруг по неизвестному сцеплению мыслей Кьяе понял, что выстрел ему не почудился. Он был.

...Сергей Баклаков все выбирался из песчаной ямы, проваливался и выбирался. Он все так же лежал, засунув ладони между коленями. Временами он чувствовал, что тело его распухает, вытягивается и становится таким огромным, что было непонятно, как оно умещается все в той же тесной палатке. Затем он опять терял сознание и полз по склону. Бред и явь мешались, и теперь наяву он лежал на дне ямы и рассматривал серый песок, рассматривал краем глаза. «Это у меня бред, — думал он, — такого песка в жизни не может быть. Я очень болен. Надо встать и идти. Надо действовать, а не думать».

...Он очнулся в этот раз от шороха чьих-то шагов. Они врезались в монотонный шорох дождя, к которому он привык, и его не слушал. Палатка содрогнулась, и на щеку его упали холодные капли. «Пистолет, — подумал Баклаков, — куда я его бросил?» Но ему было лень вставать, и он снова закрыл глаза. Опять захрустели шаги. Видно, этот «кто-то» искал вход.

«Пусть поищет», — думал Баклаков и даже улыбался.

— Е-э-сть кито живьой? — раздался голос. Баклаков хотел ответить, но только просипел и искренне этому удивился.

— Э-ей! — мягко повторил голос. Сергей Баклаков встал на четвереньки и сразу почувствовал затылком влажную холодную бязь. «Задел потолок, теперь протекать будет», — вяло подумал он и попытался загнуть край палатки, выползти из нее. Но ткань прилипла к палке. Тогда он с усилием поднялся и встал вместе с облепившей его палаткой. И тут же у ног увидел свой пистолет, покрытый ржавчиной. Он видел только крохотное пространство вокруг сапог и ржавый «парабеллум» — трофей минувшей войны. Наконец Баклаков стянул с себя мокрую, липкую и холодную ткань, и по глазам ударил свет. Он увидел темнолицего, одетого в мех старого человека. Тот, по сравнению с его собственным раздувшимся непослушным тяжелым телом, показался Баклакову крохотным и невесомым. Дунь — улетит.

— Здравствуй, — хрипло сказал Баклаков.

— Здравствуй, — откликнулся старик.

— Заболел, кажется, я, — прохрипел Сергей. — Я геолог.

— Геолог — хорошо, — радостно сказал старик и, как показалось, облегченно вздохнул. — Я пастух. Знаю, что ты заболел.

— Откуда?

— Выстрел слышал... Смотрим — палатка. Спрятались, наблюдаем. Утром человек не выходит, вечером не выходит. Ясно, что заболел.

— Стадо далеко?

— Во-он, — старик кивнул в пелену, за черные блестящие камни. — Дойдешь?

Голова у Баклакова кружилась. Он сел на палатку, скривил рот.

— Пожалуй, один будешь — помрешь. Пожалуй, точно помрешь, — сказал пастух. — Пойдем к яранге. Меня Кьяе зовут. Бригадир Кьяе.

Баклаков, не вставая, застегнул влажную телогрейку, надел пояс, сунул в кобуру пистолет, смотал палатку и сунул ее под клапан рюкзака, который так и не развязывал на этой стоянке. Кьяе нагнулся, чтобы взять рюкзак, но Сергей уцепился за лямки.

— Мне с грузом легче, — прохрипел он.

Он встал, но его повело куда-то вбок, и он уцепился за скользкий рукав мокрой кухлянки, в груди возникла тяжкая ломящая боль, потом ушла в спину. Но все-таки он почувствовал твердую тяжесть груза на спине, и это придало силы.

— Вперед и прямо, — шутливо просипел он и пошел в туманную мглу дождика, куда указал ему Кьяе.

Как показалось Баклакову, шли они недолго, хотя на самом деле шли они почти полтора часа. Наконец они пересекли маленький прозрачный ручей (вода так приятно охладила горящие ноги), Баклаков увидел на взгорке темный конус яранги и дым. Затем он вспомнил себя в меховом низком пологе. Кьяе совал ему коробку с лекарствами и что-то говорил про фельдшера, Баклаков понял, что лекарств очень много, но Кьяе не знал, какие ему надо, какие нет.

— А мне-то откуда знать? — удивился Сергей. Он стал пространно объяснять, что ничем никогда не болел и болеть вообще не может, произошла случайность, он, Баклаков, заболел вместо кого-то.

Он все рассказывал, но в полог влезла Тамара, стащила с него сапоги, мокрые брезентовые сапоги, рубашку и, раздев Баклакова догола, с трудом натянула на него легкие брюки и рубашку из пыжика. Потом, во время очередного приступа баклаковского смеха, сунула ему в рот две таблетки норсульфазола и аспирина. Сергей Баклаков затих.

Бред его изменился. Баклаков поверил, что к нему в палатку пришел с детства знакомый болотный бог. У бога были запрятанные в складках кожи глаза. Чаще глаза были выцветшие, голубоватые, как у вятских старушек. Они все понимали. Иногда отсвечивали болотным зеленоватым светом, и тогда Баклакову становилось страшно, как в детстве. Но это был его бог, насквозь знакомый старик, и Баклаков никуда не пытался бежать.

6

Когда пошел снег, Салахов все еще находился на старой базе Катинского. От снега база с ее грудами ржавых консервных банок, выброшенными кирзовыми сапогами, опорками валенок, темными бочками из-под соляр-

ки и керосина выглядела неприютно, как запустелый, разоренный, загаженный дом. В палатке по ночам стало холодно. Салахов мотался по окрестностям, набирал пробы в рюкзак. Пробы он приносил Богу Огня, который, закутавшись в плащ, сидел у воды и хлюпал носом. Когда Салахов приносил пробу, он лишь моргал слезящимися от простуды глазами, сбрасывал плащ и шел в воду. Салахов очень его жалел.

— Потерпи, — сказал он.

— А я чего? Я терплю! — быстро ответил Бог Огня.

Они ушли с базы Катинского, так и не найдя ничего, кроме ничтожных знаков. Отсыревшая палатка и спальные мешки отяжелели и не влезали в рюкзаки. Когда собрали лагерь, Салахов взял рюкзак Бога Огня, положил его сверху на свой. Бог Огня косился на Салахова из-под капюшона и боязливо молчал.

— Я сам, я сам, — наконец сказал он. Лицо у него было серым, и зубы постукивали в ознобе. Так как Салахов ему не ответил, то Бог Огня пробормотал оправдываясь:

— Простудился я маленько. Только пустому мне срамотно идти.

— Придем на Ватап, там кусты, — сказал Салахов. — Устрою тебе парную, и будешь здоровый.

— Костер запалим?

— На всю тундру и дальше.

— Тут полубочка валяется. Надо взять, ежели баня.

— Где?

— Я понесу. Она легонькая, — засуетился Бог Огня.

Салахов ушел вперед, чтобы мыть по дороге шлихи. След Салахова был ровный, синий, в каждом маленькая лужа воды. К середине дня через низкий перевал они вышли к реке Ватап чуть выше того места, где переправлялся Сергей Баклаков.

Бог Огня сбросил бочку и сразу разжег костер. Салахов выбрал косу с ровной галькой, расчистил от снега, натаскал сухих веток. Снег перестал, но облака так и висели: выстрели дробью — прольются осадками. Они быстро наносили кучу сушняка величиной с большую копну. Бог Огня запалил ее, и скоро на гальке полыхал огромный и жаркий костер. Когда костер прогорел, в центр его поставили наполненную водой полубочку и, приплясывая от жары, натянули мокрую палатку прямо над раскаленными камнями. Салахов притащил охапку

зеленых веток, бросил ее в палатку, велел Богу Огня раздеваться и залез следом сам. Банка воды, опрокинутая на гальку, взорвалась паром. Бог Огня блаженно взвыл, и так полчаса из палатки доносились взрывы пара, хлестание веток и стон. Салахов нагишом выскочил из парилки, разостлал на сухой гальке кукуль и велел выбегать Богу Огня. Тот нырнул в мех. Салахов разжег рядом костер и поставил банки для чая. Морщины на лице Бога Огня разгладились, носик блестел. Он держал обеими руками кружку, прихлебывая чай, и расцветал на глазах от заботы.

— Сейчас бы одеколону. Флаконов пять. Или шесть! — сказал он.

— Кружку спирта. Полную. И кусок оленины, — добродушно ответил Салахов.

Бог Огня вдруг улыбнулся острой и ясной улыбкой.

— Я из-за этого спирту себя погубил, — весело сказал он. — Теперь живу на зароке. Третий год уже пошел.

— Лечился?

— Сам. Как баба умерла, так и закончил.

— Запьешь?

— Нет, — все так же звонко сказал Бог Огня. — Надо детей выводить. Двое их у меня. Мишка и Тоська. Из детдома я их уже вывел. Живут у сестры, все деньги ей отправляю, чтобы у них все было, чего раньше из-за моей срамотищи не было.

— Правильно! — одобрил Салахов.

— Теперь надо на дом накопить и жить всем вместе. Пишут: «Папочка, приезжай».

— А ты их сюда вези. Другие живут, почему и твоим не жить? — сказал Салахов.

— Я бы не против. Место тут для детишек неподходящее, — вздохнул Бог Огня. Он огляделся, как бы для утверждения этой мысли. Черные влажные кусты, синий снег клочьями вокруг них и белесая мгла в той стороне, где полагалось быть сопкам. В тучках прорезались багровые полосы заката. Шумела вода.

— Тут место для мужиков. Для сильного организма, — дополнил он.

От сохранивших тепло камней палатка просохла, и они провели ночь в сухом и нежарком тепле. Утром Салахов проснулся в палатке один. Тепло все еще держа-

лось, и Салахов полежал в дремоте. Выйдя из палатки, он увидел ясное небо и Бога Огня у воды. Он неторопливо мыл пробу, взятую прямо у берега.

— Проснулся я прямо здоровый, — сказал рабочий и радостно передернул в подтверждение плечами. — Решил посмотреть наудачу в лоток.

Над верховьями реки висело солнце, небо было безоблачным, и тундра, и пожелтевший кустарник сверкали радостным желтым цветом, снег исчез.

— Все как на празднике, — перехватив салаховский взгляд, сказал Бог Огня. — Прямо краски не пожалели. Может, правда детишков сюда привезти?

Было в его радостной суетливости нечто такое, что заставило Салахова отвернуться и сказать:

— В этом деле приказа не существует. Ты их заделал, ты и решай.

Бог Огня положил лоток, снял росомашью шапку и вытащил из-за отворота ее кусок лески.

— Красную тряпочку жрет, собака. Гляди! — он преданно глянул на Салахова, метнул леску в воду и тотчас выбросил на песок крупного темноспинного хариуса.

Бог Огня укрепил ноги в не по росту больших сапогах, поддернул телогрейку, сдвинул лохматую шапку и стал челноком таскать хариусов одного за другим. Вскоре весь песок вокруг него был завален упругими, отливающими перламутром рыбами.

— Хватит! — сказал Салахов. — Остановись.

— На эту бы реку... да с сетями, да с бочками. И горб гнуть не надо. На материке-то лазишь, лазишь с бреднем, еле на уху наберешь. А если бы эту реку туда. А нашу воронежскую сюда. Все равно тут населения нету, здесь и пустая река сгодится.

— Ты бы там ее за неделю опустошил, — сказал Салахов.

— За неделю? Не-ет! — вздохнул Бог Огня.

— Закрывай санаторий, — распорядился Салахов.

— Может, навялим да с собой унесем? — предложил нерешительно Бог Огня.

— Против жадности слова силы не имеют, — усмехнулся Салахов. — Против нее автоматы нужны. Выздоровел? Точка! Собирай лагерь, вари уху, и топаем согласно полученного задания. Вопросы есть?

— Нет вопросов, — вздохнул Бог Огня.

— Действуй! Я вниз по течению схожу с лотком.

...Салахов шел очень быстро. Его вдруг поразила мысль, что от добра люди становятся хуже. Свинеют. А когда людям плохо, то они становятся лучше. Пока Бог Огня болел, Салахов очень жалел его. А сегодня он был ему неприятен, даже ненавистен, потому что Салахов вдруг увидел перед собой куркуля. «И я, и я был точно такой же, — думал Салахов. — Был дом, жена, работа. С жиру воровать потянуло. Катинский меня как человека принял. А я...»

Салахов, забыв, что ему надо брать пробу, все шагал и шагал по сухому берегу реки Ватап. Мысль о том, что добро к людям ведет к их же освинению, была ему очень неприятна. Какая-то безысходная мысль. По опыту армии, по опыту лагерной жизни Салахов знал, что излишняя строгость так же озлобляет людей. «Значит, ни добром, ни страхом нас не возьмешь, — думал он. — Но должен быть какой-то подход. Должна же быть открытая дверь...»

И вдруг Салахов остановился. Ответ, найденный им, был прост, очевиден. Среди множества человеческих коллективов есть, наверное, только один, который *твой*. Как в армии своя рота. Если ты нашел его — держись за него зубами. Пусть все видят, что ты свой, ты до конца с ними. И что у тебя все на виду. Одна крыша, одна судьба, а об остальном пусть думает государство.

Салахов развернулся и пошел обратно.

7

Ощущение пустоты, ошибки и странной чертовщины не рассосалось у Монголова и после ухода Чинкова. Они ушли в верховья Эльгая за день до снегопада — две квадратные тумбы в белых брезентовых куртках. В тяжеловесном передвижении их от базы Монголову почудилась какая-то неотвратимость. За день до этого легкомысленным пионером убежал в Кетунгское нагорье Баклаков. Монголов обнаружил после его ухода и спальный мешок под койкой, и банки сгущенки. Нарушение прямого приказа опечалило и испугало Монголова. Но посылать кого-либо следом было бессмысленно. В долине Ватапа или на Кетунгском нагорье отыскать человека сможет разве что дивизия. Оставалось надеяться на звезду Баклакова. «Или поумнеет, или не вернется. Испра-

вить ничего невозможно», — заключил Монголов и запретил себе думать о Баклакове.

Он брился теперь тщательнее обычного и все одергивал и одергивал складки несуществующей гимнастерки под несуществующим армейским ремнем. Весь снегопад он просидел в камеральной палатке, свел воедино все маршруты, все пробы. Касситерита нет и не будет, это математически ясно. Точно так же, как раньше, прогноз касситерита был точен, как точны таблицы артиллерийских стрельб.

Когда вернулась группа Салахова, Монголов пришел к ним в палатку.

— Что нового? — спросил Монголов.

— Ничего, товарищ начальник, — сказал Салахов и кивнул на рюкзак, где хранились мешочки с пробами.

— В восемнадцать ноль-ноль прошу в камеральную с картой и пробами. Пусть кто-либо сходит к шурфовщикам и приведет Малыша, — приказал Монголов.

В шесть вечера Малыш и Салахов пришли в камеральную. Под глазом у Малыша был синяк, и Монголов сразу почувствовал в желудке сосущую пустоту. Что-то творится в партии.

Салахов сел на корточки у дверного проема, Малыш на стуле в отдалении от Салахова. Монголов отметил, что оба они старались держаться отдельно, подальше от него и друг от друга. Малыш сидел на стуле как обтекаемая глыба, а распухшие кисти промывальщика лежали на коленях как красные обрубки. Почему-то вид этих рук успокоил Монголова.

— Главный инженер продемонстрировал мне золото, намытое в верховьях нашей реки. Я также видел два года назад весовое золото, намытое на соседней речке Канай. Главный инженер справедливо высказал мнение, что весовое золото должно быть также у нас. Я лично в это не верю. Возможно, случайные карманы, не имеющие никакого значения. Но я обязан допустить и обратное. Что скажете?

Малыш сделал глотательное движение и сгорбился. Салахов мрачно смотрел в пол, и под скулами его катались желваки.

— Приказываю говорить прямо, — сказал Монголов. — Ты первый. — Он кивнул Малышу.

— Сейчас, — сказал тот. — Сейчас.

И все пытался проглотить что-то.

«Сорок да сорок — рубль сорок, Владимир Михайлович. Это значит, что все одно к одному. Если в номере пошла неполадка, то обязательно заест занавес. Так дядя Арнольд говорил. Клоун. У меня девушка одна была. В школе еще вместе учились. Я к ней... относился. И сейчас отношусь. А она нет. Но ведь бывает же так, что с самого детства. Я сразу понял, что ей что-то необычное надо. Меня дядя Арнольд воспитал. В пятом классе я на турнике стойку делал. Из всех школ на меня приходили смотреть. Но она... ей Сережка стихи писал и про Амазонку рассказывал, про Крайний Север. Он полярником собирался стать, Джеком Лондоном.

Школа кончилась, Сережка в авиационное техническое поступил, а меня дядя Арнольд отвез в цирковое. Так бы не взяли, но... дядя Арнольд. Он как живой музей был. Таланта у меня не нашли, но парень я развитый был и стал силовым акробатом. За три года номер подготовили. Я в группе. Когда нам номер уже самостоятельно дали, я Соню нашел, предложил замуж: «Ты бы еще в официанты пошел. Тоже красиво», — она говорит. И вижу, уже в глазах у ней не Сережка, не я, вообще никого. Но все равно необычное надо. Она никуда не поступила. В пункте проката работала. Велосипеды там, палатки туристам выдавала. Туристы ей палатки сдают, от самих дымом пахнет. Ее тянет куда-то. Это я потом уже понял. Во Владивостоке на гастролях верхний из нашего номера палец сломал. Номер сняли. Шляюсь по Владивостоку. Зашел в кафе. Там какие-то морячки на локтях борьбу устроили. У меня от безделья мышцы горят: положил всех морячков. В шутку. Подходит один малый: «Ты, — говорит, — здесь незаслуженно пропадаешь. Рванем в «Северстрой». Единственная планета, где может жить и зарабатывать порядочный кореш». Пошли в ресторан «Золотой рог», к вечеру уговорил. Я про Соню и про Сережку, который полярником собирался быть, вспомнил. Прилетели в Город, он денег мне дал и устроил на курсы промывальщиков. Сам на трассе живет. Остальное вы знаете.

Но я Соне сразу из Города написал. Не думал, что ответит. А она ответила, и хорошо так. Про какие-то пурги, про канаты, по которым в пургу ходят, за них держатся. Чепуха, в общем. Наверное, Сережкину трепотню вспомнила. Но откуда ей правду знать? Я сразу

письмо ей о золоте, о том, что работаю с лотком, и все такое прочее. И тут она мне стала сразу писать длинно. Я, конечно, про золото врал, но о Поселке писал правду. О ребятах, про полярную ночь. А она все про дурацкое золото. «Не может быть, чтобы Джек Лондон только в книжках был. А как золото выглядит?» Зачем оно ей далось?

Но я все-таки горжусь. Сережка всю жизнь мне мешал, все врал. Но вот он сейчас самолетам смазочное масло меняет, механик, прикован к земле, а я работаю, как Джек Лондон. Мою пробы далеко за Полярным кругом. Я начал про занавес, который заело, то есть все одно к одному. Почты, сами понимаете, нет, я думаю о Соне, и вдруг в восьмом шурфе в одной пробе три пластинки золота. Примерно по половине грамма каждая. Честно, я сам не знаю, как их в карман сунул. Мысль: положу в письмо и пошлю Соне, чтобы она окончательно поняла ничтожность Сережки. Через час испугался. Это же главное преступление промывальщика — разделять пробы и класть что-то в карман. На курсах каждый день повторяли. Как назло, вы пришли, извините, Владимир Михайлович. Пробы вы просмотрели, а значит, сунуть обратно уже нельзя. Потом главный инженер появился. Я, как вы приказали, пробы принес. Вы с товарищем Чинковым в палатке были. А этот, который с ним, быстро так пробы у меня взял, все просмотрел, глазами туда сюда, и говорит мне, будто иллюзионистом работает: «Лоток крашеный зря используешь. Он пробу держит хужей. Когда доводишь, углом не надо сливать — по плоскости и кружить». А я точно, углом сливаю, так мне нравится. И лоток у меня крашеный. Потом этот иллюзионист сквозь меня посмотрел и говорит: «Золётинок-то нет, а чудится мне, должны быть золётинки в этих грунтах». Золётинки! Если бы вы один были...

Я обратно. Ребята спят, я Седого за ногу вытащил. Так и так, что делать? Разозлился он страшно. Сволочью меня назвал. Из-за вас. Назвал тварью последней за то, что я не знаю, кого можно обманывать, а кого нельзя. Отнял эти три пластинки и швырнул в кусты. «Я, — говорит, — ничего не слышал, ты все забыл. И чтобы последний раз». Ударил даже. В назидание, говорит, о лагере, где тебя каждый будет лупить. Я готов понести наказание. Пластинки я искал, но не нашел. Седой их сильно закинул. Маленькие такие, обточенные. Края раковистые...»

«Сила есть, ума не надо». Правильно говорят. Ты Седому пятки целовать должен. И молчи обо всем, или ребята в бараке тебя убьют. Презрением уничтожат, и не видать тебе своей Сони. Ладно! Такое дело, Владимир Михайлович, расскажу про свою ошибку. Я в лагере шоферил. Имел выезд за зону. На четвертый год это было. Амнистия мне твердо маячила. Перед самой амнистией был ночной шмон. Нашли под полом три гуся — бутылки с золотым песком. Вынужден рассказать: песок этот с установок, которые касситерит моют, собирали. В закоулках, куда никто никогда и не заглянет. Мелкая золотая пыль. У зека нормы времени нет, годами копили. Начальство решило, что это золото с Реки. Переправлено с преступными целями. Всех, кто выезд за зону имел, под дополнительное следствие. В том числе и меня. Амнистия мимо прошла. Я это золото возненавидел на всю жизнь. Из-за него сидел три лишних года. В партии Катинского я промывальщиком был. Вы это знаете. Идиотское счастье: на третий день работы у меня в лотке два самородка вылезли. Я на них смотрю, как на Гитлера. И мерещится мне одно: новое дополнительное следствие. Золото же! Оглянулся и, как камушки, — оба в реку, где поглубже. Со дна проб никто не берет. После этого не попадалось. А второй промывальщик, который шурфы обслуживал, намыл новые пробы. Это я уже потом узнал. И что пробы эти Катинского погубили. Я в этот маршрут на нашей старой базе неделю торчал. Хотел намыть снова и Катинскому Михаилу Аркадьевичу написать. Ни черта не нашли, даже знаков. Под суд не пойду. От всего отрекусь. Но дайте, если можно, адрес Михаила Аркадьевича. Не могу спать спокойно. Он ко мне сразу как к человеку отнесся. И перед ребятами в бараке стыдно. Невезуха есть невезуха. Но я ее поборю. Сломаю, как ветку, куда она денется. Я к выводам пришел. А значит, мне сейчас жить надо. Среди людей.

Монголов долго сидел у стола. Снаружи невнятно бормотал что-то Бог Огня. Трещал костер.

— Купчишки, — устало сказал Монголов. — Они самородки швыряли. Сукины дети! Это ваше ли золото? Это золото государства, преступники...

— Готов понести наказание, — сказал Малыш.

— Под суд тебя отдать? Жизнь поломать по глупости? — Монголов вяло махнул рукой. — У тебя, Салахов, дело прошлое. Адрес Катинского дам. Поступай, как прикажет совесть. Про Малыша мы знаем двое и Седой.

— Седой — могила, — сказал Салахов.

— Не надо соучастия, Владимир Михайлович, — сказал Малыш. — Это ведь получается соучастие в преступлении.

— Вон! — приказал Монголов. — Искупишь работой. И ты, Салахов, искупишь.

— Искуплю, — истово сказал Малыш.

Салахов промолчал.

...В тот вечер Монголов ушел в многодневный маршрут в низовье Эльгая. Это было подтверждением известного всем поисковикам тезиса: когда район пуст, приходится работать втрое больше, чтобы доказать, что он именно пуст.

8

Снегопад в июле утвердил поколебленный жарой тезис: «Территория есть Территория». Журналисты, прибывшие освещать навигацию, теперь уверенно щеголяли по улицам в импортных сапогах и куртках, предусматривавших чрезвычайные случаи жизни. Территория есть Территория. Тундровые пожары затихли. Установилась нормальная погода из холодного солнца, дождей и ветров.

Чинков вернулся из командировки в партию Монголова помрачневший и как бы углубленный в себя. В кабинете его ждали две радиограммы. Начальник Дальней рекогносцировочной партии Семен Копков сообщал, что наткнулся на месторождение киновари необычайного масштаба. Месторождение просто лежит на поверхности. Принято решение провести предварительную разведку.

Начальник партии с реки Лосиной, Жора Апрятин, сообщал, что на склоне хребта Пырканай в распадке с координатами такими и такими-то им найден скелет человека, судя по вещам, геолога. Требовал указаний.

Чинков звонком вызвал Лидию Макаровну и, не отрывая глаз от стола, продиктовал радиограмму Копкову: «Поздравляю точка базу партии перенесите к месторождению точка подготовьте вывозке количество руды достаточное промышленного анализа Чинков и. о. главного геолога».

Лидия Макаровна, стоя у двери, быстро набросала текст в блокноте, но осталась стоять. Чинков хмуро глянул на нее и добавил: «Потребное снаряжение, продукты, горючее могут быть сброшены с самолета. Радируйте».

Чинков еще посидел, потом тяжко пересек кабинет, не глядя на Лидию Макаровну, вышел и, скрипя половицами, направился в правый конец коридора, где был кабинет начальника управления Фурдецкого. Секретарша Фурдецкого Люда, за броскую красоту прозванная Людой Голливуд, читала Джека Лондона.

— Спросите, не примет ли меня Генрих Иванович? — глухо сказал Чинков. Люда Голливуд мелькнула в кабинет начальника. Неслыханное дело: Чинков! Просит приема! У Фурдецкого! Через секунду она распахнула дверь и встала у косяка, пропуская Чинкова, секретарша с картинки. Чинков прошел и сам закрыл за собой дверь. В кабинете Чинков опустился на стул и какое-то время в упор смотрел на Фурдецкого, пока тот не смешался. Генрих Фурдецкий, по прозвищу Фурдодуй, золотозубый человек с лицом и голосом праздничного оратора, был назначен сюда за год до Чинкова. Всему «Северстрою», в том числе и Фурдецкому было известно, что сейчас он не более как «человек при Будде». В управление он перешел из небольшой спецэкспедиции. Экспедиция подчинялась Москве, потому что искала чрезвычайно важный оборонный металл. Год тому назад ее прикрыли, но Фурдецкий, перешедший в руководство из техников, по обычаю «Северстроя» уже не мог вернуться обратно, в техники. Видимо, в верхах «Северстроя» считали, что если Фурдецкий ничтожество, то при Чинкове управление Поселка все же не захиреет. Если он личность, то полезно его иметь в качестве противовеса Чинкову. Все это Фурдецкий знал и потому чуть дрогнувшим голосом нарушил молчание:

— Слушаю вас, Илья Николаевич.

— Я остаюсь, — просто и весело сообщил Чинков.

— Не понимаю...

— Остаюсь в управлении, и, значит, нам вместе работать.

— Я всегда рад... — начал было Фурдецкий и даже улыбнулся множеством золотых зубов.

— Если вы будете мне мешать, — так же просто и весело перебил Чинков, — я вас уничтожу. В «Север-

строе» вам не найдется места разнорабочего. В ваших интересах перейти в мою команду.

— Что вы хотите? — теперь Фурдецкий не улыбался.

— Очень немногого. Не играть за моей спиной. Все сообщения в Город только по взаимной договоренности. Прямое выполнение ваших обязанностей: жилье, снаряжение, вся хозяйственная часть. Обещаю в ваши распоряжения не вмешиваться. Мне — выполнение производственных задач управления, вам — их обеспечение. Все в точности по уставу. Советую не думать, а согласиться, — Чинков встал и неожиданно быстро вышел из кабинета.

Фурдецкий помедлил лишь мгновение, выгреб из стола папку скоросшивателей и пошел к Чинкову.

— Не помешаю ли я Илье Николаевичу? — громко спросил он Лидию Макаровну.

— Ну что вы! По-моему, он вас ждет, — с чуть заметной усмешкой сказала Лидия Макаровна. Она посмотрела Фурдецкому прямо в глаза и вдруг чуть заметно дружески подмигнула.

Фурдецкий вошел и, не садясь, сказал:

— Первый раунд в мою пользу, Илья Николаевич. Вот документы. Все склады спецэкспедиции с новым снаряжением мною списаны на семьдесят процентов, а остальное переведено на баланс управления. Палатки, лодки, спальные мешки — все высшего качества по спецразнарядке. Вот накладные на два сборных дома. Заказал еще прошлой зимой. На выгрузке три новеньких вездехода. Украл у топографов. И вот распоряжение райисполкома о передаче нам старой конюшни. К осени там будет шикарное общежитие. Работы уже ведутся. Вы запоздали со своей декларацией, товарищ Чинков.

Чинков лишь благодушно развел руками.

— Я знал, что мы сработаемся, — тонким голосом сказал он.

После ухода Фурдецкого Чинков вышел к Лидии Макаровне.

— Запишите приказ, — напряженно и весело продиктовал он. — «Исполняющий обязанности главного геолога товарищ Чинков И. Н. направляется в инспекционную поездку в пределы Западной съемочной партии на реке Лосиной. Подпись — начальник управления Фурдецкий».

Начальник Дальней рекогносцировочной партии Семен Копков действительно чисто случайно открыл месторождение киновари. Его партия делала предварительное обследование «ничейных» земель в центральной части Кетунга. Проект партии составил главный геолог Отто Янович Калдинь, один из старожилов и основателей Поселка. Отто Янович мечтал составить глубокий многолетний прогноз на олово. «Представьте, приходит вдруг телеграмма Госплана: «В состоянии ли вы обеспечить такую-то и такую-то сырьевую базу на олово?» Берем прогнозную карту и отвечаем, как умные приличные люди...»

Семен Копков шел обычным маршрутом и вдруг за поворотом долины увидел сопку ярко-красного цвета. Он опустил глаза, поднял их снова, но видение не исчезло. Перед ним — реальность среди реального мира — стояла сопка ярко-красного цвета. На первый взгляд она целиком состояла из киновари. Поняв это, Копков сразу подумал об Отто Яновиче. Как бы обрадовался старик. Никто на Территории не думал о киновари и не ждал ее. И вот, пожалуйста. Как подарок умным, приличным людям. Но Калдинь задержался в отпуске. Лежал в рижской больнице.

Копков вышел к сопке один. На другой день к нему присоединился коллектор, шедший самостоятельным параллельным маршрутом. Пятеро суток они лазали по сопке. Когда кончились продукты, Копков из пистолета ухитрился застрелить маленького тундрового медведя — линялого зверя с купеческим животом. Сам Копков остался с запасом медвежатины на сопке, а коллектор пошел на базу, чтобы дать радиограмму и получить ответ. Ответ пришел как раз, когда Копков медведя доел и питался непугаными евражками, которых также стрелял из пистолета. Вообще Копкову с его репутацией чудака везло на необычные ситуации в жизни, и анекдоты о нем добирались до Города. Сейчас он сам и его хмурые «кадры» челночным способом переносили базу на новое место. Одна ходка составляла сто сорок километров, и потому Копков разделил все на два рейса: продукты, спальные мешки и рация. Все остальное пришлось бросить, как и посадочную полосу, приготовленную с таким трудом. Руда для промышленного анализа составляла около тонны. Разумеется, на аэродром ее не перенесешь.

Ручьи и сопки в этом районе Кетунга не имели названий, и Копков назвал месторождение — Огненное. В вечерние часы сопка казалась сгустком овеществленного пламени.

10

— Только плебеи считают за счастье лежать вверх задницей и ничего не делать, — сказал Жора Апрятин. Как всегда по утрам, он вел воспитующий диалог с завхозом Васькой по кличке Феникс.

— А разве я не плебей? Плебей и есть, — смиренно отвечал тот.

— Ты работаешь в Арктике. В Арктике нет плебеев.

— А шурфы, по-вашему, кто долбает? Князи, что ли, на канавах корячатся?

— Это люди... повышенной активности, Феникс. Им тесно среди плебейства, и они попали сюда. Плебеи, Феникс, живут в городах.

— На завтрак жрут бифштексы и ездют на такси, — радостно подхватил Васька. — А кто же тогда на заводах? Которые в городах?

— На заводах класс-гегемон! — Жора глянул на Ваську.

Тот понял, почесал бороденку и уже другим тоном спросил:

— Тушенку, спички, курево. Еще что?

Но Жора Апрятин ничего ему не ответил. Он протирал масляной тряпочкой револьвер. Всегда по утрам Жора чистил оружие, как будто собирался в некий хунхузский набег. «Оружие должно быть в порядке», — туманно объяснял он.

Васька со вздохом пошел на склад. Канавщики на гряде Пырканая уже неделю сидели на одной манной каше. Для остроты вкуса они ели ее с диким луком. Но за продуктами на базу никто идти не хотел: канавщики выбивали рубль сдельщиной, а через скорое время должна поплыть мерзлота. В этом году из-за жары раньше, чем обычно. Когда плывет мерзлота, какая, к чертям прогрессивка? Апрятин обещал, что пришлет с продуктами Феникса. Канавщики кровожадно развеселились. Васька изменил клану ломика и взрывчатки, смылся на легкую должность завхоза.

На всю Территорию Васька Феникс был знаменит тем, что каждую осень он растворялся. Исчезал на гла-

вах. Получив деньги за лето, Васька как бы просто таял в воздухе. Никто не видел, чтобы он садился на самолет или пароход. Его не встречали на касситеритовом прииске, не сталкивались в Городе, не замечали среди бедующих зиму бичей. Каждый раз ходили туманные слухи, что Васька замерз по пьяному делу, провалился под лед на зимнем лове в каком-то колхозе, что его пришили уголовники и по обычной практике кинули в море в железной бочке с камнями. Но каждую весну он возникал в геологическом управлении с жидкой своей бороденкой и ухмылкой виноватого человека. Так и прозвали Феникс. Возникает из пепла.

«Таков печальный итог», — думал Жора, оставшись один. Слова эти привязались к нему два дня назад, когда он наткнулся на останки человека в узкой горной долинке. Истлевший брезент пророс уже травой и полярной березкой. На поясе лежал наган — кобуру съели мыши. Мыши съели и полевую сумку. Бумаги превратились в замазку. Только геологический молоток на длинной ручке выглядел как новенький. Жора забрал наган, молоток, остатки полевой сумки. Остальное оставил как есть. Таков печальный итог.

Васька Феникс вернулся со склада и со вздохом поставил у входа в палатку рюкзак, набитый банками аргентинской тушенки, отечественным сгущенным молоком и пачками папирос «Норд». С тем же вздохом Васька вытащил из-под койки ржавую тулку, левый курок которой был умело выгнут из гвоздя, перепоясался брезентовым патронташем.

— Пошлепал, — выжидательно объявил Васька, но остался на месте.

— Чтобы, как шлюха с танцев, не позднее утра обратно, — грубо сказал Жора. (Таков печальный итог.)

Васька вздохнул, понял неотвратимость, взвалил рюкзак и направился к синеющей на горизонте гряде гор Пырканай.

Жора пошел к реке на свое излюбленное место, где кусты образовывали выемку над сухим веселым обрывчиком. Вода под обрывчиком кружилась в зеленоватых водоворотах. Было видно, как всплывают вверх и медленно погружаются рыбьи спины. Удочка с блесной лежала тут же, но завтракать еще было рано. Лосиная считалась самой благородной рекой Территории. В среднем течении ее рос даже тополевый лес, сюда забредали с юга лоси, в верховьях бегали стада снежных баранов,

и вода кишела рыбой: голец, чир, муксун, и даже встречалась нельма.

Таков печальный итог. Жора сгорбился и сразу стал похож на сутулого длинноволосого мальчика. На людях он старался держать созданный воображением идеальный образ — немногословный, всегда с оружием, готовый к выпивке, действию. Жора Апрятин — полярный волк. Природа действительно лепила Жору по образцу викинга: голубые глаза, светлые волосы. Но природа где-то на полдороге отвлеклась, и остальное завершил дед — известный географ, исследователь Центральной Азии. Он учил внука читать по путешествиям Николая Михайловича Пржевальского, мучил холодной водой по утрам, самовластно направил в Горный и самовластно распределил работать на Север. «Только там осталось место для приличных открытий».

Таков печальный итог. Жора неплохо тянул фамильную лямку. Самолюбие не позволяло работать плохо. Но найденные два дня назад останки как-то по-иному все поворачивали. И вещи погибшего геолога, и кости его не принадлежали к миру людей. В узкой долинке посвистывал ветер, росла трава, и все там принадлежало миру земли, миру горных пород. Ни испуга, ни брезгливости не вызвал в Жоре найденный труп. Лишь печаль. «Из глины вышли, в глину попадем». Но что тогда самолюбие, что фамилия деда на карте Памира и надежда, что ты оставишь эту фамилию на какой-либо другой карте? Зачем? К чему стремился парень, свалившийся лет десять-двадцать тому назад среди черной щебенки в пустынном краю? Отрешенность. Вот именно такая атмосфера была в долинке. Не кладбищенская суета, где каждый памятник чем-то хочет выделиться, напомнить, обратить внимание: «Я был». Погибший геолог врос в метелицу, полярную березку, камни. «Оставьте меня в покое, я нашел конечную цель». Таков печальный итог. Жора Апрятин даже вздрогнул от сознания собственных несовершенств. Он искал спасения в возне с оружием и виртуозном владении грубой речью рабочего класса. Пижонство. Надо продолжать учить латынь, купаться в холодной воде каждое утро, крутить гантели, бегать легко и свободно. Но и это не выход из ограды несовершенств. «Соблюдай посты, это полезно и мудро. Следи за культурой тела и веруй в исследование природы. Тогда жизнь будет для тебя наполнена смыслом», — писал в последнем письме дед. А дальше, как всегда, цитировал

путешественников от халдейских времен до Нансена. Дед прожил интенсивную жизнь. «Думать до конца никогда нельзя, — решил Жора Апрятин. — Надо где-то быть ограниченным человеком. Веруй в свою работу. Дальше не думай. Вот успех полноценной личности». Таков печальный итог.

Жора знал, что засыпанная черным щебнем долинка, тихий шум ветра и завернутые в истлевший брезент останки истлевшего человека навсегда останутся с ним. Напоминание о смысле и цели. Нетленные ценности. Лишь железо осталось нетленным. Вещи остаются, мы исчезаем. Таков печальный итог. Но человек, вросший в траву и горные минералы, исчез ли?

Жора очень рано лег спать, не разжигая вечернего костра. И это, наверное, спасло ему жизнь. Поздним вечером мимо базы прошел беглый уголовник, известный по кличке Пустой. Он находился в бегах уже три месяца. Срок у Пустого был очень большим, и именно он копил золото, за которое Салахов не получил амнистии. Без золота ему бежать не было смысла. Сейчас он нес с собой два килограмма пылевидного золотого песка. Оружия, документов, карты у Пустого не было. Ничего, кроме золота. Он окончательно озверел, отчаялся и готов был сдаться властям. Но позади лежали тундры, которые он уже прошел. Пустой боялся проходить их снова. Инстинкт и чутье подвели его, он прошел мимо базы. Если бы он заметил палатки, он пошел бы сдаваться. Но если бы он обнаружил, что Жора на базе один, он без колебаний убил бы его, так как получал оружие, одежду, документы и продовольствие. Одним словом, получал жизнь. Но Пустой прошел мимо, и больше никто никогда о нем не слыхал.

Рано утром вернулся съемщик Гурин. Выглядел он так, как должен был выглядеть в любых условиях средний интеллигент. Тщательно выбрит, даже запах одеколона, пуховка чиста, японские оранжевые сапоги аккуратно подвернуты, и очки поблескивают остро и усмешливо.

Гурин зашел в палатку, поставил у стола свой польский рюкзак на станке и сел на дощатые нары. Жора с тоской ожидал, что он сейчас выкинет. Ему всегда было трудно с Гуриным.

— Што, хозяин, образов-то али не держишь? Перекреститься с дороги не на што, — сказал Гурин.

Жора Апрятин молчал. Он курил трубку, и суетные слова пролетали мимо него.

— Притомился, — вздохнул Гурин. — Ноженьки притомились. А не принять ли мне ванну? Пожалуй, принять. Ничто так не освежает, как ванна, глоток кофе и сигарета. Хорошо бы еще узнать, с кем спит в данный момент Анна Бозе и что слышно о летающих блюдечках. Как считаешь, Георгий? И как насчет кубка вина?

— Она спит с простым марсельским докером по имени Жан. Ей осточертели саксофонисты, киноактеры, продюсеры и миллионеры, — с тоской включаясь в игру, сказал Жора.

— Неужели? Георгий, не опошляй новости. Я приму ванну, и ты все расскажешь подробно. Ах, ах! — Гурин взял полотенце, тренировочный костюм, кеды и пошел к реке.

— ...Все-таки вторая экспедиция «Союззолота», — сказал Гурин, вернувшись. — Больше некому. Люди гибнут за металл. А, Георгий?

— Как думаешь, милиция прилетит?

— Непременно. Мертвые покоя не имут. Я бы на твоем месте сам справил обряд. Могила неизвестного страдальца. Загадка тундры.

— Обязан был сообщить. Долг.

— Долг выше сострадания. Сострадание выше... — Гурин отвернулся от Жоры и стал распаковывать принесенные с собой образцы. Всегда было приятно смотреть, как Гурин обращается с образцами. Он возился с ними, как с любимыми ручными мышками. Гурин подавлял Жору превосходством. Он был высоким профессионалом в петрографии, самой мутной из геологических дисциплин. Знал французский язык, знал английский. И, в завершение, в юные годы был мотогонщиком, потом, по его словам, баловался горными лыжами. В Поселок он прилетел без приглашений и договоров. Предъявил хорошие бумаги и сразу заявил, что прилетел временно. Независимый человек. Эдакий геологический ландскнехт, наемник от петрографии. Прилетает, подписывает контракт, работает сколько нравится и улетает. Больше всего Жору злило то, что Гурин, по всем внешним данным законченный явный пижон, в рубрику пижона не влазил. Он действительно знал петрографию, он действительно свободно знал французский и английский. И ходил в маршруты с четкостью хорошего автомата.

...Вечером над палатками прогрохотал самолет АН-2.

Посадочная полоса находилась на речной косе, метрах в четырехстах от базы. У самолета Жора увидел знакомого милицейского майора в кожаном желтом пальто и Чинкова.

— Докладывайте, Апрятин, — сказал Чинков.

— Труп найден мною шестнадцатого июля на склоне... — начал Жора.

— Это вы доложите майору, — поморщился Чинков. — Докладывайте о результатах.

— Все идет как положено, — пожал плечами Жора. — Карты на базе.

— Самолет сможет там сесть? — спросил майор.

— Исключено.

— Пешком?

— Двое суток. — Жора глянул на оплывшую фигуру майора.

Чинков тяжко и медленно шел по косе у воды, разглядывая отмель. Лениво вполоборота махнул, чтобы Апрятин и майор шли на базу. Майор пожал плечами и строго сказал Жоре: «Ведите на базу, товарищ начальник партии».

...В палатке Будда тяжело уселся на стул и, невозмутимый, смотрел на стол. Гурин при виде вошедших встал, коротко кивнул и снова улегся с излюбленным французским романом (на обложке матадор и девица). Жора за ствол подал майору наган с позеленевшими патронами в барабане и завернутую в полотенце полевую сумку, вернее ее остатки. Но майор все косился на Гурина. На задней обложке девица была вовсе без ничего, и блеск ее ягодиц на глянцевой обложке кощунственно освещал палатку. И сам Гурин в свежем тренировочном костюме, в каких-то кедах с белой непачкающейся подошвой выглядел кощунственно. Не палатка геологов, а приют иностранных туристов.

— С какой целью вы ведете канавные работы, Апрятин? — тихо спросил Чинков.

— При заброске партии с самолета были замечены развалы кварца. Решили проверить канавами.

— И что показал ваш кварц?

— Жилы пустые, — сказал Жора. — Низкотемпературный молочный кварц и... более ничего.

Майор все косился на Гурина, закрывшегося обложкой, как будто происходящее его не касалось.

— Кто это у вас валяется на койке, Апрятин? — скрипуче спросил Будда.

— Андрей! — окликнул Жора.

Гурин сел.

— Как ваша фамилия?

— А ваша?

— Я Чинков. Главный инженер управления, где вы работаете, — монотонно сказал Будда.

— Андрей Игнатьевич Гурин. Инженер-геолог.

— Если вы действительно инженер-геолог, будьте добры к столу, — Чинков отвернулся от Гурина. Майор засунул наган в полевую сумку. Сверток с бумагами придвинул к себе.

— Вы приняли решение? — спросил Будда у майора.

— Пусть захоронят. Составят акт, — вздохнул майор. — Дело ясное.

— Проверьте, прошу вас, как с техникой безопасности на базе Апрятина.

Майор вышел.

— Почему пусты канавы, Апрятин?

— Думаю, что наш лист находится в переходной зоне от золотоносных областей Реки к оловоносной провинции Территории, — единым дыханием выговорил Жора.

— Что вы скажете о золотоносности вашего района? — быстро спросил Будда.

Жора только пожал плечами.

— Мы ведем геологическую съемку. Отто Янович выбрал наш район чем-то вроде печки, от которой будут танцевать...

— Меня не интересует, что замышлял Отто Янович, — Чинков встал, и лицо его налилось кровью. — Здесь не полигон для научных изысков. Слушайте приказ, Апрятин: к осени вы дадите мне полный отчет именно о золотоносности вашего района.

— У партии существует утвержденный проект, — тихо сказал Жора.

— Мне наплевать на проект. Я его отменяю, — яростно ответил Чинков.

Гурин выдвинулся вперед, локтем задвинул Жору за свою спину и весело сказал:

— О чем, собственно, спорить? Мы ведем работу в основном в горной части. Надо спуститься в тундру. Прошлиховать верховья основных водотоков. Шлихи мыть быстро. Лишь на тяжелую фракцию. Канавные работы прекратить. Канавщиков перевести на шурфовку. Две-три обзорных линии в устьях главных ручьев. Не о чем спорить!

— Разумно! — вздохнул Чинков. Он благосклонно глянул на Гурина и медленно вышел из палатки.

— Статуя командора, — пробормотал Гурин. — Мыслящая статуя командора.

Это было невероятно, но Чинков услышал его. Он медленно всем корпусом развернулся к Гурину, разлепил губы на чугунном лице и вдруг белозубо улыбнулся.

— Спасибо, что хоть мыслящая, Гурин, — медленно сказал он.

— Доктор. Моя здешняя кличка Доктор, — улыбнулся в ответ тот. Чинков благосклонно кивнул головой.

В это время Жора Апрятин вышел из-за спины Гурина. Дергающейся напружиненной походкой он подошел вплотную к Чинкову. Все еще улыбаясь, Чинков смотрел сверху вниз на темя Апрятина, а Жора смотрел в землю.

— Прошу вас, — с бешеной официальностью произнес Жора, —никогда не кричать на меня. Во-вторых, прошу дать точные указания о поисках золота.

— Раз вы инженер, то должны знать это, — Чинков, казалось, забавлялся.

— В-третьих, прошу дать письменное указание об отмене проекта. Без этого я не могу изменить план работ.

Чинков молчал. Гурин с нескрываемым любопытством поблескивал очками, переводил взгляд с Чинкова на Апрятина, с Апрятина на Чинкова.

— Скажите, — вдруг благодушно спросил Чинков. — А на черепе у того товарища не сохранилось волос?

— Нет, — растерянно сказал Жора. — По-моему, нет.

— Если светлые волосы, значит, Гагин. Мой однокашник.

— Я не понимаю, какое отношение...

— А тут нечего понимать, Апрятин. Инженер-геолог не просто инженер. У него есть кодекс чести. Ваши коллеги погибли именно во время поисков золота Территории. Результаты работ неизвестны. И для того, чтобы выполнить элементарный товарищеский долг, вы требуете бумажку. Вам не стыдно, Апрятин?

— Демагогия... — с трудом начал Жора.

— Демагогией занимаетесь вы. Приказ вам известен. Как его выполнить, вам расскажет Гурин. Вашему деду стыдно должно быть за вас, Апрятин.

Чинков развернулся и монументом поплыл прочь от базы. Жора так и стоял с опущенной головой.

— Вот это босс! — с восхищением сказал Гурин. — Ах, как красиво он тебя обыграл, Георгий. Умница! Монстр!

— Он плохой человек, — сказал Жора.

— Тебя высекли. Прими это как мужчина, Георгий. Ты с ним знаком?

— Второй раз вижу.

— Значит, и он тебя видит второй раз. Но как он тебя угадал! Личного дела для этого мало. Результат: приказ его ты обязан выполнить. Иначе он тебя высечет еще раз. Если же ты завалишь проект — никаких бумажек он тебе не оставил. Тебя высекут другие.

— Я не буду заваливать проект Отто Яновича.

— Этого он и хотел. С одной мышки две шкурки.

— У меня есть свидетель. Ты.

— Ни черта ты в людях не понимаешь, Георгий. Неужели ты видишь во мне жлоба-свидетеля? Клянусь говорить правду, и только правду. Это мне унизительно.

— Значит, ты за него?

— Я единичный философ. Следовательно, во всех случаях я за себя. Но мы с тобой в одной партии. Из классовой солидарности беру на себя всю работу по проекту. Ты выполняй задание Чинкова.

— Может быть, поменяемся?

— Не делай из меня холуя. Тебе дан приказ. Он великий, Георгий. Я это сразу понял.

— В чем ты видишь его величие? В хамстве?

— Есть цель. Есть ум. И абсолютно нет предрассудков, именуемых этикой.

— У меня другие понятия о величии.

— Величие столь же разнообразно, как и порок. Кстати, тебе великим не быть. Нет в тебе нити. Посему исполняй приказы.

— А тебе быть?

— Я в этом не нуждаюсь. Отмаялся величием в юности. Кстати: страдальца того я схороню. Чин чинариком все исполню с помощью раба Феникса. Крест или столбик прикажешь поставить?

— Решай сам.

— Ты более велик, чем я. Я исполняю твои приказы. Я более велик, чем раб Феникс. И буду приказывать ему. Видишь, как уютно все получается?

— Циник ты, Андрей. Противно.

— Я не циник. Я единичный философ. Мне не противно, а просто смешно.

Баклаков очнулся, будто вышел из темной заброшенной комнаты. Обнаружил, что одет в пыжиковые штаны и рубашку. Под ним была шкура, и над головой и по сторонам все тот же олений мех. Чувство уюта сливалось с благостным чувством выздоровления. Баклаков сел. Передний край полога был подвернут. Снаружи доносились мягкие шлепки. Он высунул голову из-за полога и увидел тундру, залитую желтым светом. Справа от входа на корточках сидела девушка. Она была в тренировочных брюках, но без рубашки. Баклаков видел смуглое плечо и острую грудь с маленьким темным соском, край темной от румянца щеки и ухо, полускрытое прядью длинных прямых волос.

Девушка месила тесто. Скатывала его в тугой клубок, отрывала часть, расшлепывала и пальцем выдавливала углубления в лепешке. Она почувствовала взгляд Баклакова и медленно повернулась. Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу. Девушка разжала темные, как бы запекшиеся губы, улыбнулась и, повернувшись к Баклакову спиной, подняла валявшуюся рядом рубашку. С каким-то расслабленным изумлением он смотрел на тонкую спину, непостижимо расширяющуюся к бедрам, и выступы позвонков под кожей, и беззащитную шею. Потом он опомнился и исчез за пологом.

...Кьяе долго переводил глаза с Тамары на Баклакова и снова смотрел на Тамару. Глаза старика походили на два темных сучка, спрятанных в старом выветрившемся дереве. Тамара варила лепешки в нерпичьем жиру. Жир кипел в котле, распространяя запах подгоревшей рыбы. Лепешки лежали друг на друге золотистой грудой. Кьяе вытащил из угла кожаный мешок, вынул из него кипу полуспрессованных стеблей табака и принялся строгать табак на дощечке. Набив трубку, Кьяе выкурил ее до конца, затем из того же мешка вытащил пачку махорки и сделал себе самокрутку. Выкурив самокрутку, Кьяе все из того же мешка вытащил начатую пачку «Беломора» и бережно размял пальцами папироску. Баклаков не выдержал и рассмеялся.

— Если сразу папиросу курить, то потом невкусно, — пояснил Кьяе.

Булькал нерпичий жир в медном котле, росла груда лепешек, бесшумно и быстро двигалась Тамара. В раскрытую дверь яранги виднелся кусочек тундры.

— Сейчас зарежу оленя, — сам себе сказал Кьяе. — Буду тебя кормить. Утром ешь, днем ешь, вечером, ночью ешь. Как силу почувствуешь, так иди.

— Да, — сказал Баклаков. — Конечно, надо идти.

Кьяе сам варил мясо по стародавнему кочевому рецепту. Нарезанное тонкими полосами, оно клалось в несоленую холодную воду и вынималось сразу, как только вода закипит.

Баклаков ел. Он вгрызался в оленьи ребра, сдирал с них мясо, проглатывал, почти не жуя, тонкие длинные полоски. По подбородку и рукам тек сок, внутренность яранги была заполнена паром от запаха бульона, мяса, костного мозга.

Когда Кьяе пошел к стаду, Тамара ушла вместе с ним. Баклаков сидел у тлеющего костра, слушал шум ветра над ярангой, ел оленину и пил чай. Он засыпал на короткое время, точно проваливался в темную бесшумную яму. Просыпался от голода и снова ел. Он пил бульон через край котла, и лицо, борода и руки его покрылись черной сажей. У стенки все это время неторопливо и деликатно грызла кость Умичка — крохотная оленегонная лайка. Каждый раз, просыпаясь, Баклаков встречал ее по-человечески смышленый взгляд. Глаза у собаки были разноцветными, один коричневый, второй голубой.

...Многие годы спустя Баклаков пришел к выводу, что он стал взрослым мужчиной именно тогда, в яранге старика Кьяе. Жизнь до болезни походила на школьную подготовку, на незамысловатое сочинение, изложенное на тетрадке в косую линейку. И смутные мечты на песке у речки, текущей возле их лесного разъезда, и хитрая дурашливость институтских лет, и пот тренировок, и вера в то, что геология есть единственная достойная профессия на земле. Даже встреча с Чинковым и это глупое геройство при переправе через реку Ватап — Серая Вода. Все это было в одной плоскости и черно-белом изображении. Баклаков часто вспоминал изрезанное морщинами, не знавшее мыла лицо Кьяе, обнаженную девичью спину, глубокий, как шурф, взгляд из-за плеча и связанное со всем этим благостное чувство выздоровления. Жизнь приобретала объем, запах, цвет и теряла однозначность твердых решений. Баклаков навсегда запомнил запах шкур и рыбьего жира и навсегда потерял своего болотного бога — старик лесовик больше не возвращался к нему...

...Спустя многие годы, во время баклаковской славы, к нему специально прилетел столичный писатель с заданием написать очерк для центральной газеты. Писатель побывал у пастухов. В кабинете у Баклакова писатель самозабвенно рассказывал, как он примерял кухлянку, ел сырое мясо, видел, как шкуры выделывают мочой — с таким состраданием хорошо ухоженного человека демонстрировал брезгливость, что Баклаков не выдержал. «Хорошо бы статьи о ваших книгах начинать с покроя ваших штанов. А изложение ваших идей с сорта зубной пасты», — сказал он. Потом Баклаков долго успокаивал себя: «Брось, Серега. Брось и забудь». Ему было очень обидно за Кьяе и за его народ, который Баклаков искренне считал великим народом. Ему было очень обидно, что он технарь и не может изложить идею великого единства всего живущего на земле. Допустим, инженера Баклакова и оленегонной лайки Умички. Но все это было потом...

Кьяе подарил ему кухлянку из осенней шкуры оленя и пару чижей — меховых чулок. Он показал ему место переправы через Ватап — сразу по выходе реки из Кетунга.

В коротко подпоясанной кухлянке, отощавший после болезни Баклаков удалился в Кетунг. Работа будет сделана. Вот так-то, товарищ Чинков. Болезнь как бы высосала из него остатки телесного притяжения, и Баклаков сам по себе казался невесомым — захочется, будет шагать по воде. Почему-то он все время вспоминал высказывание Семена Копкова — корифея дальних маршрутов. «Мы не викинги, и нечего выпячивать челюсть. Мы — азиаты и тут живем. Высшая добродетель в тундре — терпение и осторожность. Высшая дурость — лезть напролом. Огибая, выжидая, терпи. Только тогда ты тундровик».

12

Вездеход, нелепое, как корыто на колесах сооружение фирмы «Студебеккер», дошел до перевала, за которым начиналась река Эльгай. Дальше вездеход не мог идти из-за крупноглыбовых развалов камня. Можно было сделать крюк через отрог соседнего хребта, но вездеходчик не хотел гробить шины, второго комплекта которых в стране не имелось.

— Давай тренируйся пешком, — сказал он.

Саня Седлов и Куценко выгрузились. Дальше каждому предстоял свой маршрут. Вездеход развернулся и радостно загрохотал вниз. Саня Седлов, тощий, прокуренный парень, первым взвалил на спину рюкзак.

— До свиданьица! — сказал он и пошел на северо-запад. Приказано доставить исправную рацию на базу Монголова и вернуться. Он привычно шагал под грузом, насвистывал и радовался жизни. Отпуск провел нормально. Все было. Начиналась ясная жизнь на ближайшие два с половиной года. Осенью будет что рассказать парням. Он отмочил удачную шутку. Будучи в Гагре, он отправил в управление звуковое письмо, адресовав кратко: «Руководству управления». Сиплым своим голосом Саня Седлов излагал на пластинке: «Уважаемые товарищи начальники! Отдых мой проходит нормально. Здесь тепло и имеется синее море...» А на обратной стороне пластиночки наигрывал бодрый джаз, сладострастно пиликала скрипка и не знающий печалей голос напевал про море, пальмы, про ах, любовь. По усмешкам снабженцев и кадровиков Саня Седлов понял, что пластинка получена, шутка оценена, принята и внесена в летопись.

Над перевалом висело легкое облачко, засыпанные уже снегом вершины говорили про близкую зиму.

Куценко выгрузил из вездехода три двухметровые доски, объемный рюкзак с прикрепленными сверху лотком и лопатой с короткой ручкой. Ему требовалось пойти на север, чтобы попасть в самые верховья Правого Эльгая. Вездеход рокотал где-то в лощине. Попутчик ушел на базу Монголова, Куценко остался один. Он прикрепил доски к рюкзаку куском веревки и вдруг сделал такое, что невероятно удивило бы Чинкова. Он вынул из нагрудного кармана пачку папирос «Казбек» и закурил, хотя всей Реке, где Куценко прославился как виртуоз-промывальщик, было известно, что он не курит. Куценко курил, сидя на рюкзаке, и пытался определить погоду. Это была примерно четвертая папироса в его жизни. Три он выкурил во время открытия уникального месторождения на Реке, прославившего экспедицию Чинкова. Сейчас он курил, потому что в него вошла лихорадка Будды, родившаяся в пустом фюзеляже грузового самолета ЛИ-2. К концу папиросы Куценко уверовал, что лето, прерванное полосой снегопада, установилось, и он может рассчитывать дней на двадцать хорошей сухой погоды. После чего необходимо спасаться. Вы-

ходить на базу Монголова. Помалкивать. Он докурил и кинул окурок в камни. Взвалил рюкзак, радуясь тому, что с грузом ему не придется идти по тайге меж деревьев, и перевалистым шагом направился на запад и вверх. Этим маршрутом проходил с Буддой, но сейчас и Будда был забыт. В памяти Куценко крутились отмели, песчаные, галечные косы, торфяные обрывы, перекаты и заводи...

Поздним вечером он дошел до среднего течения речки, где долина образовывала как бы котел, расширение средь сжимавших ее сопок. Сюда и стремился Куценко. Он не знал почему, но стремился сюда. Ему здесь нравилось. Куценко не стал ставить палатку, просто расстелил ее на земле, поверх бросил олений спальный мешок, разделся догола, хлопнул себя по объемистому животу и забрался в мех. Через несколько минут он уже спал.

Утром промывальщик Куценко прежде всего осмотрел окрестности своей ночевки. В километре от места, где он провел ночь, долго разглядывал маленький ручей, стекавший со склона сопки в реку. Вернулся за грузом, перенес его к устью ручья и натянул палатку. Натянул ее под сухим обрывом по всем правилам и даже провел вокруг водоотводную канавку. Затем вынул из рюкзака небольшой топор, на лезвие которого была насажена пятка галоши, потрогал острие и принялся за доски. Через час у Куценко было готово как бы корыто без торцовых стенок. На днище корыта через десять сантиметров наколотил узкие поперечные планки. Все это сооружение он отнес к устью ручья. Выбрав участок с хорошей травой, Куценко принялся нарезать дерн. Он резал его квадратными кусками и складывал в стопку. Потом приспособил кусок доски в качестве импровизированной спинной подставки и перенес дерн к ручью. Затем прокопал водоотводную канавку так, чтобы она попадала на край обрыва, где стояла палатка, и запрудил дерном ручей. Вода потекла по канаве и точно с обрыва падала на «проходнушку» (так на старательском языке называется простейший промывочный прибор), которую смастерил утром. Проверив сооружение, Куценко немного ослабил напор воды, для чего слегка приоткрыл запруду.

На небе висело красноватое в дымке солнце. Над долиной дважды пролетали гусиные стаи. Каждый раз они тяжко отворачивали в сторону. Куценко задумчиво про-

вожал их взглядом, пока не утихал тревожный гусиный крик. Закончив работу, сходил к реке, разулся и долго сидел, опустив в воду пухлые белые ступни. К ногам его подплыл и ткнулся носом небольшой хариус. Куценко с кошачьей ловкостью нагнулся, двинул рукой — и хариус заплясал на гальке. Выжимая мокрый рукав телогрейки, Куценко засмеялся очень довольный. Он вернулся к палатке, разжег маленький примус, поставил на него чайник и, поднявшись на обрывчик, осмотрелся кругом. Наметив невдалеке зеленый островок, обтекаемый протоками, как был босиком, но в телогрейке и шапке, пошел туда. Куценко не ошибся: остров густо зарос диким луком. Лук был еще сочный, потому что рос на влажном острове. Куценко набрал его целую охапку. Он вскрыл банку тушенки, вывалил ее на сковородку, посыпал муки из мешочка и накрошил луку. Все это поставил на примус, предварительно заварив чайник. Съев со сковородки все, зачистил дно галетой и наконец переоделся в белую брезентовую куртку из толстого полотна, какие дают пожарникам. Поверх куртки натянул старенький рваный плащ. В завершение всего вынул кусок клеенки с тесемками и прикрепил его на спине. Надев рюкзак, Куценко осмотрел палатку, лагерь, как бы запоминая приметы, взял лопатку и пошел вверх по реке. Первую партию песка он набрал в рюкзак с косы, напротив островка, где рвал лук. Отнес его к деревянному корыту, высыпал и, не останавливаясь, пошел за новой порцией. Эту работу он продолжал до темноты. Уже ночью скинул промокший рюкзак, снял клеенку, грязный плащ и куртку, которая на спине почернела, выпил прямо из носика чайника холодного чаю и залез в мешок. В мешке он вынул из рюкзака огарок свечи, поставил его на колышек, вколоченный в землю. Потом вытащил сверток. В свертке был короткий разобранный винчестер. Он быстро собрал его с помощью отвертки, перочинного ножа, набил магазин патронами, передернул скобы и поставил винчестер рядом с палаточной стойкой. Туда же поставил маленький фанерный ящик, обмотанный сыромятным ремешком. Задул свечу и заснул.

Следующий день Куценко был занят тем, что лопатой швырял в проходнушку принесенный им грунт. Вода подхватывала его и уносила в реку. Ему дважды пришлось отгребать намытую у конца проходнушки груду. Когда песок кончился, он отвел воду и обычной ложкой собрал темно-серый остаток, накопившийся у дере-

вянных планок, осторожно промыл остаток в лотке. То, что сохранилось на дне лотка, его не обрадовало. Среди темной массы магнетита кое-где просвечивали отдельные блестки золота, и еще была мелкая, почти пылевидная масса — граммов пятнадцать, так определил он на вид.

Конец дня Куценко снова носил грунт, но уже не мыл его на косе, а брал его с бортов долины и дважды заходил в реку, выискивая сланцевые щетки, которые сами по себе действовали, как неплохой промывочный агрегат.

...Так длилось день за днем. Куценко все дальше уходил от своей палатки.

Куценко не знал, что в одну из его отлучек к нему в палатку заходил Седой. Седой долго прятался за куском берега, вывороченным паводком. Шурфовка кончилась, потому что мерзлота ожила, и Седой просто бродил по долине, чтобы побыть одному в грустном и тревожном воздухе осени. Когда темная от грязи спина Куценко исчезла за поворотом берега, Седой подошел к его палатке. Потрогал винчестер и затем внимательно осмотрел тяжелый фанерный ящик. Он развязал ремешок, хотя мог бы и не делать этого. В ящике хранился, как он и ожидал, золотой песок. Довольно много золотого песка. Седой знал, что Куценко, этот толстый рыболов-циркач — личный адъютант Будды и его личный промывальщик. Опыт жизни учил Седого не лезть в непонятные дела начальства. Особенно если это начальство «Северного строительства», живущее по особым, писанным лишь для «Северстроя» законам. Все же он долго держал в руках тяжелый ящичек и наконец, усмехнувшись, завязал сыромятный ремешок точно тем же узлом. Выйдя из палатки, он заровнял следы.

Кефиру Седой ничего не сказал, ибо тот по безалаберности мог развести болтовню, сунуть по жизненной глупости нос в дела, в которые не следовало его совать.

13

После ухода Баклакова Кьяе продолжал в одиночку пасти стадо. Давно уже следовало вернуться сутулому великану Канту, который отправился на мыс Баннерса за продуктами. Давно следовало вернуться двум молодым пастухам, убежавшим искать «откол» — отбитую волками часть стада. Канту, наверное, застрял в Поселке, как застревают в нем те, кто любит спирт. А моло-

дые пастухи наверняка давно нашли откол, но не спешат вернуться, гоняют снежных баранов. Кьяе не сердился на них. Стадо ему помогала пасти Умичка, умная, как человек, и даже умнее. Кроме того, ему нравилось быть одному. Никто не мешает думать и вспоминать. Память Кьяе хранила запахи трав, льда, весеннего снега, полет заиндевевшего от мороза ворона и его хриплый крик над снегами, падение сбитого выстрелом волка, вкус оленьего мяса, крови и вкус молодых оленьих рогов. Еще память Кьяе ежедневно и ежечасно хранила грустное признание неизбежной смены снегов, дождей и человеческих жизней. Больше всего Кьяе поражала именно неотвратимость замены. Остановить ее невозможно, как невозможно ладонями задержать горный обвал. За долгие годы жизни мимо Кьяе прошло много людей. Ему нравилось думать о них, о сказанных ими словах. От одних людей пахло потом. Даже мысли их, так Кьяе казалось, пахли работой. Он уважал их. От других пахло деньгами. Их Кьяе жалел. Он сердился, когда о жизни говорили «хорошая» или «плохая». Жизнь не может быть хорошей или плохой. Просто она бывает разной. Она всегда просто жизнь. Смешно думать, что деньги могут улучшить ее. У самого Кьяе было очень много денег. Зарплата пастухов откладывалась на книжку, и ему некуда было их тратить. Он мог тратить их на Тамару. Но летом она жила, как положено жить дочери пастуха из племени настоящих людей, зимой ее содержало государство. Самому Кьяе ничего не требовалось, кроме табака, чая, сахара и иногда спирта. Когда он приезжал в поселок на мысе Баннерса, он покупал все что взбредет в голову: часы, радиоприемник, пальто с каракулевым воротником. Потом он дарил накупленные вещи, находя в этом радость. Он знал, что молодежь будет жить иначе. Это так. Кьяе не осуждал и не одобрял, просто воспринимал вещи так, как они есть. Жизнь в непрерывном беге по тундре высушила не только тело, но и суету в мыслях. Но почему-то все-таки люди и травы обязательно должны умирать? Среди тысяч оленей вдруг родится совершенно белый олень, без единого темного пятнышка. Неужели за все течение Времени не мог родиться человек, который не умирает? Кьяе очень хотелось бы, чтобы такой человек был. Тогда остальные люди могли бы надеяться, что им тоже, может быть, повезло и они из бессмертных. Тогда жизнь не была бы ниткой, протянутой из темноты в темноту, а походила

бы на большую реку Ватап, которая все время течет, но вода все равно не кончается. «Только не надо, — думал Кьяе, — чтобы бессмертный человек был отмечен каким-то клеймом, скажем, родимым пятном на спине или животе. Это было бы плохо для остальных».

Баклаков в эти дни с просветленной яростью картировал гранитные массивы. Они уходили цепочкой на север, сглаженные, изгрызенные ветрами, морозами и водой до трухи. Граниты были как граниты, ничем они не отличались от тех, что Баклаков видел раньше. В кварцевых жилах, контактных зонах Баклаков не находил ни касситерита, ни рудного золота. Баклаков поправлял их контуры на карте, брал образцы и недоумевал: не за этим же его посылал Чинков. «Когда не знаешь, что делать, делай то, что приказано», — резюмировал Баклаков.

Группа Салахова завершала маршрут в низовьях Эльгая. Река разбегалась в широком тундровом устье. На горизонте зыбко маячили белесые отблески океана. Над тундрой висел журавлиный крик, и в ночные часы шли и шли к югу гусиные стаи. Осенний, залитый жиром голец валом подымался вверх по реке.

Бог Огня по ночам стонал от осенней ломоты в костях. Он утешал себя тем, что это последние шлихи сезона. Впрочем (Салахов тут ошибался), мучило его несовершенство собственной жизни. Не было у него сына Мишки и дочери Тоськи, и женат Бог Огня никогда не был. Но мечта о жизни, как у всех нормальных людей, была столь большой, что он путал ее с действительностью. Ради этой мечты он бросил пить три года назад, снова хотел войти в мир людей. Иногда Бог Огня вставывал столь жалостно, что Салахов толкал его в бок: «Не скули. Работу мы сделали, как учили. И даже больше».

ВСЕСТОРОННЕЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА

«На севере же Европы, по-видимому, есть очень много золота. Как его добывают, я также не могу определенно сказать. Согласно сказанию, его похищают у грифов одноглазые люди — аримаспы...»

Геродот. История

«Грифы сражаются за золото с аримаспами... золото, которое стерегут грифы, производит земля».

Аристей из Проконнеса

«Первый высокий металл есть золото, которое через свой изрядный желтый цвет и блещущуюся светлость от прочих металлов отлично. Непреодолимое сильным огнем постоянство подает ему между всеми другими металлами первенство».

М. В. Ломоносов. О металлах и с ними в земли находящихся других минералах

«...Князь ВеликІй велелъ тебе говорити, чтобы еси отъ насъ молвилъ нашему брату МатІошу Королю, чтобы намъ дружбу свою учинилъ, прислалъ бы къ намъ мастеров... которой руду знаетъ, золотую и серебреную...»

Иван III. Запись в поручении послу к венгерскому королю Матвею Корвину

«Кто бы, какого чина и достоинства ни был и сыщет за Тобольским и в Иркутской и Енисейской провинциях, в городах и уездах, в своих собственных или свободных землях, руды золотые... тем — самому или с кем компаниею согласится — заводы строить...»

Правительственный указ от 26 сентября 1727 года

«...просили, чтоб заявленные и сысканные ими в разных местах золотосодержащие прииски в казну принять, а их за их труды... наградить».

Из заявления рудоискателя Третьякова. 1769 год

«Через старание мое и отца моего ж Ивана Шадрина отыскана нами золотосодержащая руда, едучи от деревни Пышма по дороге к озеру Балтыму».

Донесение Василия Шадрина, крестьянина деревни Пышма, 1799 год

«В 1844 году известный английский геолог сэр Родерик Импей Мурчисон по сходству геологического строения Уральского хребта с цепью гор, простирающихся от севера к югу по северо-восточному берегу Австралии, сделал заключение, что и в горах Австралии должно находиться золото».

«О золотопромышленности Австралии». «Горный журнал», 1853 год

«...наиболее богатыя россыпи: Аляска, Калифорния, Трансвааль, Австралия...»

Энциклопедический словарь Ф. Павленкова. СПб., 1910 год

«...устроена мною так называемая промывальная машина, которая должна заменить существующие при золотых промыслах вашгерты. Машина сия находится в действии на одном из золотых приисков и показала, что она есть полезнейшее устройство для золотых промыслов и тем оправдала труды прожектера».

Донесение строителя первых русских паровозов Е. А. Черепанова заводчику Н. Н. Демидову, 13 апреля 1828 года

«Но кому известны в подробностях способы промывки, тот легко согласится, что употребляемые в России далеко превосходят все прочие способы, известные в других странах. Действительно, различные золотопромывальныя устройства, изобретенныя разными лицами в России, дают возможность производить промывку песков гораздо совершеннее, нежели это делается помощию грубых снарядов, употребляемых, например: в Трансильвании, в разных золотоносных областях Америки и проч.».

«Горный журнал», 1837 год

«...по прибытии в управляемые вами заводы египетских инженеров Али-Могаммеда и Дашури оказывать им всевозможное содействие к успешному изучению золотого производства, в особенности сообщением потребных сведений и чертежей».

Из предписания горному начальнику Екатеринбургских заводов, 1845 год

«Мне, между прочим, предписано было ознакомиться и с самими местами добычи золота, если обстоятельства позволят этот осмотр. 3—15 января мы были уже в заливе Сан-Франциско, 4—16 февраля 1849 года я отправился вверх по реке Сакраменто».

Отчет горного инженера Дорошина. «Горный журнал», 1850 год

«...розыскания золотых россыпей... заставили меня проникнуть далеко в глубину Африки, куда еще никогда не проникали не только европейские путешественники, но даже солдаты Магмет-Али... Мы шли по высохшему руслу Тумата, не имея другого вожатого, кроме этой реки и компаса».

Е. П. Ковалевский. Нильский бассейн и золотосодержащие области Внутренней Африки. «Горный журнал», 1849 год

II

ОСЕНЬ. ЗИМА

14

В Поселок зима приходила внезапно, в один день. В ночь перед этим мало кто спал. В пять-шесть утра по обычаю давних времен все собирались на полосе гальки у моря. Океан перекатывал тяжелые валы, будто отлитые из шинной резины. Люди на берегу говорили мало. Поднятые воротники меховых курток, помятые, невыспавшиеся лица, пущенная по кругу бутылка со спиртом.

На рейде раздавался сиплый рев ледокола. К нему присоединялись высокие голоса океанских дизель-электроходов. Уходил последний караван судов. Корабли прощались с Поселком. На берегу слабо тукали выстрелы, взлетали ракеты, шапки, летели в море недопитые бутылки.

Так начиналась зима. Все в мире становилось очень далеким. «Там, на материке...» Местный поэт не без влияния блатной лирики изложил настроение в строках:

От злой тоски не матерись,
Сегодня ты без спирта пьян —
На материк, на материк
Ушел последний караван.

В горах Территории в это время уже ложился снег. Замерзали ручьи, и рыбьи стаи успокаивались в глубоких речных ямах под торфяными обрывами.

...Раньше всего снег застал партию Копкова. Но именно там считали, что до зимы далеко, потому что для экспедиционного работяги начало зимы — это когда тебя вывозят из тундры. Копков не мог ожидать скорой вывозки. К ним дважды прилетал самолет ЛИ-2. Первый раз он сбросил бочки с соляркой и керосином. Бочки, как мячики, прыгали по узкой долине. Больше половины из них разбилось. Во второй рейс на грузовом парашюте спустили взрывчатку и мешки с продовольствием. Разведочные работы на киноварной сопке предлагалось продолжать до твердого санного пути.

...Люди Жоры Апрятина, оставив для охраны базы завхоза Ваську Феникса, плыли вниз по Лосиной на

двух резиновых лодках. В устье их должен был забрать морской катер. Дул острый ветер. Вода была черной и неуютной. У берегов и на заводях рождалась тонкая морщинистая пленка льда. Канавщики замотанно матерились. Они начали материться месяц назад и все еще не отошли от обиды. Бить! Шурфы! Осенью! После жаркого лета! Для шурфов существует другое время. Начальство бы сунуть в эту глину и воду, подержать бы денек в раскисшей дыре. Они вяло клялись, что ноги их больше не будет в тундре.

Жора Апрятин, сгорбившись, сидел на носу передней лодки. Его мучали простуда и сознание, что работа сделана плохо. Образцовой съемки, красивого планшета, о котором мечтал Отто Янович, не получилось. Идиотский приказ Чипкова выполнен. Но ничего не обнаружено, кроме знаков. А знаки прут по всей Территории. Жора знал, что «Северстрой» не признает объективных трудностей. Следовательно, ему отвечать за прорехи на карте, за перерасход средств на шурфовку. Проект партии практически сорван, и нет ничего взамен, когда победителей не судят.

Он поссорился с Гуриным. Пока вся партия занималась шурфовкой, Гурин ходил в маршруты. В своей персональной альпинистской пуховке, с персональной облегченной палаткой типа «гималайка», Гурин был чист, свеж. Все остальные бродили с головы до пяток вымазанными в желтой глине. «Когда партия горит, то, черт возьми, надо быть всем одинаковым. И работягам, и инженерам», — сказал Жора. «Стадный инстинкт у меня ослаблен», — ответил Гурин. Конечно, Жора понимал, что залезь Гурин в брезентуху, окунись в глину — ничем это не поможет. Но в паршивой ситуации всем надо быть вместе. В это верил Жора Апрятин.

...На середине пути лодки попали в лед. Лосиная расширялась в котловине, и течения здесь почти не было. Пленка льда протянулась от берега к берегу. Всю ночь они колотили лед веслами, осторожно проталкивали лодки. Края льда были острыми, у всех кровоточили руки, и каждую минуту ждали, что сейчас зашипит воздух и... Жора Апрятин думал о том, что если тяжелые ящики с образцами пойдут на дно, ему останется лишь застрелиться. А впрочем, не понадобится... До любого берега триста метров воды и тонкого льда, никто не уцелеет.

К утру они выбрались на узкую полоску незамерзшей

воды. И теперь уж приходилось плыть до конца, так как к берегу не пристать.

...Васька Феникс, сухой, жидкобородый, с прищуром всезнающих глаз, остался один средь синего снега, черных кустов и длинных ночей. Он сделал изобретение, потому что ему надоело рубить тальник. Ему вообще не хотелось выходить из большой, служившей жильем и складом палатки. Феникс взял самый большой кукуль, распорол его сбоку и вшил туда еще широкую полосу оленьего меха. Внутрь этого вовсе уж большого спального мешка он вставил две треугольные рамы. Получился домик из оленьего меха, где он и поселился. В «доме» этом было жарко даже от свечки. Свечек имелся ящик. Примус работал исправно. Васька Феникс читал толстый том нечестивого Лукиана, который оставил ему Апрятин. Шевеля губами, Васька Феникс читал «О философах, состоящих на жаловании».

«Мне кажется, я поступил бы хорошо, если бы подвергнул предварительному обследованию те причины, которые приводят к обсуждаемому нами образу жизни...» Смысл слов древнего классика ускользал от Васьки Феникса, и он засыпал. Просыпался, выходил по нужде, зажигал свечку и снова читал. Феникс с каждым днем зарастал грязью, диким волосом, покрывался оленьей шерстью из мешка, который безбожно линял. Но он ждал терпеливо, так как знал, что самолеты спецрейса никогда в назначенный срок не прилетают, а прилетают гораздо позднее и всегда неожиданно, когда уже перестанешь ждать.

В устье реки заберег не было, и люди Апрятина высадились на илистую черную отмель. Лодки так и остались у воды. «А кто сказал, что мы не могем? Ей-богу могем! — крикнул Северному Ледовитому океану шурфовщик. — Могем, а, начальник?»

— Могем, — утвердил Жора Апрятин.

Катер пришел утром и встал на хмурой воде в километре от берега. Ближе он не мог подойти из-за отмели устья. Пришлось кое-как лейкопластырем залепить лодки. На резиновые заплаты не имелось времени и терпения.

— Вперед, питомцы Юпитера, — сказал Жора Апрятин, последним садясь в лодку. И поправил на поясе пистолет.

Один человек сидел на корме и насосом-лягушкой

беспрерывно подкачивал лодку, двое гребли по-индейски, остальные лежали на дне.

Три морячка с катера в линялых бушлатах серьезно, без усмешки, смотрели им навстречу. Трап они уже заготовили.

— Благозаконие и благолепие, — сказал Жора Апрятин, когда последний тяжелый ящик был поднят на борт. Лишь после этого он разрешил подняться людям.

— Кончился влажный жребий, — с усмешкой подтвердил Гурин.

Катер дрогнул от заработавшего дизеля и пошел резать воду. Жора Апрятин запустил руку в полевую сумку и вынул бутылку спирта, хранившуюся весь сезон для этого случая.

— В веру и душу! — сказал Жора Апрятин. — Обмоем конец сезона.

— Начальник! — проникновенно вздохнул один из шурфовщиков. — Мы за тебя хоть в воду. Хочешь, брошусь за борт, начальник? — Железные зубы шурфовщика сверкали в темноте кубрика.

Все выпили, лишь Гурин не притронулся к кружке.

— С твоего позволения, Георгий, я потом. В одиночестве, — сказал он.

Хмель мгновенно и сильно подействовал на Жору Апрятина.

— Выпей с нами, Доктор. Я понимаю, ты сильная личность. И Чинков твой сильная личность. Но куда вы годитесь без работяг и образованных телят вроде меня?

— Скушно излагаешь, Георгий. Тебе бы белокурой бестией стать. Комплекс у тебя подходящий. — Гурин взял кружку и вышел на палубу.

Морячки сразу отметили, что Гурин тут вроде отдельно. И бородка побрита, и одежда другая, и твердый взгляд. Гурин сидел на носу катера, зажав кружку с разведенным спиртом в коленях. Он смотрел на море, на тяжелые темные валы, на низкие рваные облака, на усатые морды нерп по курсу. Старшина подошел к нему, тронул плечо.

— Иди отдыхай. Место найдем. Отдыхай, а, геолог?

Гурин лишь отвлеченно и пусто ему улыбнулся.

— Чудной ты, — добродушно сказал старшина. — Вроде постарше всех, а чудной. А, геолог?

— Когда я работал в Средней Азии, я трое суток шел на один перевал, — ответил Гурин, — Кызыл-Арт. Ледовый перевал, почти недоступный. Карабкался трое

суток. Чтобы выпить пятьдесят грамм коньяка, посмотреть сверху на мир и подумать о бренности бытия. Потом вниз. Зачем я это делал, старшина? Как считаешь?

Но старшина по привычке морских людей, не любящих терять лицо в непонятном, уже вроде не слушал. Лишь скользнул по Гурину глазами, белыми на черном, изрезанном ветром лице, и, ничего не сказав, повернулся широкой спиной.

— Ответ прост, как кочка. Заблуждение веков. Желание во что бы то ни стало доказать свою самобытность. Я-де отдельный, оригинальный, а не такой, как все. Между тем, старшина, все такие, как все.

— Погибнешь, — сказал старшина. Он повернулся к Гурину. Светлые глаза на черном лице. — Погибнешь.

— О чем это ты, старшина?

— Так. Печать на лице.

— Ерунда, старшина. Самое главное — держать дистанцию. Соблюдай правила судоходства в оживленных местах. Сигнальные огни и умение лавировать. В этом секрет безопасности.

15

Машина остановилась при въезде в Поселок. Шофер высунулся и сиплым от бессонной ночи голосом спросил:

— Тебе, парень, куда?

— А черт его знает, — сказал Баклаков. — Сойду здесь.

Он скинул рюкзак и выпрыгнул из кузова машины. Она тут же тронулась: видно, шофер спешил в гараж, спешил к сковородке с консервами и каменному сну до следующей ездки.

Баклаков втянул ноздрями дымный, пахнущий морем, железом и каменным углем воздух. Отсюда Поселок виделся весь: грязно-розовые, грязно-белые и желтые дома, с обшарпанными ветрами и дождями стенами, между домами «короба». Теплоцентрали здесь нельзя было спрятать в землю, и их прокладывали сверху, засыпали опилками, обшивали тесом — получались «короба», как поднятые над землей дощатые тротуары.

Баклаков вышел на морской берег. На гальке лежали высохшие ленты морской капусты. Пролетела измазанная в мазуте чайка. В порту визжал металл, ухало.

Были слышны отрывистые сигналы буксиров. Навигация!

Два бича, один в полушубке и морской фуражке, второй в пиджачке и пыжиковой шапке, скрывшись от ветра за мертвой баржей, возились с бутылкой. Пыжиковая шапка приглашающе помахала Баклакову. Знакомое что-то лицо.

— Да что вы, ребята! — сказал Баклаков. — Мне еще рано.

Идти ему, в сущности, было некуда. Вещи, дерматиновый чемодан молодого специалиста, лежали в кладовке у завхоза управления Рубинчика — невеселого человека, состоявшего из носа, ушей и печали. В управление сейчас все равно не пустят — правила охраны соблюдались в «Северстрое» неукоснительно. Баклаков шел к «бараку-на-косе», хотя знал, что барак наверняка занят. Но свободная койка может найтись.

Он шел по коробу, чувствуя, как прогибаются доски, и вдруг тундра, и лето, и все, что было связано с ними, отодвинулись, и Сергею Баклакову захотелось хорошего костюма, бритвы, бани, выпивки, еды, громкой музыки, душевного и шумного разговора. Он втянул ноздрями воздух Поселка и быстрее зашагал к бараку, который нелепо маячил в тумане.

Баклаков обогнул барак и дернул дверь на себя. Вошел. Дверь наподдала по рюкзаку, и Баклаков вылетел на середину, чуть не врезавшись в железную печь. Забыл, что сам же привинчивал автомобильную рессору.

У печки на табуретке сидел скуластый парняга в телогрейке, наброшенной на тело. Баклаков огляделся и тихо присвистнул. Койки стояли без проходов, вплотную одна к другой. Под байковыми одеялами храпели, стонали и вздыхали во сне мужчины.

— Ангелы ночи, — сказал парняга. — А ты зачем впорхнул?

— Жил здесь зимой. Хотел до утра перебиться.

— Возляг на мою. Я сегодня дежурный.

— Сергей! — Баклаков протянул руку.

— Валентин! Садись. — Парень придвинул Баклакову табуретку, а сам сел на корточки возле печки.

— Ну ее к лешему. Еще насижусь за зиму. — Баклаков тоже пристроился на корточках. Они помолчали.

— Не могу вспомнить, какой день, — сказал Баклаков. — В баню бы неплохо сходить.

— Хойте вир хабен зоннтаг, — сказал Валентин. —

Баня, как ей положено быть, на ремонте. «Сахалин» на разгрузке. Последняя из коробок. Сходи в душ.

— Пропуска в порт нет.

— Скажи, для гигиены личности. Сообщи, что Валентин Григорьевич Карзубин разрешил. Это я.

— Порядок, — согласился Сергей. — В магазин заглянуть?

— Загляни. Все равно до утра дежурить.

— А там что-нибудь есть?

— Радость Вакха! Сухой закон в этом году отменен.

— Пойду.

— Перемещайся. Я тут соображу. Тушенка есть, лук есть, сковородку имеем. Кардинально!

— Иди ты к... — вдруг заорал кто-то на дальней койке.

— Во дает! — усмехнулся Валька. — Часов тридцать вкалывали. Спят как мертвые. Монтаньяры!

— А ты?

Тот молча освободил из-под телогрейки замотанную бинтом левую руку.

— Полпальца в море выбросил. Из-за незнакомства с системой тросов. Я с прииска командированный на разгрузку. Как и все в этом бараке. Удел!

Баклаков нашел в рюкзаке шерстяной тренировочный костюм, кеды, тельняшку, чистое полотенце, свернул в клубок.

— Возьми в головах полушубок, — сказал от печки Валентин. — Тут хоть и южный берег, но другого моря.

...Затянутый ремнями охранник вышагнул навстречу Баклакову из проходной.

— На «Сахалин», помыться. Валентин Григорьевич мне разрешил, — сказал Баклаков.

— Проходи, — помедлив, мотнул головой охранник. Видимо, соображал, кто же такой Валентин Григорьевич.

В порту было затишье. По железному трапу он взбежал на борт «Сахалина». Палубу заливал свет прожектора. Несколько человек в белых брезентовых робах возились с сеткой, спущенной со стрелы. Прислонившись к надстройке, стоял морячок в кожаной куртке на меху и фуражке с крабом.

— Где душ? — спросил Баклаков.

Моряк оглядел его и неопределенно кивнул лакированным козырьком.

— Чудеса! Бичи гигиену блюдут, — насмешливо сказал он.

Сергей вошел в низкую дверь и по металлическим переходам добрался до душа.

Сапоги, брезентовку и драные брюки он выбросил за борт. Не чувствуя тела, летящим шагом он направился к магазину. Прекрасно, когда ты торчишь в своей точке планеты, свой среди своих.

Продавщица, Вера Андреевна, узнала его.

— С возвращением, Сережа. Какой ты красивый, когда с бородой.

Он взял три бутылки «Двина» и только тут вспомнил, что деньги в брезентухе, которую он выкинул за борт.

— Завтра принесешь, Сережа. Отдыхай.

...Они открыли консервные банки, вывалили на раскаленную сковородку, засыпали грудой лук.

— Из снабженцев? — помешивая на сковородке, спросил Валентин.

— Похож?

— Не похож. Но говоришь, что коньяк получил в кредит.

— Из геологического управления.

— Техник?

— Инженер.

— Престижно! Тогда сейчас выпьем по капле, и я тебя подстригу. Не похож ты на инженера. А бороду сбрей. На бича ты похож.

— Точно, — разливая по кружкам коньяк, согласился Баклаков. — А ты кто?

— Пролетарий. Родом из хулиганского предместья столицы — Малаховки, — Валька показал в улыбке нескладные зубы.

Они выпили, и Карзубин ловко подстриг его одной рукой. Потом они еще выпили, и Баклаков побрился. В обломок зеркала на него смотрел двухцветный человек: темная от загара верхняя часть лица и светлая нижняя.

— Теперь можно и говорить, — снова наливая кружки, сказал Валентин. — Не люблю, когда за растительностью прячутся. Начинаю подозревать. Лорелея! Если ты инженер, то почему тут зиму торчал?

— Не знаю, — сказал Баклаков.

Коньяк янтарно отсвечивал в грязных кружках. «А иди ты...» — кричал свою фразу беспокойный малый в углу. На Сергея нахлынули воспоминания. Вон там, у окна, которое он самолично заколотил оленьей шкурой,

была его койка. Рядом койка Жоры Апрятина, ковбойского человека, клавшего пистолет под подушку. На этой стенке висели японские красотки Доктора Гурина. А та сплошь избита дробью и пулями, потому что пробовать оружие, купленное или полученное в спецчасти, было принято прямо в бараке. Весной стоял грохот и висели клубы порохового дыма. А у той стенки спьяну затеяли игру в «ку-ку». На счастье, пришел трезвый Салахов, отнял дробовики, расшвырял по койкам. И остальные вылезли из-под кроватей, потому что «ку-ку» — игра идиотов с завязанными глазами. Завязывают глаза двум идиотам, дают в руки дробовики, по одному патрону и разводят по разным углам. Найди себе место, крикни «ку-ку» и жди выстрела навскидку. Потом твой черед стрелять или спешить в больницу.

— Я вообще-то электросварщик. И газорезчик тоже. Ремеслуха. Думаю после навигации здесь остаться. На прииске мне работы нет. У меня отношение к огню и металлу. Либо работать, либо его вовсе не видать. А на прииске ни так и ни эдак. Относительно!

— Правильно, — согласился Сергей. — Всегда надо так или эдак. Поэтому отомкнем вторую?

Баклаков долго спал и просыпался тоже долго, не единым вскидыванием души и тела, как это происходило в тундре. Сквозь сон он слышал чей-то голос и короткие ответы Валентина. Когда он открыл глаза, прежде всего увидел наглого кота Федосея, известного также как «Комендант порта». Федосей сидел на соседней койке и презрительно разглядывал Баклакова суженными глазами. «Однако... вчера», — подумал Баклаков.

Он сел на койке. У печки маялся серый от бессонницы Валентин, качавший больную руку, и стоял квадратный, как шкаф, парень. У парня была смуглая шея и кудрявые, из кольца в кольцо, белокурые волосы, как будто он только что вырвался из-под щипцов безумного парикмахера. Ежась от холода, Баклаков подошел к печке.

— Он спросонок съел твой коньяк и почему-то решил, что он вовсе не грузчик, — кивнул на парня Валентин. — Объявил забастовку докеров.

Парень улыбнулся Сергею: «Ну выпил коньяк, ну что, не жлоб же ты?»

— Меня все это не колышет, — сказал он.

— Болит? — спросил Баклаков.

— Ноет, сволочь. Муций Сцевола!

— Выпей. Полегчает, уснешь.

— Не-е. Тут у меня точка. По утрам не пью.

— Я схожу. Это меня не колышет, — сказал парень. — Просплюсь и выйду в ночную.

— Иди, иди, — сказал Валентин. — А то у тебя уши злые.

В бараке стоял густой запах резиновых сапог, пота, шлака, человеческого тела, табака, спирта, консервов — всего, чем пахли утром бараки «Северстроя», где жил народ грубого физического труда.

Сергей надел на голое тело полушубок и вышел на улицу. Свет ударил в глаза. Пахло морем, соляркой и каменным углем. Он прикрыл на мгновение глаза, и вдруг ему послышался другой, травяной и лесной запах его разъезда и как утром он шел по знобящей босые ноги росе, вкус молока на губах и невнятная тоска по дальним местам, которая не оставляла его никогда.

Баклаков прошел к морю, скинул полушубок, снял трусы и голышом бросился в воду. Вода обожгла. Он доплыл до ближайшей льдины, оттолкнулся от скользкого бока и бешено замахал на берег. Накинув полушубок, он пробежал к бараку и возле стены растерся полотенцем. Все! Жизнь хороша и, как всегда, удивительна. Ледяные ванны сдвигают психику в нужную сторону. Жизнь меня не колышет. Слаба.

В бараке Валентин сидел у остывшей печки, качал руку.

— Балуешься водными процедурами? Блюдешь? В инженере все должно быть прекрасно. Душа, одежда и тело, — усмехнулся он.

— Какие планы на жизнь? — спросил Баклаков.

— В мехмастерские устроюсь после разгрузки. По металлу я все могу.

— Не желаешь весной в партию?

— Доживем до весны. Свидимся.

— Если будешь в Поселке, то свидимся.

— Ночлег не найдешь, приходи. Хронометрия!

— Договорились.

Все в том же тренировочном костюме, кедах Баклаков пошел в управление. Навстречу ему по коробу шел милиционер Сайфуллин, похожий на согбенную мачту. Кличка Сайфуллина была «Жакон есть жакон». Он прославился справедливостью и еще тем, что посадил на пятнадцать суток собственную жену. «Жакон есть жакон».

Сайфуллин подозрительно вгляделся в Баклакова, узнал и скупо улыбнулся.

Дверь Рубинчика от входа направо. Он толкнул ее. В клубах табачного дыма здесь сидели вдоль стен на корточках упитанные мужики в неизменных кожаных пальто, сапогах на «молниях» и пыжиковых шапках. Снабженцы, свои и чужие, в неизменной снабженческой униформе. Сам Рубинчик, как всегда, был за дощатым столом и был печален не более и не менее, чем всегда.

— Привет, курцы, — сказал Баклаков. Снабженцы не обратили на него внимания. Они лучше всех знали иерархию «Северстроя». Для них Баклаков был никем. Ни бывшим, ни будущим. Они внимали реальности — рассказу коллеги.

— Здравствуй, — печально ответил Рубинчик. — Садись. Ты что, с тренировки? Готовишься к олимпиаде?

— А я ему, гаду, объясняю так: ты мне две машины, я тебе — бортовую для ДТ-54. И коньяк при этом твой. А он, гад, мне отвечает... — излагал налитый пурпурной кровью снабженец.

— Что дела? — ответил Баклаков. — Давай чемодан. Поселяй где-либо.

— А где ж, ты думаешь, я тебя поселю? Я лишь знаю, где поселю тебя через неделю.

— Через неделю что?

— Двадцать пятый барак знаешь?

— Который на берегу? За энергостанцией?

— Ну! — печально согласился Рубинчик.

— Там же конюшня.

— Конюшня там была раньше. Весной жили... элементы. В каждый вечер драка. В каждое воскресенье — труп или два. Летом мы его у элементов забрали и превратили в жилье. Еще не совсем готово.

— А что не готово?

— Цемент с пола не убран. Стекла не вымыты. Мы комнаты на двоих и четверых там нарезали. Перегородки из фанеры под масляной краской. Фанера двойная, краска салатного цвета. Для радости глаз. Личное указание Фурдецкого по культуре быта.

— Давай направление.

— Не имею права. Объект не принят начальством.

— А на улицу его гнать имеешь право? — мимоходом вмешался пурпурный снабженец. — Поехали ко мне на прииск, инженер. Жилье дам. Оклад дам. Бабу выпишешь. Небось голые снятся?

Сергей топал через Поселок с пружинной кроватью на спине. Рюкзак, чемодан и матрас ему положили сверху. Рядом с подушкой и бельем под мышкой прихрамывал Рубинчик.

— И что мы имеем за все эти хлопоты? За эти хлопоты мы имеем приличный быт неженатых работников. В комнате на двоих можно думать, а в бараке на семьдесят коек, где по углам снег, в середине бутылки, думать нельзя. Я правильно говорю?

— Правильно, — согласился Сергей, подкидывая на спине койку. — Машину не мог достать?

— Вы, Сережа, сегодня родились на свет? Вы не знаете, что в навигацию машин не бывает?

Коридор барака был усыпан цементом, залит известкой и завален обрезками досок. Рубинчик открыл крайнюю от входа комнату. Краска высохла, по полу толстым слоем лежала известка. Сергей нашел лопату с обломанной ручкой и выскреб грязь. Потом подобрал на свалке ведро, джутовый мешок и вымыл морской водой пол. Море было в пятнадцати метрах, и это ему нравилось. Можно будет купаться по утрам, а зимой поддерживать прорубь. Будет нормальная психика, когда жизнь не колышет.

Он прополоскал тряпку и положил на пол у входа. Собрал кровать, застелил. С рюкзаком сбегал в Поселок, купил электроплитку, банку консервированных персиков, чай, сахар, алюминиевую сковородку и большой кусок оленины. У него есть дом.

Баклаков финкой открыл банку, стараясь, чтобы края были ровными. Сок выпил, а персики выбросил у крыльца — они осточертели за лето, и ему требовалась банка — привычка заваривать чай только так, чтобы припахивало железом. Когда он вытряхивал компот, из-за угла вышла девушка и направилась к крыльцу. Она шла, засунув руки в карманы кожаной куртки, походка была не поселковая. В Поселке ходили тяжело и прямо, так как ноги привыкали к громоздкой обуви. Она шла легче и неувереннее. Желтого цвета «конский хвост» падал на черную кожу куртки, очень худое лицо, очень яркие губы и в пугающей мертвенно-синей краске веки. Он нагнул голову, соображал: «кто, к кому, зачем в этот дом?» — и принялся тщательно очищать банку. Девушка прошла в дом и где-то исчезла, может, у строителей, может, вышла в другой выход в конце коридора.

Баклаков заварил чай, выпил кружку и переоделся.

Чувствуя себя красивым и легким, снова направился в управление. Отмечаться, представляться, рапортовать. В отделе кадров правил Борода, или Богода, как все говорили, потому что отдел кадров картавил. Топограф, их сверстник, два года назад потерял ноги в зимней экспедиции и вот сел за стол канцелярии. Богоду все любили за положительность жизни.

— Могда с тгяпок, — весело произнес он любимое ругательство.

— Клизма без механизма, — прочувственно ответил Баклаков и пожал крепкие пальцы Богоды.

— С возвращением, Сережа.

— Отметь прибытие. Рапортую.

— Когда?

— Вчера ночью.

— Запишу сегодня. Значит, будет завтра, послезавтра и еще после.

— Идет!

По неписаному закону «Северстроя» геологу, вернувшемуся с поля, полагалось три вольных дня «на баню». По тому же неписаному закону на четвертый день полагалось прийти в управление ровно в девять утра побритым, прилично одетым и совершенно трезвым.

Он пожал еще раз сильные пальцы Богоды и вышел в коридор. Предстояло три пустых дня, так как никто еще не приехал. Монголов зачем-то застрял на «Западном». Впрочем, Монголов и нашел ту россыпь касситерита, где сейчас «Западный».

Выйдя из управления, Баклаков остановился у черепа быка-примигениуса. Его всегда тянуло к нему. Череп был найден на равнинном острове, нафаршированном костями мамонтов и прочих крупных зверей. Позапрошлый год Семен Копков, делавший рекогносцировочную съемку острова, нашел в свежеобвалившемся береговом обрыве целый, заросший шерстью бок мамонта. Волосы у мамонта были длинные, рыжие, под ними — эдакий пух. Копкову пришла идея — связать единственный в мире свитер из мамонтовой шерсти. Два дня ножом и ногтями он драл ее, надрал, наверное, пуд и отмыл в морской воде. Рации Копков не имел, и Академия наук про того мамонта не узнала, потому что осенние штормы начисто слизнули торфяной обрыв.

...В бараке Сергей стянул рубашку, галстук, надел привычный полевой свитерок. Выйдя в коридор, он вдруг увидел под дверью в противоположном конце барака по-

лоску света. Барак был захламлен, необжит, темен и длинен, тени бессмысленных жизней еще мотались в нем. Полоска света озадачила Баклакова. Он постучал в дверь.

— Да! — резко сказал женский голос.

Он открыл дверь и увидел жилую комнату, на кровати сидела та, в кожаной курточке, с «конским хвостом». Она сидела, поджав ноги, забившись в угол кровати. В комнате было очень жарко — горели две плитки. И очень накурено.

— В чем дело, что нужно? — все так же резко спросила она. Чрезмерная раскраска лица при свете стоваттной лампочки выглядела страшновато.

— Ну... так как мы единственные жильцы этого дома...

— Это вы утром компот выбрасывали?

— Я.

— Идиотизм какой. Я весь день компота хочу.

— Магазин-то еще открыт.

— Не хочу я принимать компот от всякого.

— Я как лучше хочу. Нет, так не надо.

— Вы кто?

— Геолог. Коренной житель этого дома с сего дня. Вчера вот только вернулся.

— Ко мне каждый вечер ломятся с коньяком какие-то типы. Я дверь не заперла, потому что рано еще им ломиться.

— Сегодня ломиться не будут. Оборонимся.

Девушка улыбнулась.

— Ладно. Дуйте за компотом. Я здесь случайно. Мою комнату ремонтируют. Я из Ленинграда. Корреспондент окружной газеты. Собкор.

— Журналистка? Или журналист? Как правильно?

— Никак не правильно. Как дура, итальянский долбила. Мечтала, что в Рим попаду. Вот какой Рим оказался... — Она вздохнула.

— Рим никуда не денется. Вечный город, — осторожно сказал Сергей.

— А магазин правда работает? Есть хочу, как бездомная кошка. Или собака. Как бездомная кошкособака, — она снова вздохнула и засунула ноги под толстое оранжевое одеяло.

— Сейчас все будет. Зовут-то вас как?

— Зовут-то! — передразнила она. — Вятский ли, костромской ли?

— Вы что, совсем ничего не ели?

— У вас тут кафе, столовые, рестораны на каждом углу. Коньяком, что ли, одним люди живут? Хорошо, что мама одеяло прислала. Его у нас дома «Сахарой» звали. Только им и жива.

— Здесь вообще можно жить, — все еще переминаясь у входа, сказал Сергей. — Конечно, не Рим...

— У меня интеллекта хватает понять, что это не Рим. Многоуважаемая товарищ Сергушова, вот кто такая я, — она снова вздохнула.

— Сергей Баклаков. Можно просто Сергей. И именно вятский. Сейчас я вернусь.

В магазине была очередь, как всегда бывает перед закрытием. В дверь пулей влетали запыхавшиеся мужчины, спешили к Вере Андреевне.

— Опять за коньяком, Сережа? — сказала она. — Сегодня последний день. Завтра лучше не приходи, не дам.

— Я же с поля.

— Все знаю. И чем это кончается знаю.

— Со мной ничего не будет. Потому что не может быть. Меня жизнь не колышет. Правда!

Вера Андреевна посмотрела на него, поставила на прилавок две бутылки шампанского.

— Компота бы какого хорошего. Там девушка с голоду умирает.

— За компотом приходи хоть десять раз в день, — рассмеялась Вера Андреевна, сходила в кладовку и принесла болгарские банки с земляникой и малиной.

...Он мелко накрошил оленину и шлепнул ее на сковородку. Жарить надо без масла, ни в коем случае не закрывать крышкой и снимать сразу, как оленина побелеет. Сергушова наблюдала за ним, сидя на одеяле «Сахара».

— Ловко как все у вас получается, — сказала она. — А я ничего не умею.

Сергей заметил, что, пока он бегал в магазин, она сняла помаду, краску с глаз и распустила «конский хвост». Ему было легко, свободно, как почти никогда не бывало с женщинами.

— Красочку-то с лица зачем сняли, товарищ Сергушова? — спросил он. — Или...

— А я знаю, когда мне надо быть в красочке, когда без.

— Вот, — склонившись к сковородке, сказал Сергей. — Это называется пастеризованная оленина. У нас

профессия кухонная. В управлении женатиков тридцать человек. В двадцати восьми семьях готовит муж.

— Расскажите лучше про героическое. Случалось ли вам стоять возле кочки или речки и вдохновенно мечтать: здесь будет город!

— Император я, что ли? — рассмеялся Баклаков. — Наш брат в лучшем случае может мечтать: здесь поставят разведку. Три буровых станка, десять палаток. Полсотни ребят.

Баклакову нравилось смотреть, как она с жадностью ест оленину. «Изголодалась, — думал он. — Поселок-то у нас действительно...» Без пугающей краски журналистка выглядела вовсе простой девчонкой. Нос курносый, кожа на лице серая, пористая. На воздухе мало бывает. «Во-он в чем тут дело, — думал Баклаков. — Боится птичка серенькой показаться. Оттого и красочка».

— Уставились-то вы на меня что? — спросила она. — Ну есть хочу. Неудобно разглядывать, когда человек ест.

— Первый раз себя в роли кормильца вижу, — сказал Баклаков. — Приятно так. Когда по-простому, я с людьми себя хорошо чувствую.

...Утром Баклакова разбудил стук в дверь. Поскрипывая протезами, постукивая палочкой, вошел Богода. Простецкое лицо Богоды, рожа кореша, истинного тундровика, было неприступно официальным.

— Ты-ы! — развеселился Баклаков. — Ты что такой напруженный? Орден принес? Или постановление в двадцать четыре часа? Ты-ы!

Богода молча сел на койку.

— Ну-у! — резвился Баклаков. — Не надо меня в двадцать четыре часа. У меня анкета хорошая. Ты знаешь, какой я полезный...

— Могда с тгяпок! — перебил его Богода. — Не буду тянуть кота за хвост. Дегжи!

Он протянул телеграмму. «Отец больнице очень плох наверное скоро умрет Яковлев».

Баклаков долго соображал, кто такой Яковлев и почему он умрет. Потом понял, что Яковлев — это дядя Коля, дежурный по разъезду, как и отец, что умирает не Яковлев, а отец.

— Полетишь? — спросил Богода.

— Да-да. Ты-ы! Что ты!

— Тогда я пошел. Попгобую все быстго офогмить.

Газгешение на вылет, отпуск и все остальное. Учти, лететь будешь дней пять. Такое вгемя.

— Да-да, учту, — сказал Баклаков. Что-то треснуло, возникла какая-то щель. Он думал об отце, как он сейчас лежит в маленькой сельской больнице, и никого нет, друзей у отца не было, и вообще сейчас никого не было, кроме него, Сергея Баклакова, сына Александра Баклакова.

Богода как-то незаметно ушел. И тотчас постучала Сергушова.

— Здравствуй. По-моему, я до сих пор пьяная. Похмелиться не желаете, сударь?

— Нет! Спасибо. Здравствуй, — сказал Баклаков. — Ты-ы!

— Что случилось?

— Ничего!

Она была очень бледна, видно, с нездорового сна, со вчерашних сигарет. Но губы и веки уже накрашены, на голове платочек, и из-за этого платочка, что ли, или из-за впалых щек глаза казались совсем страшными. Она увидела телеграмму и прочла ее. Закурила, женским жестом поправила волосы под платком и сказала:

— Я сейчас пойду в здешнюю редакцию, сяду на телефон. Узнаю все про самолеты, на сегодня и завтра. Добуду тебе машину на аэродром. Что еще надо?

— Узнай, пожалуйста, про самолеты. А машину где ты достанешь? Если вдруг самолет? Навигация. И вообще. Ты-ы!

— Я хоть и не в Риме, но все-таки журналист.

В управлении Баклаков встретил Монголова.

— Зайди, — сказал Монголов и пошел впереди в кабинет их партии. В кабинете с весны разгром: листки кальки, миллиметровки, выброшенные образцы, драная одежда.

— Я тут прибрать не успел, — горько сказал Баклаков.

— Не страшно.

Баклаков хотел сказать об отце. Но Монголов перебил его.

— Знаю. Отцы рано или поздно умирают, Сергей. Как и сыновья. Но работу это не отменяет. Я прошу тебя заехать к Катинскому.

— Зачем?

— Главу «Полезные ископаемые» придется в отчете писать тебе. Я не смогу написать ее объективно. Тебе по-

лезно будет знать точку зрения Катинского. В управлении начались... смутные времена.

— Вы дадите письмо?

— Это все ни к чему. Скажи на словах: или пусть напишет официальный отказ от своей точки зрения на золото Территории. Или наоборот, черт возьми. Короче: пусть прекратит отсиживаться в кустах. Нам необходимо знать твердое мнение горного инженера Катинского о золоте Территории.

Сергушова раздобыла ему бесплатное место во внерейсовом ИЛ-14. Редакционный «газик» привез их прямо к самолету. Моторы были уже расчехлены, вместо трапа железная лесенка.

— Спасибо. Ты хороший товарищ, — сказал Баклаков.

Подкатил автобус, и из него стали выходить молчаливые люди в форме МВД с портфелями.

— Ходит слух, что «Северстрой» скоро отменят, — тихо ответила она.

Лишь в самолете Баклаков задумался над тем, что будет, если «Северстрой» действительно отменят. «Северное строительство» казалось таким же вечным, как Территория. Был первозданный хаос, из глыбей морских поднялись первые камни Территории, и на них уж существовал «Северстрой».

Баклакову пришла мысль, что он опоздал. Времена героических маршрутов прошли. Он напрасно шесть лет готовился к каким-то полярным подвигам. Его нынешняя переправа через Ватап была упражнением туриста, который сам выбирает трудности и сам их преодолевает. Коэффициент полезного действия мал. Два дня он переправлялся, десять дней валялся в яранге Кьяе и десять был в рабочем маршруте. Больше половины времени ушло на бессмысленную героику. Как ни крути, но это по меньшей мере нерациональное использование времени инженера-геолога. И еще глупее то, что их профессия прославлена именно за эту нерациональность: костры, переходы, палатки, бороды, песенки разные. А суть-то профессии вовсе в другом. Не в последней спичке или патроне, а в том, чтобы взглядом проникнуть в глубины земли.

До Москвы он летел четверо суток.

...Баклаков сошел со станции перед разъездом. Скорые поезда на разъезде не останавливались. Со станции можно было или пройти по шпалам восемнадцать километров, или доехать на товарном. Он вышел на пути и посмотрел на ряд товарных составов. Без дежурки не обойтись. В дежурке на станции Баклакова знали по тем временам, когда он приезжал из Москвы в форме геологоразведочного института. В отличной форме с бронзовыми погончиками и буквами МГРИ на них.

Дежурный сидел у селектора спиной к нему. Справа разноцветными лампочками горела схема автоблокировки.

— Диспет-чер! Дай бабу на веч-чер! — говорил дежурный старую, как паровоз Ползунова, шутку. — Принимаю семьсот тридцать первый на девятый путь. Одна тыща полсотни десятому отправление готово...

— С какого пути пойдет? — спросил Баклаков.

— А тебе-то, милок, какое дело? — повернулся к нему дежурный.

— На разъезд надо. Я сын Баклакова.

— Оквадрател ты чой-то, парень. И не узнать. Беги на третий. Даю отправление.

Сергей быстро пошел.

— Не прыгай, — крикнул вслед дежурный, — перед разъездом дам ему желтый свет. Небось маленько-то сбавит.

От вятской речи дежурного у Сергея потеплело на душе.

На площадке товарного вагона он смотрел на знакомый лес, избеганный вдоль и поперек с ружьем или грибной корзинкой. Вот переезд и желтая песчаная дорога в село, куда он бегал в школу. Поезд сбавил ход, и Баклаков спрыгнул в мягкий песок откоса. Прыгать с поезда он умел. Обучился в те времена, когда на восток, на заводы Урала, везли битую военную технику, и он поселялся в каком-нибудь танке или у исковерканной пушки, чтобы открутить понравившуюся железку. У него имелся целый арсенал, вплоть до ручного пулемета Дегтярева, пока отец не побросал все это в реку.

У стрелочной будки маячила знакомая фигура — Алексей Гаврилович, старый бабник. Стрелочник перевел стрелку, посмотрел на него и ушел в будку — не узнал. Баклаков зашел вслед за ним. Пахнуло чаем, самосадом, закрученным в газету, и вагонной смазкой. Стрелочник протянул ему крестьянскую руку и сказал:

— Что долго ехал-то, Сергей Александрович? Два дня как похоронили...

...Он долго сидел в маленькой комнате, в которой прожил пятнадцать лет. Комната была грязной, давно не беленной. На столе запыленные пузырьки с лекарствами. Видно, отец давно болел. Огромная печь занимала половину комнаты, остальную часть — комод и кровать. Он забыл, что они жили в такой бедности. Запаянный таз под рукомойником, баранье одеяло на кровати. В комоде, в нижнем ящике, лежали его железки, открученные от военного имущества, лески, порох и дробь.

Он нашел альбом с фотографиями: отец — бравый телеграфист, мать — учительница, в длинном белом платье, какие-то чеховские времена, давно все это было, даже не верится, что это его родители.

Когда-то Баклаков размышлял на тему: крестьянский он сын или сын служащих. Отец самоучкой из деревни пробился в телеграфисты. Был в армии Брусилова, погибал в Мазурских болотах и первым в армии принял телеграмму об отречении царя. Но когда отца избрали председателем солдатского комитета, он использовал служебное положение, чтобы приложить полковую печать к удостоверениям об увольнении всем, кто хотел, в том числе и себе. И вернулся в деревню крестьянствовать. Из деревни его извлекла мобилизация на восстановление разрушенных железных дорог. Одно время ему предложили заведовать губернской радиостанцией. Отец отказался «из-за болезни», так с усмешкой объяснял он. И прожил жизнь дежурным по станции. При огороде, корове, поросенке, картофельном и ячменном полях. Мать умерла сразу после войны. Та, чеховская гимназистка, осталась только на фотографии. Сколько Баклаков помнил, мать была неотличима от крестьянской женщины. Загорелое морщинистое лицо, искривленные работой и ревматизмом руки, кирзовые сапоги, платок, телогрейка. Она ходила по глухим лесным деревням, ликвидируя безграмотность. В зимние волчьи ночи мать брала с собой «вильцы», двузубые небольшие вилы, которыми разбрасывают на полях навоз. В военные годы казалось, что волки всего мира собрались в вятских лесах. Преподавала в начальных классах, вела приусадебное хозяйство: на зарплату семью было не прокормить. Баклаков вдруг подумал об их полярной гордости, их суперменстве и уверенности, что они соль земли. А ты ходил по лесным деревням в зимние ночи, из ночи в ночь, когда волчьи стаи нагоняли ужас

на всю округу? «Бог мой, бог мой, — с отчаянием думал Баклаков. — Почему я не понимал этого раньше?»

Пришла тетя Ариша, жена стрелочника Алексея Гавриловича.

— Очужел ты чтой-то, Сергей Александрович, — сказала она.

— Нет, тетя Ариша. Я все такой же, — ответил Баклаков.

— Времена-то пошли. Отцы без сыновей умирают, — тетя Ариша всхлипнула, вытерла глаз углом платка и вышла. — Молоко у меня на плите.

Баклаков лесом, чтобы никого не встречать, пошел на кладбище. Кладбище находилось у села, куда он ходил в школу. Лес стоял осенний, желтый и прекрасный. Печаль Баклакова была глухой и глубокой. У него было чувство должника, которому никогда не расплатиться.

Кладбище было также осенним. Это было кладбище древнего и богатого торгового села с множеством каменных памятников. На могиле отца стоял деревянный столбик со звездочкой. Такой же столбик — у матери. Кто-то заодно выкрасил и его...

Андрей Макарович, учитель математики, встретил его со старческой хлопотливостью: загремел чайником, начал накачивать примус. Андрей Макарович постарел очень сильно. В нем укрепилась уютная стариковская согбенность, которой не имел никто в Поселке. И примус здесь шумел по-иному, и иной вкус чая, без горечи и острого железного привкуса. Баклаков видел в окно березу, с которой покорно падали листья.

— Ты, Сережа, сейчас героически работаешь в Арктике, летаешь на самолетах и открываешь месторождения. Не тянет домой? Я помню, ты же был страшный охотник. В леса не тянет? Твоя родина здесь. Или сейчас у вас везде родина?

— Зря вы насчет героики. Это не героика, а несправедливость. Работа наша легче работы любого колхозника. Денег мы получаем в несколько раз больше. Я за месяц получаю столько, сколько мать получала за полгода. Справедливо? Еще вдобавок про нас песни поют, книжки пишут, по радио говорят. А насчет родины, так вы поставьте меня какой-нибудь латиноамериканской страной заведовать — я все равно вятским останусь. От этого не уйти.

— А зачем уходить-то, Сережа? Стыдиться тебе нечего. Москва и то на вятской земле стоит. Только я не

понял: ты профессией своей не гордишься? Я школьникам объясняю: вот за этой партой сидел Баклаков Сережа, ныне полярный геолог. Покоритель льдов, так сказать.

— Этого я и стыжусь. Незаслуженной чести. Я ни черта не сделал еще. Но уже «полярный геолог». Звучит?

— Ты об этом не думай. Ты лучше помни, что я говорил и буду говорить ученикам про полярного геолога Баклакова. Родители твои были незаметные люди. Как все. Таким, как они и я, памятники не ставят. Вот ты и будешь нам живым памятником.

— А если не получится памятник?

— Живи честно. Получится из твоих детей. Это великая, главная линия в жизни, Сережа. Не нравится мне, как ты говоришь о работе. Гордыня в тебе появилась. Или ошибаюсь?

— Мы все там гордыней живем. Такая обстановка. Мы там все исключительные.

— Если почувствуешь плохо, возвращайся, Сережа. Здесь вашу фамилию помнят, упасть не дадут. И избави бог начать пить. От гордыни многие пьют.

— Для возвращения нет причин, Андрей Макарович. Я ведь вятский, а значит, упрямый.

...Когда он вернулся домой через вечерний шуршащий осенний лес, все в комнате оказалось прибрано, печь истоплена, на столе стояло молоко, тарелка с огурцами. Пришла тетя Ариша, принесла горшок с вареной картошкой. Она снова всхлипнула, вспомнив, видно, про отцов, которые умирают без сыновей, выправилась и сказала:

— Чего-то с вами города делают, не пойму. Будто не русские вы становитесь. Летось гостила у Николая Светка, двоюродная племянница. Прямо присохла ко мне. Говорю — удивляется. Корову дою — удивляется. Поросенок морду в корыто сунет — ей смешно. Иконы у меня увидала (я от бога-то, ты знаешь, не отказалась), какая, говорит, прелесть. Пре-е-елесть! — ехидно протянула тетя Ариша. — Будто монголка или немка какая. Про иконы-то! Пре-е-е-лесть...

— Ерунда это все, тетя Ариша. Это она так. Несерьезно, — сказал Баклаков.

Пришел Алексей Гаврилыч, принес бутылку водки.

— Давай, Александрович, помянем усопшего, — торжественно сказал он.

Тетя Ариша ушла.

— Не могу, — сказал Баклаков. — Меня отец от выпивки очень сильно оберегал.

— А я выпью, — Алексей Гаврилыч налил полный стакан. — Царство небесное Александру Михалычу. Земля пухом. Мужик был серьезный.

Выпив, Алексей Гаврилыч сразу же закричал:

— Ты думаешь, мы, вятские, што? Из лыка выплетены, как лапти? Не-ет! Из вятских сколько известных людей вышло? Сергей Миронович Киров, то будет раз... Счас насчитаю, погодь. Ты там в своих северных стратосферах гордо себя веди.

— Я гордо себя веду, — кротко сказал Баклаков.

...Ночью он не мог заснуть. Мать — гимназистка в белом платье, отец — бравый унтер-офицер с закрученными усами и штыком на поясе, в результате получается полярный геолог Сергей Баклаков. Забравшись под баранье одеяло, он вдруг с неопровержимой ясностью понял, что отныне на содержании и в заботах Сергея Баклакова остался один Сергей Баклаков. И единственное, что у него есть, — это комната на берегу Ледовитого океана, дерматиновый чемодан молодого специалиста и трудовая книжка с тремя благодарностями по числу полевых сезонов. Сергей Баклаков встал, умылся, завернул в старую газету альбом с фотографиями и пошел будить сонную тетю Аришу. Он сказал ей, чтобы взяли из вещей, что понадобится. Остальное сожгли. Пешком он пошел на станцию, где останавливались пассажирские поезда. Он шел длинной сельской дорогой через лес и поля. Баклаков знал, что вряд ли вернется сюда, но эти молчаливые ночные сосны, облетевшие березняки, сумрак сжатых полей навсегда останутся с ним, и где бы он ни был, чем бы ни занимался в жизни, за спиной его всегда есть вятская земля и могилы предков на ней.

В Москве Баклаков сразу купил билет на самолет до Ташкента, чтобы выполнить поручение Монголова и вернуться на Территорию. Времени до самолета оставалось много, и он долго ходил по улицам. Он отвык ходить сквозь толпу, и его толкали.

В витрине на улице Горького Баклаков увидел себя: в длинном мятом пальто, с взлохмаченной головой, в стоптанных туфлях. Баклаков вспомнил северстроевский способ одеваться, сел в такси и попросил отвезти в «большой универмаг не в центре». Старая одежда кладется в ближайший мусорный ящик.

Из универмага он вышел настоящим пижоном: все

подогнано, ушито, подобрано в тон. Даже шикарный портфель дали для старой одежды.

Все равно оставалось много времени до самолета. На том же такси Баклаков поехал в аэропорт. Решил без спешки поужинать. «Без спешки поужинать! Слова-то какие. Как будто эти слова выдают вместе с шикарными портфелями желтого цвета», — думал он в тоске...

...В Ташкенте в геологическом управлении Баклакову сказали, что Катинский находится в экспедиции. База экспедиции в Хиве.

...На рассвете поезд долго стоял в Самарканде. Баклаков вышел на перрон. Перрон пах не железной дорогой, а дынями. Мужчины в ватных халатах с большими полосатыми мешками садились в поезд. У них были черные от загара лица и худые тела. Баклаков увидел, что к его вагону, сгибаясь от тяжести вьючного ящика, идет женщина. Дальше на перроне лежала груда знакомого экспедиционного барахла: рюкзаки, тюки, тубусы, тренога теодолита. Баклаков побежал на помощь и быстро перетаскал груз в свое купе. Женщина походила на обожженного солнцем кузнечика. Она беспрерывно курила. Археолог из экспедиции, которая ведет работу около Самарканда. Теперь она ехала в Куня-Ургенч, древнюю столицу Хорезма, чтобы охватить раскопками как можно больший район. Знакомые заботы: мало средств, трудно нанять рабочих, не хватает снаряжения, и так далее. Узнав, что Баклаков едет в Хиву, она глубоко затянулась папиросой, глянула на него коричневым козьим глазом:

— Хотите совет?

— Давайте.

— В Хиве есть мавзолей Пахлаван-Махмуда. Вам обязательно надо в нем побывать. Обязательно.

— Почему же именно мне и обязательно? — усмехнулся Баклаков.

— Я людей угадываю по лицам. У вас неплохое лицо. Быстрого успеха вы ни в чем не добьетесь. Внешность неподходящая, и таланта не видно. Но есть в вас какое-то внутреннее упрямство. Оно и не даст вам прожить нормальную среднюю жизнь. Вы кто?

— Геолог. Работаю на севере. А мавзолей все-таки тут при чем?

— Вам просто надо сесть и смотреть на купол. Если он вам не поможет, не объяснит что-то, человек вы пропащий, и я просто ошиблась. Сделаете?

— Я на один день. Требуется повидать человека и возвращаться.

— Перебьетесь, — равнодушно сказала она. — Один день, три дня...

— Проверим, — недоверчиво усмехнулся Баклаков и попытался поймать ее взгляд за круглыми учительскими очками. На миг это получилось, и он увидел и неудачную личную жизнь, и работу, которую, как и геологию, не бросают, и загнанную вглубь бабью тоску. Больше они не разговаривали. Молчали и смотрели в оконную темень.

Когда он сходил с поезда в Ургенче, она сказала:

— В гостиницу в Хиве не ходите. Там есть турбаза, бывший ханский гарем. Во дворе отличная библиотека.

Бритоголовый шофер, поджидавший на станции Ургенч «левых» пассажиров, взял его в кабину грузовика. Они промчались мимо хлопковых полей, потом уже в Хиве долго кружили по узким улочкам, зажатым глиняными заборами, пока где-то на окраине не обнаружили написанную на фанере вывеску экспедиции. Во дворе стояли запыленные грузовики, на кошме в тени спал человек в замасленной майке и длинных трусах. Баклаков разбудил его.

У человека оказалось заросшее щетиной лицо, и из щетины смотрели нестерпимо голубые припухшие глазки.

— В пустыне все, так-перетак, — сказал он. Голос был сиплый, как будто горло заросло пылью.

— А Катинский?

— Тоже там, так-перетак. Я шоферю, мое дело баранка.

— Когда вернутся?

— Мое дело баранка. Но через неделю должны быть. А там кто его знает. Пустыня — пустыня и есть, так-перетак. Завтра воду к ним повезу. Хочешь, садись.

— Подожди, — сказал Баклаков. — Я на турбазе буду. Катинскому скажите, что с севера к нему человек приехал.

— Если с севера, то не забуду. Хорошо у вас там, наверное, прохладно.

Шофер снова лег на кошму, закрыл глаза и мгновенно уснул.

Над Хивой висело горячее солнце. Пыль золотила

воздух. Из уличных репродукторов разносились азиатские мелодии. В них была ярость и скорбь.

Баклаков прошел мимо глиняной стены, огораживающей старый город Ичан-Кала. Стена выветрилась и местами напоминала четвертичные отложения реки Ватап. Сонные улицы города оживляли лишь ослики и дети. Баклаков разыскал бывший ханский гарем. Турбаза и в самом деле была пуста. Во дворе лениво брызгал фонтанчик. Поскрипывали сами по себе веранды, нависающие над двором. Угловую веранду затеняло кряжистое дерево с длинными блестящими листьями. «Под этой смоковницей и буду жить», — решил Баклаков.

— Иды сюда, — сказал голос. Баклаков увидел в черном дверном проеме человека. Человек был толстый, усталый, и он лениво манил Баклакова пальцем.

— Жить будешь?

— Буду.

— Иды за мной.

Он провел Баклакова в кладовку. В кладовке валялись цветные ватные одеяла, раскладушки, примусы, чайники.

— Беры! — с восточной щедростью сказал человек и закрыл глаза, демонстрируя высшую степень доверия. Баклаков взял раскладушку, два одеяла, примус, чайник, подумал и прихватил еще одеял, чтобы завесить часть веранды, не затененную деревом.

— Уезжать будешь, деньги отдашь, — сказал человек и запер кладовку.

Баклаков завесил веранду, поставил раскладушку, лег, и вдруг три года тяжелой работы, три года, сжатые, как пружина, отпустили его. Он лежал расслабленный и ни о чем не думал. Во дворе вдруг захрипел, высоким голосом запел репродуктор. Наверное, певец пел о какой-нибудь чепухе — о девушке, соловье и розе, но, казалось, что в голосе его объединилась боль поколений. «Веселый город Хива», — подумал Баклаков и заснул.

Его разбудил свет солнца, пробивающегося сквозь ветви смоковницы.

Баклаков прошел каменными прохладными переходами на рынок. Рынок был завален дынями и луком. Он купил лука, помидоров и увидел в стороне дымящийся котел. В котле кипело хлопковое масло, и повар в грязном халате длинным дырчатым черпаком забрасывал туда рыбу. Тем же черпаком он зацепил порцию Баклако-

ву. Баклаков уселся на корточки у рыночного забора, на газетке разложил рыбу, лук и почувствовал себя своим человеком в Средней Азии. Такова была система ценностей, которую им старательно разъясняли в геологоразведочном институте: в любом месте чувствовать себя, точно дома. А для этого надо вести себя так, точно ты один из *своих*. Нет худшего падения, чем пытаться себя возвысить, выделить. Если тебе суждено быть вознесенным, тебя вознесут другие. Друзья, коллеги выберут тебя лидером. Но если ты попытаешься взять лидерство сам, без заслуженного права на это, ты уже вычеркнут из списков *своих*. А большего позора и быть не может. Закон стаи, касты или еще там чего. Не важно. Все они верили и до сих пор верят в этот закон.

На турбазе жили еще две каракалпачки. Студентки хлопководческого техникума, которые проходили здесь практику. Баклаков познакомился с ними у фонтанчика во дворе. Одну звали Сония — она была маленькая, некрасивая и застенчивая. Вторая — Суюмбике, длинноногая, еще по-девчоночьи голенастая и угловатая, просто пугала красотой, которая была заложена в ней, как взрывчатка, и шнур уже дымил последние сантиметры.

Вечером Баклаков набрался мужества, прошел по скрипящим доскам в другое крыло гарема, постучался и, просунув голову в прохладную комнату, сказал: «Соньки! Пойдем в кино». Они согласились с обезоруживающим дружелюбием и доверчивостью. В летнем кинотеатре среди тополей и площадок репродукторы орали чуть не с каждого дерева, и кино можно было только смотреть.

Баклаков сидел посредине, и оттого, что девчонки, озябнув, прижимались к нему, ему хотелось быть добрым, сильным и всегда оставаться таким. Иногда, забыв про кино, он искоса смотрел на непостижимой точности профиль Суюмбике, на длинную, уже по-женски округлившуюся шею и вздрагивал от грядущей красоты этой девушки. Она медленно поворачивала лицо, и они встречались взглядом.

После кино он проводил девчонок до их комнаты и ушел в Ичан-Кала, «внутренний город» Хивы. Колючие, как на детских рисунках, звезды висели в темном небе, минареты уходили ввысь, как грозящие пальцы, каменные порталы медресе отливали внутренним светом. Стояла непостижимая тишина, лишь его каблуки гулко стучали по древним плитам. Баклаков кожей ощущал муд-

рое и равнодушное течение веков. Здесь жили поэты, математики, убийцы, ремесленники, палачи, философы, растлители малолетних, строители минаретов, у которых знания и интуитивный расчет граничили с невозможным. Он прошел к мавзолею Пахлаван-Махмуда, профессионального борца, ирригатора и поэта. Во дворике из неплотно закрытого крана с «святым источником» журчала вода. Он сел на обломок холодного камня. Кривая улыбка ползла по его лицу. Баклаков стеснялся самого себя и своих мыслей. «Ты-ы, — сказал он негромко. — Ну-у». Он понял, что женщина-археолог права: он приехал в нужное место в нужное время.

...На другой день они снова были в кино. По дороге из кино под гортанный напев, гремевший над сонной Хивой, Баклаков спросил:

— Суюмбике, когда тебе восемнадцать стукнет, ты замуж за меня пойдешь?

— На будущий год. Пойду! — громко и весело сказала Суюмбике так, чтобы слышала отставшая из-за развязавшегося шнурка Сония. — И поеду куда угодно. Ты добрый и сильный, хотя совсем некрасивый.

Они молча пришли на турбазу. Баклаков снова слонялся в каменной ночной пустоте Ичан-Кала. «Может быть, действительно? А что, если? Может быть, в самом деле так...» — бессвязно бормотал Баклаков. Когда пришло утро, по дороге к рынку протопал первый ишачок с двухколесной повозкой, Баклаков с безжалостным трагизмом сказал: «Ты созрел для любви, Баклаков».

Он ушел на окраину Хивы, где начиналась пустыня. Пустыня была желтой и бескрайней, как тундра. Баклаков лег на песчаный бугор и закрыл глаза. В стебельках травы и в песке посвистывал ветер.

Во дворе гарема его ждал толстячок в тенниске, выцветших хлопчатобумажных брюках и домашних шлепанцах на босу ногу. Баклаков не обратил бы на него внимания, если бы не чрезвычайный загар толстячка — казалось, что загар этот был вдавлен в кожу, точно татуировка.

— Это вы из «Северстроя»?

— Я.

— Наблюдательность для геолога главное, — удовлетворенно вздохнул толстячок.

— Вы от Катинского?

— Я и есть сам Катинский. Узнал — примчался на той же водовозке.

Баклаков смешался. Легендарный Катинский, друг Монголова, никак не вязался в его мыслях с тихим, жирненьким человеком в шлепанцах на босу ногу.

На веранде, выслушав Баклакова, Катинский сказал:

— В этом и есть весь Володя Монголов. Все в мире обязано быть четким и ясным. Олово и золото несовместимы. Есть олово, значит, следует запретить золото. Если «Северстрой» что-либо от меня хочет, пусть обращаются официально.

— Он... по-дружески меня к вам послал, — сказал Баклаков.

— Я тоже просил его в свое время по-дружески. Но для него незыблемость дутых истин оказалась дороже. Он даже задуматься не хотел. Собственно, я не обижаюсь. Он прекрасный начальник партии. Но — глуповат!

— Не надо! — быстро возразил Баклаков. — Я его ученик.

— Вы пока еще ничей ученик, — возразил Катинский. Он посмотрел на Баклакова. Глаза у Катинского были серые, казалось, в них налита какая-то подвижная, блестящая жидкость. Баклаков увидел в них иронию, юмор и твердую веру в человеческий ум.

— Вы пока еще ничей ученик. И будет жаль, если вашим единственным учителем окажется Володя Монголов. От него вы можете перенять лишь чрезмерное чувство долга.

— Что ему передать?

— Свое мнение о золоте Территории я изложил в докладной записке. Пусть обращаются к ней. Если требуются разъяснения, пусть «Северстрой» обратится ко мне уважительно и официально. Без этого я палец о палец не стукну для них.

— Хорошо, — сказал Баклаков.

Катинский встал с раскладушки, поправил шлепанец на ноге и вдруг грустно хмыкнул:

— Глупость какая! Средний геолог может работать до шестидесяти. А начинается он с тридцати. Геологи созревают поздно. Значит, тридцать рабочих лет. Из них половину мы тратим на глупости вроде моей ссоры с «Северным строительством». Получается пятнадцать лет работы за всю жизнь. Судить надо за такие вещи. Личный совет вам: не думайте о том, есть или нет золото Территории. Думайте конкретно о типе ловушки для россыпей. Получится экономия в годы жизни. Удачи!

Катинский не пожал руку Баклакова, ушел, скатил-

ся с лестницы и пересек двор как ртутный подвижный шарик. Странное дело: Баклаков не чувствовал ни обиды, ни жалости к Катинскому. Было легкое изумление.

Он почти бегом направился в мавзолей Пахлаван-Махмуда. У святого источника было несколько женщин с кувшинами. Они быстро ушли. Баклаков прошел внутрь и, когда глаза привыкли к темноте, увидел белую вязь на синем фоне. Линии текли, как вода, но текли они вверх. В стенных нишах стояли похожие на футляры от швейной машинки надгробия ханов, похороненных здесь. Ханы примазывались к посмертной славе простого парня Махмуда, работяги, спортсмена и инженера. В линиях на куполе было какое-то колдовство, они не утомляли глаз, и от них трудно оторваться. «Господи, — сказал Баклаков. — Нет никаких пределов, и нет никаких границ. Идет нормальная вечная жизнь».

Сония и Суюмбике проводили его на автовокзал. Они сказали, что им было хорошо с ним и они будут ему писать часто-часто. Он первый интересный человек, которого они встретили в жизни. Потому что все остальные живут «просто так». Это говорила Сония, а Суюмбике посматривала на Баклакова доверчиво и гордо — еще девчонка, но уже и женщина. Баклаков знал, у него бывали такие моменты безошибочного предчувствия, что девчонки ему пришлют по открытке на Новый год, на этом и кончится переписка. Но они его никогда не забудут, и он тоже будет помнить их всегда. Ему хотелось до конца дней прожить большим, великодушным и добрым. Сония чмокнула его в щеку, а он неловко чмокнул Суюмбике. Щека ее пахла травами. На этом все кончилось, хотя они в самом деле прислали ему новогодние открытки.

16

Куценко мыл до тех пор, пока не иссякла вода в ручье. После этого он сжег «проходнушку», чтобы не оставалось следов, и перешел на лоток. Стояли холодные дни. Все окрестные сопки и верховья реки уже засыпал снег. Вода в заводях замерзла. Он мыл лотком до тех пор, пока лоток не начал леденеть во время работы. Обледеневший лоток не держал грунт, и Куценко перенес к реке примус. Он прекратил работу лишь тогда, когда и примус перестал помогать.

Куценко впервые в жизни выполнял не приказ, а

личную просьбу Чинкова. Поэтому себя не жалел. С Чинковым судьба свела его в послевоенные годы. На фронте Куценко не был: он служил в охране морского порта «Северстроя». После демобилизации остался, чтобы подзаработать на шурфах перед возвращением на разоренную войной Украину. Неизвестно, за что выбрал его Чинков. Может быть, за взгляд, горевший дисциплинированной преданностью, может, за неиспорченную анкету охранника. Чинков дал ему в руки лоток, и к лотку Куценко отнесся с истовой положительностью, как относился к службе в охране, ежедневным политинформациям с их не знающими сомнения формулировками, как раньше относился к своей хате и огороду.

Его звезда взошла, когда он делал контрольный маршрут по ручью Надежда. Ручей этот другие промывальщики объявили пустым, но Чинков исповедовал принцип «доверяя, проверяй многократно». Куценко провозился на ручье вдвое больше положенного и намыл золото: он знал, что, по убеждению Чинкова, золото на Надежде есть. С того времени он стал Климом Алексеевичем. И как раз тогда же оборвались нити, связывающие Куценко с «материком». Он получил письмо, что жена его ведет себя «неправильно». Куценко осмелился и рассказал обо всем Чинкову. Впрочем, в этом был и хитрый мужицкий расчет: начальнику все как на духу. Чинков лично добыл ему пропуск и дал денег. Село на Полтавщине уцелело, цел был и дом Куценко, но он еще дорогой смутно понял, что судьба его — в «Северстрое», где он был именно Клим Алексеевич. Куценко избил жену, устроил загул на все село, обозвал всех дальних и близких родственников бендеровцами. Почтение односельчан к деньгам и вольному, «сильному» поведению лишь больше разжигало Куценко. Он вернулся на неделю раньше назначенного Чинковым срока. Три года Чинков беспощадно тренировал его: заставлял еще до промывки угадывать, есть или нет золото в данном месте. Но Куценко и сам вошел во вкус игры, сросся с лотком, и снились ему отвалы, косы, отмели и сланцевые щетки. Куценко решил для себя: судьба его зависит от судьбы Чинкова. Став знаменитым промывальщиком, Куценко никогда не возражал, не дерзил начальству, не спорил даже с замурзанным техником. Но выполнял он только приказы Чинкова. Он и сам не заметил, как превратился в экспедиционного кадра, который умеет все: сготовить обед из ничего, подстрелить и разделать лося, натянуть

искусно палатку, ходить по двадцать часов в день, разжигать костер в любую погоду, терпеть холод и мороз. Но главное Куценко *чувствовал* речную долину. Он хранил, берег и таил в себе этот дар. В полусонных мечтах он видел себя в должности инженера. А почему нет? Чинков все может.

...Закончив промывку, Куценко с опустевшим рюкзаком пошел к базе Монголова. На базе, как заверил Чинков, его будут ждать двое рабочих. Мелкий снег падал на мертвую долину Правого Эльгая. До базы Монголова было около сорока километров, но Куценко не волновался. Если Илья Николаевич сказал, что будут ждать двое, — значит, его ждут там двое. И еще несколько раз Куценко останавливался, сбрасывал легкий рюкзак и быстро мыл шлих: грубая работа, рассчитанная на самородок. И дважды заледеневшими пальцами вынимал из лотка обкатанные пластинки грамма по полтора. Куценко снова влезал в лямки рюкзака, вешал на шею винчестер и шел дальше, автоматически отмечая заброшенные паводком куски торфа, крупный и мелкий галечник, перекаты, обнажившиеся из-за зимнего иссякания воды.

17

Чинкова видели ночью, когда он ходил по заснеженному берегу моря. Вода была тяжелой, как загустевшая нефть. Вдоль медлительных вод медленно прогуливался Чинков в темном пальто с каракулевым воротником, в каракулевой полковничьей папахе. Дорожка, по которой ходил Чинков, называлась «тропа бичей», и здесь пролегала именно ночная тропа, на которой безмолвно выясняли отношения, мелькали туда-сюда быстрые ночные фигуры. Но так как истинный ночной человек издали чувствует величие, то Чинкову здесь никто не мешал. Лишь однажды в освещенном портовыми прожекторами пространстве на него набежал безвестный малый в телогрейке и кепке, натянутой на уши. Малый глянул на массивную фигуру Будды, зачем-то обежал кругом.

— Вот ведь человек! Встретишь такого и жить хочется, — сказал он из-за спины.

Чинков медленно развернулся, в упор посмотрел на бича и улыбнулся. Но тот, отмахнувшись с комическим ужасом, уже убегал на легких ногах неимущего человека.

На другой день после того, как вернулась партия Жоры Апрятина, его вызвал Чинков. Жора в длинном свитере с широким воротом, в узких брюках более чем всегда походил на школьника.

— Доложите о выполнении моего задания. — Чинков монументально сидел в своем тронном кресле и не смотрел на Апрятина.

— Доклад короток. Ни черта нет, кроме знаков.

— Это не ответ инженера, Апрятин. Составьте мне предварительный отчет на нескольких страницах. Приложите карту шлихового опробования и расположения шурфов. Вы свободны, Апрятин. Срок — неделя.

Сразу же после Апрятина Чинков вызвал начальника отдела кадров. Богода проскрипел протезами через кабинет и остановился у стола.

— Садитесь, — предложил Чинков. — Кто лучший тракторист в управлении?

— Дядя Костя, — сразу же ответил Богода. — Пгостите: Васильчиков Константин Сеггеевич.

— Предупредите Васильчикова, чтобы готовил трактор. Как только трактор будет готов, проведете его к партии Копкова. Весь рейс под вашу ответственность.

— Я инвалид... Но я, газумеется...

— Вы топограф, следовательно, маршрут по карте проложите и не заблудитесь. Вы инвалид, следовательно, обязаны предусмотреть все случайности с трактором. Иначе сорвете вывозку партии и погибнете сами. Вы начальник отдела кадров, следовательно, вам полезно знать, в каких условиях трудятся наши люди. Возражения?

— Нет возгажений, — сказал Богода.

— Васильчиков может водить вездеход?

— Дядя Костя все может. Газгешите его найти?

В мехмастерских дяди Кости не было. Сказали, что дядя Костя вчера вернулся из рейса и, значит, находится в «сучьих кутках». Так звали скопище самодельных домишек, приткнувшихся по окраинам Поселка. В них жили те, кому было некуда и незачем уезжать с Территории. Дядю Костю он нашел у ночной торговки спиртом, которую звали Тряпошная Нога из-за обилия одежд, намотанных на ней в зимнее и летнее время. По неизвестной причине опустившаяся баба была предана дяде Косте сверхпредельной дружбой. Васильчиков Константин Сергеевич был человек с прошлым и без зубов. На вид ему было больше шестидесяти, и мало кто знал, что ему всего сорок пять. Богода это знал. Дядя Костя был

когда-то испытателем танков. Ошибка его жизни состояла в том, что он попал в плен на третий год войны, хотя именно ему нельзя было попадать в плен. Он прошел допросы и концентрационные лагеря. Дядя Костя никого не винил — знал, что не имел права попадать в плен. По земле он ходил неуверенной виноватой походкой и, лишь сев за рычаги, приобретал неутомимость и крепость металла.

Говорить сейчас ему было что-либо бесполезно, и потому Богода наказал Тряпошной Ноге:

— Утгом надо готовить тгактог. Пойдем в дальний гейс. Сам Чинков пгиказал.

— К утру будет здоровый, — обещала Тряпошная Нога и вздохнула.

Утром дядя Костя уже менял траки, сливая масло из бортовых, и по своей привычке разговаривал с трактором: «Хорошая она баба. Если бы не изгиб жизни... Но разве угадаешь, где в ней, в жизни-то, скрытая трещина. Маленько нагрузки и... пополам».

Вечером того же дня на вездеходе Чинков выехал на базу Монголова. Вездеход Чинкова вел дядя Костя. Они шли вначале по участку дороги, соединявшей Поселок с прииском «Западный», затем ушли в сопки и пошли прихотливым зигзагообразным маршрутом по заваленным снегом долинам, сквозь струи поземки на перевалах, сквозь тонкий лед на промерзших реках. За дорогу Будда ни разу не взглянул на карту, видно, что он уже выучил этот маршрут наизусть.

Дядя Костя молча двигал рычаги и даже не смотрел на Чинкова. Если бы он вез какого-нибудь техника или работягу, он был бы, может, веселее и разговорчивее. Но он вез начальство, и гордость не позволяла ему вести разговор, чтобы, не дай бог, не возник некий оттенок подхалимства. На вторые сутки на перевале Столбчатом они попали в пургу. Косо идущий снег закрывал все впереди, и Чинков приказал остановиться. Они стояли всю ночь, Чинков дремал, дядя Костя смотрел перед собой и не спал, так как не верил мотору непривычных ему вездеходов. Утром он все-таки задремал на минуту, а очнувшись, увидел внимательный взгляд Будды. Глаза у дяди Кости были почти ярко-красными. Он полез в кузов вездехода, разжег примус и сварил чифир.

— Будете, начальник? — спросил он.

— Не откажусь, — сказал Будда с усмешкой. Выпил полкружки чифира и спросил: — Что будем делать?

— Что прикажут.

— Попытаемся. Сейчас чуть правее вниз к реке. Далее по долине.

Через пять минут вездеход невесомо провалился в белую мглу. Последовал удар, и все стихло. В кабине стало темно.

— Васильчиков, жив? — спросил Чинков.

— А какого хрена мне будет? — тихо и спокойно ответил тот и тут же зажужжал стартер. Мотор, как ни странно, завелся.

— Газ выхлопной, — сказал Чинков. — Двигай, а то задохнемся.

Вездеход забуксовал, но потом толчками все же пошел вперед, и вдруг они очутились среди яркого света. Дядя Костя остановил вездеход, и они вышли. Перед ними лежал снежно-белый рыхлый откос с темным отверстием вверху, куда провалился вездеход, и такой же пещерой, откуда вездеход вышел. Вдоль реки дул ветер, и на их глазах снег замуровывал пробитые машиной дыры в сугробе.

— Везет, — весело сказал Чинков.

— Везет, — спокойно согласился дядя Костя.

Ночью они прибыли на базу. Чтобы не глушить мотор, посадили дежурить Седого. Дядя Костя залез в его еще теплый мешок и заснул мертвым сном. Утром у палатки увидели два лыжных следа: Чинков и Куценко ушли вверх по реке. Вернулись они к вечеру, оба оживленные. Чинков вынул бутылку спирта, отдал ее Седому, чтобы тот на глаз разделил всем, и, взяв кружку, вдруг блеснул удивительно ясной улыбкой: «Ну, товарищи, за удачу!»

И все: «завязавший» уголовник Седой, дядя Костя «с прошлым», шурфовщик Кефир — вдруг покосились на сиявшего отраженной улыбкой Куценко и поняли, почему он за глаза и в любой обстановке предан главному инженеру. Каждый из них по-разному, но вообще-то одинаково сформулировали про себя мысль о том, что главного инженера подводить не стоит. Кефир, отхлебнув полкружки чистого спирта, пожевал снег и вдруг брякнул:

— Жестко стелишь, начальник. Но жить с тобой можно.

Через неделю после возвращения с Эльгая Чинков вызвал к себе Монголова. Тот появился в оранжевом свитере под пиджаком, сухой, стройный, со спины про-

сто мальчик. Чинков сидел в кресле и вежливо приподнялся, как только Монголов зашел в кабинет:

— У меня есть для вас предложение, Владимир Михайлович, — сказал он.

— У меня также, — с какой-то даже легкостью ответил Монголов.

— Слушаю вас.

— Вот. Просто рапорт. — Монголов вынул из кармана сложенный вчетверо лист бумаги.

— Рапорт, вероятно, адресован начальнику управления Фурдецкому, — наморщился Чинков. — Если не затруднит, расскажите на словах.

— Прошу через месяц разрешить отпуск. Я болен. После отпуска прошу откомандировать меня в распоряжение прииска. С прииском вопрос согласован. Личное обоснование: я оловянщик и должен заниматься касситеритом.

— Этого не будет, Владимир Михайлович. Ни отпуска, ни прииска, — тихо сказал Чинков. — Вы нужны здесь.

— Зачем?

— Я предлагаю вам возглавить разведку на россыпное золото в долине реки Эльгай.

— Это несерьезно, Илья Николаевич, — возразил Монголов. — Люди, деньги. В конце концов само золото. Я не буду участвовать в авантюре.

— А если приказ?

— Впервые в жизни отвечу на приказ медицинской справкой. Не заставляйте меня это делать.

— Днями я улетаю в Москву. Прошу не подавать рапорт до моего возвращения.

— Что это изменит?

— Сердце что-то, — не отвечая, продолжил Чинков. — Вот слетаю, схожу к врачам.

Под окном управления взревел трактор, по коридору раздался топот многих сапог.

— По-моему, вернулась партия Копкова, — сказал Чинков. — Пойдемте глянем на киноварь.

Они спустились вниз. У входа в управление стоял обсыпанный снегом трактор. К нему были прицеплены перекособоченные, затянутые брезентом сани.

Из кабины выскочил Копков в прожженной меховой куртке, без шапки. Он огляделся и запустил руку в черную с проседью шевелюру. Потом помог вылезть Бо-

годе, который из-за протезов не мог спускаться по гусеницам. Вместе с Богодой они обошли затянутые брезентом сани. Копков отвязал веревку и открыл брезент. Из саней неторопливо полезли его кадры, истощенные, с черными от мороза и грязи лицами.

— Счас будем разгружать или после? — спросил Копкова рабочий.

— Разгрузят без нас, — ответил Копков.

Дядя Костя повел трактор к управленческой лаборатории. Все любопытные потянулись туда, всем хотелось посмотреть на копковскую киноварь.

— Ребята, — сказал Копков. — Тут ее меньше тонны. Перетаскайте ее в коридор. Саня, организуй.

— Все сделаю, Сеня, — сказал Саня Седлов сквозь сигарету и крикнул: — А ну, тунеядцы! Поможем полевикам. Отъелись тут в управлении...

Дядя Костя ходил вокруг трактора, вслушивался в подрагивающий рокот мотора, трогал ослабевшие траки.

— Ничего доехали. Я тебе говорил, что доедем. Я боялся, что ты клапана порвешь. Ты ничего, удержался, — говорил трактору дядя Костя.

Копковские кадры цепочкой, точно дисциплинированные привидения, вошли вслед за начальником в управление. Так же вместе они вышли обратно. Правилом Копкова было проводить отгульные дни вместе с рабочими, хотя Копков совершенно не пил.

Ящики с рудой рдели на снегу, как цветы. Чинков быстро выхватил из одного несколько крупных кусков киновари. Монголов наблюдал за ним. Чинков рассматривал киноварь и улыбался. Кончики губ загнулись вверх, и даже ямочки на темных щеках появились.

— Я подожду вашего возвращения, — неожиданно для себя сказал Монголов.

На другой день Чинков вылетел в Москву. Официальным обоснованием поездки было направление на обследование сердца, выданное поселковой поликлиникой. Летел Чинков за свой счет. Предложение Фурдецкого оформить через Город командировку он отклонил. Чинков действительно выглядел плохо. К обычной замкнутости его прибавилась какая-то угрюмость, и он похудел так, что под глазами повисли мешки и одрябли темные щеки. «Как ржавый амбарный замок», — пустил некто по управленческим коридорам.

Генрих Фурдецкий и на минуту не допускал, что

Чинков вылетел из-за сердца. Шла неизвестная и большая игра. Фурдецкого обижало, что Чинков не посвящает его в свои планы. Разве он не доказал свою преданность управлению? Разве не Фурдецкий добыл снаряжение для будущих полевых партий, разве не он прикрыл «барак-на-косе», не он добыл вездеход? И это только начало.

Как назло, через день после отлета Чинкова по радиосвязи его вызвал Робыкин.

— Куда запропастился Чинков? — спросил Робыкин. — Вторые сутки не могу его вызвать на связь. Прием.

Фурдецкий понял, что в Город все же кто-то «стучит». Он решил валять ванечку.

— Полученные вездеходы полностью зарекомендовали себя в условиях полярного бездорожья, — с натренированной бодростью прокричал Фурдецкий. — Полевики говорят вам «спасибо», товарищ Робыкин.

— Где Чинков? Прием.

— Вылетел в больницу из-за плохого состояния сердца. Все полевые партии благополучно вернулись, товарищ Робыкин.

— Вы что же, Фурдецкий, автономию там развели? Отвечайте. Прием. — Сейчас Фурдецкий слышал даже дыхание Робыкина.

— Какая может быть автономия, товарищ Робыкин? Предварительный отчет высылаем через неделю лично вам, — прокричал Фурдецкий.

— Желаю коллективу управления успехов. Отбой. — Видно, Робыкин понял, что ничего от Фурдецкого не добьется.

Фурдецкий отер пот и теперь уже знал, что все пути к отступлению отрезаны. Он впрягся в упряжку Будды. В том, что Чинкову все донесут, он не сомневался. Пусть знает. Фурдецкий обошел все кабинеты полевых партий. Все-таки это его, Фурдецкого, управление. Полевики настороженно приветствовали Фурдодуя. Ничего. И они поймут. Надо устроить хороший вечер. Отметить. Произнести речь.

И Робыкин, и Фурдецкий изумились бы, если бы увидели во Внукове выходящего из самолета Чинкова.

Каторжный воздушный путь эпохи, когда о ТУ-104 еще не знали, не умотал его, а омолодил минимум на десяток лет. Он шел весело и настороженно, как, допустим, может идти по следу раненого медведя верующий

в удачу охотник. В руках Чинков нес лишь небольшой портфель. На стоянке такси была очередь. Но Будда каким-то неуловимым жестом дал знак шоферу и прошел дальше к облетевшим березкам. Таксист подкатил. Будда шлепнулся на сиденье, положив портфель рядом, и они помчались через березовые леса внуковского шоссе в Москву.

«Северстрой» имел в Москве собственную гостиницу, как и свое представительство, вроде иностранного государства. Но Чинков остановился в «Национале» и в представительство не пошел. В номере он сходил в душ, переоделся и позвонил. Такси ждало его внизу, и Чинков поехал на Красную Пресню. Легкая улыбка не сходила с его помолодевшего лица, и с той же улыбкой он направился к Сидорчуку, в прошлом кадровому северстроевцу, ныне заместителю министра.

Сидорчук был старше Чинкова. В свое время он с любопытством и симпатией наблюдал, как этот юный нахал, точно каменный столб в бамбуковой роще, возник и утвердился в рядах «Северстроя». Именно Сидорчук подал мысль о выдвижении Будды на соискание Государственной премии, и он же санкционировал его переход в Поселок, так как не верил ни одной из причин, которыми в самом «Северстрое» объясняли переход Чинкова. Сейчас он чувствовал, что внезапный звонок и просьба о встрече так или иначе связаны с Территорией.

Чинков вошел в кабинет Сидорчука, сияя неподражаемой белозубой улыбкой. Они поздоровались дружески, так как настороженная симпатия их была взаимной. Будда, посмеиваясь, оглядел кабинет, как будто никогда не бывал здесь раньше, а Сидорчук подумал о том, что в главном инженере Поселка пропадает крупный актер. На него уже действовало наэлектризованное состояние Чинкова.

— Удивляешься визиту? — вежливо спросил Чинков.

— Нет. Робыкин уже дважды звонил. Интересовался.

— А ты что ответил?

— Я же не знал, что ты ко мне прилетаешь. Что я должен был отвечать?

— Да сердце пошаливает. — Казалось, Чинкова безмерно радует и это сердце, и звонки Робыкина. — Попроси секретаршу, Ваня, чтобы никого не пускала.

Сидорчук выполнил просьбу и уставился на Чинкова с улыбкой, как будто ждал фокуса.

Чинков вынул из школьного портфеля газетку и разостлал ее на столе. На газетку он выложил несколько кусков почти чистой киновари. Киноварь — минерал древних художников и алхимиков — рдела на столе. Сидорчук, в прошлом отличный минералог, забылся на время и долго рассматривал образцы.

— Чудесная киноварь, — сказал он.

— Копков утверждает, что там месторождение мирового значения.

Чинков отодвинул занавеску, закрывавшую карту Территории «Северстроя», и ткнул пальцем.

— Ты там был? — спросил Сидорчук.

— Нет. Вот фотографии месторождения. Жаль, не цветные. Копков утверждает, что сопка почти целиком состоит из киновари. Он ее тонну привез. Просто прошелся, поднял и привез. Представляешь, сопка — и целиком из киновари.

— Так уж и целиком?

— Не веришь, не надо, — сказал Чинков и безразлично отодвинул киноварь в сторону. Он вытащил из портфеля мешочек, развязал его на коленях и вдруг высыпал на газету груду золотого песка, перемешанного с самородками. «Килограммов около трех, — машинально отметил золотарь Сидорчук. — Лотком, что ли, намыто, крупная фракция».

— Это что? — спросил Сидорчук.

— Это золото, которого нет.

Им не надо было объясняться между собой. Сидорчук молча взял маленький пластинчатый самородочек, бросил его в кучу.

— Что тебе надо, Илья? — спросил он.

— Деньги. Большие. И еще раз деньги. Там ныряющая россыпь. Без крупной разведки ее не найдешь. С деньгами мы дадим уникальное месторождение.

— Ты из-за этого прилетел?

— Рискую, — вздохнул Чинков. — А ты уже все? Уже не хочешь рискнуть?

— Ты сам веришь? Подо что тебе нужны деньги? Почему не обычным порядком?

Чинков пожал плечами. Не имело смысла отвечать на этот вопрос.

— Ты тайно приехал?

— Да! И золото добыл тайно. Они там закопались с Рекой. Через них я бы к тебе не попал. У них вся перс-

пектива до конца века уткнулась в Реку. Она их прославила и взрастила. Не оторваться им от Реки.

Сидорчук посмотрел на Чинкова. Тот уже снова сидел отяжелевший, серьезный, со спрятанными глазами, и на Сидорчука, видавшего жизнь и людей, пахнуло чертовщиной, таинственной силой, напугавшей когда-то Монголова.

— Дай подумать, — сказал он.

— Думай до вечера. Вечером мы с тобой ужинаем. Пожалуйста, без жены. Вообрази, Иван, что тебе сейчас тридцать и у тебя все впереди.

— Ты знаешь, что у министерства сложные отношения с «Северстроем»?

— Я все знаю. Но я нашел россыпь. Доказательства перед тобой. На Территории есть золото. Чтобы доказать всем, нужны деньги. Тут не азбука, не как на Реке. Без денег сто лет не докажешь. И если ты не поможешь, никто не поможет.

— Ужинать мы с тобой не будем. Ты докладную составил?

Чинков вынул из портфеля папку.

— Все, — сказал Сидорчук. — Сегодня вечером я ее изучаю. Завтра или иду, или не иду к министру.

— Надо идти, — сказал Будда.

— Еще одного лауреата хочешь?

— Нет. Все это суета и тлен. Просто приближается возраст инфарктов. А когда инфаркты, разве в драку полезешь? Разве кто примет тебя всерьез, если у тебя рот перекошен и аптека в кармане? А пока ты принимай меня очень всерьез. Записки у меня две: на киноварь и на золото. Но все деньги, почти все, не буду скрывать от тебя, я пущу на разведку золота. Киноварь еще не созрела. Это случайное открытие. Деньги и техника — вот что мне надо. Хоть в Совет Министров иди, но добудь. Вот мой телефон. Буду в номере постоянно.

...На другой день во второй половине ему позвонил Сидорчук. Они встретились в гостинице, в номере Чинкова, Чинков предложил коньяку.

— Давай, — махнул рукой Сидорчук. — Давай, авантюрист, выпьем.

Они молча чокнулись и выпили.

— Вот что, — сказал Сидорчук. — Докладная у тебя убедительная. Еще убедительнее эти три тысячи четыреста двадцать один грамм золота. Вот тебе расписка в получении. Чтобы на тебя уголовное дело не завели.

Золото в лаборатории института минералогии. Деньги тебе можно и должно дать. Это государственный оправданный риск. Но ты знаешь, где твое слабое место?

— Знаю, — сказал Чинков и налил еще коньяку. — В неточных будущих перспективах. Мы откроем хорошее месторождение. Но откроем ли мы новую золотоносную провинцию?

— Так! — кивнул Сидорчук. — Но начинать-то надо?

— Надо, — сказал Чинков. — Помимо интуиции, знаешь, во что я верю?

— В себя ты веришь. Неудачи предыдущих поисков происходили потому, что ими занимался не ты.

— Так! — усмехнулся Чинков.

— Лети обратно. Присылай технический проект. Официально через «Северстрой». Деньги они получат целевым назначением.

— А отдадут? Они же все помешаны на Реке. Они ее создали и не хотят с ней расстаться. Они, кстати, тоже правы.

— Я все-таки на что-нибудь годен, — устало вздохнул Сидорчук.

— Я знаю Реку, — напряженно сказал Чинков. Он весь налился тяжелой кровью, еще более потемнел. — Я знаю Реку, Иван, и не верю в разговорчики, что она кончилась. В Реку надо вкладывать деньги, и она ответит хорошим золотом. Но рано или поздно она кончится. Срок этот обозрим. Что дальше? Необходима новая золотоносная провинция. Государство обязано рискнуть десятком-другим миллионов.

— Оно рискнет. Но ты лично рискуешь всем. В случае неудачи государство потеряет десяток миллионов. Ты потеряешь все. Тебя не будет.

— Не пугай. Одно месторождение я все равно дам. Я должен дать их много, провинцию, золотоносный узел. Вот где начинается риск. Правда, я присмотрелся к кадрам. С ними можно рискнуть.

— Где? Как? — спросил Сидорчук. — Все-таки многие шлялись с лотком. Как ты добыл эти три килограмма? Они ведь все решили. Я их тоже с шиком на стол высыпал. «Вот золото, которого нет». Как ты добыл их?

— Не я их добыл. Есть у меня промывальщик. С виду — ничто. Но гений. На отмели в сто метров он берет одну лопату грунта, но именно ту, где лежит единственный на отмели самородок.

За окном шумел город. Настольная лампа давала приглушенный свет, и каждый из двух пожилых мужчин в номере думал о силе, которая заставляет их рисковать, тревожиться, лезть на рожон, хотя все можно спокойно, уютно, уважаемо... Их давно не интересовали личные деньги, зарплата, и даже честолюбие с возрастом как-то прошло. Силой этой называлась работа. Но что такое работа? Кто может дать этому краткое и всеобъемлющее определение? Страсть? Способ самоутверждения? Необходимость? Способность выжить? Игра? Твоя функция в обществе? И так далее, до бесконечности.

— Когда меня хватит третий инфаркт, — сказал Чинков, — я хочу в этот миг перед смертью знать, что выполнил почти все, к чему был предназначен. На этом точка. И знаешь: огради меня на первых порах от Города. Всегда ведь найдется пяток людей, которые будут ставить палки в колеса, чтобы в случае провала заявить: «Я предупреждал, что средства уйдут на ветер». Но они будут ставить их умело, чтобы в случае удачи заявить: «Я всегда верил в Территорию и помогал, чем мог». Ты знаешь это лучше меня. У тебя уже есть канцелярский опыт.

— Я все-таки на что-нибудь годен, — повторил Сидорчук.

Чинков глянул на этого седоволосого, уже по-министерски мягкого, уже с животиком и руками, сложенными на животике, человека с умным, но уже совсем городским лицом, вспомнил, как видал его опухшего от комаров, в драной штормовке и с цепкими движениями лесовика и, вздрогнув от предчувствия, подумал, что ему не дожить до городского состояния, не суждено.

— Ты отдаешь отчет в том, что, если россыпь, если золотоносный узел там есть, его все равно найдут? Через пять, через семь, через десять лет? Его неизбежно найдут в ходе планомерной съемки.

— А зачем я тогда? Зачем тогда кадры, которые выучены и могут работать больше, чем лошади? Им тесно на олове. Мне тесно в твоей грядущей методике. Эти кадры скоро выйдут в тираж. И я скоро выйду в тираж. Простит ли тебе государство, что ты не использовал нас до конца? Через семь лет... А если это золото потребуется... сегодня вечером?

— Ты к тому же и демагог. Но я на твоей стороне. Знаешь, о чем я мечтаю? Поступить куда-нибудь «тыбиком».

— Что это за должность?

— Ну есть такая хорошая работенка. «Ты бы сбегал». Сокращенно «тыбик».

— Именно, — усмехнулся Чинков. — Там, в Городе, давно хотят из меня тыбика сделать. Но я сам из них сделаю...

— Не хвастайся до. Хвастайся после... С Городом ты справишься. Ты справься с природой.

— Прилетай к нам. Поживешь на разведке. За куропатками сходишь. И, может быть, дашь совет. Ты ж золотарь... Или уже нет?..

— Уже нет. Для экспедиции я кончился. Для них я вышел в тираж. Но и здесь, как видишь, работенки хватает.

— «Познай, где свет, — поймешь, где тьма. Пускай же все пройдет неспешно, что в мире свято, что в нем грешно, сквозь жар души и хлад ума», — с улыбкой процитировал Будда.

— Что это?

— Блок. Уж извини, что образованность демонстрирую.

— Лети обратно, Илья. В клинику не забудь зайти. Не заставляй меня ссориться с «Северстроем».

— Черт! Ах, черт! — Чинков постучал себя по коленке. — Все обдумал, рассчитал все ходы, все варианты. Но не думал, что так легко охмурю тебя. Не предвидел этого. Удивил ты меня, Иван.

— Самовлюбленный ты человек, товарищ Чинков. Пуп земли.

— Я пуп Территории. В этом и есть моя сила, — серьезно ответил Чинков. — Меня отец так воспитал. Всегда стремиться на мостик, если ты даже трюмный матрос. Но стремиться за счет своей силы. Гордый был у меня старик. Военно-морская школа.

— Знаю я все про твоего отца, — сказал Сидорчук. — Изучал в свое время анкетные данные. Я про тебя много знаю. Поэтому даю совет: побывай у Калдиня в Риге. Без поддержки коллектива твоя затея ничего не стоит. Мнение Калдиня — очень много. Его уважают. Он, можно сказать, кариатидой в Поселке работает.

Чинков с сопением вытащил из внутреннего кармана пиджака картонный квадратик.

— Билет до Риги. Позавчера еще взял.

— Странный ты человек, Илья, — сказал Сидорчук. — Тебя в темноте испугаться можно. С нечистой силой ты, по-моему, дружбу водишь.

Властная манера Чинкова держать себя отстраненно от мелочей неизменно помогала ему. Рижского адреса Калдиня он не знал. Поэтому на вокзале он дал шоферу такси денег и попросил «выяснить, где находится данный товарищ. Вот тут все записано. Буду ждать вас в вокзальном ресторане». В полдень они уже ехали в загородную клинику.

Калдинь лежал в отдельной палате. Чинков видел его несколько раз на северстроевских совещаниях, они были даже слегка знакомы. Сейчас Чинкова поразило, что под одеялом Калдинь казался еще длиннее и костистее. Казалось, зеленое больничное одеяло прикрывает мощный и прочный скелет.

— Насколько я знаю вас, мое мнение ничего изменить не может, — сказал Калдинь. Седые волосы его отсвечивали на подушке. Лицо было свежим и загорелым. — Я думаю, что, если я предам ваши идеи анафеме, вы скажете, что я вас поддержал.

— Ну зачем же такое злодейство? — усмехнулся Чинков.

— Для пользы дела. Разве не оправдание? Но, знаете, я вас поддержу. Взамен...

— Что взамен? — быстро спросил Чинков.

— Не пугайтесь. Взамен вы выведете на дорогу мальчиков... Жору Апрятина и Сережу Баклакова. Я не успел. Они уже инженеры, но я хотел сделать из них геологов.

— Я сделал бы это без вашей просьбы, — не скрывая облегчения, вздохнул Чинков. — Знаете, я верю в «метод большого болота». Подводят человека к большому и коварному болоту и дают задание сходить на ту сторону и вернуться. Болото, знаете, опасное. Трава обманчивая, трясины, окна, всякие подгнившие веточки. Если вернется, значит, будет ходить.

— А если завязнет?

— Вытащить, обмыть и отправить в сухие места.

— Похоже на вас. Это ваш почерк.

— Вы верите в золото Территории?

— Странный вопрос, Илья Николаевич. Верить или не верить можно в идеи. Золото — материальная вещь. Можно знать или не знать о его наличии. Я не знаю, есть ли на Территории золото. Мы думали это сделать иначе. Держаться за олово, чтобы оправдать существование управления. И вести планомерную методическую

съемку. Чтобы потом искать в комплексе. Золото, вольфрам, ртуть. И так далее.

— Это слишком затяжной метод, — пробормотал Чинков.

— Смешно! Я в больнице, из которой, вероятно, не выйду, уговариваю вас не спешить.

— Вы еще вернетесь в управление.

— Бросьте, Чинков. Я мало вас знаю, но думаю, что вы неплохой актер. Только роль утешителя вам не подходит.

— Я буду рад работать с вами, — Чинков встал.

— Это не страшно, Чинков. — Калдинь приподнялся на локте, и костистое стариковское тело еще резче обрисовалось под одеялом. — Вы знаете, не страшно. Большую и лучшую часть жизни я занимался изучением горных пород. Смерть — лишь переход из мира биологического в мир минералов. Таково преимущество нашей профессии, смерть не отъединяет, а объединяет нас с ней.

— Я верю, что... — упрямо пробубнил Чинков и осекся, услышав иронический смех.

— Вы лучший посетитель из всех. Ко мне много приходит друзей. Но вы единственный из всех, кто даже не спросил, чем я болен. Не надо извинений, Чинков. Все правильно. Теперь я спокоен за управление. Вы бросите на пол свой собственный труп и сами через него перешагнете, но управление достигнет цели. Я искренне рад.

— И я все-таки верю, — глухо сказал Чинков. — Я верю в золото Территории.

Он повернулся и вышел из палаты.

— Не забудьте о мальчиках, — крикнул вслед Калдинь.

Машинально вернув в коридоре халат, Чинков пробормотал: «Череп быка-примигениуса. Вот!» Он понял, что ему напоминал лежавший на койке главный геолог управления Поселка.

18

Гурин и Сергушова познакомились вскоре после отлета Баклакова. Она все еще продолжала жить в бараке, который постепенно заполнялся бородатыми раскованными мужчинами, грохотом радиоприемников, выставлен-

ными у дверей резиновыми сапогами, чайниками, круглые сутки кипевшими на кухонной плите, пальбой по подброшенным в воздух пустым бутылкам из пистолетов — нечто среднее между студенческим общежитием и приключенческим фильмом. Комната Баклакова была ближней к выходу, и однажды она увидела в ней свет. Она постучалась и столкнулась на пороге с очкастым и веселым человеком.

— Бог мой! Заходите, — приятным баритоном сказал он. Выкинул в форточку сигарету и прикрыл ладонью дырку на свитере. Другой рукой он церемонно указывал на койку Баклакова, приглашая садиться.

— Живот болит? — насмешливо спросила Сергушова.

— Не будем таить честную бедность, — Гурин отнял руку от дырки.

Она засмеялась. Ей почудилось какое-то злодейское очарование в этом лысеющем, с короткой стрижкой, лобастом мужчине. Меж тем Гурин извлек вьючный ящик из-под кровати, на ящик постелил газету «Юманите», на газету поставил вынутую из чемодана бутылку коньяку «Наполеон» и две позолоченные стопки.

— Коньяк требует позолоченной посуды, — сказал он. — Только тогда он дает цвет.

— Вы здесь будете жить?

— Постараюсь здесь. Вы сидите на койке коллеги Баклакова. Он не успел поставить мебель, потому что отбыл в деревню, родовое поместье Баклаковых.

Неизвестно почему она промолчала, что знает Сергея.

— Он ваш друг?

— Друзей у меня нет. Есть приятели, как у всех в наше время. С Баклаковым же я поселился потому, что удобнее. Простая душа. Занят мускулатурой и геологией. О прекрасном не говорит. Про женщин тоже. Я терпеть не могу разговоров «о прекрасном».

— Наверное, он очень хороший?

— Очаровательный. Наш простой советский фанатик.

— А вы?

— Я предпоследний авантюрист.

— Почему предпоследний?

— Обидно, если я буду последним.

— А откуда такой коньяк?

— Знакомые. Шлют книги, напитки и сигареты. За-

ботятся, чтобы я не отстал от века. Вместо сигарет теперь шлют пластинки. Бросил курить. Хочу дожить до восьмидесяти. Посмотреть, чем все это кончится.

— Что именно? Уж простите, что похоже на интервью.

— Вторая техническая революция. Всеобщее забалдение. Квартиры, финская мебель, мечта жизни — машина. Приобретатели всерьёз собрались захватить мир. И ну его к черту! Предлагаю выпить за вашу карьеру. Хотите, как Бендер, составлю матрицу для любой корреспонденции на местную тему? Торбаса, пурга, энтузиазм, снежные просторы, молодой задор, старый кочевник.

— Не хамите. Это моя работа.

— Уважаю. Работу я уважаю. И мой сосед и коллега Сергей Баклаков ее уважает. Мы все уважаем работу.

— Экий вы...

— Я не экий. Я отдельный. Странник — вот кто я.

— Как же вам удается странником быть?

— Я знаю профессию на уровне хорошего кандидата или среднего доктора. Это без хвастовства. Кроме того, я знаю два языка. С таким багажом я везде желаннейший гость. В любом геологическом управлении страны. В Душанбе, Барнауле, Ленинграде, Чите. Или на Территории. Когда мне надоест здесь, я выберу точку на карте и двину туда. Переезды помогают мне не иметь вещей. Так проще.

— И не пусто вам?

— А что делать? Мне грустно от ошибок истории. Раньше мир захватывали Чингисханы, Тамерланы, Македонские или орды, допустим, гуннов. Атилла захватил мир. Теперь его плотно и неумолимо захватывают покупатели. Всюду. От озера Титикака до Можайска. Самое неумолимое и беспощадное завоевание. Я обожаю авантюристов. Покупатели поставили их вне закона. Вот я и приспособляюсь. Я не воитель. Я приспособленец. Пытаюсь отстоять свое «я» среди всеобщего забалдения. Ничего не хочу иметь, кроме себя.

— Потрясающий парень, — с иронией сказала она.

— Потрясающие парни сидят в кафе, тянут через соломинку портвейн с водой под названием «коктейль». Изображают прожигателей жизни. Или слабыми лапками пытаются ниспровергнуть. Что именно — они не знают. И не знают, что они, как гусеница против асфальто-

вого катка истории. Нет, я все-таки предпоследний авантюрист. С чувством собственного достоинства. Я работаю не хуже всех этих суперменов полярных, Баклаковых, всех этих Копковых и прочее. Хотя Копков — это Иисус. Иисус от арктической геологии. С чувством собственного достоинства. Хотите на него посмотреть?

— Хочу.

— Ну, еще бы! Журналистский клад: вечер полевиков, герои тундры за бутылкой вина, непосвященные не допускаются.

— Что ж зло-то так?

— Я не зло. Я с чувством собственного достоинства. Верьте не верьте, но здесь одно из немногих мест, куда не долезло мещанство, и геология — одна из немногих профессий, куда ему трудно пробраться. Но проберется.

— Вы что же, меня приглашаете?

— Ага, — Гурин широко улыбнулся. — Я человек сложный, но доступный. С чувством достоинства.

— Не такой уж вы сложный, мне кажется.

— Каждый человек — как консервная банка. Но ключ от банки спрятан внутри, — с комической серьезностью вздохнул Гурин.

— Ножиком можно открыть.

— Правильно. Взрезать ножиком, вынуть консервный ключ и с другого конца открывать нормально. Примета эпохи — носки надевать через уши.

— Эпоха-то в чем виновата?

— В том, что она существует сейчас. Все эпохи были в этом виновны.

...Когда комнату Сергушовой отремонтировали, Гурин помог обставить ее, исходя из опыта мест, где мебель не продается. Для этого требовалось метров двадцать какой-нибудь дерюжки и десять ящиков из-под картошки. Картошку в Поселок привозили, как яблоки, в ящиках. Гурин сам сбегал в промтоварный магазин и купил драпировочную ткань темно-красного цвета. По дороге, потолковав с Рубинчиком, он прихватил в кладовой управления матрас. Из шести ящиков соорудил низкое ложе, положил на него матрас, прикрыл все это дерюжкой, и получилась низкая широкая тахта. Из четырех ящиков он соорудил стол, положил сверху чертежную доску. Доску он тоже взял в управлении, выкинул в окно, пока Рубинчик искал матрас. Стол, прикрытый этой дерюжкой, получился очень хорошим. Остаток ткани он употребил на оконную занавеску.

— Стул и пишущую машинку тебе обязана дать редакция, — улыбаясь, сказал он. — Торшер я тебе принесу.

19

Традиционный «вечер полевиков» служил вехой, отделявшей один экспедиционный сезон от другого. На вечер приглашались только те, кто провел лето в тундре. Каждый приглашенный мог привести с собой не более одного человека: жену, девушку или закадычного друга.

Обычно вечер проводился в поселковой столовой, квадратном грязноватом зале с деревянными колоннами. Сюда забегали «выпить граммушку», съесть плов с олениной и оставить на колонне надпись: «Коля, я умотал на Средний Катык бригаду Гайзулина». Чинков, вернувшись из Москвы, твердо предложил провести «вечер полевиков» в управлении.

В длинном коридоре второго этажа поставили встык столы, собранные со всех кабинетов. Под командой Люды Голливуд техники превратили обшарпанный, вытертый полушубками и телогрейками коридор в банкетный зал, где сверкали под абажурами лампочки, с абажуров свисали какие-то новогодние бумажные ленточки, а наиболее темные места стен были залеплены листами ватмана с цветными картинками на тему тундрового быта.

Улицы Поселка присыпало свежим снегом. Было тепло, и на безоблачном небе просвечивали мелкие звезды. Стояла тихая полярная ночь. У геологов Поселка для торжественных случаев выработалась особая мода: дорогой и модный костюм, хорошие туфли и вместо пальто грязный полевой полушубок. Был еще особый шик в том, чтобы из заднего кармана торчала ручка пистолета, не забранного по халатности начальства в спецчасть. Но сегодня все пришли безоружными — управление не общага, и вечер в нем — не обычный «междусобойчик», чтобы послушать пластинки и потолковать о мирах. Стало известно, что сам Будда придет, а Фурдодуя, напротив, не будет по причине болезни. (Полгода назад после пожара в одном из геологических управлений «Северстрой» издал строжайший приказ, запрещающий выпивку в служебных помещениях под каким бы то ни было предлогом). Но, видимо, Чинков, в отличие от Фурдодуя, плевал на приказы далекого Города. Это всем нравилось.

Раздевались все в комнатушке Рубинчика. Началь-

ной сенсацией явилось платье Люды Голливуд с невиданно широкой юбкой. В кабинет Рубинчика она вошла, но выйти уже не могла — смятая пальто юбка расправилась и не выпускала. Ей помогали Семен Копков и Жора Апрятин.

Наверху мексиканское трио плакало под гитару неизвестно о чем. Снабженцы завалили в этом году Поселок мексиканскими, аргентинскими, парагвайскими и бразильским голосами. Одним из последних появился Гурин в роскошном костюме, массивных новых очках. Пижон, гуманитарщик, кабинетный философ из молодых, но никак не геолог. Он пришел с Сергушовой. Облегающее платье Сергушовой, синие тени на впалых щеках, яркая помада и вздыбленная прическа затмили Люду Голливуд сразу и на весь вечер.

— Жора, пожалуйста, не открывай сегодня пальбы. Я с дамой, — сказал Гурин Жоре Апрятину, и Жора даже затосковал слегка, наблюдая, как уверенно тот снял пальто с журналистки и так же уверенно повел ее наверх. Доктор Гурин в ипостаси светского человека.

По полярному обычаю каждый должен был наливать себе сам, что хотел: спирт, шампанское, коньяк или портвейн. Каждый сам отмерял себе дозу, сам следил за собой и сам должен был убираться домой, если чувствовал, что пьянеет. Во главе стола сидел Чинков, улыбчивый и добродушный, еще один вариант: патриарх в окружении многочисленных домочадцев.

Чинков знаком предложил налить в рюмки и встал.

— Уважаемые коллеги! — сказал он высоким голосом. — Прежде всего позвольте поблагодарить за честь. Я впервые присутствую на празднике прославленного геологического управления не как гость, а как свой человек. На правах новичка позвольте нарушить традицию. Не будем говорить о минувшем сезоне. Поговорим лучше о будущем. Что такое открытие месторождения? Это смесь случайности и логики. Но всякое истинное месторождение открывается только тогда, когда созрела потребность в нем. Стране требовалось олово, и оно было открыто на Территории. Честь и хвала. Вы знаете роль здешних месторождений в годы войны. В минувшем сезоне было открыто, по-видимому, весьма серьезное месторождение киновари. Не будем умалять его значения, но это открытие явилось случайным. Каждому ясно, что мы не можем на случайностях строить планы. Открытие должно созреть. Сейчас созрела необходимость в золо-

те Территории. Следовательно, мы обязаны его обнаружить. Именно с будущего сезона управление переходит на поиски золота. Для этого требуются деньги, кадры и ваши усилия. Деньги мы с вами получим сейчас. Часть кадров весной. Но основные кадры к нам прибудут позднее. Вывод: вам было тяжело в минувшем сезоне, в будущем будет тяжелее вдвое. Придется вынести двойную тяжесть работ. Все, кто захочет уйти заранее, могут уйти. Обещаю приличную характеристику. Но с оставшихся буду спрашивать беспощадно. Предлагаю тост за удачу и за тех, кто будущим летом будет в тундре.

Чинков выпил стоя, так получилось, что все встали. Был минутный шум, стук посуды, и настала тишина. Требовалось ответить, произнести, уточнить. Но что и кому?

— Разрешите мне, — вдруг раздался сухой голос Монголова.

Мгновенно наступила тишина. Никто не мог припомнить, чтобы Монголов выступал, кроме как на техсоветах. Но и там его выступления были сугубо краткими: «пункт первый, пункт второй...»

Монголов встал на противоположном конце стола, все в том же оранжевом свитере, скулы на лице обтянуты.

— Я не готовился к выступлению. Еще утром я не знал, что вынужден буду выступить. Но товарищ Чинков сказал далеко не все. Мы все вместе работали многие годы. Бывают ситуации, когда коллектив должен знать все. Так я считаю. Мы многие годы просили деньги и кадры, вы это знаете. Мы не добыли их. Но товарищ Чинков, как мы сейчас услышали, достал деньги и кадры. Легко и быстро. Вы все помните Мишу Катинского. Он сгорел, потому что заговорил о золоте Территории. Товарищ Чинков добыл деньги и кадры именно на золото Территории. У начальника управления лежит мой рапорт об уходе на прииск. Но мне же предложено возглавить разведку на золото в долине реки Эльгай. Сегодня утром я получил письмо от Робыкина из центрального управления. Вот оно. Письмо частное, я не буду его читать. Но в нем мне предложено возглавить расширенную поисковую партию на касситерит. Партия эта будет вместо нашего управления. Какой вывод? За нашей спиной идет кабинетная борьба. Без нас прикрывают управление, без нас меняют направление работ, без нас добывают для нас деньги и кадры. У нас

была простая и ясная жизнь. Мы неплохо работали. Сейчас все запуталось. Запутанные узлы надо рубить сразу. Давайте перестанем шептаться о золоте Территории. Выясним все до конца. Иначе эта глупая желтая тень будет преследовать нас долгие годы. Со своей стороны я беру свой рапорт обратно и беру разведку на реке Эльгай. Я не верю в то золото, но использую, чтобы его найти, весь свой опыт горного инженера. Это как нарыв. Либо вскрыть, либо мучиться дальше. Я кончил.

— Спасибо, Владимир Михайлович, — громко сказал Чинков.

Снова все сидели недвижимо перед столами, заставленными бутылками и едой. Хрипатый голос Сани Седлова врезался в тишину:

— Всюду, где собирается больше трех геологов, надо вешать лозунг: «К чертям разговоры о работе». У нас техсовет или вечер отдохновения? Предлагаю налить и выпить за Монголова. Он наш человек. Сохраняет наше достоинство.

Саня Седлов разрядил обстановку. Зазвякала посуда, возник легкий шумок, говор, кое-где смех.

В стену управления что-то глухо стукнуло, раздался как бы расширенный вздох, и тотчас задребезжали, заныли стекла в торце коридора.

— Господи благослови! — сказал кто-то. — Первый зимний!

— Что это? — тихо спросила Сергушова у Гурина.

— «Южак». Первый за эту зиму. Придется сбегать отсюда.

Каждый журналист, каждый заезжий литератор и вообще любой, побывавший в Поселке и взявшийся за перо, обязательно писал и будет писать о «южаке». Это все равно, что побывать в Техасе и не написать слова «ковбой» или, будучи в Сахаре, не упомянуть верблюда. «Южак» был чисто поселковым явлением, сходным со знаменитой, новороссийской «борой». В теплые дни за склоном хребта скапливался воздух и затем с ураганной силой сваливался в котловину Поселка. Во время «южака» всегда бывало тепло, и небо безоблачно, но этот теплый, даже ласковый ветер сшибал человека с ног, перекатывал его до ближайшего закутка и посыпал сверху снежной пылью, шлаком, песком, небольшими камнями. В «южак» лучше всего годились ботинки на триконях и защитные очки горнолыжника. В «южак» не работали магазины, были закрыты учреждения, в «южак» сдвига-

лись крыши, и в крохотную дырку, в которую не пролезет иголка, за ночь набивались кубометры снега.

— Женщинам и семейным предлагаю разойтись по домам, — сказал Будда. — Молодежь может оставаться. Завтра день нерабочий. Старшим остается Копков. За группу из двадцать пятого барака отвечает... Салахов.

Первой в сопровождении Копкова ушла Люда Голливуд. Ушел Чинков. Ушли Гурин с Сергушовой.

Лампочки потускнели, стекла уже дребезжали непрерывно, и за стеной слышались все учащающиеся вздохи гигантских легких, по временам где-то било металлом о металл.

Они сидели, сгрудившись за одним столом. Лампочка помигала и погасла — или повредило проводку, или электростанция меняла режим работы. На лестнице послышалось бормотание. Это Копков проводил Люду Голливуд и вернулся. Он принес с собой свечки.

«Южак» ломился в двери управления, набирал силу. Пламя свечей колебалось, тени прыгали по стенам. Разноцветно светились бутылки. Копков отодвинул от Жоры Апрятина стакан с коньяком и пошел вдоль столов, разыскивая свою кружку. На любой вечеринке Копков наливал себе в экспедиционную эмалированную кружку шампанского и больше не пил ничего. «Предпочитаю гробить здоровье в маршрутах». Копков разыскал свою кружку, сгорбился на стуле. Все молча собрались вокруг него. Рыжеволосый заика Копков со славой чудака, первопроходца дальних маршрутов, с его свитерами из шерсти мамонта, различными историями, которые то ли случались с ним, то ли нет, в сорок лет уже был легендой. Даже работяги с ним каждый год ходили одни и те же, похожие на начальника, смурные, кособокие, молчаливые и все умевшие тундровики.

— Какого черта сидим и молчим? — сказал Жора Апрятин. — Знаете, кто мы? Мы — наследники. Нашими предками были купцы, авантюристы, охотники за сокровищами. Одиссей был нашим предком, аргонавты имеют к нам такое же отношение, как наши деды. Там, где купец останавливался на ночлег, — выросли торговые города древности. По нашим следам так же растут города. Мы — основоположники городов, ребята, и сегодня Будда сказал, что нам лично предстоит вмешаться в международную торговлю, нам предстоит влиять на биржевые курсы проклятых капиталистов, наше золото

будет загружать пароходы. Из этих стен, из этой тундры мы будем гнать корабли через океаны, железнодорожные составы через материки и границы. Но отдаете ли вы отчет, что своими руками мы готовим гибель нашей профессии? Когда здесь проложат шоссе, тундру зальют соляркой, реки превратятся в отвалы перемытых пород, я брошу геологию и поступлю ночным сторожем, чтобы смотреть на звезды. Круги мироздания снова сомкнутся. Древний пастух считал звезды и слушал, не ползет ли лев к его отарам. Геолог Апрятин будет считать звезды и слушать, не ломает ли кто замок у продуктовой палатки номер шестнадцать. Предлагаю выпить за Будду и перспективы.

Но тост Жоры Апрятина никто не поддержал. Здесь был «Северстрой», страна самостоятельных личностей, и ни одна самостоятельная личность не будет пить за здоровье начальства, даже если уважает его.

— За начальство пусть пьют чиновники на банкетах, — сказал Салахов.

— Такое получается дело, — как всегда, неожиданно забубнил Копков. Он обежал всех шалым взглядом пророка и ясновидца, обхватил ладонями кружку, сгорбился. — Лежим мы нынче в палатке. Угля нет, солярка на исходе, погода дует. И все такое прочее. Кукули за лето слиплись от пота, не шерсть, а стружки. Пуржит, палатка ходуном ходит, ну и разное, всем известное. Лежу, думаю: ну как начальство подкачает с транспортом, куда я буду девать вверенных мне людей? Пешком не выйдешь. Мороз, перевалы, обуви нет. Ищу выход. Но я не о том. Мысли такие: зачем и за что? За что работяги мои постанывают в мешках? Деньгами сие не измерить. Что получается? Живем, потом умираем. Все! И я в том числе. Обидно, конечно. Но зачем, думаю, в мире от древних времен так устроено, что мы сами смерть ближнего и свою ускоряем? Войны, эпидемии, неустройство систем. Значит, есть в мире зло. Объективное зло в силах и стихиях природы, и субъективное от несовершенства наших мозгов. Значит, общая задача людей и твоя, Копков, в частности, это зло устранять. Общая задача для предков, тебя и твоих потомков. Во время войны ясно — бери секиру или автомат. А в мирное время? Прихожу к выводу, что в мирное время работа есть устранение всеобщего зла. В этом есть высший смысл, не измеряемый деньгами и должностью. Во имя этого высшего смысла стонут во сне мои работяги, и сам

я скриплю зубами, потому что по глупости подморозил палец. В этом есть высший смысл, в этом общее и конкретное предназначение.

Копков еще раз вскинул глаза, точно с изумлением разглядывал неизвестных ему людей, и так же неожиданно смолк, отвернул голову в сторону.

Внизу хлопнула дверь, послышались шаги на лестнице, топот, кто-то отряхивал обувь. Весь окутанный снегом, который как прессом был вдавлен в ткань пальто, появился Сергей Баклаков.

— Ханыги! Тунеядцы, — счастливо сказал он, — привет!

— Садись. Замажь стопку, — сказал Салахов. — Я пока выгребу снег из твоих карманов.

Сергей Баклаков, похудевший и загорелый, сел за стол. Ему пододвинули бутылку. Он внимательно прочел этикетку — «спирт питьевой» и отодвинул бутылку в сторону.

— Захожу в барак — пусто. Комната заперта. Ломлюсь в одну, в другую — мертвая тишина. «Южак» погромыхивает. Раз «южак», значит, кино нет. Где народ может быть? Только в управлении.

— Ты в секту вступил, Серега. Утверждаю честью, — сказал Жора Апрятин. — Ты отст-т-тавил бутылку в сторону, и глаз у тебя нехороший. Ты сектант, Серега.

Только сейчас все заметили, что Жора Апрятин все-таки превысил норму и что глаз у Баклакова действительно тревожный и «нехороший». Но спрашивать о таких вещах было не принято.

— Ты-ы! — с коротким смешком сказал Баклаков. — Не городи ерунды, Жора. Пей пиво, Вася, да учись хорошенько. Ты-ы!

Разглядывая наутро после «вечера полевиков» желтый баклаковский портфель, Гурин сказал:

— Шикарный портфель. Предвижу: сейчас ты извлечешь из него нетленные славянские ценности: иконы и лапти.

— Зачем? Ты богомольный, что ли? — удивился Баклаков. — А лапти?

— Неужели ты не в курсе, сокоешник? Лучшее украшение жилища. Особенно если в экспортном исполнении. Лапти в экспортном исполнении. Неужели ты не понимаешь, что это шикарно!

— Брось, — сказал Баклаков. — Не крути мозги.

— Отстал ты от века, сокоешник. Пишут мне, что интеллигенция спохватилась. Утеряли-де национальную самобытность. Вспомнили про прялки, иконки и народную речь. Про траву, грибы вспомнили. Утеряли-де в суете простоту ощущений.

— Себя они потеряли, — сказал Баклаков, вспомнив бабку Аришу.

— Это ты прав, сокоешник. Но это же старая беда. Теперь в моде народные корни. Лапоть — это разве тебе не исток?

— Не знаю, кто тебе пишет, — сказал Баклаков. — Передай им от меня: пусть идут к черту. Или по-народному выразиться? От бороны, так сказать?

— Это не требуется, — сказал Гурин. — Я передам простыми словами.

— Скажи, что насчет лаптей у Баклакова полный порядок. Насчет связи с корнями тоже бессонницей не страдает. Пойду поздороваюсь с теми, кого не видал.

Когда он вернулся в комнату, он увидел над койкой Гурина свою, видно заранее припасенную Гуриным, фотографию. На фотографии Баклаков был очень могучий, с расстегнутой на груди рубашкой, с победной ухмылкой. Вкось фотографии шла надпись: «Сокоешнику от основоположника. С. Баклаков». Над своей кроватью он увидел точно такого же размера портрет Гурина. И дарственную надпись: «Основоположнику от сокоешника. А. Гурин».

— Почему ты меня в основоположники произвел? — смеясь, спросил Баклаков. Он понял, что уживется с Гуриным.

— А ты обязан им быть. Есть в тебе нечто. В тебе есть упрямство забивающей сваю чугунной бабы. Такие всегда становятся основоположниками.

— Чего?

— А чего-нибудь, — хохотнул Гурин. — Важно им быть.

— А ты будешь?

— Я для этого слишком умен, — серьезно сказал Гурин. — Ум у меня уж очень лукавый. Можно сказать, развратный. Из таких, как я, получаются блестящие неудачники. Сила основоположников в их моральной уверенности. Здесь и есть мое слабое место. Веры в себя маловато. Толпе я не верю. Сильным мира сего не верю. Но и тебе тоже не верю.

...Баклакову нравилось умение Гурина облечь любую

минуту жизни в яркую словесную оболочку, так что эта минута начинала сверкать, как заводь в реке времени. «Питерские приятели» присылали Гурину не только коньяк и новые веяния моды. Они присылали ему пачки английских, американских, немецких геологических журналов. Гурин ненавязчиво подсовывал Баклакову перевод или реферат статьи: «Почитай старика Рамберга. Тебе это интересно». В отношениях с Сергушовой у них установился тон шутовского соперничества.

Они ходили к ней вместе.

— А не навестить ли нам нашу приятельницу? — говорил Гурин. Они натягивали полушубки и шли через Поселок к домику невдалеке от бухты и издали смотрели, светится или не светится окно. Окно, как правило, светилось, она предпочитала сидеть дома на оранжевом одеяле «Сахара». Сведения для корреспонденции ей дружески поставляла местная редакция. Собственные командировки она отложила до весны. «То, что в полярную ночь ничего не видно, я отлично вижу здесь».

Иногда Сергей заходил один.

— Давай помолчим, — предлагала она. — Недавно был Гурин и выдал словесный запас на неделю.

Баклаков ставил на плитку чайник, заваривал чай в консервной банке. Тихо потрескивала спираль на плитке, за окном шуршал снег, и струи его при порыве ветра беззвучно скользили по стеклам.

— Ты был прав, — говорила она. — Иногда и здесь можно жить. Интересно, что было здесь, когда не было ничего?

— Вначале был Марк Пугин. Потом оловянщики. Потом Поселок, — сказал Баклаков. — Все это знают.

МАРК ПУГИН. ИСТОРИЯ

Возникновение Поселка на пустынном морском берегу в простоте своей уподоблялось зарождению городов древности.

В 1930 году, в первых числах августа, пароход «Ставрополь» благополучно обогнул Туманный мыс и вошел в морскую губу. Туманный мыс был издавна знаменит в истории полярного мореплавания. Его прославили не поддающиеся логике потоки течений, стихийно возникавшие ветры и круглогодичные туманы.

Многолетний стаж плавания в шальных север-

ных водах научил капитана «Ставрополя» Ведякина чувству служебного долга и пессимизму. Приказ был строг и подписан высшей морской инстанцией: «Высадить пассажиров в том месте Территории, которое они выберут». Для этого Ведякин и вел пароход на юг, в туманные неизученные дебри губы, хотя ему следовало идти прямо на запад, ибо главный груз «Ставрополя» предназначался в устье Реки: патроны, мука, спички, дробь, соль, сети.

С южной стороны Туманного мыса с незапамятных времен жило несколько семей морских охотников. Они погнались было за пароходом на кожаных лодках, скорее всего в надежде что-либо купить-сменять. Но «Ставрополь» не остановился, и лодки после часовой гонки отстали.

Лишь один человек из всех, бывших на судне, заинтересованно наблюдал гонку кожаных лодок, брызги воды от весел, горбатые первобытные силуэты охотников. Ему очень хотелось остановиться, даже требовалось остановиться, но он знал, что капитан не выполнит просьбы, потому что спешит во всю силу изношенных машин и капитанского нетерпения. Лето уходит, а до устья Реки еще далеко.

Звали этого человека Марк Иванович Пугин. Он сильно напоминал бородатого простодушного гнома в шинели. Гонку лодок Пугин переживал с неподдельным азартом, хлопал себя по бедру и говорил: «Ах, черти!» Большая, жуткой черноты бородища не шла к шинели и малому росту Пугина, но отрастить бороду его заставили прямые служебные обязанности. Он считался специалистом по национальному вопросу, работал в Средней Азии, где борода несомненно способствовала авторитету.

На Территорию Пугина перебросили прямо из высокогорного памирского кишлака Кала-и-Хумб. Лишь на несколько дней он успел заскочить в деревню под Орлом, забрать отца и заехать в Москву за инструкциями. Теперь Пугин единолично олицетворял советскую, партийную и прочую власть для севера Территории. Но главным заданием Пугина по-прежнему оставался именно национальный вопрос. Скорейшее и немедленное приобщение пастухов и морских охотников к европейской культуре и общему ритму страны. Он взял с собой беременную жену и старика отца — все, чем дорожил в жизни, помимо главной цели.

Место высадки Пугин выбрал, руководствуясь тремя соображениями: оно должно находиться в центре доверенной области, сюда смогут заходить крупные корабли, и здесь может быть выстроен порт, который (чем черт не шутит!) скоро понадобится. В те годы легко намечали новые города. Все прочие соображения Пугин считал несущественными.

По описанию побережья, составленному двести лет назад гидрографом-самоучкой Шалаевым, нужное Пугину место находилось именно в этой губе, под защитой маленького островка. Берег здесь, если верить Шалаеву, образовывал впадину, окаймленную сопками, в глубине впадины имелось пресноводное озеро.

Окрестная тундра считалась древнейшим центром оленеводства на Территории, заповедником древних обычаев, сейфом каменного века. Пугин считал, что прежде всего надо браться именно за оленеводов. В поселки прибрежных охотников все-таки заходят шхуны с товарами и редкими командированными представителями власти. До оленеводов не доходил никто.

К вечеру они добрались до места. Берег действительно оказался приглубым, и островок хорошо защищал от волны с запада. За несколько рейсов судового бота команда вывезла на берег семью Пугина и весь их груз. С последним рейсом съехал и сам капитан Ведякин — седой сгорбленный старикан с привычно лихим заломом мятой морской фуражки. Ведякин всякое повидал в полярных морях. Он перевозил заскорузлых от крови и жира охотников на котика, семейства камчадалов вместе с собаками и связками вяленой кеты, странных энергичных мужчин, высаживавшихся в глухих местах побережья, он уже ходил к устью Реки, спасал голодавшее население. Жизнь всячески учила Ведякина не удивляться и принимать все, как есть. Но сейчас, отмякнув душой, он прямо с болью смотрел на трех человек, представления не имевших о том, что ждет их на дичайшем берегу. Миловидная женщина с упрямой надеждой смотрела на мужа, старик крестьянин из-под Орла со страхом и изумлением оглядывал голый черный камень и низкое небо, чуть ли не садящееся на шапку, а лысый низкорослый бородатый мужчина в распахнутой шинели стоял в задумчивости у кучи прикрытого брезентом груза. Ведякин хотел было предложить зайти на обратном пути и перевезти их хотя бы к Туманному мысу, где есть все-таки пять яранг и живые люди. Или забрать их сов-

сем. Но человек в шинели опомнился и с такой солдатской готовностью оглянулся кругом, так по-хозяйски пнул бревно плавника и запустил руку в бороду, что Ведякин передумал и ничего не сказал.

Через час пароход «Ставрополь» удымил курсом на запад. Над водой в низком полете носились утиные стаи. «Если не дураки, с голоду не умрут», — подумал Ведякин.

...Пугин и семья его не умерли с голоду. За две погожих недели они выстроили приземистый дом из плавника. Не будучи искушенными в последних новинках полярной техники, они просто выстроили обычный русский дом с сенями, двумя комнатами и печью из привезенных с собой кирпичей. В середине строительства сорвавшийся с сопок ураганный ветер унес в море половину материалов и чуть не снес дом. Они как можно сильнее укрепили крышу и выстроили защитную стенку из камня. Стены для теплоты промазали глиной. По совету морских охотников перекинули через крышу моржовые ремни с привязанными на концах камнями, а стены обложили кирпичами из торфа. Так и начался Поселок.

Они еще не кончили дом, как к ним стали прибывать гости с побережья и из тундры. Это были коренастые люди в меховых штанах и меховых же рубашках, с непокрытыми жестковолосыми головами. В вырезах кухлянок виднелась задубелая от ветров и пота кожа. Они выстригали макушку, оставляя венчик черных волос, словно католические монахи. Лица их были примитивны и независимы. Гости приплывали на кожаных лодках и приходили пешком, легконогие и настороженные. Им требовались товары, так как единственного торговца в устье реки Китам революция ликвидировала. Требовались патроны, чай, сахар, ситец, ножи и табак. Пугин имел кое-какие меновые товары, но они предназначались не для торговли. Рассказать же про светлое будущее, про ближайшие задачи медицины, образования и общественного устройства он не мог, так как не знал языка. Пугина выручила среднеазиатская привычка к чаю и знание английского языка, выучить который его также заставили прямые служебные обязанности на Памире. Кочевники же слегка знали английский и русский.

Расчет Пугина на семью оказался безошибочным. Оленеводы и охотники поняли, что этот человек приехал надолго, хотя и не имел нужных товаров или не хотел

пока торговать. Если бы Пугин был здесь один, дело могло кончиться простым убийством и грабежом. Такое случалось из-за пристрастия к чаю, спирту и табаку.

Едва управившись с домом, Пугин ушел к охотникам Туманного мыса изучать язык и способы существования. Язык он выучил за два месяца почти в совершенстве. Говорить с местным населением на их языке было правилом в работе Пугина. Возможно, в Пугине пропал незаурядный лингвист. В начале зимы он выменял на патроны, ситец и чай собачью упряжку и всю зиму странствовал по не нанесенным на карту хребтам, мысам и речным долинам. Ценой истощения, обмороженных щек, рук и ног он познавал вверенную ему область и ее население. К весне Пугин стал самым популярным человеком на Территории. Роды у жены он также принимал сам. Это было в конце февраля, а в марте он выехал на собаках в Кетунгское нагорье, чтобы организовать поэтапную поставку его телеграфного отчета на радиостанцию за две тысячи километров.

Телеграфный отчет дошел до назначения. Осенью тот же пароход «Ставрополь», но уже с другим капитаном (Ведякин умер сразу же по возвращении во Владивосток), доставил груз товаров для фактории, учителей и инструкторов. Все это Пугин обещал оленеводам зимой, и сейчас они могли убедиться, что он — точная власть. Пугин тотчас отправил всех вновь прибывших в тундровые и береговые стойбища.

Но история Поселка уже переходила в другую стадию. Пугин невероятно удачно выбрал место. Такая удача приходит лишь иногда к фанатически целеустремленным людям. Через год у его избы высадился Дамер. Дамер погиб, но в его образцах и образцах геолога, сменившего Дамера, обнаружилось олово — металл, позарез нужный стране. Достаточно сказать, что основным источником олова в те годы были дореволюционные консервные банки. Прибывшая уже на самостоятельном судне разведочная экспедиция обнаружила оловоносные жилы всего в нескольких километрах от дома Пугина. В этом была удача, сходная с удачей городов древности. Выбрать место. Здесь могли приставать океанские суда, и здесь имелся касситерит, позарез нужный стране. Так начинался Поселок.

Когда-нибудь, лет через сто, когда время замоет мелочи и окончательно сформирует легенду, будет написано житие Марка Пугина. Кстати, в конце своей жизни

он опубликовал книгу рассказов. Это были слабые рассказы, потому что сильные страсти и действия в них были выдуманы Пугиным по рецептам «жуткой романтики». Он не писал о том, как однажды, заблудившись в тундре, месяц питался мышами, как учил детей писать свинцовыми пулями на доске, потому что не оказалось карандашей. Он не писал о том, как, едва научившись ездить на собаках, отправился без карты и компаса в разгар полярной ночи в шестисоткилометровый перегон. Требовалось заработать уважение людей побережья. Он не писал и о том, как несколько месяцев жил с затемненным окном, а прежде чем выйти на улицу, подолгу лежал в сенях и вслушивался в скрип снега — его мог ожидать выстрел из засады. Он не писал об этом, потому что все это происходило в жизни и потому казалось скучным. В Пугине жила яростная потребность мечты.

Он умер через пятнадцать лет после высадки на берегу Территории, сидя на садовой лавочке в Поселке. Садовая лавочка на галечниковой площадке была поставлена по его указанию. Пугин еще не придумал, как посадить деревья, но ее уже можно было поставить. Сей факт несомненно войдет в будущее житие Марка Пугина — садовая лавочка под будущими деревьями. В этом был весь он, своеобразный святой XX века, умевший стрелять, принимать роды, изучать неизвестные языки, ходить по памирским оврингам, гонять собачьи упряжки, есть мышей и вселять веру в грядущий свет.

— Все это происходило и происходит в другом веке, на другой земле,— сказала она.

— Езжай в тундру. Людей-то хоть посмотри. У Монголова сейчас кадры. Не кадры, а шурупы. Молотком не вобьешь, клещами не вытащишь.

— Люди твои, эти самые шурупы, какие-то не такие. Не положено о таких писать. Надо, чтобы он приехал за романтикой. Чтобы позади и впереди было все чистенько. Я плохой журналист и не умею иначе.

— Они не гладкие люди,— согласился Сергей.— Они еще тот народ! На одного святого, вроде Марка Пугина, приходится много тысяч грешников. Но они первые в тех местах, куда потом будут ехать за романтикой. Может, и в самом деле здесь выстроят город, и не один. Но пойми, города не возникают на пустом месте. Чтобы сю-

да устремились за той самой романтикой, требовался работяга по кличке Кефир. Биография его не годится в святцы, но он честно делал трудную работу. В этом и есть его святость. Нет работы без Кефира, и Кефир не существует без трудной работы. Потом, наверное, станет иначе. Большеглазые девушки у сложных пультов — все как на картинке. Но сейчас работа груба. Вместо призывов — мат, вместо лозунгов — дождик, вместо регламентных трудностей просто грязь и усталость. Надо пройти через это, чтобы знать работу.

— Бог мой, Сергей,— улыбнулась она.— Под влиянием Гурина ты скоро философом станешь. Тебе не надо им быть. Ты же простой понятный супермен. О тебе можно писать в газетах.

— Нельзя. Я только приближаюсь к познанию нашей работы.

Баклаков впервые писал отчет самостоятельно и попал в столь глупое положение. Партия ставилась на касситерит, но касситерита они не нашли. Это было лишь половиной беды. Рядом с планшетом партии велась разведка на золото, а упомянуть об этом в отчете нельзя. Но единственным обоснованием разведки было решение главного инженера Чинкова. Такое в отчет не вставишь.

Он не мог посоветоваться с Монголовым, потому что Монголов уже уехал в долину Эльгая. Он мог бы посоветоваться с Копковым. Но тот сам с головой залез в собственный отчет. Сидел за анализами, шлихами, пробами. Глава «Полезные ископаемые» у него вырастала в отдельный том.

Оставался Гурин. Гурин имел опыт многих мест Союза и многих фирм. Он поднялся на второй этаж, где был кабинет партии Апрятина. Гурин сидел там в отдельном закутке, выгороженном стеллажами с образцами. Микроскоп, чистый стол, стопка желтоватой бумаги «верже», авторучка «паркер». Гурин любил обставить работу красиво. Сбоку на подоконнике у него стоял маленький сейф, который он зачем-то выманил у заведующего снабжением Володи Голубенчика. В кабинете никого не было. Апрятин писал отчет дома.

— Давай потолкуем,— сказал Баклаков.

Гурин разогнул спину от микроскопа, вынул из брючного кармана ключ, открыл сейф и достал бутылку

неизменного «Наполеона». На горлышко бутылки были надеты два фарфоровых стаканчика для отжига проб.

— Давай, коллега. Надеюсь, ты не по личным делам? По личным дома или на улице. Здесь я работаю.

— Я тоже, — сказал Баклаков и отставил стопку с коньяком.

Он рассказал о своих затруднениях. Гурин долго сидел, наклонив крупную, с залысинами, голову.

— Так что же?

— Логика проста. Положение твое не печально, а радостно, ибо ты имеешь право писать нестандартный отчет. Радостные прыжки по веткам молодого дуба науки.

— А полезные ископаемые?

— Выслушай меня внимательно, сокоешник. Я буду серьезен. Ты читал когда-нибудь отчеты классиков? Мушкетова? Старика Обручева? Богдановича?

— Пожалуй, что нет.

— Чему ты учился шесть лет... Старики-классики писали геологические романы. Они давали завязку — фактический материал, они давали интригу — ход собственных мыслей, они давали развязку — выводы о геологическом строении. Они писали комментарии к точке зрения противников, они писали эссе о частных вариантах своих гипотез. И, кстати, они великолепно знали русский язык. Они не ленились описать пейзаж, так чтобы ты проникся их настроением, их образом мыслей. Так делали старики.

— К чему ты это?

— К тому, что они имели в своем арсенале молоток, лупу, горный компас и... ум. Чтобы мыслить схематически, надо иметь много данных. Но данные не дошли до Территории. Планомерной карты мы не имеем. Мудрые геофизики сюда не добрались. Геохимию здесь знают лишь понаслышке. Микроскоп сведен до уровня молотка. Вы пишете отчеты, как будто обследовали известковый карьер под Москвой, а не Территорию, о которой никто ничего не знает. Здесь каждый отчет должен быть докторской диссертацией, а не ученической схемой: «введение», «геологический очерк», «полезные ископаемые», «заключение». У тебя тот же арсенал средств, что у Мушкетова. Но у Мушкетова был примат головы над ногами. У вас же, напротив, — примат ног и могучей спины.

— Вернемся к баранам. Что ты предлагаешь? Как

быть с полезными ископаемыми? — упрямо повторил Баклаков.

— Одного у тебя не отнять, сокоешник,— задумчиво сказал Гурин.— Ты упрям. Я предлагаю тебе написать геологический очерк долины Эльгая. Вольная игра ума. Предположения. Гипотезы. Доводы. Выводы. С личной концепцией Баклакова устройства земного шара в сем районе. Тогда полезные ископаемые сами встанут на место. Постарайся понять, почему Будда рвется к золоту. Учти, что Будда шагу не сделает зря. Он единственный умный человек среди вас, суперменов.

— Не задирайся. Я смиренно к тебе пришел.

— Смиренно отвечу: если я увижу в твоих глазах священный огонь мыслительного процесса, всю твою петрографию я беру на себя. Я выжму из твоих образцов и шлихов все, что можно из них выжать...

— Обойдусь. Хотя помощь, возможно...

— Будь смиренен. Я не лезу в твою концепцию. В геологическую схему и выводы, которые ты родишь. Это твоя схема и твои выводы. Я просто предлагаю быть на подхвате. Ты не успеешь все сделать один.

— Смиренно согласен.

— Для начала взбунтуй. Выбрось карту с рисовкой Монголова. Это плоская карта. Без мысли и без гипотезы. Вылезь за ваш дурацкий планшет. Если понадобится — бери всю Территорию. Запусти змия сомнения. Я хочу видеть наш техсовет проснувшимся. Когда-нибудь вознесешь молитву за грешника Гурина.

— Не оказаться бы в трепачах...

— Более трепливого положения, которое есть у тебя сейчас, трудно представить. Если ты не в силах дать хороший отчет, признай это открыто.

— Пожалуй, ты прав. Позволь удалиться смиренно.

— Коньяк?

— Откажусь по-пижонски. Решение надо принимать трезвым.

— Ты уже принял его. Смиренно рад за тебя.

На лестнице он несколько раз ударил кулаком по лестничным перилам. Может быть, не надо было заходить? Нет! Надо! К черту все самолюбие, раз речь идет о работе. И Гурин прав.

— Сергей! — окликнул его вышедший следом Гурин. Баклаков оглянулся.

— Я проспорил дюжину шампанского нашей приятельнице. Соизволь вечером заглянуть.

— Я чертежника у топографов сманил. Часов до девяти буду на работе. Потом зайду...

...Он вышел из управления в десять часов. С бухты дул несильный, но острый, как нож, ветер. Поднимаясь из низинки, он увидел в ее окне квадратную тень головы Гурина. Он подумал о Суюмбике и о том, как у них зимой. Наверное, у них хорошо и ясно зимой.

Он постучал, но ему не ответили. В комнате послышалась какая-то возня. Баклаков сказал дурацким голосом: «Это я». И даже дернул дверь. Дверь была заперта. По дороге он все-таки не выдержал и оглянулся — свет был погашен. Ему было стыдно, как никогда.

...Было воскресенье, и он вспомнил, глядя на нетронутую койку Гурина, что забыл оставить заявку, чтобы его пустили на работу. Теперь вахта уже не пропустит. Придется сидеть дома.

«Не смотаться ли на лыжах?» — подумал он. Но и этот вариант не годился. В темноте, по каменным этим застругам, в два счета превратишь драгоценные «ярвинен» в щепки.

Часов в двенадцать он услышал баритон Гурина, смех, потом хлопнула дверь и стало тихо. «Схожу на бухту пешком», — решил Баклаков.

Появился Гурин с двумя бутылками шампанского и прораб Салахов, который нес кружки и бутылку спирта.

— Давай оросим душу, — сказал Гурин. — Посмотрим на жизнь сквозь вино.

Было видно, что он крепко уже выпил с утра.

— Пойду компот принесу, — Салахов вышел.

— А ты знаешь, сокоешник, — усмехнулся Гурин. — Наша приятельница под платьем не такая худышка, как это можно подумать. Вовсе даже наоборот.

Баклаков увидел, что глаза у Гурина какие-то совершенно пустые. Он встал и очень сильно ударил его.

Гурин сидел на полу, обхватив голову, потом сплюнул кровь. Вошел Салахов. Мгновенно оценил обстановку, загородил Гурина, поднял его, через плечо спросил:

— За что?

— Так, — сказал Баклаков. — За дело.

— Я сегодня взрывчатку к Монголову транспортирую. Переходи в мою комнату, — сказал Салахов.

— Ничего, — сказал Баклаков. — Больше драки не будет. Обещаю.

...Новый год проскочил незаметно. Обошлось без шума, пальбы и выпивки. Над управлением висело «время отчетов».

В начале января Баклаков выбросил в мусорную корзину заготовленные наброски глав. Стопкой сложил полевые книжки. Требовалось начать все сначала. Складывая книжки, он быстро просматривал их.

Раздавленный между страницами комар, срыв карандашной строчки, следы дождя на покоробленной странице, случайно попавшая травинка — запахи, мечтания, озноб, усталость, долг, мысль, лето.

Он положил перед собой карту Монголова. Гурин прав: плоская, без мечты и фантазии карта. Фиолетовое поле триаса. Предположительно палеозойский массив на востоке. На юге зеленая, в галочках, полоса эффузивов Кетунгского нагорья. Красные, в крестиках, овалы гранитов. Красные линии разломов, трещин земной коры.

Он смотрел на карту, зажав уши. На плоском цветном листе бумаги существовал четырехмерный мир во взаимосвязи перемещений земных пластов, дробящих его трещин, взрывы глубинных магм, буйное сумасшествие вулканических извержений. Когда? Как? Вопроса «почему?» не было. Этот вопрос относился лишь к золоту. О золоте после. Он должен представить себе историю. Разломы? Почему-то мысль его все время возвращалась к разломам. По ним проходят перевалы в хребтах, к ним приурочены речные долины, сбросовые обрывы хребтов. По ним проникает магма, они формируют рельеф. Зачем ему разломы? О них тоже после. Он взял чистый бланк карты и стал, еще не зная цели, переносить на нее красными линиями разломы, те, что наблюдал он сам, и те, что нанес на карту Монголов. Те, что отметил Дамер. Пунктиром он намечал разломы, которые просились предположительно по связи перевалов, речных долин — логике местности... Из управления он ушел последним, в первом часу ночи. Весь следующий день он ходил по бухте. Пытался обрести силу в моральной уверенности.

Вечером, по дороге в управление, он зашел за табаком в магазин. Он наладил отличную смесь: три пачки «Трубки мира» на одну большую «Капитанского».

Вахтерша пропустила его безропотно, хотя он не был ни в каких списках. Дело шло к весне. Вахтерши за зиму привыкали к их ритму работы.

В кабинете он зажег настольную лампу, взял стопу заготовленных раньше отчетов и положил перед собой

обзорную карту Территории. И вдруг подумал, что нет смысла тонуть ему сейчас в море фактов. Все эти отчеты он читал по пять раз и знает приложенные к ним карты. Не лучше ли просто подумать? Разломы! Он вытащил из тумбы плитку, поставил на нее жароупорную колбу, взятую в управленческой лаборатории. Сейчас будет чай, и впереди — ночь. Сила пророков в их моральной уверенности. Нельзя сейчас прятаться за мелочи. Он должен дать основу. Детали будут потом.

Стены кабинета тонули в полумраке. Он нагнул отражатель настольной лампы так, чтобы свет падал лишь на середину стола. В темноте высились стеллажи с образцами. Каждый камушек перещупан своими руками, доставлен на своем горбу. Почему молчат камушки?

Баклаков взял лист бумаги, ручку и вдруг, вместо задуманного списка вопросов, начал писать письмо двум Сонькам: Сонии и Суюмбике. Он писал дурашливое письмо: про таракана Сему, который живет в щели над его койкой, про знакомого бича, который по пьянке прикуривал лупой от северного сияния, про заполярные пейзажи без снега. Он писал и все время думал о горячей, пахнущей травами щеке Суюмбике и вообще о ней.

Когда он кончил письмо, то совершенно ясно понял, зачем ему требовались разломы. Если они формируют речные долины, то в зоне пересечения древних разломов коренное ложе долины будет иным, углубленным, или смещенным в сторону, или более широким. Именно в зоне пересечения разломов может прятаться россыпь в уготованной для нее ловушке. Россыпь не по всей долине, а там, где долину пересекает другой разлом. Как они не поняли этого с Монголовым летом? Почему не проверили на шурфах?

Он быстро перенес на бланковую карту разломов, сделанную им накануне, все гранитные массивы. Золото есть — вездесущие знаки. Это факт. Оно принесено гранитами. Это тоже факт. Ни в одном из гранитных массивов никто не видел рудного золота — это третий факт. Следовательно, были «специальные» золотоносные граниты, полностью разрушенные к текущему времени? Или золото содержалось в верхних частях существующих гранитных массивов? Верхние части срезаны эрозией. Или есть особый тип гранитов, еще нам пока неизвестный? Он без перехода принялся писать докладную записку Будде. Карта-гипотеза, отчет-гипотеза уже существовали для Баклакова. Он видел эту карту и знал текст отче-

та. Он писал легко. Смысл докладной записки сводился к следующему:

1. Проверить длинными шурфовочными линиями рельеф древнего ложа долины Эльгая там, где она пересекалась уже отмеченными разломами. (Он перечислил названия ручьев, координаты линий.) То же сделать для рек: Лосиной, Ватап, Китам.

2. Сделать массовый отбор проб для петрографического анализа гранитных массивов всего района. И для определения абсолютного возраста. Пробы должны быть массовыми, годными к статистической обработке. Если на этой основе не удастся выделить отдельные типы гранитов — значит, золотоносность связана с верхней разрушенной частью обычных для Территории массивов. В этом случае ожидать месторождения золота *по всем рекам Территории.* Поиски золота — поиски «ловушек» в речных долинах.

Баклаков посмотрел на часы. Было три часа ночи. Он снял ботинки и в одних носках вышел в коридор. Как он и ожидал, вахтер спал. Он лежал на полу, закутавшись в длинный тулуп. «Вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана», — пробормотал Баклаков дурацкую поговорку и бесшумно поднялся на второй этаж. Дверь комнатки Люды Голливуд была не заперта. Он забрал ее пишущую машинку и так же бесшумно вернулся в кабинет. Двумя пальцами он перестукал свою докладную, на ходу шлифуя формулировки.

В коридоре уже слышались голоса — менялась вахта. Он подождал, пока разводящий и прежний вахтер ушли, и, уже не таясь, отнес наверх машинку.

Он вышел на улицу. Вдохнул колючий воздух. Голова гудела от названий рек, перевалов, массивов, горных вершин.

В эту ночь он обрел главное — интуицию и уверенность. Он знал, что он прав.

Баклаков пошел к почте, чтобы опустить письмо Сонькам. На почтовом ящике висела надпись: «Окурков не бросать». На почте было пусто. Воскресенье, рано. Лишь одна женщина спиной к нему стояла у окошка телеграфа. Баклаков знал ее: техник-электрик с энергокомбината. Недавно от нее ушел муж. Ушел к продавщице на прииске «Западном». Решил податься в миллионеры. В Поселке все всё про всех знали.

— Извини, Тамара, но я эту глупость передавать не буду, — сказал в окошко Алик-в-Очках. Так его звали в

отличие от другого — Алика Жеребца, бывшего футболиста «Спартака». Баклаков взял чистый бланк и через плечо заглянул в текст телеграммы Тамары. «У вас светит солнце, а у нас полярная ночь, привет с Территории. Тамара».

На крыльце нос в нос Баклаков столкнулся с Сергушовой.

— О-о! Куда ты пропал? Почему не заходишь? — из-под пухового платка торчал только напудренный нос.

Баклаков промолчал.

— Ты какой-то синий. В общем, цветной весь. Пойдем, я тебе кофе сварю.

Он покорно пошел за ней.

— В отпуск хочу, — капризно сказала Сергушова. — Зима меня доконала. Я человек южный, подготовленный для итальянского климата. А тут зима, зима и, наверное, никогда не кончится.

— Ходи побольше. Сейчас тихо. Можно на бухту, в сопки. Снег что асфальт везде. Не застрянешь.

— Господи! До чего же ты тошный. Физическое здоровье, работа, и на этом кончился мир. Тоскливый бред.

— Я этим бредом живу, — сухо сказал Баклаков.

В комнате, где он не бывал с того гнусного вечера, все было по-иному. Валялись вещи Гурина, его книги. Она покидала все это за ширму и уселась, закутав ноги одеялом «Сахара». Плитка тихо пощелкивала, нагреваясь.

Он сидел, не сняв полушубка, и смотрел на красную полоску спирали под чайником.

Сегодня была хорошая ночь. Радость грядущего лета вдруг проснулась в нем. Он поднял голову. Сергушова смотрела на него в упор, не мигая. Лоб ее был наморщен. Он отвернулся в сторону, и кривая улыбка поползла по лицу. Он ладонью убрал улыбку. Он очень жалел Сергушову. Он жалел, потому что знал: она никак не может найти себя. Как женщина, человек, в конце концов, журналист. Баклаков повернулся и подмигнул ей:

— Сегодня была хорошая ночь. Если верить Копкову, я уменьшил количество зла на земле, — сказал Баклаков.

20

Малыш, взятый Монголовым как кадр № 1 будущей разведочной экспедиции, днем и ночью мелькал по Поселку в куртке на собачьем меху, низко обрезанных ва-

ленках и якутской шапке с длинными ушами. Он был в том приподнятом состоянии, когда человеку вдруг становится ясной судьба.

Обязанности его были разнообразны: он получал на складах снаряжение, выписанное Монголовым, вербовал по «сучьим куткам», в магазине, во время случайной встречи на коробах рабочих. Первыми в экспедицию пошли Кефир и Менялка. Малыш нашел их в хибаре около скотобазы, где они второй месяц крутили пластинки Утесова и Шульженко, выбрасывая пустые бутылки в окно. Малыш встряхнул их, поговорил про минувший сезон и завтра велел трезвехонькими являться в управление. Они пришли и под начальством Седого, который был также откомандирован к Монголову, занялись получением грузов. И они же с первой партией груза, где в основном были гвозди, бельтинг и деревянные рейки, выехали в долину Эльгая — ставить палатки для будущих кадров.

В механических мастерских день и ночь трещала электросварка и шипел газовый резак — из железных бочек готовились печи для палаток. Занимался этим Валька Карзубин. Среди стихии огня и металла, с чумазой рожей, торчащей из-под щитка, Валентин Карзубин был уверен и весел. «Что в башку взбредет, то и соорудим», — приговаривал он, вгрызаясь в очередную бочку. Технология изготовления печей была несложна: из бочки вырезалось днище, вваривалось снова на глубине одной трети, снизу прорезалась дырка для поддувала, выше — дырка для дверцы, наверху наваривался кусок обсадной буровой трубы, на который потом надевались жестяные дымовые трубы. Дальше бочка поступала к жестянщикам, которые ладили дверцы и в комплект клали колена труб, изготовленных тут же.

Монголов писал проект на разведку в выделенной ему клетушке. Отчет за минувший сезон был передан Баклакову, «и. о. нач. партии». Из-за срочности проекта у Монголова даже не было времени как следует поговорить с Баклаковым, он лишь передал ему материалы и геологическую карту предварительной рисовки. Монголов никак не мог отделаться от посторонних ненужных мыслей. Впервые в жизни он не подчинился приказу руководства, чтобы на другой день, как мальчишке, сменить решение. Он прикрыл преступную выходку Малыша, взял на себя роль судебного органа. «Если все будут самолично разрешать преступления, что будет с поряд-

ком?» — думал Монголов. И самое плохое, он не протестовал против дела, в пользу которого для государства не верил, и, следовательно, был обязан бороться с ним в должном порядке. Все это, он понимал, являлось следствием смутного ощущения ошибки, пришедшего летом. Монголов все более уходил в себя, худел, замыкался, и всем в управлении вдруг стало заметно, что Монголову за пятьдесят.

Прораб Салахов перевозил взрывчатку. Склады ее находились в пятнадцати километрах от Поселка, в узкой долинке, затянутой колючей проволокой. Часовые, контрольно-пропускные пункты. Тракторные сани, помеченные красным флажком опасности, медленно выползали из ворот на зимник и, обходя Поселок, двигались в далекую заснеженную долину Эльгая. Малыш, Салахов, Седой, назначенный комендантом палаточного городка на Эльгае, действовали самостоятельно, минуя Монголова. В этом была именно армейская четкость майора-артиллериста — выбрать себе помощников. Чинков беспрепятственно подписывал приказы об откомандировании к Монголову всех, кого он просил.

Восточный разведучасток появлялся из-за поворота долины как странный нарост на заснеженной строгой тундре. Он помещался в той самой котловине, где осенью Куценко поставил свою палатку. Сверху и снизу по течению реки котловину зажимали сгрудившиеся сопки. На вытоптанном и грязном от дыма снегу здесь стояло шесть больших каркасных палаток. Над палатками торчали печные трубы, расходились тропинки к шурфовочным линиям. Шурфы издали замечались по темным ореолам разбросанного при взрыве грунта. Отдельная тропинка вела к небольшой наледи, где брали лед для воды. Уголь в мешках, бочки с соляркой, бензином и керосином лежали прямо на снегу, возле длинной складской палатки с незапертой дверью.

...Кефир и Седой снова работали в паре. Пока один бил копьевидным ломиком бурку в глубине шурфа, второй курил или тащил от другого шурфа вороток на салазках. В этот раз была очередь Кефира, стоя одной ногой в бадье, он опустился в шурф и принялся долбить бурку, время от времени вычерпывая грунт ложкой на длинной деревянной ручке. В проходке шурфов, кроме физической силы, требовались разум и опыт. Иначе шурф

уходил вбок или расширялся, точно бутылка, или грозил обрушением. Во всяком случае, новичку приходилось вынимать грунта вдвое больше.

Лом был заправлен хорошо. Седой умел это делать. Кефир с выдохом опускал лом, останавливаясь только, чтобы вытереть пот и взглянуть на темный квадрат неба в десяти метрах над ним. На этой линии были глубокие шурфы. «Это ж надо, — отвлеченно думал Кефир, — самому себя закопать на такую глыбь». Над головой его, пристроенная на палке-распорке, с треском горела свечка. Свечки в шурфах сгорали вдвое быстрее, чем на воздухе. «Тяга, что ли, тут действует, — думал Кефир. — Хотя какая тут тяга, откуда воздуху тянуть?» Было морозно, и пламя свечи погружалось в стаканчик из парафина. Кефир снял рукавицы и обмороженными, обожженными, потерявшими чувствительность пальцами ободрал парафин. В шурфе посветлело, стены его засверкали кристаллами льда. Кефир увидел, что бурку уводит вбок, придется крепко обдалбливать с одной стороны стенку шурфа. И бурка должна быть сорок сантиметров, ни больше, ни меньше, потому что сорок сантиметров называется «проходка», или «сороковка». Это учитывают, когда моют проходки. Наверху заскрипел снег, и кусок мерзлого грунта запрыгал по стенкам, ударил Кефира в плечо. Он выматерился вверх и тут же услышал странный стук лома. Он нагнулся и поднял гладкий окатыш величиной чуть меньше куриного яйца. На боку окатыша отсвечивала блескучая полоса. Самородок! Кефир покидал его в ладони и почему-то вздохнул. Потом без перехода развеселился и заорал вверх, как в трубу.

— Се-е-д-ой!.. В душу твою, в ребра! Держи!

Сверху, крохотная на таком расстоянии, нависла голова Седого в лохматой шапке.

— Что базлаешь?

— Держи, дура! — Кефир, изогнувшись, запулил в него кусок золота.

Голова исчезла. Сам Кефир отпрыгнул в сторону, прикрыл голову лопатой — бахнет такой сверху, прошибет темечко до кишок.

Самородок не бахнул. Вверху опять заскрипел снег, видимо, Седой искал. В просвете опять возникла голова, и Седой с чувством сказал:

— В веру, надежду и святость. Там еще нет?

— У тебя глаз счастливый, спускайся, — хитро сказал Кефир и опять начал долбить бурку. Наверху Седой

еще раз осмотрел самородок и бросил его на кучу грунта. Меж тем Кефир кончил долбить бурку, зачистил ее края и крикнул: «Давай!»

Седой сбросил ему красные пропарафиненные патроны, аммонит и опустил на проводах детонатор. Кефир заложил в бурку патроны, приспособил детонатор и принялся тщательно трамбовать грунт, чтобы взрыв был хорошим. В шурфе потеплело от его разгоряченного тела и свечки. Он снял телогрейку и стал каблуком уплотнять грунт. Потом постукал по нему торцовой стороной лома. Седой уже спускал сверху бадью. Кефир снова встал в нее одной ногой, другой зацепился за трос, наверху заскрипел вороток, и он пополз вверх, отталкиваясь от шершавых льдистых стенок шурфа...

...В тундре было тихо. Слышались только далекие голоса на соседней линии в двухстах метрах от них. Стоял серый рассвет, уже кончалась полярная ночь, и днем часа на два светлело. Из-под обмызганного кустика выскочил ошалелый куропач и закеркал, закричал.

— Чтоб тебя чахотка, — выругался Кефир, — весну предвидишь?

Кефир пошарил глазами, поднял самородок и запустил им в куропача. Он промахнулся сантиметров на пять. Куропач возмущенно крикнул и отбежал. «Дай я», — сказал Седой и побежал к самородку. Так они швыряли в куропача минут десять, отбежав уже далеко от шурфа. Наконец куропач замахал крыльями, отлетел на увал и там завопил совсем возмущенно. Кефир поднял самородок, сунул его в карман, и они побежали к взрывной машинке. Кефир присоединил провод, крутнул ручку. Ухнул взрыв, и вдруг они с ужасом увидели, как в дыме, пыли и песке из шурфа вылетел человек, шмякнулся на отвал.

— Как-кой бог? Кого туда заволок? — заикаясь, спросил Кефир. Они с ужасом смотрели на темный распластанный силуэт возле шурфа. Потом Кефир стал тихо трястись от смеха. Он сидел, ухватившись за взрывную машинку, бледный как снег, и все трясся, все хихикал.

— Я т-там т-т-телогрей-ку з-за-б-был, — сказал он.— Это, п-понимаешь, она взлетела.

— Ну тебя к фене, — сказал Седой. — С тобой заикой станешь.

Только теперь он заметил, что Кефир был в одном свитере. Они подошли к шурфу, и Кефир сказал:

— Идея есть! Давай шабашку устроим.

Они, не сговариваясь, двинулись к палаткам. Перед палаткой Монголова Кефир отряхнул с телогрейки землю, шмыгнул носом и открыл сколоченную из реек, обтянутую брезентом дверь.

Монголов сидел за камеральным столом над картой.

— Вот, Владимир Михайлович, — смирным голосом сказал Кефир и положил самородок на карту. — Обмыть надо. По закону старателей.

— Где? — быстро спросил Монголов.

— Линия четыреста тридцать, шурф восемь, на первой проходке десятого метра.

— Ага! — повторил Монголов и снял самородок с карты. Он нашел на карте шурф, про который сказал Кефир. — Вот что, — сказал Монголов, — хоть умрите, но бить до плотика. И в скальный войти сантиметров на пятьдесят. А спирта нет. Был бы — не жаль.

Кефир вышел к дожидавшемуся его Седому.

— Вот что, товарищ Кадорин, — сказал он. — Выпивки у начальства нет. Но предвидится. И еще предвидится, что Гиголов, то есть я, и Кадорин, это ты, Седой, заработают в этом месяце и в последующие по пять-шесть, при усердии семь. Такой выделен фронт работ.

— Ух! — с непривычной дурашливостью сказал Седой и швырнул рукавицы на землю. — Горит душа по работе! Айда, что ли?

— Счас! — Кефир снова вернулся в тамбур, открыл дверь к Монголову и просунул длинноволосую голову.

— Еще дрогнет небо от копоти, Владимир Михайлович! — сказал он.

— Пожалуй, может и дрогнуть, — согласился Монголов.

Седой и Кефир вернулись к шурфам. Монголов вышел следом за ними. Где закономерность? Самородок с куриное яйцо — не знаки. Такой не может появиться случайно. В глубоких шурфах. Только не самородками жива золотая промышленность. Она жива песочком и пылью. Так что рано трубить. Вынутые грунты лежали бесполезно — они требовали промывки. Песочек и пыль золота должна обнаружить промывка. Без промывки шурфовочные линии немы. Монголова уже захватывал азарт. Он искал Салахова, который где-то вверху делал разметку следующей линии.

Монголова остановил крик. Кто-то бежал к нему от палаток. Он узнал Гаврюкова, управленческого радиста,

который налаживал им радиостанцию. Без шапки, пламенея рыжей шевелюрой, Гаврюков издали крикнул:

— «Северстрой» накрылся, товарищ Монголов!

— Что-что?

— Накрылось «Северное строительство», — сообщил, подойдя, Гаврюков. — Только что по рации Город слушал. Организация ликвидирована как отслужившая срок эпохи. На месте организуется нормальная административная единица. Как всюду, везде.

— Ты не ошибся?

— Радист за распространение ложных слухов карается... — обиженно сказал Гаврюков. — Согласно статье...

— Так, — вздохнул Монголов. — Понятно.

Он вдруг подумал об утреннем самородке, а также о Будде. Неужели Чинков знал о предстоящей смене эпох и успел проскочить в тот миг, когда дверь еще открыта, но и не захлопнута? Невероятно! Всунуть золото Территории в щель междувластия. Если есть, то останется. Если нет — пусть уйдет, как былые грехи «Северстроя». Уж не колдун ли вы, товарищ Чинков?

— Что будет-то, товарищ Монголов?

— Что именно?

— Управление наше, разведка. Вообще...

— «Северстрой» отменили, а не работу, — просто сказал Монголов. — Иди послушай еще. И рация нам нужна. Поспеши с монтажом.

...В тот же вечер, не ожидая трактора, Малыш на лыжах убежал к прииску. Монголов поручил ему организовать и доставить бойлер для зимней промывки. Он сам нарисовал ему чертеж: две сваренные бочки, из которых нижняя — топка, верхняя — котел для нагревания воды. В «Северстрое» черт-те что делалось из железных бочек.

В эту ночь Монголов долго не мог заснуть. Он жил в палатке один. На улице было тихо, лишь разошедшаяся печь гудела и светилась во мраке палатки вишневым цветом. Было жарко, и Монголов лежал поверх спального мешка, закинув руки за голову. Ему не хотелось зажигать свечку, не хотелось работать. Жену и сына он давно уже отправил в подмосковный город Мытищи. Там у Монголова была дача, купленная на премию за открытие месторождения прииска «Западный». Монголов хотел, чтобы в старших классах сын учился в строгой школе, без скидок на отдаленность. Осенью ему предстоял полугодовой отпуск, а после отпуска он мог уже выхо-

дить на пенсию. Но Монголов не думал сейчас о пенсии. Сообщение о ликвидации «Северстроя» не удивило его. Этого можно было ожидать.

От печки в палатке было очень жарко. Монголов сунул ноги в валенки, надел полушубок, прикрыл поддувало печки и вышел на улицу. Ночь была светлой. С ближней шурфовочной линии доносились голоса и стук металла — многие шурфовщики предпочитали работать по ночам. От луны долина Эльгая казалась серебряной. Холод забирался Монголову под полушубок. Он думал об удачливости и твердой воле главного инженера Чинкова. Монголов посмотрел на призрачную невесомую гряду сопок. Эти сопки... и вдруг Монголов подумал, что замыслы главного инженера должны идти гораздо дальше Эльгая. Он не завидовал способности Чинкова идти на риск. Его, Монголова, жизненные принципы были другими. Много удачливых честолюбцев на его глазах гибло и губило других. Но если Чинков мыслит масштабами Территории, не его ли монголовский долг встать под знамена Чинкова? Или, напротив, не дать зарваться.

На шурфовочной линии хлопнул взрыв. Стихло. Раздался смех, пробурчал чей-то голос, и опять смех. Долина лежала в лунном свете, и вдруг сознание Монголова раздвоилось. Он понимал, что стоит тут, ощущал холод под полушубком, стыли ноги в непросохших валенках. В то же время он чувствовал, как мимо и сквозь него мчится и течет лукавый изменчивый поток жизни. Бытие вихрилось, заполняло долину Эльгая и миллионы других долин и материков, оно не имело цены именно вследствие ежесекундной изменчивости, текучести. Все параграфы, правила и устои были ничтожной слабой броней против мудрой и лукавой усмешки, висевшей над миром.

— Так скоро стихи начнешь сочинять. Отставить, Монголов! — сказал Монголов и пошел обратно к палатке.

ВСЕСТОРОННЕЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА

«Вышеупомянутое священное золото цари... тщательно охраняют и ежегодно чтут богатыми жертвами».

Геродот. История

«...Если даже любовь к святым апостолам не может поднять христиан, то попробуйте поднять их жадностью к золоту и серебру, имеющимся в достаточном количестве у неверных».

Византийский император Алексей Комнин.
Обращение к крестоносцам

«Подготавливая Крымскую войну, Пальмерстон и другие главные организаторы ее отлично знали, что если на долю царской России в сороковых годах XIX века приходилось 40% мировой добычи золота, то уже к 1852 году империя Николая I давала лишь 8,9%, Австралия — 45,9%, Калифорния — 35,1% золота, добываемого во всем мире».

В. В. Данилевский. Русское золото

«...Из-за золота перебили десять миллионов человек и сделали калеками тридцать миллионов в «великой освободительной» войне 1914—1918 годов».

В. И. Ленин. О значении золота теперь и после полной победы социализма. Полн. собр. соч., т. 44

«Спрос на золото в международном масштабе достиг беспрецедентного размера. Дельцы в Лондоне в один голос заявляют, что рынок окажется не в состоянии справиться с таким спросом на золото».

Газеты 1967 года

«13 марта на лондонской бирже продано 150 тонн, в Цюрихе 60 тонн, в Париже 16 тонн золота. 14 марта в Лондоне продано 200 тонн, в Цюрихе 100, в Париже 60 тонн золота. Паника нарастает. Операции на бирже временно прекращены».

Газеты. Март 1968 года

«Развертывается настоящая эскалация «желтого металла».

В Париже цена золота достигла 46,12 доллара за унцию — это самый высокий уровень после 1968 года...»

Газеты. Январь 1972 года

«Цена за одну унцию золота подскочила в Лондоне до 70 долларов. В Париже до 70,66 доллара...»

Газеты. Август 1972 года

«Цена на «желтый металл» достигла почти 92 доллара за унцию (при официальной стоимости 42 доллара за унцию)».

Газеты. Март 1973 года

«Цена золота на лондонском рынке сегодня достигла рекордного уровня — 141,75 доллара за унцию».

Газеты. Январь 1974 года

«Цена на золото на западных рынках достигла самого высокого уровня. Сейчас она составляет 184,5 доллара за унцию».

Газеты. Ноябрь 1974 года

III

ВЕСНА

21

Монголов поместил бойлер для зимней промывки шлихов у нижней шурфовочной линии. Подвезли уголь, расшуровали топку, набили льдом верхнюю бочку. Мыть шлихи начал Кефир, имевший старательский опыт. Он и это назначение принял со спокойствием. «Мышь меня забодай! Ни на одной работе без меня обойтись не могут».

Холмики проходок чернели вокруг гулкой дыры шурфа. Дощечки с карандашными номерами проходок торчали как маленькие памятники. Над долиной посвистывал мерзлый ветер. С верховьев реки доносились взрывы. Удивленный тундровый ворон неспешными галсами туда-сюда пролетал над дымящим бойлером, искал поживы.

...Промывка нижней линии ничего не дала. Шлихи оказались или пустыми, или с ничтожным содержанием пылевидного золота. Монголов дал об этом радиограмму Чинкову и приказал перетащить бойлер на следующую по порядку линию. Монголов знал, что Чинкову во что бы то ни стало нужен результат. Для результата надежнее мыть на линиях, пробитых в котловине, где осенью намыл свое золото Куценко, а Кефир с Седым нашли самородок величиной с яйцо. Но поступать так значило прыгать в поисках удачи. Гоняться за фартом Монголов не хотел и не мог. Это было бы изменой принципам его жизни.

Вторая линия также оказалась пустой, и бойлер методически переместили на третью линию, где первые промывки также оказались пустыми. В разведке уже притерпелись к этой странной процессии: трактор ДТ-54, за ним на прицепе чадящее сооружение бойлера, а позади неторопливо шагает Кефир с мундштучком в зубах и видом человека, знающего, что ничто не может изменить установленный в мире порядок, а главное, незачем его изменять. Эту процессию окрестили «похоронка», потому что пока она хоронила надежды на золото. На разведке жило тридцать пять мужиков, приехавших на Территорию не за романтикой, а за деньгами. И они зарабатыва-

ли деньги вне всякой зависимости от того, что дает промывка. Ни один из них не был материально заинтересован в золоте, никому не мерещились премии. Сделай дырку в земле и ступай дальше. Но по общему закону всякого человеческого дела, куда вложен труд, неудача промывки тенью легла на разведку. В одной из палаток поставили бражку. Возникла пьяная драка, которую, как всегда, молчаливо разнял Малыш. Но, расшвыряв по койкам дерущихся, Малыш не ушел. Дыбился у входа в своей собачьей дохе и шумно сопел. Минут через десять, когда все стихло, Малыш поднял кулак и сказал: «Если еще драку замечу — больно поколочу. Того, кто бил, того, кого били, и тех, кто смотрел. Лучше живите тихо».

Малыш еще посопел и вышел из палатки. Он шел на верхнюю линию, чтобы проверить, все ли в порядке там. Дорогой Малыш обдумывал: те ли слова он сказал, чтобы поняли необходимость порядка. Дисциплина нужна. Прежде всего, когда невезуха. Чем больше неудач, тем строже должна быть дисциплина. Иначе — труха. Так лично ему сказал Монголов. К Монголову Малыш испытывал чувство нерассуждающей преданности. Его личная жизнь приобрела на разведке Эльгая твердую основу. Письма из Астрахани шли регулярно. Даже вскользь задавался вопрос: не зазнался ли он, заедет ли в отпуск домой или сразу кинется по шикарным курортам? Заедет! Отпуск будет осенью. Если позволит Монголов. Заедет и вернется сюда вместе с ней. Если она захочет. А она, пожалуй, захочет. Но, конечно, надо посоветоваться с Монголовым. Как Владимир Михайлович скажет, так он и поступит. Точка.

...В одной проходке третьей линии Кефир намыл хорошее золото. Так как эту пробу ждала вся разведка, Кефир прямо в лотке понес ее на вытянутых руках за два километра к Монголову. Дорогой лоток заледенел, и когда Кефир поставил его на стол, то оказалось, что и руки примерзли, лоскут кожи остался на окованном жестью борту.

— Рукавицы не мог надеть... твою душу? — спросил Монголов. Кефир вздрогнул. Раньше Монголов никогда не матерился. Даже и представить себе было нельзя.

— Я в теплой воде хорошо отогрелся, — ответил он и, лучезарно улыбнувшись, добавил: — В теплой-то воде... ласково.

— Мой, прошу тебя, хорошо. Может быть, спирта хочешь?

— Спирт мне никак нельзя, Владимир Михайлович, — быстро ответил Кефир. — Фарт спугну. Закон старателей.

Кефир выбрался в тамбур палатки и дальше всю обратную дорогу до бойлера что-то убедительно доказывал самому себе, размахивая забинтованной рукой.

Но это была единственная удачная проба на третьей линии. Дальше снова пошли пустые. Над разведкой, над скопищем палаток с черным снегом вокруг них, над продырявленной шурфами землей, над долиной, в верховьях которой все так же вяло хлопали взрывы, повис тягостный дух неудачи. Приближение весны мешало спать тем, кто вернулся со смены, и поэтому они лежали на нарах и вели вялые монологи: «Хорошо бы найти три ба-а-льших самородка и...» Но это были слова, лишенные смысла. Мужики, работавшие на Восточной разведке, были старыми кадрами, знавшими золото Реки или иных мест. Золото само по себе не вызывало у них никаких эмоций. Тусклый грязноватый металл, имеющий дурную лишнюю ценность. Очень опасный металл, если у тебя мозги пойдут набекрень, как у такого-то и такого-то в таком-то и таком-то году. Разговоры о золоте затихали. Иногда кто-либо выходил из палатки и просто стрелял в воздух: «Душа громкого требует. Добьем разведку, рванем в отпуск. Устроим шумный шорох под звездами, эх и устроим...»

22

В феврале кончилась полярная ночь. Над Поселком стало появляться бледное солнце, улицы изменились. Стало заметно, что пыльные зимние бури сорвали со стен побелку, обшарпали застрявшие с Октябрьских праздников лозунги. На обдутых улицах лез в глаза всякий хлам: выброшенные валенки, сапоги, консервные банки. С первородным изумлением жители смотрели на сугробы, соединявшие дома вровень с крышами. В сугробах были пробиты тоннели. Лица прохожих выглядели белыми, как картофельные ростки. Поселок походил на старый, выдержавший штормы корабль.

Но уже были две приметы весны. В геологическом управлении всплыло слово «весновка». Пока оно употреблялось в прошедшем времени: «Помню, прошлый

год, на весновке, мы...» Сам факт «весновки» возник из-за сугубого бездорожья Территории. Каждая партия забрасывалась в район по зацементированной морозами тундре, по льду рек и озер. Второй приметой весны был слух: «Бог Огня опять костер запалил».

Зимой Бог Огня работал на базе «Северторга». Каждую осень его охотно брали сюда. В новеньком белом полушубке, низко загнутых валенках, в кожаной шапке, Бог Огня с плотницким ящиком ходил всю зиму из склада в склад. Ремонтировал крыши, там, где в крохотные дырки протекал снег, сколачивал стеллажи для товаров, забивал приготовленные к отправке ящики, чинил загородки, вертушки и двери, врезал замки. Платили ему хорошо, и что там еще желать?

Смутная волна неясных желаний накатывала на него в феврале. Солнечный свет тревожил. Бог Огня шел на берег бухты, смотрел на белую гладь, широкие ноздри вздрагивали. Он слышал запах талого снега, запах земли и влажного льда, хотя все это было еще далеко впереди.

Бог Огня разжигал на берегу костерок и затихал на какое-то время, глядя на прыгающее слабое пламя, на то, как оседает снег под костром. Когда ветер бросал дым в лицо, Бог Огня закрывал глаза и так сидел на корточках, лишь ноздри все шевелились. Но сидеть долго на месте он не мог и шел дальше. Шлялся, точно потерянный, между домами Поселка, неловко перелезал через короба, натыкался на стены. Приткнувшись где-либо у короба, Бог Огня снова разжигал костерок. Щепки, газеты, доски от ящиков как бы сами возникали у него в руках, и сам по себе загорался огонь. Бог Огня снова замирал у костра. Лицо его темнело, глаза превращались в щелки, и Бог Огня напоминал теперь дикого таежного жителя, неизвестно как очутившегося среди домов. Он вставал и походкой лунатика уходил дальше. Ноги при ходьбе подгибались, уши кожаной шапки как бы оживали и странно топорщились, полушубок горбом вздувался на спине. Бог Огня опять затихал ненадолго у очередного костра и опять уходил, все больше и больше превращаясь в странное, не нашего мира существо, у которого ноги, руки, шапка, валенки, полушубок, рукавицы, глаза живут отдельной и разобщенной жизнью. Где-то у очередного костра его находил Жакон есть Жакон и, отечески приговаривая, вел в КПЗ, где и запирал на ночь. Но и в КПЗ Бог Огня устраивался на корточках

в темном углу и по-шамански вытягивал руки, будто грел ладони над незаметным всем прочим костром.

Утром Жакон есть Жакон выпускал Бога Огня на работу, смотрел ему в спину и что-то говорил по-татарски, жалостно покачивая головой. Через несколько дней история повторялась. Жакон никогда не ругал и не оскорблял Бога Огня. Может быть, жалел как больного, может быть, суеверно побаивался его, а может быть, просто за многие годы совместных походов в КПЗ у них выработалась своеобразная дружба.

...В прокуренный воздух управленческих коридоров проползала тревога. «Помню, прошлый год, на весновке...» Взгляд, уставленный в угол или в окно, усмешка. Весновка была ежегодным откровением жизни, возвращением к ней после затхлого воздуха коридоров и комнат. Солнце, сверкающий снег, крики обезумевших куропаток, сиплое тявканье песца. Мир заполнен выше краев. Белая мгла над тундрой, освещенная изнутри велением неизвестных сил. Вот что такое, братцы, весновка. Мотаешь неизвестно куда и зачем с ружьем, и в тебе не перегорает желание быть в одно и то же время всюду: на закинутых в небо хребтах Азии, в тундре с темными проталинами по берегам мерзлых рек, в тех самых залах, где ходят чудесные, как птицы в тропиках, женщины, или лучше всего у себя в деревне на коне по лугу, залепленному, как ситец, цветами. Все это и есть весновка. Придешь в себя, база где-то сзади в десяти километрах, туман, еще эту базу надо найти, размытые тени, усталость, и вдруг, верь не верь, трубный гусиный крик, тревожный, как долг, и ясный, как жизненная задача. Весновка!

Но до этого проза жизни: проект, защита отчета. Одним словом, когда-то еще прилетят пуночки. На доске приказов висели распоряжения Чинкова. График сдачи отчетов. График сдачи проектов. График выезда в тундру. Раньше выезжали без графиков, все было тихо, мирно. Все было путем, посмотрим, как оно будет с графиками.

23

Чинков предвидел, что начальником центрального геологического управления бывшего «Северстроя» назначат Робыкина. Но все же, узнав, помрачнел и долго си-

дел у себя в кабинете. Взгляд в стол и поза, как будто Чинков прислушивался к внутренней боли.

Конец «Северстроя» означал конец эпохи в истории Реки, Территории и в какой-то степени, государства. В этой эпохе тесно сплелись жесткие законы освоения новых земель, государственная потребность в золоте и специфический образ жизни замкнутой организации, именуемой «комбинат особого типа». После «Северстроя» остались десятки заброшенных в тайге приисков, сотни километров автомобильных трасс, проложенных по следам легендарных маршрутов первооткрывателей золота. Остался Город, выстроенный на месте груды сваленных на морском берегу грузов. И еще остался след «Северстроя» в судьбах и душах сотен тысяч людей.

Правительственный указ о его ликвидации странным, может быть, даже символическим образом совпал со свойственным Городу климатическим феноменом, из-за которого он считался самым опасным для сердечников и гипертоников местом в стране. В конце зимы или в разгар лета в Городе вдруг начинала беситься погода: ветер сменялся снегом, снег — дождем, дождь — ветром противоположного направления и солнцем. Ртутный столбик барометра прыгал по шкале, точно регистрировал землетрясение. Машины «скорой помощи» носились по Городу, как завывающие вестники служебных перемещений, уходов на пенсию и смертей. (Ритм и обычаи «Северстроя» быстро изнашивали сердца.) Существовала строгая, хотя и никак не связанная с медициной и временем телефонного звонка иерархия вызовов: чей считается первым, чей — вторым, кто может подождать в демократической общей очереди.

Именно такая сумасшедшая погода выпала на второй день после опубликования указа. Телефон в «скорой помощи» звонил беспрерывно. Но иерархия и регламент были уже нарушены — неизвестно, кто звонит, бывший ли, наоборот, будущий. Торжествовали порядок и медицина. Эту ночь в устной хронике Города так позднее и окрестили — «ночь инфарктов».

«Ночь инфарктов» миновала Робыкина, более того, вознесла. «Дело не в том, что я когда-то перебежал Коте дорогу, — думал Чинков. — Сила, слабость и опасность Коти в традиции. Он целиком за Реку. Не верю я, что у Робыкина хватит ума подняться».

Чинков вполне допускал, что в борьбе с ним Робыкин

будет использовать все связи, любые средства. Чинков и сам действовал так. Но он считал необходимым в любую интригу вкладывать изящество и красоту. «Котя играет в «очко» или в покер. Я играю по шахматным правилам», — думал Чинков.

Назначение Робыкина начальником центрального геологического управления озадачило не только Чинкова. Робыкин не совершал прославленных маршрутов или открытий, не имел странностей, не славился беспощадным азартом в работе. «Северстрой» же был избалован яркими личностями на руководящих постах. Все они прославились либо причудами, либо разного рода страстями, проявлению которых способствовали крупные северстроевские оклады и почти бесконтрольное положение. Но из всех приличных и неприличных свойств их натур всегда выделялись ум, сила воли, страсть и удача в работе. Сложившийся за двадцать лет ореол исключительности, которым обладал каждый начальник геологической службы «Северного строительства», был автоматически перенесен на Робыкина. Его автоматически окружили люди, которые занимали различные мелкие должности в управлении, но главной должностью которых была близость к начальнику управления. И так как Робыкин все-таки явных внешних черт исключительности не имел, то молва решила, что Робыкин чрезвычайно хитер. Что он обладает невероятным даром интриги, что прежнего начальника управления и всех возможных кандидатов на этот пост он переиграл в несколько ходов, что... Надо отдать должное Робыкину — никакими чрезвычайными интригами он не занимался, и его назначение на пост было, может быть, просто следствием его заурядности. Все предшественники наряду с яркими достоинствами обладали и яркими недостатками.

Всякий руководитель провинциальной службы «Северного строительства» имел в Городе свою агентуру. Чтобы узнать заранее проекты, решения и изменения. Агентурой Чинкова была Лидия Макаровна, у которой все секретарши, машинистки, стенографистки являлись подругами давних лет. Они сообщали ей новости посредством несложного кода в радиоразговоре, телеграмме или письме. Если из центрального управления приходила бу-

мага, Лидия Макаровна просто клала ее на стол Чинкову. Если бумаге еще предстояло прийти, она сообщала об этом устно. Такова была их игра.

Так и сейчас Лидия Макаровна вошла, встала у порога и, самозабвенно дымя папиросой, сказала: «Телеграмма с вызовом в Город. Подпись Робыкина. Вопрос об ассигнованиях, в том числе и о тех, что получены целевым назначением в обход Города». Она еще раз пыхнула папироской, хотя знала, что Чинков, как и Робыкин, табачного дыма не терпит. Табачный дым также входил в игру. Лидия Макаровна знала, что Чинков, могучий Будда, боится попросить ее не курить. Боится, и все.

Чинков пошел на рацию. Гаврюков долго вызывал базу Монголова, мешали разряды. Умформер рации тревожно гудел, прерывался и снова гудел. Чинков стоял рядом со стулом радиста, стоял, опустив руки по швам, и, сжав губы, смотрел в пол. Наконец Гаврюков оживился и, не снимая наушников, повернулся к Чинкову.

— Запросите результаты промывки, — глухо сказал Чинков.

Веснушчатая, с рыжими волосами рука Гаврюкова выбила запрос, через минуту послышался короткий, как выстрел, писк ответа.

— Ничего нет. Все пусто, — сказал Гаврюков.

— Передайте. Приказываю немедленно перенести промывку в котловину. Немедленно. Приказываю. Чинков. — Чинков назвал номер линии. Именно тот, который указывал в докладной записке Сергей Баклаков.

База Монголова озадаченно замолкла. Гаврюков скосил глаз на Чинкова. Тот коротко кивнул головой. Гаврюков поспешно выбил «це эль» — «работу закончил» — и снял наушники.

Чинков покачался с пятки на носок, как ванька-встанька, и вдруг громко спросил:

— Скажите, как часто бывает непрохождение при связи с Монголовым?

— Случается, — пожал плечами Гаврюков.

— Сегодня была отвратительная слышимость, не правда ли? — тихо произнес Чинков и утвердил печально: — Разумеется, на редкость отвратительная слышимость. Жаль!

Чинков неторопливо вышел из радиорубки и пошел по коридору усталой походкой задавленного заботами человека.

Гаврюков нагнал его.

— Согласно положению я обязан записать разговор в журнал.

— Вы, кажется, флотский? — спросил Чинков, в упор глядя на Гаврюкова. Он опять уже изменился: был насмешлив и весел.

— Так точно! — сказал Гаврюков.

— Насколько мне известно, все флотские отличаются остроумием и сообразительностью.

— Так точно! — весело подтвердил Гаврюков.

— Ну вот... — Чинков улыбнулся поощрительно и пошел дальше по длинному коридору, оставив Гаврюкова с растянутой до ушей ответной улыбкой.

В середине дня состоялось заседание райкома. Идея этого заседания была подана членом райкома Чинковым неделю тому назад. Заседание посвящалось перспективам оленеводства, и доклад делал опять же Чинков. «До сих пор, — сказал он, — оленеводство Территории было как бы внутри себя и не имело товарного выхода, кроме снабжения олениной Поселка. Сейчас, когда в глубинах Территории организуются крупные разведочные экспедиции с сотнями людей, снабжение их мясом, оленьими шкурами, меховой одеждой должны взять на себя колхозы. Колхозы должны дать оленьи и собачьи упряжки, если это потребуется. Прежде всего, это выгодно самим колхозам, которые наконец-то найдут сбыт для лишнего стада оленей, сбыт для шкур, меховых изделий. Это выгодно и геологическому управлению. Задача в том, чтобы соответственно скорректировать планы колхозов, маршруты стад, предназначенных для забоя, количество свободной рабочей силы в колхозах и планы геологов».

Дельность доклада не могла вызывать возражений. Даже странно вдруг стало, что столь очевидный вопрос ни разу не обсуждался. Но Чинков, попросив еще раз слово, сказал:

«Нам будет очень необходима поддержка области, и поэтому, в виде исключения, я прошу сегодня же дать информацию в областную и окружную печать. Я уверен в благожелательной поддержке нашего начинания. Но напомнить о себе иногда не вредно».

Выходя из райкома, Чинков встретил Сергушову, которая уже шла по вызову. Знакомы они не были. Но оказалось, что Чинков отлично помнит «вечер полевиков». Он непринужденно взял журналистку под руку и

стал водить перед зданием райкома туда-сюда. Ударился в экскурс об особенностях животного мира.

— Вид кота, который «гуляет сам по себе», открыл, как вам, несомненно, известно, Киплинг, — лукаво улыбаясь, излагал Чинков. — Но биологический вид оленя, который ходит сам по себе и для себя, верьте не верьте, открыл я. Честь открытия я не уступлю. Чтобы олень ходил полезно, необходимо что? Чтобы мы, геологи, не дремали. В геологии, и только в ней, ключ к освоению Территории. Вы это запомнили? Ключ к сельскому хозяйству Территории лежит в наших открытиях.

Чинков, все так же улыбаясь, простился и пошел прочь беспечной и грузной походкой ловеласа на пенсии. Сергушова долго смотрела ему вслед. Было ощущение, что перед ней разыграли с неизвестной целью мистификацию. Но вызов в райком? «Дура! — решила она. — Кто здесь способен на розыгрыш!» Чинков неожиданно оглянулся и так стоял — темная тумба на светлом фоне. Сергушова быстро вошла в райком, чтобы убедиться: никакого розыгрыша не было и быть не могло.

24

Очередное совещание главных инженеров Робыкин созвал потому, что от Города требовали увеличения добычи золота. Это увеличение не являлось временным требованием, а, напротив, должно было возрастать из года в год. В мире, как сказал на «вечере полевиков» Чинков, предвиделись валютные и торговые войны. Вопрос об угасании месторождений Реки как бы автоматически отпадал в точном соответствии с тезисом Чинкова: «Если месторождение требуется, оно должно быть обнаружено». Но все-таки Река была изученным районом и требовала очень крупные ассигнования на поиски замаскированных в глубинах земли россыпей. Робыкин хотел знать: сколько потребуется денег в новых условиях? Куда они будут вложены? Через какой срок можно обещать результат? Кроме того, он хотел окончательно проучить Чинкова, выбить «эти местнические настроения». Неожиданно появившиеся в областной печати статьи, где упоминался Чинков, где геологическое управление Поселка как бы выдвигалось в передовые ряды и, конечно, выдвигался Чинков — «государственно мыслящий человек», озадачили Робыкина. Это шло вразрез с тем, что

наметил он. Робыкин даже позвонил областному руководству, чтобы прозондировать ситуацию. Но того, кто был нужен, на месте не оказалось. Чинкову везло, как всегда.

...Для Чинкова же все повторялось. Снова ожидание в гостинице, когда кого-то переселяли из его номера, снова взгляд в окно на сопки, теперь заваленные снегом, тот же асфальтовый пятачок, только такси стояли свободными — старатель затаился до осени, и снова прогулка по Городу, черная папка под мышкой. Но сейчас Чинков шел на несколько ходов впереди, в этом была прелесть и опасность его положения.

Робыкин начал сразу:

— Предыстория вопроса всем хорошо известна, и я не буду ее повторять. Задача нашего совещания — решить, как нам разместить средства, которые мы требуем у правительства. Это немалые средства, но в них включены те деньги, которые товарищ Чинков за нашей спиной ухитрился получить в министерстве геологии, используя недопустимые методы и личные связи. Таким образом, товарищи, пока мы, не жалея сил, готовили обоснованные прогнозы добычи золота, Чинков уже тратил предназначенные для этого деньги. Товарищи! Заметили ли вы странную аналогию? Чинков действует точь-в-точь, как капиталистический аферист. Он выпускает акции несуществующих золотых россыпей. Все вы знаете, что золото Территории искали с начала века. Искали и не нашли. Но Чинков, обманом добыв деньги, и дальше действует по рецептам буржуазной рекламы. Он наводняет печать статьями, прославляющими предприятие и его самого. Даже в условиях капитализма его ждало бы банкротство и суд. В наших условиях Чинкову прежде всего придется ответить по партийной и служебной линии. Придется ответить и областной печати.

Взгляды корифеев золотой промышленности обратились к Чинкову. В них смешивалось вполне понятное возмущение выскочкой, нарушившим правила игры, и азартный интерес к тому, как выкрутится Чинков, кто выиграет раунд?

— Позвольте... я не буду говорить с места, — сказал Чинков. Он вышел вперед, стал рядом с креслом Робыкина и в упор встретил взгляды корифеев. Чинков был серьезен и даже задумчив. Он знал, что корифеям понравится лобовая атака, они уважали смелость.

— В отношении областной печати — это недостой-

ный укол, товарищ Робыкин, — Чинков говорил громко и медленно. — Статьи появились по инициативе партийных органов, и за разъяснениями прошу обращаться к ним. Тем более что вопрос идет не об инженере Чинкове, а о комплексном развитии Территории. Деньги, полученные мною в Москве, выделены министерством, которому мы сейчас, подчиняемся. Так как именно оно выделяет ассигнования, то оно вправе решать, куда средства должны быть вложены. Принцип централизованного руководства никто не отменял. Деньги вложены в разведку долины реки Эльгай. Уже сейчас можно говорить, что там открыта россыпь. Наше совещание не только решает, куда вложить деньги, но и чем их оправдать. Можно сказать, что мы уже имеем первый актив — россыпь реки Эльгай. Конечно, о конкретных запасах пока говорить рано. Намеченную перспективу геологических работ на Территории полностью поддерживает министерство.

— Кое-кто в министерстве, — громко вмешался Робыкин. — Но далеко не все. Далеко не все!

— Эти «кое-кто» министр и его заместитель, — глядя на Робыкина, сказал Чинков. — Тактичнее будет сказать, что «кое-кто» нас не поддерживает, товарищ Робыкин. В отношении капитализма, рекламы и прочего — вам лучше знать.

Краем глаза Чинков видел, как лица корифеев расплылись в улыбках: «ну и нахал». В секретных архивах «Северстроя» фигурировал факт: какой-то двоюродный брат Робыкина имел в Англии ткацкую фабрику.

В это время на столе Робыкина зазвонил телефон. По тому, как Робыкин взял трубку, все поняли, что это Главный Телефон. Чинков постоял мгновение, пожал плечами и неторопливо пошел на свое место.

— Да, совещание, — говорил в трубку Робыкин. — Прилетел. Только что заслушали выступление. О перспективах говорить рановато. Я вам все доложу.

Трубка еще рокотала, но по тому, как Робыкин взглянул на Чинкова, все поняли, что Главный говорил о нем. Лица корифеев, повернутые к Чинкову, светились насмешливыми улыбками. Что бы там ни было, но они уважали силу и ум, они уважали удачу. И Чинков, прищурив глаза, ответил им дерзкой усмешкой: «Вот так-то, ребята, не вы одни мудрецы». Он выиграл.

Робыкин, окончив разговор, оказался в этой атмосфере безмолвного диалога. Кем-кем, но дураком Робыкин

никогда не был и потому, улыбнувшись, сказал: «Мы отвлеклись. Перейдем к конкретным вопросам. Вопрос направления работ на Территории — частный вопрос. Мы вернемся к нему позднее, когда будет известен результат».

«Это означает: ты только споткнись, мы поможем, — думал Чинков. — Принцип дзюдо: падающего толкни, нападающего тяни».

25

В начале марта, как исполнение слов Чинкова: «рабочей силой мы вас обеспечим», прибыл первый самолет с вербованными.

Они сходили по самолетному трапу или просто прыгали в кузов аэрофлотского грузовика, подкатившего к борту, обалдевшие от полета, от перемены образа жизни, от вида диких краев, над которыми они пролетали. Перед глазами их была пустота: одинокая изба аэропорта, тонкие мачты радиостанции, два-три оранжевых самолета полярной авиации, ровная белая гладь и где-то в безвоздушной недосягаемости черно-белые горы, синие тени ложбин. Простор, пустота, холод. Они сходили в телогрейках, драповых пальто, курточках, полушубках, валенках, ботинках, кирзовых сапогах, один ослепительно рыжий был в несерьезном пальтеце и в лаковых туфлях. Их всех одинаково охватывал едкий ветер с ледовой равнины губы́, и у всех одинаково в этот миг поселялись в душе бесприютность и страх.

Всех их ждал крытый фанерный фургон без лавочек. Дорогой до костного мозга пробирал холод, морозные слезы катились из глаз, и щеки будущих кадров синели. От аэропорта до Поселка было восемнадцать мучительных километров. Фургон качался, дрожал, прыгал через заструги. Сквозь щели они видели черные сопки, фиолетовую мглу мороза. Они попадали в «барак-на-косе» с его огнедышащей печью, и после всех передряг барак этот казался уютным, как отчий дом, обетованное место в чужой земле.

Утром они подходили к столу Богоды, а вечером или еще через сутки тракторные сани везли их на разведку Монголова. Они лежали в кукулях и смотрели, как исчезает за перевалом скопище домов Поселка. Впереди вырисовывалась все та же морозная мгла, белое пространство и неизвестность. Ветер все так же обжигал лица и души. В вербованных телах начинался в это вре-

мя неизвестный науке процесс: слабость и страх выкипали, пережигались и возникали хоть туманные, но твердые горизонты.

Территория обретала новые кадры.

В кабине трактора неизменно сидел Малыш в собачьей дохе. Время от времени он останавливал трактор, копной сваливался на снег и шел к саням.

— Кто что отморозил? — вопрошал он.

— Терпим, — слышалось из саней.

Монголовская разведка втягивала в себя все больше людей. Но с обратным рейсом все чаще возвращались старые кадры, тундровые аборигены. О них не надо было беспокоиться. Сами все знали. Кадры лежали в санях, курили и вялыми голосами вспоминали развеселую осеннюю жизнь, оборванную вмешательством Малыша. Они знали, что сейчас веселую жизнь не удастся продолжить, начальник партии найдет применение на круглые сутки. И каждый гадал, сколько же у него будет к осени на книжке, если работа не дает времени тратить деньги.

Копковские мужики дважды приезжали в аэропорт на том же фанерном фургоне. Они стояли у трапа и вглядывались в возникавшую из недр самолета расхристанную толпу. По неизвестным признакам они вынимали из толпы двух-трех человек, и те сразу попадали под крыло опеки. В отделе перевозок их переодевали в ватные костюмы и валенки, ехали они на другой машине, ночевали не в бараке, а у кого-нибудь на квартире и обязаны были отвечать на вопросы. Утром, прежде чем появиться у стола Богоды, они представали перед Копковым.

— Какого черта спокойно жить не даете? — ворчал Копков. — Вам же с ними палатку делить. Вот и решайте сами.

Но все же пристально вглядывался в свежего человека и после оценки протягивал руку: «Копков. Можно: Семен Григорьевич».

Лишь один раз вышла осечка с рыжим человеком в лакированных туфлях. Увидев отобранных, он сам отделился от толпы, заговорил растерявшихся мужиков Копкова, у них переночевал и утром появился перед Копковым. У рыжего человека были затерянные в складках-морщинах глаза, точно у старого, отжившего свой век слона. Он глянул на Копкова и сразу сказал: «Не-ет! Ошибка! Я с ним работать не буду. Он же чокнутый на работе». У отдела кадров он растолкал очередь, вошел

и сел перед Богодой. Оглядел кабинет, дружески улыбнулся Богоде и спросил фамильярно:

— А ничего у тебя работенка! Всегда под крышей, и полярные надбавки идут...

— Ты кто такой? — ошалев от такого нахальства, спросил Богода.

— Всемирный администратор, — скромно ответил рыжий.

— Т-ты почему такой нахал? — закипая, спросил Богода.

— Я не нахал от природы. Но если я не буду им, то я не буду тем, кем я должен быть, — резонно ответил рыжий.

— Кем же ты должен быть? Могда с тгяпок! — уже отмякая, спросил Богода. Как всякий северстроевец, он любил лихих людей.

— Я должен быть при администрации. Пять дней на выяснение обстановки. После этого я могу все.

— Что все? Что именно, могда с тгяпок?

— Продать, купить, привезти, увезти, сменять, украсть, добыть, уговорить, обмануть. Вообще все!

— Иди к Голубенчику, — сказал Богода. — Пусть ищет тебе пгименение.

— Найдет! — уверенно сказал рыжий, а выйдя, скомандовал: — А ну-ка, в строгую очередь! Работа не пиво, всем хватит.

Чинков записал на узком листочке бумаги: «Великий математик Гаусс сказал однажды: «Мои результаты я имею давно, я только не знаю, как я к ним приду».

Очевидно, что блестящие результаты Гаусса были следствием его способности интуитивно предвидеть результаты исследований.

Французский математик Пуанкаре в работе «Ценность науки» писал так: «Логика и интуиция имеют каждая свою необходимую роль. Логика, которая одна может быть достоверность, есть орудие доказательства; интуиция есть орудие открытия».

Я непосредственно верю в золото Территории и *знаю*, что оно есть. Но я сделал стратегическую ошибку, поставив все на первый год поисков. Был необходим более глубокий план, рассчитанный на двух- или трехлетние неудачи. Тот же Пуанкаре писал однажды: «Все мои усилия сначала послужили лишь к тому, что я стал

лучше понимать трудности задачи...» Теперь я вижу «трудность задачи» — и необходимо спешить.

Чинков защелкнул свою черную папку на облезлую кнопочку и вышел в приемную. У Лидии Макаровны был опять приступ. Курила и смотрела на стенку перед собой. Машинка зачехлена, бумаги убраны, на столе ничего, кроме пепельницы.

— Весной вы собираетесь в отпуск? — спросил Чинков.

— Да. Списалась с подругой. Решили ехать в Бакуриани, две старые дуры. Горы там. Водичка шумит. Белки по соснам скачут.

— Я попросил бы вас задержаться. Вы будете мне нужны в это лето.

— С этого бы и начинали, — Лидия Макаровна тряхнула стриженой, с проседью, головой и вздохнула.

— Но если вы очень устали...

— Стареете вы, Илья Николаевич, — резко сказала Лидия Макаровна.

— Старею?

— Характер мягчает. Лет пять назад вы бы нажали кнопочку и между делом сказали: «В это лето никаких отпусков. Можете идти». — Лидия Макаровна очень похоже изобразила глухую интонацию Будды.

— Возможно. Старость подразумевает мягкость характера.

— Чего доброго, приблизитесь к своей кличке, — усмехнулась Лидия Макаровна. — Будете добрый и всепрощающий.

— Исключено, — обиженно сказал Чинков. — Глупая и невежественная кличка, не знаю, кто ее дал. Я, знаете, специально почитал жизнеописание Гаутамы, прозванного позднее Буддой. Мы с ним антиподы. Он был человеком высоких нравственных правил, а я, знаете, грешен. Нет заповеди, которую бы я не нарушил. Он проповедовал созерцание и невмешательство в суетные дела мира, а я вмешиваюсь и суетлив. Он был святым, а меня сочтет ли кто хоть за элементарного праведника?

— Не переживайте, Илья Николаевич. Никто и в мыслях не держит, что вы похожи на праведника. Не пригласить ли к вам Баклакова?

— Зачем?

— Докладная его уже месяц у вас. Он, как встретит меня, в потолок смотрит. Чтобы независимость показать.

— Пригласите. Пожалуй, пора, — согласился Чинков и вернулся в свой кабинет.

Когда Лидия Макаровна заглянула в кабинет Баклакова и молча мотнула головой вверх, что означало «к Чинкову», Баклаков вдруг испугался предстоящего разговора.

— Сейчас, — сказал он. — Через минуту буду.

Ладони вспотели. «Не трясись, — сам себе сказал Баклаков, — если напорол ерунды, так поправят. На то я и молодой инженер, клизма без механизма».

Он поднимался по лестнице медленно и еще постоял в клетушке Лидии Макаровны, размышляя, спросить или не спросить, зачем вызывают. Лидия Макаровна с ужасной скоростью стучала на машинке, пускала клубы дыма и демонстративно не обращала на Баклакова внимания. Баклаков, как во сне, подумал о том, что когда-то Лидия Макаровна была очень красива. Это чувствовалось. Была красивая комсомолка Лида, туманным утром сошедшая с парохода в бухте, залепленной диким скопищем бараков, палаток, землянок на месте предстоящих архитектурных излишеств. Строгий отбор Ленинградского горкома направил ее в места, где имелось мало законов. Была романтическая, известная на весь «Северстрой» любовь с одним из первооткрывателей золотоносных россыпей Реки. Но нет уже первооткрывателя, сорвавшего в длинных маршрутах сердце. Был муж, диктатор золотого прииска. Но нет уже мужа, сгоревшего от допинга — чифир пополам со спиртом — в бессонные годы, когда золото требовала война, и служебное порицание, если требовалось, было одним: высшая мера. Но выше высшей меры был долг, ибо золото требовала война. И нет уже сына, морского летчика, сбитого где-то над Баренцевым. Есть Лидия Макаровна, ангел-хранитель молодых инженеров, страх и совесть местного комитета, верный адепт Будды, может быть, единственный человек, которому Будда полностью и безоговорочно доверяет. Есть усталая ироничная женщина, всегда в измятом полувоенном жакете и всегда с папиросой «Беломорканал» в полуопущенном углу рта.

...Чинков сидел как обычно: руки на подлокотниках тронного кресла, взгляд сумрачно уставлен в зеленое сукно стола. Баклаков поздоровался. Чинков молчал. Сергей сел на один из стульев, шеренгой стоявших у стены. Было очень тихо, и Балкаков отметил тяжелое, как у астматика, дыхание Будды.

— Вы курите, Сергей Александрович? — неожиданно спросил Чинков.

Вопрос был настолько неожиданным, что Баклаков вздрогнул.

— Летом. Курю махорку. В маршрутах.

— А курили?

— Я мастер спорта по лыжным гонкам. Нельзя было.

— И не курите, — сурово произнес Чинков. — Яд! Гадость!

— Я мало курю. Только летом.

— Я, знаете, Баклаков, ужасно много курил. У меня в кабинете стояла роза. Простая роза в горшочке. И иногда в этот горшок попадали окурки. И вот представьте — роза засохла. От окурков. Когда я обнаружил это, я в тот же день бросил курить.

— Курить вредно, — согласился Баклаков.

Чинков снова уставился в поверхность стола. Было слышно, как к управлению подкатил грузовик. Хлопнул откинутый борт. Кто-то вполголоса матернулся, и в ответ послышалась яростная ругань шофера. Чинков нажал кнопку. Вошла Лидия Макаровна.

— Скажите там, за окном... — пробормотал Чинков. Лидия Макаровна вышла, и тотчас шум за окном как будто обрезало.

— Я прочел вашу докладную записку, — тихо и тонко сказал Чинков.

— Ага, — на всякий случай согласился Баклаков. Ему было очень неуютно. Мешали руки, ноги, и сам он был лишним.

— В ваших соображениях есть безусловный смысл. Но не настолько большой, как вам показалось. Статистика требует масштабного опыта. У нас нет для этого ни кадров, ни средств. Кроме того, статистика затемняет внутреннюю сущность предмета исследований. В наших условиях лучше по старинке полагаться на собственную интуицию, умение мыслить и обобщать. Вы согласны?

— Статистика не затемняет, а выявляет внутренние закономерности, — возразил Баклаков. Он как бы подлаживался под доверительный тон Будды. — Это обобщение опыта, который...

— Интуиция есть лучшее обобщение опыта. Я предлагаю вам, Баклаков, продумать маршрут и организацию рекогносцировочной партии. Условно назовем ее Кольцевой. Маршрут этой партии должен пройти по пределам земель управления. Задача партии — собрать дан-

ные по кольцу, внутри которого будут работать другие партии. Цель ее — увязать в единую систему все съемочные разрозненные планшеты. Ожидаемый результат — отчет, в котором будет дан прогноз золотоносности Территории на основании всех предыдущих работ. Начальником партии сезона предлагаю быть вам. Соавтором отчета буду я. В качестве промывальщика я дам вам Куценко. Съемщиком советую взять Гурина. У Гурина светлая голова, если я, конечно, не ошибаюсь. Вопросы?

— У меня с Гуриным нет контакта. По личным причинам.

— Личные причины меня, Баклаков, не интересуют.

— Пусть начальником партии будет Гурин. Он старше меня по возрасту, опыту.

— Людям типа Гурина я не верю. Они не относятся к постоянному контингенту. Начальником партии будете вы, Баклаков. Еще вопросы?

— В докладной записке я писал о разломах. О возможном типе ловушек для россыпей...

— Нельзя сказать, что вы фундаментально знаете теорию россыпных месторождений. Случай, предложенный вами, известен. Но вы угадали. В долине Эльгая должен быть именно этот тип ловушки. Как видите, можно вполне обойтись без статистики. — Чинков, не поднимая глаз, скупо улыбнулся, фыркнул носом. — Я, кстати, думаю, что вы угадали для всей Территории.

Баклаков промолчал.

— Я предлагаю вам самую сложную и важную партию в управлении. Через неделю мне нужен проект. Запомните, Баклаков, какой бы сложности и длительности маршрут вы ни наметили, его все равно будет мало. Это одно. Второе: если партия не выполнит задания, отвечать будете только вы. Третье: вы получили задание с двойным дном. Я хочу, чтобы вы сами догадались об этом.

...Баклаков вышел в пустой управленческий коридор. Внизу стоял Копков в цигейковой безрукавке и явно его ожидал.

Баклаков быстро спустился, и они прошли в его кабинет.

— Наш идол предложил мне кольцевую рекогносцировочную партию, — сказал Баклаков. — Всеобщий, единый и окончательный маршрут.

— И в человецех благоволение, — загадочно пробур-

чал Копков. — Что там потому что? Лучше не может быть, потому что иначе не годится.

— Ты о чем?

— У меня тоже разговор состоялся. Он предложил мне составить на разведку киновари двухлетний проект. Но первый год заниматься съемкой, то есть все тем же золотом. На второй год обещал двойные деньги и рабочих. Киноварь-де моя еще не созрела за отсутствием объективной потребности ее обнаружить. Я ведь правда, гривы-лошади, случайно об эту сопку запнулся.

— Почему не тебе дали рекогносцировку? Это твоя работа, любой скажет.

Копков наклонил голову и с крестьянской хитростью глянул на Баклакова:

— Тоже разговор... состоялся. Это я тебя предложил. Стар я для такого маршрута. Кроме того, я открыл киноварь, а ты ничего не открыл.

— Ты у нас Менделеев.

— Я — Семен Копков. А посему: планы Будды — одно, мои планы — другое. Деньги все-таки выданы на разведку. Никто меня не осудит. Понимаешь, есть желание оставить след. Карта, съемка — это не то. Придет другой съемщик и все перекроит. Твое место в графе «история». Месторождение — прочная штучка. Может, оно и вправду сейчас ни к чему. Но ведь время придет? Моих работяг, кстати, интересует: что мы такое открыли. Обязан пойти навстречу.

— А золото?

— Я пишу дополнительный отчет по острову. Сам предложил Будде.

— Зачем?

— Я всегда считал, что остров этот — отложения древнего устья Реки. Тогда эта идея была без надобности. Сейчас — нужна.

— Ух ты! Смыкаемся, значит, с мировой геологией? В люди выходим?

— Мы всегда были в людях, — Семен Копков застегнул наглухо ворот ковбойки, подошел к стеллажам с образцами.

— Тебе, Серега, нужны точные кадры для такого маршрута. Без кадров ты голый нуль. Как нарисуешь свой вариант маршрута, зайди ко мне.

Копков потрогал один образец, другой и, сгорбившись, быстро вышел. «Я и сам все чудесно знаю про кадры, — думал Баклаков, оставшись один. — Куценко? Допу-

стим, он. За шлихи я уже спокоен. Но будет ли мне подчиняться адъютант самого Будды? Адъютанты самолюбивы, как утверждает Монголов. Гурин? Головы у него не отнять. А личные взаимоотношения? С Гуриным никогда и ничто неясно. Предстоит мужской разговор. Седой? Этот без вопросов. Сил у него не очень много, пожалуй, но самолюбия через край. Седого надо затребовать от Монголова. Личности есть, но нет коллектива. А для коллектива надо взять газорезчика Вальку Карзубина. Водку по утрам не пьет, жизнь понимает. В тундре первый раз, значит, все его будут учить. Друг к другу меньше придираться будут».

Баклаков взял обзорную карту Территории и заштриховал обследованные участки. Заштриховал Лосиную — вотчину Жоры Апрятина, обвел контуром район Кетунгского нагорья, где побывал Копков.

Два варианта маршрута со всей очевидностью лежали на карте. Первый, указанный Чинковым, — «по пределам земель управления». Выполнить его в течение сезона одной партии невозможно.

Второй маршрут был очевиден. Получался вытянутый косой овал, какая-то однобокая груша. За пределами груши лежали маршруты Копкова, и совсем на востоке звездочкой торчало месторождение «Огненное». Если бы Копков взялся сделать несколько радиальных маршрутов по Кетунгскому нагорью, то в принципе задание Чинкова можно считать выполненным. Жора Апрятин протянет маршрут на юг, сомкнет съемку. Жоре это нетрудно.

Опираясь на плечи друзей...

Он поднялся наверх к кабинету Жоры Апрятина. В кабинете сидел один Гурин.

— Чинков предложил нам обобщающий кольцевой маршрут, — без предисловия начал Баклаков. — Составь маршрутную карту. Я займусь текстом проекта и сметой. Проект нужен через неделю.

— Стари-и-ик! — насмешливо ответил Гурин. — Я ведь еще не дал согласия участвовать в твоем харакири.

— Объясняйся с Буддой. Или иди к черту, — сказал Баклаков. Ему не хотелось словесной игры. Он не терпел пижонского обращения «старик».

— Стари-и-ик! — все так же насмешливо продолжал Гурин, поглядывая поверх очков. — Но я ведь и не отказываюсь. Я — японец в душе. Одинокий буддийский монах под дырявым зонтиком — это я. Я также

апологет миролюбивой секты Дзен. Кроме того, я самурай, который...

— Кончай треп. Да или нет?

— Как начальник, ты не подарочек. Нет у тебя такта, и руководящего ума тоже не видно.

— Иди тогда ты...

— Но с тобой работать можно. Не чесать языком, для этого ты не партнер, а работать. Я что-то зажирел. И чувствую, что скоро мне на крыло. Хочу оставить память на Территории. Доктор Гурин — сподвижник безумцев. Согласен, начальник!

— Просто не мог согласиться?

— Просто всегда скучно.

— Да, — ответил Баклаков. — Для таких, как ты. Интеллектуалов. Я серый вятский инженер. Мускулы с высшим образованием и примитивным честолюбием. Даже до лапотцев и иконок, как выскочка, не дорос.

— Ну что ты, нача-аль-ник! — Гурин смеялся, а Баклакову казалось, что в глазах у Гурина мелькает пустыня.

— Давай договоримся, Доктор. Нам вместе работать, и об отношениях придется забыть до осени. Если очень припечет, потолкуй о том, какая я сволочь, со спальным мешком. Договорились?

Гурин открыл сейф. Вынул стаканчики и бутылку.

— Скрепим договор? — насмешливо спросил он.

— Если без этого нельзя, то давай скрепим. Нарушим дисциплину для будущей дисциплины. Никак все-таки не пойму, кто ты есть.

— Единичный философ, — серьезно ответил Гурин.

...Когда начался очередной «южак», Баклаков забрал документы и ушел домой. Гурина не было. Электростанция не работала, и Баклаков сидел при свечке. Свечное пламя прыгало, и прыгали тени по стенам. Ночью ветер оборвал закрывшую окно оленью шкуру, и между рамами плотно напрессовался снег. За эти три дня Баклаков пришел к выводу, что намеченный им вариант — единственно возможный и правильный. Все остальное нереально. Следовательно, нужен Копков.

В управлении Копкова не было. Баклаков пошел к нему домой. Копков, единственный из холостяков управления, имел свою комнату. Комната была в крохотном самодельном домике рядом с управлением. Когда строи-

ли управление, домик забросало строительным мусором. Потом рядом проложили теплоцентраль, и он вовсе исчез — можно было прямо с короба шагнуть на крышу.

Копков одетый лежал на топчане. Из-под полушубка торчали валенки. Лицо Копкова заросло мятым пухом, на груди, как Библия, лежал толстый палеонтологический справочник в дореволюционном кожаном переплете. Копков читал его в перчатках — в комнате был мороз.

— Понимаешь, иду по коробу. «Южак» толкает, я упираюсь. «Юж-жак» сильней ок-казался, — Копков начал заикаться, как всегда, когда волновался.

— Как сильней?

— Н-ногу мне выв-вихнул. Н-ни встать, н-ни...

— Ты ел что-нибудь?

— От-ткуда? Третий день п-палеонтологией п-питаюсь.

— Сейчас! — Баклаков вышел в сени, набрал коротких полешек, затопил печку. Полешки были сухие, и печка сразу разгорелась.

— А я думаю: что-то тебя не видно. Может, заболел или что, думаю, дай зайду, — говорил Баклаков, открывая консервные банки.

— В-врешь, — сказал Копков. — Т-ты не за этим ш-шел.

...В комнате стало тепло. От консервных банок, вытряхнутых на сковородку, пошел сытный запах. Баклаков сел на груду полешек у печки. Комната Копкова была всеобщей завистью. Топчан с медвежьей шкурой, книги на самодельных полках и фотография на стене — человек в кухлянке без шапки, с винтовкой через плечо тянет след по свежевыпавшему глубокому снегу, уходит в мглистое, изрезанное, как на картинах Эль Греко, небо. Называлась она «Последний маршрут», на фотографии был сам Копков, а делал ее Мышь Маленький, неизменный лауреат всех фотоконкурсов «Северстроя».

В сенях затопали шаги, и вошли Жора Апрятин, Гурин и почему-то Люда Голливуд.

Они поздоровались и продолжали стоять. Баклаков видел, что Копков мается от своей беспомощности, а может, и от того, что в его холостяцкой одинокой комнате слишком много людей.

Гурин вынул из кармана пуховки банку ананасного компота. Из другого — вместо неизменной пузатой бу-

тылки французского коньяка — вытащил бутылку спирта.

— Если р-ребята соб-брались в-выпить, выпейте в д-другом м-месте, —сказал Копков.

— Отто Янович умер, — бухнул Жора Апрятин.

Люда Голливуд протянула Копкову радиограмму.

Они долго и молча сидели за столом. Спирт так и стоял нераспечатанным. Трещали поленья в печке, над крышей вздыхал теряющий силы «южак». Скрипел на уровне окна снег под ногами прохожих. Каждый думал о том, что тогда-то и тогда-то по такому-то случаю сказал ему Отто Янович. Каждый осознавал, что Калдинь жил напряженной внутренней жизнью, по сравнению с которой ежегодные страсти отчетов, проектов и экспедиций казались не столь уж важными. Но в чем был смысл его напряжения? Калдинь умел вести себя незаметно. Его немногословные замечания на защите отчетов всегда были дельны и доброжелательны. Калдинь двадцать лет жизни отдал Поселку, и потому память о нем давно уже была занесена в святцы. И если Семен Копков считался знатоком и начетчиком старообрядческого геологического устава, то Калдинь давал взгляд на мир с неких горних высот, то ли житейского опыта, то ли нравственных категорий. Может быть, потому и попал в святцы при жизни.

— Остались мы без корней. Летим, — нарушил молчание Жора Апрятин. Гурин вышел и быстро вернулся. Он принес тюбик какой-то мази.

— Как бывший фельдшер школы горноспасателей, — сказал он и стал растирать Копкову распухшую лодыжку. Люда Голливуд увидела драные и грязные копковские носки, ахнула и тут же принесла новые, домашней вязки.

Жора открыл спирт, выпил стопку и басом сказал:

— Главным геологом надо быть Семену Копкову. Никому другому я подчиняться не буду.

Ушел.

Гурин завернул тюбик с остро пахнущей мазью и тоже вышел.

Люда Голливуд осталась мыть посуду.

Баклаков вернулся с охапкой дров, чтобы у Копкова был запас в комнате. Семен брился, отвернувшись к стене. Люда Голливуд сгребала в одну тарелку остатки консервов. Вместо фартука она повязала клетчатую рубашку, и рукава рубашки, как руки, вперехлест охватывали тонкую талию.

С внезапной и острой жалостью Баклаков смотрел на Люду Голливуд. На стильную юбку вокруг стройных ног, на очень белую, почти прозрачную кожу, на морщинки вокруг глаз, на склоненную над грязными тарелками голову и медную тяжелую прядь, выбившуюся из безукоризненной прически. Он понял, что положение поселковой красавицы номер один вовсе не составило ее счастья. И сама Люда отлично все это знает и понимает.

Чтобы скрыть смущение, Баклаков с грохотом ссыпал у печки дрова и сказал:

— Присоединяюсь к мнению Жоры. Главным геологом быть тебе.

— Не переживай, Серега, — не поворачиваясь от стенки, пробормотал Копков. — Ту работу, о которой ты собирался меня просить, я тебе сделаю.

Было в этом нечто от безобидной иронии Отто Яновича: «ту работу, о которой ты собирался просить».

— Почему ты решил, что я буду просить?

— Из карты видно, как трижды три.

— А твоя киноварь?

— Ты в шахматы играешь, Серега?

— Чуть-чуть.

— Ну, «вилку» знаешь? Так вот, я попал в вилку. Для твоего маршрута я стар. Это одна сторона. Вторая: под старость начинаешь о совести мыслить, о смерти. Ты ведь, Серега, смертен. Значит, тебе надо спешить. Славу познать, удачу. Тебе нужен успешный маршрут. В этом году. А сопка моя как стояла, так и будет стоять. Никуда не убежит моя киноварь.

...Через три дня Баклаков принес Чинкову готовый проект. Чинков, не глядя на текст, взял папку, без интереса отодвинул на край стола.

— Должен предупредить, — сказал Баклаков. — Кольцо по пределам управления силой одной партии невозможно. Я наметил реальный маршрут и привлек в помощь Копкова и Жору Апрятина. Так сказать, коллективный проект.

— Я дал вам задание, Баклаков, — сонно произнес Будда. — Как вы будете его выполнять, меня не касается. Можете выписывать инженеров хоть из Австралии. В пределах отпущенных средств.

— Я понял.

— Совет. Если вам ясен маршрут, берите самолет и

разбросайте продовольственные склады. Позднее это будет трудно.

— Я занят отчетом.

— И это ваше личное дело. Меньше спите или интенсивней работайте. Я просто даю совет брать самолет, пока он свободен. Берите пример с Апрятина. У него большая шурфовка, и он спешит. Учел ошибки прошлого. Кстати, шурфовать он будет именно на пересечении зоны разломов долины Реки. Этот велосипед вы изобрели, Баклаков, не так ли?

27

Управление облетела весть о том, что Копков и Люда Голливуд, отныне Люда Копкова, поженились. Ставить штемпеля в поселковом Совете Копков ходил с костылем. Саня Седлов сформулировал: «Потому что одна нога и костыль. Был бы на двух, убежал бы». Но шутка Сани Седлова не имела успеха. Слишком уж были все ошарашены. Для замкнутого по зимнему времени Поселка женитьба Копкова явилась, наверное, бо́льшим потрясением основ, чем отмена самого «Северстроя». Копков был закоренелым холостяком. Даже и представить его женитьбы нельзя было. Традиции рушились.

28

За громким названием «продовольственный склад» скрывалась просто железная бочка. Бочку взрезали, точно консервную банку, клали продукты, зашивали проволокой и ставили вверх дном. Она хорошо замечалась на местности, защищала продукты от сырости, а бензиновый дух отгонял медведей.

Бочками занимались Седой и Валька Карзубин. Валька относился к Седому с молчаливым почтением. Этому была причиной как определенная слава Седого, так и то, что когда-то Седой был тем же Валькой Карзубиным, пока по общественному недосмотру не попал в «нужные» руки.

Они готовили бочки на складах управления. Склады находились на перевале в четырех километрах от Поселка. Здесь на высоте свободно гулял ветер. Расположенная к югу котловина Поселка казалась черной, заполненной едким дымом от трубы электростанции. На севере же в хорошую погоду можно было увидеть аэрод-

ром и даже различить оранжевые пятна самолетов. Такой был путь с этого перевала: обратно в Поселок или в синюю мглу трассы, которая в семидесяти километрах утыкалась в прииск «Западный». В другие стороны не было ничего: на восток яйцевидные сопки — «го́ры без выпендривания», как их называли, запад отвесным обрывом уходил в море.

Пока Валентин и Седой готовили бочки, Куценко корпел над ученической тетрадью в клеточку с огрызком карандаша. Баклаков поручил рассчитать ему продукты на каждую бочку. Куценко не делал подсчета по количеству дней, людей и переходов. Он писал список, руководствуясь здравым смыслом. Этот здравый смысл, сформулированный в непечатной северстроевской поговорке, сводился к тому, что запас, который не надо таскать на горбу, еще никогда и никому не мешал.

Когда список сливочного масла, чая, сахара, сгущенки, гречневой крупы, сухой картошки, лаврового листа, прессованного лука, вермишели, перца, муки был готов, Баклаков пошел на поклон к Володе Голубенчику — диктатору снабженческих дел. Счет на партию еще не был открыт, еще и приказа не было, потому продукты можно получить лишь под честное слово, личное обаяние и личный контакт.

В прокуренной, заплеванной комнате снабженцев среди кадров в кожаных пальто, с их небритыми лицами и острыми глазами, возвышался за столом сам Володя — рост два метра девять сантиметров, фигура и челюсть профессионального боксера, невозмутимый взгляд игрока в покер. Несмотря на гангстерский вид Голубенчика, биография его была проста и стандартна для людей «Северстроя». Восемнадцати лет на фронте, после фронта истфак МГУ, но с третьего курса, не выдержав жизни на стипендию, Голубенчик сбежал, а сбегая, увидел объявление «Северстроя» и через час уже был в его представительстве на одной из московских улиц. Мудрая организация «Северстрой» из толпы договорников, которых пароход доставлял в Город, отбирала наиболее шустрых, наиболее подвижных, может быть, авантюрно настроенных людей. Прошлая специальность, прошлая биография не имели значения — всех нивелировал знаменитый Учебный Комбинат, из недр которого вышло немало известных людей. Новоявленным студентам давали азы геологии, минералогии, топографии, хозяйственного учета. Но главной дисциплиной, которая не числи-

лась в учебных предметах, были принципы «Северстроя». Для усвоения их и для практического применения требовался гибкий, не отягченный предрассудками ум. Сюда входили такие понятия, как «не плюй против ветра» и «победителей не судят», «не оставляй хвостов, за которые тебя можно подловить», и главный принцип, задолго до «Северстроя» сформулированный Джозефом Конрадом. Принцип этот, которому обязан был «Северстрой» легендарной славой, звучал краткой святой заповедью: «Делай или умри».

Все это Володя Голубенчик знал, все прошел, и потому он был лучшим начальником снабжения из всех, кого могло выбрать управление. Твердой рукой, не боясь кулачной расправы, держал он своих шустрых агентов. С другой стороны, он умел внушить уважение к снабженческому отделу со стороны начальников партий.

Володя Голубенчик разговаривал по телефону. Длинным пальцем он молча ткнул на стул. Подмигнул. Трубка рокотала, как дизель на холостом ходу.

— Ты каким местом думаешь? Объясни! — закричал Володя. Трубка опять что-то пророкотала. — Ошибаешься! На том месте, где у людей лоб, у тебя еще одна щека. Попробуй не достать. Выдерну руки-ноги и голову поверну к спине. Салют! — он бросил трубку.

— Володь, а Володь, — смиренным тоном начал Баклаков.

— Иди ты!.. — нервно откликнулся Голубенчик. — Все знаю. Все подпишу. Если объяснишь один факт.

— Объясню, — смиренно пообещал Баклаков.

— Маршрут, я слышал, у тебя героический. А кадры, как я понимаю, ни к черту. Непригодные кадры.

— Почему, Володя?

— Настоящие кадры, — наставительно произнес Голубенчик, — должны были сами закрутить мозги кладовщику, сами все получить. А они? Начальника! Партии! Гоняют с бумажками! Стыд!

— Мои кадры против твоих слабы, Володя, — льстиво сказал Баклаков.

— То-то! — удовлетворенно произнес Голубенчик. — Давай накладные. — И протянул руку.

Шесть бочек с продовольствием и одна с резиновыми лодками для сплава по реке Ватап были заполнены, зашиты проволокой и доставлены на аэродром. Куценко попал на почтовый самолет, раз в месяц доставляющий почту на мыс Баннерса. Ему предстояло арендовать или

купить там вельбот, доставить его на тракторных санях к устью Серой реки и законсервировать там базу с вельботом, мотором и бочкой бензина. Седой остался на аэродроме охранять груз. Валька Карзубин в одиночестве получал и паковал на складах остальные грузы. Гурин помогал с отчетом Жоре Апрятину. Жора также мотался между складами и аэродромом, ему предстояли большие разведочные работы, и он хотел начать весновку как можно раньше.

Трое суток Баклаков просидел в управлении. Отчет он закончил и сдал на машинку, когда от кофе голова уже стала пухнуть и сильно звенело в ушах. Пришла радиограмма от Куценко: «Вельбот купил вывожу условленную точку жду транспорт». Баклакову предстояло разбросать по маршруту бочки и на обратном пути снять Куценко. Иначе он мог торчать на мысе Баннерса еще месяц.

Баклаков шел берегом бухты по голому галечнику, на котором снег не держался. Воротник полушубка хорошо закрывал щеки. Ноги казались отрезанными до колен, их скрывала белая муть поземки. Он часто проваливался в ямы, вырытые напором льдин, в вымерзшие русла ручейков, стекавших в море. Ветер становился все сильнее, и Баклаков знал, что сейчас ему надо быть осторожным — немало людей вот в такую погоду погибло на дороге к аэропорту. Скоро должен был начаться обрыв, от него держаться подальше, так как там всегда свежие трещины и полыньи. После обрыва шла равнинная тундра, и там надо было быть еще осторожнее, потому что море и тундра под застругами неразличимы и можно уйти вправо, пока не уткнешься в сопки в сорока километрах, или влево, где вообще ни во что не уткнешься, разве что в Северный полюс.

В белесой мгле мелькнуло темное. Избушка, сколоченная рыбаками-газетчиками из ящичных досок и толя. Как-то он заходил сюда вместе с ними. Избушка была не заперта. Он поднял подпиравший дверь обломок доски, отгреб снег от входа и зашел в темноту. Чиркнув спичкой, Баклаков огляделся. На нарах стоял огарок свечи. У печки лежали дрова. Баклакову захотелось посидеть в тепле. Он растопил печку. Тяга была очень сильной, и печь разгорелась сразу. Когда он на корточках разжигал печь, увидел под нарами рюкзак. В рюкзаке было полбуханки замерзшего хлеба, кусок оленьей колбасы и на одну треть початая бутылка спирта.

В избушке стало уже тепло, печка накалилась вишневым цветом около трубы. Баклаков поднял кусок снега у входа, бросил его в железную кружку, растопил. Другой кружки не было, он отложил на нары влажный кусок снега, долил в кружку спирт, выпил. Погрыз колбасы. Поземка шуршала по толевым стенам. Было очень уютно. Он лег на нары, стал смотреть на краснеющую печку. Идти никуда не хотелось. Баклаков почувствовал, что ему еще хочется выпить, поэтому заткнул бутылку и спрятал ее опять под нары.

Баклаков непосредственно ощущал течение жизни. Жизнь текла медленно, плавно и грозно, как большая река. Глубина этой реки, устье ее, отмели, скрытые под гладкой поверхностью водовороты никому не известны. В результате ее течения он сидит сейчас в толевой избушке на берегу океана, ему надо идти в палатку на аэродром, чтобы потом лететь самолетом, разбрасывая себе временные дома, затем перемещаться по этим временным домам и осенью или в начале зимы вернуться ненадолго в Поселок, где все живут временно. Дальше будет новое лето, палатки, переходы и так до неизвестной черты.

Большинство ценностей, которые людям представляются незыблемым оплотом их бытия, для него и его друзей почти пустой звук. Дом, который моя крепость, домочадцы и дети, которые оплот в старости, все это для него и его друзей несущественно. Нельзя сказать, что это нормально, потому что для большинства людей это — крепость. Для ребят из их управления главной крепостью служит работа, которую надо делать как можно лучше. Эта крепость никогда не подведет, если ты не оставишь ее сам. Оставить же работу не сможет никто из ребят, потому что они любят ее.

Баклаков погасил свечку и вышел в белую мглу, сильно резанувшую по глазам.

Он прикрыл дверь, запер петлю цепочкой. Из трубы вылетали последние искры. Сергей Баклаков повернулся к избушке спиной и зашагал к скалистому обрыву.

Он не смотрел на часы, ему было хорошо идти под короткие обрывки мыслей. Наконец он услышал моторный гул. Справа проскочило оранжевое пятно: какой-то «ледовик» — самолет ледовой разведки, из тех, которые шлялись в любую погоду. Мелькнул и сразу исчез. Гул мотора унес ветер.

Из трубы над палаткой шел дым — значит, Седой топил печь, и Баклаков пожалел, что не взял с собой вы-

пить. С рабочими в партии пить нельзя, но Седому можно было принести спиртишка. Он дернул вход палатки, Седой встал с нар и помог ему снять полушубок. Потом посмотрел на лицо и зажег лампу. Огонек в лампе прыгал, потому что ветер дергал потолок палатки. Седой поднес лампу к лицу Баклакова и усмехнулся:

— Выпивши, что ли, шел? — добродушно спросил Седой.

— А что?

— Посмотри на себя. — Седой извлек откуда-то обломок зеркала, и Баклаков увидел, что от виска к подбородку, там, где прилегал воротник полушубка, шел багровый шрам. Обморозился. Теперь неделю будет болеть и на месяц останется полоса, как будто располосовали ножом.

— Есть будешь? — спросил Седой. — Я тут банку фарша, банку рассольника и банку тушенки перемешал. Ничего получилось.

— Давай пожуем.

— Выпить хочешь?

— А есть? Откуда?

— Тут один кореш на снегоочистке работает, — уклончиво сказал Седой.

— Выпей ты. А я за тебя закушу.

— Ложись, — сказал Седой. — За печкой присмотрю.

Сергей посмотрел на себя в зеркало еще раз, глянул на Седого и рассмеялся. Морозный след на щеке и след ножа на лице Седого в точности походили друг на друга.

— Мы с тобой как будто из одной передряги вылезли, — сказал он.

Седой ничего не ответил. Залезая в спальный мешок, Баклаков смотрел на спину Седого, на его морщинистую короткую шею, на плечи, которые уже начали обвисать. Щека распухла и начинала ныть. Но ему было хорошо и спокойно, потому что все шло правильно. А обморожение входит в профессию.

Когда они выворачивали с рулежной дорожки, Баклаков увидел мчавшуюся вдогонку машину и человека в кузове, который стоял, держась за кабину, и махал им рукой. Но в это время Боря Бардыкин, отчаянный первый пилот, дал газ и взлетел вкось взлетной полосы.

Круглолицый, веселый и шумный здоровяк Боря Бардыкин был любимцем геологического управления. Во-

первых, потому что он был пилотом-виртуозом, летал безотказно, было бы разрешение на полет. Во-вторых, рядом с Борей Бардыкиным всегда ясно ощущалась простота бытия: «Ничего, ёк-коморок, с нами случиться не может. Все, ёк-коморок, будет в полном ажуре. Хочешь, лучше расскажу, как прошлый год в Коктебеле я с одной балериной. Про имя, конечно, молчу. Не веришь, ёк-коморок? Ну и дурак! Я в тебе хочу пробудить интерес к жизни. Один раз живем, и когда-то взлетаем в последний раз...» Вторым пилотом с Бардыкиным летал тихий, только что из училища юноша, получивший кличку Некто Юный. Самолет шел на юг к долине Китама. За эти бездельные дни Сергей перенес со своей карты на штурманскую карту Бори Бардыкина все места, где требовалось выбросить бочки. Седой заготовил длинные вехи с флажками наверху — с вехой надежнее. Убедившись, что бочек шесть и флажков шесть, Сергей перелез через бочки и сел в проеме кабины, устроив себе сиденье из привязных ремней от правого и левого кресел. Самолет вел второй, но Боря Бардыкин молчал, может быть, обдумывал, с какого анекдота начать. Штурвал перед ним чуть заметно шевелился от движения второго и казался живым.

Дымная котловина Поселка осталась внизу слева. Вправо белесым миражем виднелся равнинный остров, олений край, где кости оленей смешиваются с костями мамонтов, видно избравших в свое время остров центральным кладбищем.

Через час они должны были прилететь в район холмов. Баклаков вынул карту и напомнил Бардыкину, покрутив пальцем вокруг трех коричневых пятнышек. Тот кивнул головой и весело скосил глаз.

Мотор ровно гудел, по временам вспыхивал сверкающий круг пропеллера, вспыхивал на мгновение и исчезал. Покачивался светло-зеленый самолетик авиагоризонта, и в стеклянном окошечке плавали на черном цилиндре светлые цифры курса.

Баклаков очнулся от несильного, но ощутимого виража. Самолет пошел вниз, и Сергей увидел справа отдельную конусовидную сопку и вдалеке пятна — холмы Марау. Северо-западнее — начало его кольца. Бардыкин продолжал снижаться. Баклаков крикнул:

— Не надо! Просто осмотрим общий план!

Самолет выровнялся, и Сергей увидел, что Бардыкин

берет курс чуть левее холмов, чтобы их можно было видеть сверху и немного сбоку. Именно то, что надо.

Вершины холмов чернели камнем, иногда можно было даже разглядеть крупноглыбовые развалы, и Баклаков с радостным возбуждением сказал себе: «Да-да, конечно, именно так». Он радовался, что сюда можно будет сделать зимний маршрут, как он и предвидел.

Холмы Нганай издали дыбились на тундре пологим, полностью заснеженным куполом. Баклаков попросил сделать над ними круг. Видимо, здесь разместился снежный оазис — холмы лежали, заваленные ровным, даже без застругов, снегом. Самолет пронесся над самой вершиной, и Баклаков заметил два небольших бугорка — кучки оленьих рогов на том месте, где похоронен пастух. На юге холмов был обрыв, не отмеченный картой. Они снова заложили вираж. Баклаков отметил, что скалистый обрыв шел почти от вершины и тянулся метров на триста. Как раз под обрывом сходились Малый и Большой Китам. Широкая заводь была ровной — идеальная площадка для посадки. Бардыкин крикнул в ухо Сергею:

— Гольцы! — и, бросив штурвал, показал размеры гольцов, которые тут водятся. Он подергал воображаемую блесну и показал большой палец.

Они легли курсом на юг, где темной стеной уже выступало Кетунгское нагорье. Первую посадку сделали там, где Малый Китам выходил из нагорья. Бардыкин издали заметил галечную косу, пролетел над ней, высматривая камни, и на обратном заходе сел. Второй пилот помог Баклакову вкатить на невысокую террасу бочку и камнями укрепить веху. Было тихо, грело солнце.

— Так-то хорошо будет, — хозяйственно сказал второй. Чувствовалось, что ему нравится эта работа.

— Ты вятский, что ли? — изумился Баклаков.

— Конечно, вятский. Из Котельнича, — сказал второй. Но Бардыкин уже запустил двигатель.

Они сбежали по снежному откосу. Баклаков не переставал удивляться: Котельнич был совсем рядом с его разъездом.

В долине Трех Наледей мела отчаянная поземка. Сверху долина казалась просто огромной трубой, заполненной жидкостью молочного цвета. Бардыкин что-то крикнул Баклакову, заложил круг-другой и пошел на посадку. Самолет отчаянно запрыгал по застругам, потом ткнулся, как в стенку, и встал. Сергей открыл защелку,

снял резиновый амортизатор, запирающий дверную ручку, и снежный вихрь ворвался в самолет.

— Закрывай, ёк-коморок!.. — крикнул Бардыкин.

— Куда бочку-то выгружать? Ни черта же не видно.

— Сейчас люди придут. Скажут.

— Ты что, Боря? Свихнулся? Откуда тут люди?

Бардыкин вместо ответа закурил, натянул куртку.

Баклаков выскочил из самолета. Снежная муть на мгновение прояснилась, и совсем рядом мелькнул отвесный борт долины. «Погибнешь с ним ни за грош», — подумал Сергей и тут же увидел тонконогую фигуру, которая, наклонившись, шла к самолету. «Пастух, — удивился Сергей. — Значит, Боря стадо заметил. Какое тут стадо? Оленей унесет ветром». Человек подошел к самолету, Баклаков узнал Кьяе.

— Ты-ы! Привет! — радостно сказал он. — Хе! Судьба — индейка, а жизнь...

— Здравствуй. Это ты? — без удивления откликнулся Кьяе.

— Откуда? Откуда тут стадо?

— Неправильно самолет посадили. Во-он там снег ровный, совсем тихо, — сказал Кьяе.

Бардыкин запустил двигатель, они порулили по снежной мгле, и вскоре мгла кончилась.

Ветер шел по трубе, которая отворачивала в сторону от реки, и было странно видеть, как на расстоянии нескольких метров от них — пурга, бешеный снег, а тут почти штиль, снежинки искрятся в солнечном свете. Невдалеке стояла яранга и храпели привязанные ездовые олени.

— Давай, — сказал Боря, — шевелись. Еще четыре посадки.

Бардыкин ушел в ярангу. Они выкатили бочку, и Кьяе пообещал закатить ее на террасу.

— Продукты не нужны? — спросил Сергей.

— Недавно нарты пришли из поселка. Все есть.

— Где другие? — спросил Сергей.

— У стада. Километров пять отсюда.

Сергей хотел спросить про внучку, но что-то остановило его, и он промолчал.

— Внучка в колхозе, — сказал Кьяе, точно читал мысли. — Будешь — увидишь.

На миг Баклакову вспомнилось: запах дыма, звериного жира, шкур, узкая девичья спина, взгляд вполоборота, точно мелькнувший из-за деревьев свет ночного

костра, острая грудь, подпрыгивающая в такт шлепков по желтому тесту, и благостное чувство выздоровления.

Кьяе стоял перед ним еще более высохший и потемневший, узкие брюки из камуса, короткие торбаса — «плеки», старая кухлянка, подпоясанная под животом узеньким ремнем, на ремне нож в нерпичьих ножнах и нерпичий же кармашек для винтовочных патронов. Человек, более близкий к миру трав, животных, камней, кустарника, ветра, неба, чем к миру грохочущих поездов, самолетов, вращающихся роторов гидростанций, металлическому ритму заводов, шахт, нефтяных скважин, морских судов...

Баклаков отвернул взгляд в белую стену пурги и улыбнулся криво, жалко и виновато. Не дури, Баклаков, не валяй ванечку.

— Спасибо тебе. Помнишь осень? — Он расстегнул ремень и протянул его Кьяе вместе с ножом. Тяжелое лезвие из подшипниковой обоймы, медь и желтая мамонтовая кость на ручке, деревянные в меди ножны. — Возьми, Кьяе, на память.

Кьяе взял нож, глянул на лезвие и протянул его обратно Баклакову.

— Очень тяжелый. Железо твердое. Пастух носит легкий нож — с мягким железом. — Кьяе показал свой нож. Обычный кухонный с деревянной ручкой, лезвие от частой точки почти как шило.

— Если можешь, отдай бинокль. Глаза постарели.

— Сейчас! — Сергей сбегал к самолету, где бинокль болтался на ремешке, прикрепленный к стойке. Шестикратный, цейсовский. Он нашел его в совершенно исправном немецком «тигре», который тоже везли на переплавку, и не расставался с ним.

— Совсем спасибо, — Кьяе радостно взял бинокль. — Зачем летаешь?

— Продукты разбрасываем. Летом пойдем здесь маршрутом.

— Как будешь идти?

— От холмов Марау вверх по Китаму, потом сюда, дальше к Серой реке, по реке на лодках до устья, потом на вельботе к Поселку.

Кьяе возбужденно переступал, пока Сергей перечислял пункты маршрута. Какой-то мальчишеский румянец проступил на его лице.

— Очень хороший маршрут, — сказал он. — Очень много всего увидишь.

— Еще раз спасибо тебе. Знал бы, что встречу, взял бы выпить.

— Летом встретишь. Только опять будешь в плохой одежде. В твоей одежде в тундре всегда будешь больной.

— Знаю, что кухлянка лучше всего. Где ее взять?

— Скажи, сколько надо. Скажи куда. Принесу. Отдашь продуктами, чтобы нам далеко не бегать.

— Пять кухлянок. Десять пар чулок меховых. На всякий случай, двое штанов. Для дальних маршрутов. Весну будем проводить на холмах Нганай.

— Принесу, — просто сказал Кьяе. — На хороших оленях — день.

— Продукты я на вас захвачу. Чай, сахар, мука, папиросы. Так?

— Немного патронов к винтовке. Немножко выпить. Так!

Из яранги вынырнул Боря Бардыкин, догладывая на ходу кость.

— Давай, наука! — крикнул он. — Давай, ёк-коморок, полетели.

Они опять вырулили в снежную мглу, ветер даванул под крылья, и «Аннушка» взвилась, точно бабочка, подхваченная порывом ветра. На вираже мелькнула внизу фигурка с задранным вверх лицом.

Последние посадки прошли благополучно. Солнце уже садилось к горизонту, когда они легли на длинный курс, к мысу Баннерса.

— Посадка на одномоторном аппарате АН-2 разрешается только при незашедшем или взошедшем светиле, — бурчал Боря Бардыкин. — Ты НПП знаешь?

— Что-о? — крикнул Сергей.

— Не знаешь ты НПП, в переводе «Наставление по полетам». Каждый пункт в оном, как утверждает замполит Савченко, вписан жизнью и кровью пилотов.

Баклаков дремал. Лента Серой реки тянулась на север, еле угадываясь по снежным теням обрывов, коричневым пятнам островов и темным, обметенным ветром галечниковым косам. Железные, зашитые стальной проволокой бочки остались далеко среди камня и снега нагорья. Здесь, на этой реке, они будут кормиться рыбой, зверем и птицей. Но что делать, если, например, медведь порвет, укатит последнюю бочку, в которой лежат не продукты, а резиновые лодки для сплава? Это называется непредусмотренная случайность.

Баклаков проснулся, когда внизу была ровная равнин-

ная тундра, широкая полоса реки, четко отмеченная кустарником, уходила на запад. Самолет направился к мысу Баннерса.

К колхозному поселку они подлетели, когда на снег внизу уже легли синие тени. Сверху виднелось тупое острие низкого мыса, окаймленного синей грядой торосов. На самом конце мыса, как спичечные коробки, стояли игрушечные домики, а поодаль — округлые конусы яранг.

— Долго твоего кадра искать придется? — спросил Бардыкин. Уши уже притерпелись к самолетному гулу, и можно было говорить нормально.

— Нет, — сказал Баклаков. — Он опытный кадр. Должен ждать.

— Тень! Ёк-коморок, — сказал Бардыкин. — Гладко. На этом мысу проклятом никогда не угадаешь, есть ветер, нет ветра. Полированный этот мыс. Хоть флаг бы поставили, тунеядцы, рубаху бы на шест привязали.

Было видно, как от домов и яранг бегут люди, видно, к тому месту, где обычно садилась здесь «Аннушка».

Бардыкин заложил лихой вираж, опустил подкрылки и резко пошел на посадку. Лыжи коснулись снега, самолет запрыгал, в кабине резко потемнело, и Баклаков врезался лбом в приборную доску. Рука Бардыкина с силой отшвырнула его назад. И все стало тихо.

У Баклакова по лицу текла кровь. В фюзеляже грохотала, откатываясь назад, бочка с бензином, взятая на непредвиденный случай.

— Тень, ёк-коморок, — печально сказал Бардыкин. — Соображаешь, язви его в посадку? Глянь!

Сергей увидел покореженный винт.

— Такие дела, — сказал Боря Бардыкин. — Кукуем.

— Все-таки пешком надежнее, Боря, — зажав ладонью лоб, сказал Баклаков. — Лоб целый и вообще.

— За лоб ты сейчас спасибо скажешь. Тут медсестра... — и Бардыкин прищурил глаза, вздохнул. — На! Прижми, пока все не вытекло, ёк-коморок, — он протянул Баклакову платок.

Самолет окружили детишки в кухлянках, торбасах, потом подошли взрослые. Бардыкин тут был своим.

— Иди, отбей эрдэ! — крикнул Бардыкин второму, который осматривал винт. — Наша с земли не возьмет. Или лучше я сам, а то сообщишь трагедию, ёк-коморок.

Бардыкин в окружении толпы ушел. Второй пилот вернулся в самолет готовить его к ночевке. Голова у Баклакова все кружилась, теплая кровь стекала за ворот-

ник. Он почувствовал тошноту. Кто-то потянул его за рукав. Он скосил глаза и заметил крохотного темноглазого пацана в росомашьей шапке.

— Что тебе? — спросил Баклаков.

— На медпункт. Приказано, — почему-то шепотом сказал пацан и опять потянул его за рукав.

Баклаков покорно пошел за ним и увидел квадратную фигуру спешившего навстречу Куценко.

— Все сделал. Сегодня утром вернулись, — тонко крикнул еще издали Куценко. — Уже лег спать, думал, не прилетите.

— Прилетели, как видишь, — сказал Баклаков. — Прилетели и сели.

— Ай-те жалость какая произошла. Разреши? — Куценко отнял платок от лба Баклакова.

— Глаз целый, кость торчит, распороло сильно. Лучше снег прикладывай. Кровь всосет и охладит. — Куценко валенком вытоптал кусок снега, протянул Баклакову. Пацан опять потянул его за рукав, видно, желал во что бы то ни стало выполнить приказ Бардыкина.

— Иди, Алексеич, на рацию. Сообщи, что застрял. Мутит меня что-то, — сказал Баклаков и пошел на медпункт. Пацан отпустил рукав и бежал впереди, поминутно оглядываясь. Он был очень смешон — в пальтишке, торбасах и большой росомашьей шапке.

Баклаков лежал в крохотной, выкрашенной белой масляной краской комнатушке фельдшерского пункта мыса Баннерса. Фельдшерица, покорившая сердце Бори Бардыкина, оказалась толстенькой хохотушкой. Она относилась к Баклакову, как, допустим, относилась бы к бессловесному теленку, повредившему ногу. Два раза в день меняла повязку, кормила антибиотиками и исчезала в приемную, откуда слышался журчащий басок Бардыкина.

Баклаков чувствовал себя лучше. Но аэродром Поселка был закрыт, значит, туда не могла прилететь вторая «Аннушка» и, следовательно, не могла доставить винт и механиков для ремонта на мысе Баннерса.

— Отдыхай, ёк-коморок, — просовывал голову в дверь Бардыкин. Вид у него был довольный. От него легонько попахивало вином. Неунывающий человек!

— Отдыхаю, — говорил Баклаков и закрывал глаза. Было хорошо. На тумбочке стоял литровый термос с чаем, который два раза в день доставлял ему Куценко. В одиннадцать вечера поселковая электростанция переставала работать, и он зажигал свечку. Тихо потрескивал

фитиль, снаружи мягко стукала об окно обитая оленьим мехом ставня, ездовые собаки поднимали разноголосый вой. В собачьем хоре слышалась усталость зимы, бесконечной езды в торосы за нерпой, вдоль побережья по разбросанным там капканам. Собаки стихали, и лишь одна продолжала жаловаться на луну, зимний холод, собачью жизнь. «У-а, у-а!» — говорила собака. Жалоба переходила в тихий визг, и все окончательно затихало.

29

Жора решил забросить на самолете АН-2 Салахова и вынырнувшего из безвестности Ваську Феникса с заданием: выбрать хорошее место для лагеря шурфовщиков, поставить две капитальные палатки. Вторым рейсом он хотел отправить взрывчатку и продовольствие. Третьим рейсом — шурфовщиков, руководить которыми предстояло Салахову. Сам же Жора с главным грузом и остальными рабочими должен был выйти на тракторе.

Когда погрузили брезент, деревянные рейки, спальные мешки и гвозди, Жоре Апрятину показалось, что места в самолете еще много. Взрывчатка находилась рядом с аэродромом на временном складе.

— Таскай, так-перетак, — скомандовал Жора, и они втроем быстро перетащили триста килограммов взрывчатки и ящик с детонаторами. Перевозить взрывчатку и детонаторы в одном транспорте категорически запрещалось. Об этом Салахов и сказал Жоре.

— Опасаешься раньше времени к богу попасть? — Жора сплюнул и поправил на поясе пистолет. — Давай я вместо тебя полечу. Так и эдак. Трусишь?

Салахов ничего не сказал, только засунул детонаторы под брезент, чтобы их не заметил кто-либо из экипажа. Пришел бортмеханик. Перелезая через желтые бумажные мешки с аммоналом, сказал Апрятину:

— Ты новенький, что ли, начальник? Самолет с ишаком путаешь? Это на ишака можно грузить все, что есть.

Пока бортмеханик «гонял газ», Жора отошел от самолета и тут увидел Ваську Феникса с рюкзачищем.

— Что это?

— Жратва, — вытирая лоб шапкой, сказал Феникс. — В тундре всякое может быть. Прошлый год я этого самолета ждал, пока...

— К черту! — приказал Жора Апрятин. Он очень боялся, что экипаж начнет сам перекладывать груз и об-

наружит детонаторы рядом с взрывчаткой. — Ты не жрать летишь, а палатки ставить.

Феникс послушно скинул рюкзак, но все-таки, опасливо косясь на Жору, сунул в карман полушубка три банки сгущенки и пачку галет. Салахов в это время сидел на ящике с детонаторами. Он отвечал за незаконную перевозку взрывматериалов по уголовной статье.

...Самолет благополучно ушел, но второй рейс в этот день сделать не смог — кончилось световое время. Предчувствие беды охватило Жору Апрятина.

Из двух бывших на аэродроме самолетов АН-2 остался один, второй ушел «на форму» — смену двигателя, у которого кончился ресурс работы. Единственную оставшуюся «Аннушку» на второй день с утра забрали санитарным рейсом — где-то южнее мыса Баннерса в скалистой горной долипе лежал пастух с переломанными ребрами — попал в пургу под обрыв. Самолет вернулся лишь поздним вечером — вначале искал стадо, потом ждал, когда пастуха вывезут в пригодное для посадки место. На третий день мертво задула пурга, и Жоре оставалось лишь ждать.

...Уже восемь дней, как Салахов и Феникс были закинуты в тундру за триста пятьдесят километров от Поселка. Наконец пришел погожий солнечный день с хорошим прогнозом. Примчавшись на аэродром, Апрятин узнал, что единственную годную к полету «Аннушку» захватил Баклаков и что они уже вырулили на полосу.

Апрятину оставалось только молиться, чтобы Сергей на своем идиотском маршруте с посадками в диких долинах не угробил машину или чтобы вторая машина вернулась, сменив двигатель, чтобы у тех двоих хватило мужества ждать. В тундре морозы. Еды у Салахова и Феникса нет. Он сам приказал ее оставить. Есть печки, но нет топлива. И вообще ни черта нет, кроме спальных мешков. Все это подходило под рубрику преступного небрежения, или хуже того, зеленой тоскливой глупости.

Апрятин понимал, что, если Салахов и Феникс погибнут, ему остается лишь застрелиться.

Почему-то он очень жалел Феникса, жуликоватого завхоза, который в жизни ничего не умел делать толком, лишь умел каждую весну возникать неизвестно откуда с всегдашней готовностью бежать, куда пошлют, ждать, если прикажут, ждать, бить канавы и шурфы или стеречь ящики с консервами и снаряжением, ночевать возле них,

если назначат завхозом. Жидкобородый, покореженный севером, точно полярная лиственница.

Не в силах сидеть в управлении, Жора перебрался на аэродром. В палатку Баклакова он не пошел, а торчал в захламленной комнате при отделе перевозок, пугая нескольких терпеливых пассажиров диким взглядом и льняными патлами, торчащими из-под маленькой, не по росту, шапки. Над аэродромом висела метель, которая всегда бывает в конце марта — начале апреля. Апрятин неотрывно читал надпись на стене, сделанную красным карандашом: «Аня! Я жду тебя. Толик».

Вечером Жора узнал, что самолет с Баклаковым потерпел аварию на мысе Баннерса, а значит, надежды на него нет, он встал и деревянным шагом направился через бухту в Поселок. К утру он появился перед Чинковым.

Чинков долго и томительно смотрел на стол перед собой. Темные с пухлыми пальцами руки его уперлись в кресло, как будто Чинков собирался встать.

— Так что же вы ждете? —наконец спросил он.

— Не было погоды. Сейчас нет самолета.

— Вы верите в бога, Апрятин?

— Не знаю. Но в эти дни я молился.

— Молитесь и дальше. Я много думал о вас, Апрятин. По просьбе Отто Яновича Калдиня. И не мог решить, что с вами делать. Сейчас я проверю вашу везучесть. Если вы человек везучий — я оставлю вас начальником партии. Если вы очень везучий — вы привезете мне осенью результат, и у вас есть шанс стать настоящим геологом. Если же вы неудачник и ваши люди погибли — я вас отдам под суд и вышвырну из геологии навсегда. Идите на рацию и передайте от моего имени радиограмму в Город о том, что срочно нужен самолет АН-2 на лыжах. И молитесь, молитесь, Апрятин, вашему богу.

На аэродроме все уже знали о случившемся, и шли жаркие споры, заключались пари: лежат ли эти двое в палатке или, плюнув на помощь, стали выходить на побережье. Западнее устья Лосиной стояла избушка охотника Малкова. Восточнее, в устье реки Лелю, была еще избушка охотника Атки. Но неизвестно, знал ли Салахов об этих избушках, а если знал, то все равно до любой из них двести километров. Без карты, компаса и лыж.

Самолет АН-2 перегнали с дальнего аэродрома Реки. Встречать его приехал Будда, в полярном меховом костю-

ме, похожий на памятник самому себе. С ним приехал Богода и еще незнакомый Жоре человек в полушубке с милицейскими погонами. Все четверо забрались в самолет. Прежде всего вывезли с мыса Баннерса пилота Бардыкина, потому что он высаживал Салахова и Феникса и знал местность. Все четверо молчали два часа полета, пока не вышли в слепящую снежную тишину. Темное пятно палатки торчало метрах в трехстах от них. Они пошли к палатке, проваливаясь между застругами, где снег был рыжий. Со странной отрешенностью Жора Апрятин заметил, что Будда умело выбирает дорогу по гребням застругов и идет по ним, как умная старая лошадь по тонкому льду.

— Или ушли, или умерли, — громко сказал милицейский товарищ.

Снег около палатки был нетронут и чист. Вход заметен сугробом. Чинков подошел первым, но помедлил, уступая дорогу милицейскому человеку. Тот осмотрелся, не подходя к палатке, и в то же время сзади послышалось пыхтение и скрип снега. Махая унтами, в распахнутой куртке бежал Боря Бардыкин.

— Чш-ш! — сказал милицейский товарищ.

И все вдруг услышали слабые голоса, доносившиеся из палатки.

— Сил у меня нету, — говорил один голос. — Были бы силы, я бы тебе врезал за то, что...

— А я!..

Чинков рывком дернул палаточный вход, но полотнище оказалось плотно застегнутым изнутри. Он протянул руку назад, и Жора ручкой вперед подал ему финку. Будда просунул лезвие в щель и стал опускать его вниз, перерезая застежки.

— Свет! — сказал Чинков, и кто-то закинул наверх полотнище.

У дальней стенки в разных углах лежали в кукулях две высохшие темные мумии. Из заиндевевших меховых опушек спальных мешков торчали только впалые, заросшие острые носы и жутко блестевшие открытые глаза. Салахов и Феникс, видимо, были в бреду, потому что, не обращая никакого внимания на вошедших, продолжали переругиваться друг с другом, и, что было страшнее всего, они именно разговаривали между собой, а не бредили каждый по отдельности. Кто-то задрал второе полотнище входа, солнце ворвалось в палатку, и лицо Салахова стало осмысленным: он повернул взгляд, дернул голо-

вой и, уставившись на Будду, прошептал запекшимися губами:

— Мать твою... начальник. Где же ты раньше-то был?

Чинков ничего не ответил, а сзади просунулся Боря Бардыкин с литровым термосом в руках, отвинтил крышку и налил в нее темную дымящуюся жидкость.

— Давай, Саша. Кофе с коньячком. Изобрази аристократа, — сказал Бардыкин.

Жора Апрятин потряс Феникса. Тот узнал его, и по непутевому лицу Феникса потекла и затерялась мутная слезинка.

— Феникс! Живой, Васька! — сказал Жора Апрятин.

Чинков засмеялся и вышел из палатки. На улице он поковырял маленькую кучку снега и вырыл куропаточьи крылья, головы с красными точками бровей.

— Ага! — говорил, вырывая остатки куропаток. — Ага!

В самолет Салахова и Феникса пришлось отнести на руках. Боря Бардыкин по радио сообщил на аэродром о том, что нашли живых, оттуда позвонили в Поселок, и в «скорой помощи» оказалось битком народа.

Салахов и Феникс во время полета выдули весь термос, в котором коньяка было, видимо, больше, чем кофе. Они оживились и стали похожи на людей, если бы не шальные, ввалившиеся от истощения глаза и отсутствие координации движений. Еще у Феникса почему-то валилась набок голова, и он поправлял ее рукой в рукавице.

«Скорая помощь» в сопровождении грузовиков, «газика», райкомовской «Победы» и еще каких-то машин прибыла в Поселок. У входа в больницу стояла густая толпа — все геологическое управление. Салахова повели под руки, но, когда он увидел, что его ведут в больницу, он уперся и сказал:

— Желаю в двадцать пятый барак, желаю к ребятам.

Феникс послушно, точно привязанный, стал загибать за ним, и вся толпа развернулась, так и не дойдя до больничного крылечка. На черном лице Салахова сверкала улыбка. Сержант десантных войск Салахов, Сашка Цыган, знал, что с этого дня он окончательно свой в управлении, срок испытания прошел, и он ввинчен в сей коллектив, как наглухо загнанный крепежный болт в металлическую конструкцию.

Когда проходили мимо дома, где жили семейные, кто-то сказал: «Зайдем, ребята, ко мне, вспрыснем воз-

вращение к жизни». Начальники партии и Феникс с Салаховым заполнили комнатку. Толпа забила коридор, по рукам пошел спирт, блюдо с закуской, и уже стал раздаваться смех. Салахов рассказывал, что он имел с собой нелегальную малокалиберную винтовку. Укороченная на бандитский манер, она держалась под курткой. Патронов была неполная пачка, и они кормились куропатками. Потом патроны кончились.

После перешли в следующий дом, и там Феникс рассказал то, что не рассказал Салахов. Кончилось тем, что Феникс сел на включенную электроплитку, и это заметили только тогда, когда дым от горящих ватных штанов заполнил всю комнату. Так, в раскатистом хохоте здоровых и подвыпивших людей, закончилась история гибели и спасения Феникса и Салахова.

И лишь поздней ночью, когда уже расходились и шли в двадцать пятый барак, кто-то сказал в темноту:

— Эта весна плохая, ребята. Вот увидите: Территория в эту весну свое заберет. Сашка Цыган вынырнул, Феникс вынырнул. Значит, будет кто-либо другой.

Фразу запомнили.

30

О том, что Робыкин собирается быть на защите отчетов, Чинков не знал. В день защиты Робыкин с утра появился в управлении. Его сопровождала свита из экономистов, плановиков и начальников отделов центрального управления. Отменять или переносить защиту на другой день было бессмысленно и опасно. Посему Чинков передал гостей начальнику управления Фурдецкому и тотчас вызвал к себе Гаврюкова и Голубенчика. Гаврюков через минуту вылетел из кабинета Чинкова и бегом кинулся к рации. Голубенчик вышел не спеша, спустился в свою комнатушку, и через мгновение из кабинета его дробью сыпанули снабженцы. Сам Голубенчик, выйдя на центральную улицу Поселка, остановил какой-то «газик», втиснул двухметровое тело в кабину и махнул дланью в сторону аэропорта.

Пока Фурдецкий показывал гостям строительство — два двухэтажных дома из архангельского сборного леса, в кабинете его снабженцы, скинув кожаные пальто, со сноровкой бывалых официантов накрыли роскошный даже для «Северстроя» стол.

Защита началась ровно в двенадцать, как и было на-

мечено. Гости заняли ближний к столу Чинкова ряд стульев. Было заметно, что кое-кто по командировочному обычаю хлебнул коньячку.

Первым защищался Жора Апрятин. Его партия по проекту была сугубо съемочной, и никто не знал, что Жора Апрятин еще бил и шурфы. Все сошло гладко, лишь один раз Робыкин задал вопрос:

— Как вы расцениваете перспективы золотоносности?

— Никак, — сказал Жора и в упор посмотрел на Чинкова.

— Хороший ответ, — вздохнул Робыкин.

Семен Копков быстро изложил суть рекогносцировки, но, перейдя к месторождению киновари, стал заикаться и даже рассказал, как выглядит месторождение в вечернем августовском освещении.

— Ближе к делу, — сказал кто-то из приближенных Робыкина. Копков остановился и долго смотрел на сказавшего.

— Я в-вам разве ан-не-к-кдоты рассказываю? — спросил он.

Положение спас Саня Седлов. Он вышел и вернулся с охапкой образцов киновари. Киноварь пошла по рукам. Робыкин осмотрел всех сидящих в кабинете и многозначительно глянул на Генриха Фурдецкого. Впрочем, Копкова в Городе хорошо знали. Вопросы пошли как положено: не встречались ли признаки самородной ртути, как глубоко может залегать продуктивная зона, величина эрозионного среза.

...Вышел Баклаков. Он поймал брошенный из-под век взгляд Будды: «Спокойно, и не зарывайся». Баклаков и начал нарочито спокойно. Он описал геологическое строение долины реки Эльгай. С подробными петрографическими данными рассказал о двух типах гранитов — более древних, за пределами работы партии, и молодых, распространенных, видимо, по всей Территории. Вскользь рассказал о возможном делении на формации лав Кетунгского нагорья. «Касситерита на территории партии не обнаружено, — сказал Баклаков. — Причина, по нашему мнению, заключается...»

— Об олове мы знаем достаточно, — перебил его Робыкин. — Но странное дело! На реке Эльгай работает разведка. О ней мы не слышали ни слова. Или в Поселке не знают, сколько стоит день работы разведки и сколько стоит один шурф? — Робыкин обвел всех присутствую-

щих взглядом, как бы приглашая понять столь очевидную нелепость.

— Или нечего сказать, или засекречено, — сказал тот же приближенный Робыкину голос.

Баклаков опять поймал взгляд Чинкова, внимательный и настороженный.

— В приближении к отчету изложены возможные перспективы золотоносности. Данных по разведке просто пока нет, так как промывка шлихов приурочена на весну. Есть предположение...

— Об этом позвольте мне, — сказал Чинков. Он встал. — В отчете изложено мнение Сергея Александровича Баклакова о возможном для Территории типе ловушки для золотых россыпей. Эти ловушки приурочены к зонам пересечения разломов. По предварительным данным разведки...

В это время раскрылась дверь, и, как в кино, возник Монголов. На мгновение в проеме мелькнула победная фигура Голубенчика, который за пять часов успел захватить самолет, поймать Монголова и доставить его в управление. Монголов был небрит и, как никогда, походил на кадрового армейского неудачника. За Монголовым топал Малыш с фанерным листом на вытянутых руках. На листе лежали пронумерованные мешочки со шлихами.

— Как подтверждение взглядов авторов отчета на золотоносность, мы можем продемонстрировать пробы из долины реки Эльгай, — закончил Чинков. — Еще раз напоминаю, что пробы намыты именно в том месте, которое теоретически предсказал инженер Баклаков.

Баклаков поймал на себе мгновенный фотографирующий взгляд Робыкина.

Малыш хотел положить фанеру на стол Чинкова, но передумал и сунул ее на колени сидящего рядом с Робыкиным представителя Города. Все мешочки были заполнены равномерным желтым песком с самородками. В нескольких лежали отдельные крупные яйцевидные с вкраплениями кварца куски золота.

Когда улегся шум, встал Робыкин, откашлялся и печально сказал:

— Мы являемся свидетелями уникального, можно сказать, открытия, ознаменовавшего успех многолетних поисков. Мы видим наконец золото Территории. Вот оно — перед вами. Здесь все мужики, и я позволю себе непринужденную шутку: если люди из дерьма делают

конфетку, то неужели из золота Территории мы не сможем сделать простой Государственной премии? Но даже не в этом дело, товарищи. Всеобщее распространение золотых знаков на Территории позволяло предполагать, что существует хотя бы одно, пусть небольшое, промышленное месторождение золота. Оно открыто. Радостно, товарищи, сознавать, что ключевую роль в его открытии сыграл молодой инженер Сергей Александрович Баклаков. Мы видим кадры, которые сменяют нас, стариков. Специалист-геолог растет медленно, медленнее, чем в большинстве профессий, — он должен накопить огромный опыт изучения недр, прежде чем станет специалистом. Тем приятнее сознавать успех Сергея Александровича Баклакова, который как бы знаменует весну, пришедшую на смену традициям «Северстроя». Тем приятнее отметить, что он является учеником всеми уважаемого Владимира Михайловича Монголова, руководящего разведкой реки Эльгай.

— От имени всех присутствующих позвольте поблагодарить начальника управления за лестные слова. — Будда говорил ровно и даже несколько сонно. Лишь тонкая усмешка как бы застыла в углах рта. — Но до победных реляций еще весьма далеко. В отчете Баклакова изложены принципы быстрой проверки на золотоносность долин рек Эльгая, Ватап, Лосиной. Пока мы имеем лишь одну шурфовочную линию с хорошим золотом. В перспективе мы можем иметь все или ничего. Можно лишь утверждать, что деньги, вложенные в разведку долины Эльгая, будут оправданы.

Защита кончилась. В коридоре к Баклакову подошел Гурин.

— Поздравляю, стари-и-ик! — сказал он.

— С чем?

— Если ты немедленно перейдешь в Город, карьера твоя обеспечена. Из тебя сделают противовес Будде.

— Ты всегда меня дешево ценил, Доктор, — сказал Баклаков.

В коридор вышел Робыкин. Он шел, выдвинув вперед округлый живот и смешно выбрасывая ноги с развернутыми носками. За ним плотным кольцом шли приближенные Робыкина и Фурдецкий. Позади всех сонно шагал Чинков.

Поравнявшись с Баклаковым, Робыкин повернулся и пожал ему руку пухлой ладонью.

— Поздравляю, — сказал Робыкин. — Будем иметь в виду. Нам нужны молодые кадры, очень нужны.

— Все правильно, — сказал Гурин, когда процессия спустилась по лестнице. — Ничто не меняется в мире. Греция, Рим, Венеция, Территория.

— Пойду повидаю Монголова, — сказал Баклаков. — Веришь не веришь, не видел его небритым.

— Нет, не верю, — усмехнулся Гурин. — Не верю, потому что так не бывает. И не может быть.

— Что именно?

— Будда подумал, решил рискнуть и, используя связи, добыл деньги на разведку. Баклаков подумал и придумал тип ловушки для россыпей. Бац — золотая россыпь. Теперь мы побегаем лето по тундре — бац, золотоносная провинция. Лауреаты появляются пачками. Газеты пестрят портретами. Если это действительно так, мне пора бросать геологию и идти торговать пивом.

Баклаков не успел ответить. Снизу послышались шаги, и на лестнице показался Будда. Он, видимо, усадил приезжих в машину и шел к себе в кабинет. Чинков поднялся по лестнице и прошел мимо них. Но вдруг стремительно обернулся и тихо, раздельно сказал:

— Если вы, Баклаков, поверили хоть единому слову, сказанному на техсовете о вас, я уволю вас по статье дураков. Начальник партии обязан верить только себе и природе.

С годами Баклаков пришел к выводу, что этой странной фразой Чинков хотел оберечь и наставить его. Охранить его от самоуверенности, но оставить веру в себя. «Верь себе и природе». Чем дальше шли годы, тем больше Баклаков убеждался в справедливости фразы Чинкова.

31

Накатившийся вал весны тревожил души. Баржи на берегу вытаяли, и на их пригретых солнцем, все еще пахнущих смолой бортах снова стали собираться перебедовавшие зиму бичи. Дни стали бесконечно длинными, и темные зимние сумерки ушли, как будто наваждение. На крыше профсоюза бесились воробьи. На улицах Поселка снова возник дед Миша — возчик продовольственного

магазина. Вместе с лохматой своей лошадью, телегой он был такой же достопримечательностью Поселка, как баржи на берегу, маленький цементный обелиск с надписью, что здесь будет памятник основоположникам.

Дед Миша появился здесь чуть ли не с первым пароходом и с тех пор ухитрился ни разу не выехать на «материк». Отпуск он проводил в низовьях Китама, там, где стояла избушка бывшей фактории. Когда-то он сам был заведующим, уполномоченным по территории шестьсот на шестьсот километров с горными хребтами, тундровыми урочищами и полноводными реками. Он много кем был в прошлой жизни, пока не стал возчиком торга, с багровым своим носом и доброй улыбкой все на свете понявшего человека. Когда лошадь и тележка с консервными ящиками двигались по залитой весенним солнцем улице Поселка, мимо раскисающих, подтаявших застругов, сосулек, капели, мимо мощных грузовиков, снующих в порт и обратно, дед Миша казался олицетворением Всеобщего Окончательного Решения. Только преходящие страсти: честолюбие, гонор, жажда власти, денег, успеха или фантастическая вера в идею — мешают человечеству прийти к его, деда Мишиному усталому выводу. Так казалось. Достоинством бытия деда Миши было то, что в прошлой, настоящей и малом отрезке будущей жизни не имелось злого на него человека.

Первые пуночки, тележка деда Миши, свет и тревожные запахи рождали иллюзию гусиного крика. Гуси были еще далеко на юге, за горными хребтами и заснеженными пространствами, первые разведчики прилетали лишь в мае, но и сейчас, казалось, звенел в небе вековой крик гусиной стаи, и у всех мужчин в Поселке сжимались сердца, потому что Поселок все-таки был бродячим местом, местом, где живут временно.

В вечерних тревожных сумерках мужчины думали о женщинах. Весной вспоминали о забытых девушках на «материке», о бывших любовницах, с которыми разошлись, об утратах, встречах. Весной казалось, что «настоящая жизнь» впереди, а прошедшее было простой подготовкой.

Управление жило суматошной коридорной жизнью. У стенок на корточках сидели и курили работяги «на подхвате» — погрузить, оттащить, получить, притащить. Шла бешеная дробь из комнаты машинисток — последние страницы отчетов и исправлений в них. Уже выплыли на сцену пистолетные кобуры, ружья и винтовки. Уже

слово «заброска», транспортное сумасшествие каждой весны, перестало быть загадочной магией. Каждая партия выковала свой основной, запасной и сверхзапасной вариант, как попасть в район.

32

Первой к месту работы выехала партия Копкова. Партия выезжала на тракторных санях. Загруженные доверху сани вел дядя Костя.

Дядю Костю, как всегда, извлекли перед рейсом из домика Тряпошной Ноги. Он был очень тяжел в этот раз, поминутно доставал литровый китайский термос с чифиром и каждый раз с детским изумлением разглядывал красную розу, изображенную на синем фоне термоса. Проехав склады, дядя Костя остановил трактор в тихой ложбине и лег спать. Копков ему не препятствовал: если дядя Костя выезжал за черту Поселка, значит, он уже в рейсе, и теперь будет доставлять партию любой ценой. Старые копковские кадры тоже спали, забравшись в олений мех, лишь новенькие смотрели на белую мглу ложбины, на поземку, неотвратимо заметавшую их след, и на черное лицо дяди Кости, когда он через час вылез из кабины и сунул голову в снег. Умывшись снегом, дядя Костя хлебнул смеси спирта и чифира и взялся за рычаги, чтобы теперь сутками не выпускать их из рук. Неизвестно, чему тут приходилось удивляться: выносливости машины или человека.

Сутки за сутками, оставляя за собой черневшие на снегу пустые бочки, они шли через темные от камня перевалы, заснеженные речные долины. Грохот дизеля вспугивал зайцев. На перевалах доверчивые горные куропатки чуть не попадали под гусеницы, а куропачи с налитыми яростной весенней кровью бровями бросались на сани в безумной самцовской отваге. Трактор пересекал песцовые, оленьи и росомашьи следы.

Было странное совпадение в том, что трактор шел точно по маршруту, которым двести лет назад проходил капитан Баннерс, иностранец на службе русского флота. Оставив свои корабли на попечение младших офицеров, он сухопутным путем бежал в Петербург от осточертевшей полярной пустыни. Дорогой Баннерс заполнял дневник сентенциями, которые надолго должны были отвратить людей от Территории. Но, впрочем, это были другие времена, с другими понятиями.

33

КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ ВАСИЛЬЧИКОВ

Дядя Костя погиб, возвращаясь с базы Копкова. В санях у него лежало только три бочки солярки для обратной дороги, тросами прикрученные к полозьям из буровых труб, потому что рачительные мужики Копкова раздели сани до последней щепки. Он хотел срезать крюк западного притока Серой реки и выскочил в узкую расселину другого притока. С перевала он попал на наледь. Наледь показалась ему надежной — весь март по ночам стояли большие морозы. По какому-то затмению души дядя Костя не учел, что именно морозы и опасны наледи.

В верхней части ущелья река промерзла почти до дна. Видно, гусеницы оказались последней каплей, нарушившей равновесие. Лед вверху лопнул с артиллерийским грохотом, и полоса воды валом покатилась к трактору. Дядя Костя хотел проскочить как можно быстрее. Сзади шла вода, по бокам — отвесные борта ущелья, и оставалось только убегать вперед по скользкой, припорошенной снегом наледи. Втянув впалые щеки и со свистом прихватывая воздух, дядя Костя дергал рычаги, жал педаль газа, и грохот траков по льду был ему победной и спасительной музыкой. Но, видимо, последний час его пришел, потому что лед под трактором провалился, и он попал в подледную пустоту, откуда вода ушла по щели. Мотор сразу заглох. Надо льдом торчала только крыша кабины. Дядя Костя закрыл глаза на секунду. И только одно было в голове: «Спальный мешок». Копков чуть не силой втискивал ему в кабину теплый олений кукуль, но дядя Костя, как все трактористы старой северной школы, был суеверен. Поедешь с кукулем и продуктами — вернешься без трактора. Это была старая заповедь старых времен «Северстроя», когда трактор стоил куда больше, чем тракторист. Он не сдался еще. До базы Монголова ему оставалось километров сто пятьдесят. Дядя Костя выскочил из кабины. В небо полозьями торчали вздыбленные сани, и холодно отсвечивал полированный на снегу металл. Он вскарабкался на сани и ухитрился развязать трос на бочке с солярко. Солярка — это огонь, а значит, и жизнь. В сани уже ударила вода и стала заливать ледяную яму, где был трактор. Он еще успел прыгнуть в кабину за телогрейкой, проверил, в кармане ли спички, выпихнул на лед бочку и покатил ее

вниз. Но сверху набежал новый вал, вода подняла бочку и быстро понесла ее. Дядя Костя еще рванулся, чтобы удержать солярку, около которой он мог продержаться сутки или двое, поскользнулся и упал в воду. Последней его мыслью было: «Если бы раньше, то, может быть, лучше для всех. Справедливее».

Трактор дяди Кости нашли через две недели. Копков, после того как заработала рация, сообщил о дне его выхода. Из-за краткой оттепели в верховьях Лосиной и Китама в тундре начинался гололед. Вездеходы управления были мобилизованы для поездки в стада, хотя и неизвестно было, чем они могли там помочь.

На поиски трактора дяди Кости вышел второй трактор управления, который должен был забросить партию Жоры Апрятина. Ему пришлось дойти до партии Копкова, затем по обратному следу дяди Кости до наледи. Этот трактор повторил ошибки дяди Кости и тоже пошел по наледи, но на этот раз все обошлось. Обнаружили оледеневшую верхушку кабины, вздыбленные сани. Два дня люди орудовали ломами, освобождая трактор и сани, пока не обнаружили, что кабина пуста. И уже когда собирались уезжать, нашли занесенный снегом бугор у края наледи — спина дяди Кости. Его похоронили на верху обрыва, а рядом памятником поставили стоймя, как они были во льду, железные тракторные сани для перевозки тяжелых грузов. Можно думать, что необычный этот памятник простоит очень долго, потому что железо слабо ржавеет в климате Территории, а пурги зимой полируют его.

Чинков издал приказ, в котором трактористам запрещалось уходить в рейс без палатки, примуса, спального мешка и недельного запаса продуктов. Геологам-съемщикам отныне категорически запрещалось ходить в маршрут в одиночку. Начальнику партии Апрятину объявлялся строгий выговор, и он переводился на два месяца на должность техника с исполнением обязанностей начальника партии. Семен Копков также получил переданный по рации выговор.

Приказ звучал бескомпромиссно и строго, но все знали, что геологи-съемщики будут ходить в одиночку и не так-то просто выбить из людей традицию отмененного «Северстроя». Видимо, и Чинков понял это, потому что собрал у себя всех начальников партий, техников и инженеров, бывших в управлении, и кратко сказал:

— В этот сезон не должно быть никаких ЧП. Они

мешают работе. Кроме того, мне не нужны расследования. Совещание окончено.

— Мандражирует начальство,— сформулировал в коридоре Саня Седлов. — Боится гласности происходящего. А бояться чего? Вся наша жизнь как сигаретка на сильном ветру.

Саня Седлов завтра вел вездеходы к реке Ватап и уже ничего не боялся.

34

Вечером Баклаков отправил людей на аэродром. Ему оставалось получить оружие и официальное техзадание, подписанное Чинковым.

Он ночевал в полуопустевшем бараке. В некоторых комнатах еще шумели, звякали бутылками, мелькали какие-то женские фигуры, у дверей стояли упакованные рюкзаки и болотные сапоги, но дух барака был уже нежилым, опустевшим.

Утром в управлении он встретил Монголова. Монголов постарел, загорел на весеннем тундровом солнце и как-то отяжелел. Не стало его прежней высушенной армейской легкости. Было похоже, что Монголова надломило золото, в которое он не верил, но отыскал.

— Пойдем, — сказал Монголов Сергею и взял его выше локтя. Так, не разжимая пальцев, он провел Баклакова в отдел кадров, где Богода с красными от бессонницы глазами (шел переучет личных дел) маялся средь пыльных папок и карточек.

— Дай,— сказал Монголов.

Богода проскрипел протезами к высокому зеленому сейфу, заслонив собой замок, открыл сейф и вынул из глубины чехол из нерпичьей шкуры и тяжелый нерпичий же мешочек.

— Бери,— вздохнул Монголов, протягивая Баклакову свой короткий винчестер, зависть управления.— Бери, дарю!

И подал мешочек с патронами. Было в жестком лице Монголова нечто такое, что заставило Сергея просто сказать:

— Ага. Спасибо. Ты-ы! Ну, спасибо!

И уйти. Тяжесть винчестера в руке как бы переводила жизнь в другую плоскость, теперь он был уже в поле, он уже был экспедиционный, и жизнь подчинялась экспедиционным, а не поселковым или городским зако-

нам. Баклаков открыл кабинет, заваленный обрывками кальки, миллиметровки, забракованными образцами прошлого лета, машинописными перечеркнутыми листами отчетов. Никто до осени не войдет в эту комнату, и они сами осенью будут убирать покрывшиеся пылью образцы, пожелтевшие листки бумаги.

Он вынул винчестер из чехла. Все честь по чести было щедро промазано маслом, поворонка не стерлась, и только на ореховом ложе местами — щербинки. Короткое, удобное, мощное оружие. Баклаков машинально заглянул в подствольный магазин — девять штук патронов влазит туда, как раз на маршрут. Он развязал мешочек. Маслянистые короткие патроны, чуть похожие на наши автоматные, редкий тип винчестера, там же лежала отвертка, масленка и вишер. Военный человек Монголов: все в идеальном порядке.

Лидия Макаровна сказала: «Илья Николаевич просил тебя зайти». Он вошел в кабинет Будды. Чинков, как всегда, сидел за идеально чистым столом в своем кресле-троне с медными гвоздиками.

— Садитесь, Сергей Александрович,— сказал Чинков, вынул из ящика стола фирменную папку «Северстроя» с листиками технического задания. Баклаков взял папку, сел, положив ее на колени.

— Весенняя погода. Скоро все развезет,— сказал Будда и посмотрел в окно. Баклаков молчал.

— Еще раз повторяю,— сказал Чинков,— что за результаты партии отвечаете вы, Баклаков. Методы, которые вы будете применять для выполнения работы, меня не интересуют.

— Это моя забота,— согласился Баклаков.

— Прошу запомнить, что наши идеи и наша интуиция имеют ценность лишь в том случае, если они согласуются с реальностью. Мы живем под принудительной силой реальности, Баклаков. Ваша задача — иметь раскаленный мозг, вырабатывать идеи и тут же согласовывать их с принудительной силой реальности. В просторечии это называется мудростью.

— Выше головы не прыгнешь, Илья Николаевич.

— Я не требую, чтобы вы были Спинозой или Конфуцием, Баклаков, вы не способны быть ими. Но я обязываю вас быть безжалостным и мудрым во всем, что касается золота Территории. Нам нужны перспективы, чтобы требовать деньги и деньги, чтобы развивать перс-

пективы. Россыпь реки Эльгай — мелочь. Ваше будущее целиком зависит от этого лета.

— Вы поговорили с Куценко?

— Он будет работать так, как это положено. И больше того.

— Спасибо.

— Идите, Баклаков. Идите и выполняйте. Желаю удачи. Не заставляйте меня разочаровываться в вас. В вашу силу я верю.

Будда протянул ему мягкую ладонь. Сергей вернулся в кабинет, забрал винчестер, пнул разодранный лист миллиметровки и запер за собой дверь. Повесив ключ от кабинета на щит, он зашел в «предбанник» к Рубинчику. Рубинчика не было, лишь тяжелый табачный дух висел в комнатушке. Он написал записку: «Из четырнадцатой благополучно отбыли Гурин и Баклаков. Ключ в двери, вещички завернуты в матрасы на койке. Не унывай, Рубинчик».

На другой день партия Баклакова без приключений двумя рейсами выбросилась в район холмов Нганай. Они могли бы вылететь и одним, но хозяйственный Куценко наотрез отказался лететь без двух бочек солярки, которые он спер прямо на аэродроме.

— В солярку полезно обмакивать руки, когда моешь шлихи в холодной воде,— утверждал он. Когда Сергей предложил взять банку технического вазелина, то Куценко с обезоруживающей простотой сказал:

— А топить чем? Весновку надо в тепле проводить. Если у примуса маленько отверстие рассверлить, он на солярке как реактивный фугует.

Под базу выбрали место там, где в устье Малого Китама скалистый обрыв переходил в тундровую ложбину. Холмы защищали их от ветров с севера, в ложбинке обещал быть ранний ручей, с высоты виднелось синее и белое Кетунгское нагорье. Прямо под ними находился широкий ровный плес, где, как утверждал бешеный рыболов Боря Бардыкин, голец хватает, если в лунку просунуть палец. Он обещал прилететь к ним в конце апреля, выбросить еще солярки, притащить ящик спирта и всемирные новости в обмен на мороженого гольца.

Груда снаряжения казалась огромной из-за хаоса, где перемешались консервные ящики, рюкзаки, спальные мешки, примусы, рейки.

В первый же вечер Баклаков на лыжах вышел в маршрут на холмы Марау. Он взял кусок брезента вместо палатки, толстый кукуль из меха зимнего оленя и маленький примус. До холмов Марау семьдесят километров, и он надеялся обернуться в четыре дня.

Лыжи были плохие, он привык к хорошим, дорогим, шведским, норвежским, финским лыжам или фирменным лыжам марки «Эстония», к облегченным гоночным ботинкам. Но вскоре забытое с детства ощущение ременной петли и валенка вернулось, и он быстро пошел по застругам на северо-запад. Винчестер был с ним. Он решил не расставаться с подарком Монголова. Было хорошо идти по розовому, озаренному закатом снегу. Сзади морозно синели холмы Нганай. Редкие прутья кустов с детской весенней надеждой выглядывали из-под снега.

Баклаков заночевал в долине тундровой речки под надутым пургами козырьком снега. Немного подкопал его, ножом вырезал пару снежных плит. Получилась пещера. Брезент постелил на снег и залез в мешок, раздевшись догола. Есть и пить не хотелось, потому что тело просило работы. В мешке было тепло и удобно. Он потрогал лежащий рядом на брезенте металл винчестера и посмотрел на отрешенное небо и бледные точки полярных звезд. «Я научился соразмерять желание и реальность, — думал Баклаков. — Два года назад я не стал бы делить работу с ребятами. Я пошел бы по Большому Кольцу и тем загубил задание. Жизненный опыт в том, чтобы соразмерить желание и реальность». Он быстро заснул.

Еще не проснувшись, Баклаков почувствовал радость. Невысокое солнце вкось освещало тундру. Ночью выпал небольшой снег, снежинки лежали плоскими кристалликами на застругах, и от их отражения вся тундра искрилась разложенным спектром света. Мягкий сверкающий ковер шел, изгибался по холмам, впадинам долин, обволакивал кустарники и заструги. Жизнь была сказочна. Если лето начинается так — значит, оно будет удачным.

Ко второй половине дня он добрался до холмов Марау. Начался такой солнечный жаркий день, что лицо Баклакова обгорело до красного цвета. Снег раскис и не держал лыжи.

К вечеру он сделал работу.

Всю ночь Баклаков шел обратно, проверяя курс по Полярной звезде, которая должна была находиться над левым плечом. Скрипел снег под лыжами. Баклаков дре-

мал на ходу, сгорбившись, положив отяжелевшие кисти на винчестер, который висел на груди, как автомат. На базу он пришел к двенадцати дня. Было очень жарко, пот разъедал глаза.

Куценко выкладывал защитную стенку из камня вокруг палатки. Гольцы, воткнутые в снег головами, торчали, как частокол. На отполированном ветрами склоне сопки маячила высоко у вершины тяжелая фигурка.

— Курорт, а не жизнь,— устало сказал Баклаков, скидывая рюкзак.

— От выдает! — глядя вверх, ответил Куценко.

Гурин мчался по склону, выписывая плавные кривые. В вихре взметенного снега он набрал скорость и, изящно сломившись в бедре, замер в метре от палатки. Яркая рубашка поверх свитера, темные очки — парень с рекламы.

— На горных, выходит, умеешь? — прикрыв глаза от нестерпимого света, сказал Баклаков.

— Могем, начальник. Король Кавголовских холмов — это я.

Гурин был весел, и Баклаков подумал, что Гурин все-таки умница и с ним можно поддерживать отношения, даже будучи в ссоре.

— Ты на юг ходил? — спросил он.

— Еще как ходил! Тебя дожидаюсь, начальник. Мудрого руководящего слова.

— Чаю нет, Клим Алексеевич? — спросил Баклаков.

— Как нет? — удивился Куценко. — Я вас-тебя за пять километров увидел, сразу термос залил. Во-он у стенки вас-тебя термос ждет. Это где же такое бывает: человек из маршрута, а чая нет?

Гурин отстегнул лыжи, распустил шнуровку ботинок. Только теперь Баклаков понял, зачем Гурин тащил за собой всю эту ненужную в экспедиции тяжесть. Ладно, черт с ним. Пусто как-то. Предчувствие, что ли? Какое, к лешему, может быть предчувствие после одного маршрута?

Гурин принес рюкзак с образцами. По его словам, на холмах Тачин он обнаружил небольшой гранитный интрузивчик. Может быть, просто верхушка не прорвавшейся вверх магмы, может быть, остаточный корень. Великолепный контакт. Готовая лаборатория.

— Значит, расчистки нужны. Возьми Вальку или Седого. Палатку, продукты. Изучи ее капитально.

— Валентин-то при деле. Шлихи учится мыть. Я ему задание выдал,— вмешался Куценко.

— Лучше Седой. Он горным работам обучен, — согласился Баклаков.

— Весна ранняя будет. Скоро снег развезет и объявится гусь,— сказал Куценко.

Ночь стояла ясная, светлая, снег подмерз. Гурин и Седой готовились к маршруту на холмы Тачин. Гурин отправлялся на горных лыжах, снял с крючков тросик креплений, чтобы можно было шагать,

— Плюнь ты на эту технику,— сказал Баклаков.— Замучаешься через километр. Возьми мои лыжи на валенках или иди как человек.

Баклаков злился. Всякие отвлекающие игрушки в рабочем маршруте он считал недопустимыми, но не мог приказать Гурину, потому что у них, видите ли, ссора по личным причинам.

Гурин выпрямился и воздел руки.

— Не ведаешь, что говоришь, начальник. Два года я не вставал на горные лыжи. Что скажут мне загорелые женщины, когда я с глупой пачкой аккредитивов приеду в Бакуриани или Чимбулак? Женщины назовут меня толстым и старым. Они скажут, что мне ничего другого не осталось, как писать диссертацию. А я не хочу быть диссертантом, я хочу быть мужчиной. Эти лыжи я прятал у Рубинчика целую зиму. Чтобы их не украли, не сожгли или не переделали на нарты.

— Ладно, — согласился Сергей. — Но доставь злобное удовольствие, я посмотрю, как ты будешь писать свои повороты с рюкзаком за спиной.

— Не доставлю,— хохотнул Гурин.— У меня тяньшаньская школа.

И не доставил. С рюкзаком за спиной, описывая плавные дуги, он съехал на лед Китама и завершил все это длинной сверхпижонской дугой на слитых воедино лыжах.

— Гвадалквивир! Силен! — с неприкрытым восхищением сказал Валька Карзубин. Баклаков посмотрел на него. Он увидел, что парень, с суровой непреклонностью утверждавший, что не пьет по утрам, совсем еще мальчишка. Мир ремеслухи, электросварки, железных работ и бараков как бы законсервировал этого парня, и вот теперь он открывал новые для себя горизонты, иной стиль

жизни и поведения. Управление приобрело еще одного верного кадра, которому нет уже обратной дороги в регламентированный мир заводов.

Седой уступами спустился вслед за Гуриным, и темные точки их быстро исчезли.

Снегопад пришел после трех жарких парниковых дней. Куценко и Карзубин обходили песчаные косы, намечали места будущих шлиховых проб. Баклаков лазил по склонам около базы и искал позарез необходимую фауну. Он все больше приходил к выводу, что на холмах Марау, Чанай и Тачин — так называемые «немые» толщи, слои, не сохранившие окаменевших остатков биологической жизни.

Со своей рекогносцировки Карзубин и Куценко принесли по большой вязанке кустарниковых веток.

— У живого огня посидеть, надоело примус обнюхивать, — бурчал Куценко, раскладывая костер.

Небо с полудня уже затянуло, на вершине холма струились вихри поземки. Но в долинке, где находилась база, было тихо. Снег пошел сразу крупными хлопьями. Где-то в стороне он крутился в струях ветра, но над ними затихал и падал почти отвесно.

— Чо хмурый, начальник? — спросил Валька Карзубин. — Скучаешь по грохоту жизни?

— Скучаю по фауне. Целый день, как олень, снег копытил. И ни одной ракушки.

— Давай напишу в деревню. Внутренний смысл! Там на речке у нас полно всяких.

— Напиши.

— Пробы-то заранее натаскать, так у первой забереги и мыть можно, — сказал Куценко. Он сидел босиком, поставив квадратные ступни на голенища валенок.

Снег падал все гуще, гуще, и спины стали уже намокать от него. И вдруг метрах в пяти от костра под снежный обрыв тяжко и обессиленно грохнулся один гусь, за ним второй, третий.

Гуси отбежали к краю обрывчика и настороженно стояли, готовые в тот же момент взлететь. Так прошло минут пять, встопорщенные перья гусей улеглись. Потом один мягко прикрыл собой лапки, и тут же улеглись все трое. Они лежали, прижавшись друг к другу, как серые валуны, только крайний неотрывно смотрел на людей круглым глазом.

— Правильно говорил Илья Николаевич — страна великих возможностей, — тихо и тонко, совсем по-буддино-

му, сказал Куценко. — Гуси прямо в костер падают. Надо тихонько в палатку перебраться, пущай отдохнут.

Снег навалил за ночь слой около полуметра и к утру утих. От белизны его все заполнила слепящая мгла, небо казалось синтетически голубым. Гуси исчезли. Баклаков пошел на скалистый обрыв и безнадежно крушил молотком камни. Глаза даже в темных очках слезились.

Пришел Куценко с кружкой чая.

— Промой глаза. Лучше чая лекарства нет при таком снеге.

— Ничего.

— Снежной слепотой заболеешь, время терять будем,— сказал Куценко.

Баклаков взял кружку и стал промывать глаза крепким холодным чаем. Глаза слегка щипало, то ли от чая, то ли от пота, который попадал в них вместе с чаем.

— А гуси-то улетели,— вздохнул Куценко.— Этот снег к обеду солнце сметет.

— Спасибо, Алексеич,— сказал Баклаков,— болеть сейчас невозможно. Как только Гурин закончит, будем уходить в горы.

35

Сидорчук прилетел в Поселок в конце апреля. Чинков, встречавший его в аэропорту, радостно засмеялся, когда увидел Сидорчука в желтой канадской меховой шубе, в отчаянных каких-то меховых сапогах тоже желтого цвета и тяжелых темных очках. Иностранец, концессионер, прибывший смотреть владения. Дорогой он подшучивал над Сидорчуком, объясняя: «Вот это торосы. Это тундра, покрытая снегом. Это так называемые сопки». Сидорчук все терпеливо сносил. В управлении он долго ходил по обшарпанным коридорам, заглядывал в захламленные и пустые рабочие кабинеты.

— Вы бы краску, что ли, какую повеселее нашли. А то с похмелья не угадаешь: в управлении ты или в камере предварительного заключения.

— К осени выполним указание. Сделаем, чтобы нашим героям-полевикам было радостно зайти в управление, — с усмешкой ответил Чинков.

В тот же вечер Сидорчук и Чинков отправились на разведку Монголова. Вездеход гремел, лязгал, сотрясался, и в кузов забивалась снежная пыль. Сидорчук молчал и лишь однажды сказал Чинкову:

— Вместо того чтобы про сопки и торосы рассказывать, лучше бы в мой портфель заглянул.

— Давай, Иван, загляну.

— Смотри! — Сидорчук открыл портфель, и, даже несмотря на бензиновый дух и выхлопные газы в вездеходе, запахло аптекой. Скляночки, пузырьки, пакетики.— Может, выкинуть все это на дорогу? Вместе с портфелем? — с веселым отчаянием спросил Сидорчук. Чинков ничего не ответил, и Сидорчук погрузился опять в недра оранжевой шубы.

К рассвету вездеход вышел в долину Эльгая. Тракторный след синел под лучами восходящего солнца, убегал вперед.

На разведке Сидорчук быстро и даже как-то небрежно просмотрел пробы, вынутые из сейфа Монголовым. Втроем они пошли на шурфы. Из-за вездехода вывернулся Кефир, с чрезвычайно деловым видом прошел мимо.

— Гиголов,— представил его Монголов.— Лучший рабочий. Именно он нашел самородок в триста пятьдесят граммов, который и заставил нас начать зимнюю промывку. И он же намыл первую хорошую пробу.

Кефир приподнял шапочку. Сидорчук благосклонно кивнул.

— Не в етом подвиг, Владимир Михайлович, — вдруг сказал Кефир. — Подтвердите, что я отказался от спирта, чтобы не спугнуть фарт. Чтобы не подорвать валютную мощь государства. — Гиголов героически отодвинул предложенный спирт. — Было?

— Было,— устало усмехнулся Монголов. Он видел, что на Кефира «нашло».

— А досталось-то каково? Вот думают иные начальники: работяга аванс взял, бормотухи, портвейн по-научному, выпил и сопит спокойно в две дырочки. А начальство о производстве не спит, калики-моргалики из пузырьков отмеряет, заботится: ну, как заснет — сразу все рухнет. А производство — что? Это же дерево! И растят его работяги, — Кефир закатил глаза и взмахом нарисовал размеры «дерева». — Начальство... усопло. Работяга угомонился. А труд-то наш, наше-то дерево все растет, растет, ширится. Беспредельно. Ну-у!

Кефир искоса глянул на Сидорчука, нахлопнул шапчонку и пошел прочь. Но неожиданно вернулся, с веселой фамильярностью хлопнул Сидорчука по плечу.

— Шуба у вас богатая. В такой шубе и по Бродвею. Ну-у! Все американские цыпочки лягут.

— Не в шубе сила, — сказал Сидорчук.

Он взял Кефира под руку, отвел в сторону и что-то пробормотал ему на блатном жаргоне. Кефир изумленно округлил глаза, и они с Сидорчуком, уважительно пожав руки друг другу, разошлись. Сидорчук улыбался и все оглядывался на спину Кефира. Чинков тихо давился от смеха. Монголов ушел.

— Ты слыхал о таком... Катинском? — спросил Сидорчук.

— Читал докладную записку,— неохотно пробурчал Чинков.

— Докладной его ты не читал. Она у меня в единственном экземпляре. Толковая докладная. А тут и ты подвалил с своим мешком золота. Вовремя.

Чинков молчал.

— Вот ведь интересный мужик,— продолжал Сидорчук. — С Территории его выперли. Он в Средней Азии спрятался, но отчеты читал. Думал. Всю золотоносность Территории по полочкам разложил. Толковый черт, этот Катинский.

— Почему не сказал сразу о докладной?

— Ты бы не был тогда пуп Территории. А ты лучше работаешь, когда ты именно пуп.

Чинков молчал. Редко бывало, чтобы удар доставался ему вот так, неожиданно. Он привык все предвидеть. Он молчал, какая-то нехорошая жилка билась в затылке, и вдруг из темных глубин, как спасательный круг, выплыло короткое тяжелое слово. Оно выплывало к нему уже несколько месяцев, но пока Чинков боялся его. Слово это было «нефть», которое давно уж стало синонимом золота. Пока же Чинков уставил в пространство взгляд и мальчишеским обиженным голосом произнес:

— Все равно это золото создал я. Я его сдвинул с места.

— Разве кто спорит?— удивился Сидорчук.

— Зачем ты приезжал, Иван? Шубой похвастаться?

— Убедиться, что золото и разведка существуют в реальности. От тебя всякого можно ждать.

— Убедился?

— Не ломай голову,— сказал Сидорчук.— Кроме лекарств, у меня в портфеле разные полномочия. Высокий и полномочный ревизор, вот кто я. Я привез тебе день-

ги. Дополнительные ассигнования на разведку. Акт о ревизии ты сегодня напишешь сам. Завтра я улетаю.

— Где твои деньги были месяц назад? Я все полевые партии ограбил. Нищими их отправил. Они гипертониками вернутся.

— С каких пор ты жалостливым стал?

— Я о неиспользованных возможностях жалею. Гипертония должна быть оправдана. На Лосиной нужна большая шурфовка. На Ватапе есть куда вложить деньги. Кольцевой партии не поможешь.

— Почему?

— Такой маршрут. Но там у меня честолюбцы. На честолюбии вытянут.

— А где твой промывальщик-гений? Хочу познакомиться.

— Там, в Кольцевой. Если привезет нужные результаты, я его в старшие инженеры произведу. Диплом нарисую об окончании вуза. Если привезет именно то, что жду, я его кандидатом наук назначу.

— Наместник! — вздохнул Сидорчук.— Император. В какой круг ада заявку подал?

— Лет через десять скажу,— серьезно сказал Будда.

— Едем обратно!

— Пусть водитель поспит. У него портфеля с лекарствами нет.

— Ничего. Чифир заварит. Не каждый день к вам высокие и полномочные ревизоры прилетают.

— Может, охоту прикажешь устроить? Коньяк, куропатка на вертеле?

— Не усердствуй. Твой трон пока прочен.

— Мой трон всегда прочен,— усмехнулся Чинков.

К вездеходу шел Монголов. В телогрейке, перетянутой офицерским ремнем, в армейской шапке и тщательно вычищенных сапогах, Монголов резко отличался от монументально одетых Будды и Сидорчука.

— Вы обещали отпустить меня в отпуск, как только разведка даст результат, Илья Николаевич,— сказал Монголов, остановившись в нескольких шагах от Чинкова.

— Плохо себя чувствуете?— Чинков осторожно скосил глаз на Сидорчука. Тот, вовсе не делая вид, что не слышит, с веселым интересом смотрел на Монголова и Чинкова.

— Не сплю. Желудок жжет. Не сдублировать бы Отто Яновича,— невесело усмехнулся Монголов.

— Устроим вас в санаторий, Владимир Михайлович, — сказал Чинков. — Северстроевский спецсанаторий. Его пока не отняли. Отдельная комната. Хорошие врачи.

— Нет,— все так же невесело улыбнулся Монголов.— Это не для меня. Что хорошо для генералов, не годится для ваньки-взводного. Хочу поехать в деревню. Зайти к простому сельскому врачу. С удочкой посидеть. Подумать. Возникла необходимость подумать.

— О чем же, если не секрет, Владимир Михайлович? — весело спросил Сидорчук.

Монголов внимательно посмотрел на Сидорчука, на Будду и глухо сказал:

— О правилах. Всю жизнь я верил в определенные правила. В личный устав, если хотите. Почему-то все пошатнулось. А человек без правил жить не может.

— Удочки. Сельский врач. Лучше и не придумаешь, Владимир Михайлович, — дружелюбно сказал Сидорчук. — Я бы именно так поступил.

— Будем взаимно выполнять обязательства, — вздохнул Чинков. — Вы выполнили свое на Эльгае. Я выполняю свое и разрешаю вам отпуск. Подумайте о санатории. Я организую вам любой санаторий страны.

— Ни к чему ваньке-взводному... — начал было Монголов.

— Бросьте! В управлении организуется отдел разведочных экспедиций. Сейчас у нас две разведки: ваша и киноварь Копкова. Скоро разведок у нас будет много. Вы будете начальником отдела разведок и моим заместителем после отпуска.

— В кресле я... — снова начал Монголов.

— Не выйдет, Владимир Михайлович, — жестко перебил его Будда. — Вы единственная кандидатура. Вспомните ваши правила. Хотите, чтобы я техника назначал в отдел разведок? Молодого специалиста? Слишком дорого это для государства, Владимир Михайлович.

— Хорошо, — сказал Монголов. — Как всегда, «приказ и необходимо». Это я понимаю. Но пока прошу отпуск.

Монголов коротко кивнул и пошел прочь от вездехода, четкая фигура на ослепительно светлом снегу.

— Такого мужика укатать, — раздумчиво сказал вслед Сидорчук. — Людоед ты, Илья.

— Я, может быть, людоед, но не юная школьница, —

пробурчал Чинков. — Кроме эдакого героизма и разэдакой романтики, в людях еще кое-что вижу. Я в них, как людоед, кое-что понимаю.

36

ГУРИН

Седой пришел на базу на пятый день. Лицо его было кумачового цвета, и белые волосы выглядели теперь как венчик святого. Седой молча вынул из кармана пистолет и протянул его Баклакову.

— Вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана, — успел повторить поселковую присказку Валька Карзубин. — Дромадер с четырьмя горбами.

— Ты-ы, — сказал Баклаков. — Что произошло? Ну-у?

— Инженер ноги сломал. На этих своих агрегатах.

— Как?

— Надо идти. Песцы там шныряют, как крысы. Обгложут инженера.

— А пистолет?

— Отнял из предосторожности. Шибко орет инженер, плачет, — Седой покрутил головой. — Мне чифирнуть, и можно обратно.

Валька Карзубин уже шуровал примус. Куценко вытащил из складской палатки три ящика со сгущенкой, подцепил топором доску и вывалил банки на пол палатки.

— Зачем? — спросил Баклаков.

— На горбу-то его не больно утащишь. На лыжи прибьем, получатся нарточки. На нарточках веселее, — неторопливо ответил Куценко.

По словам Седого, получилось так: они работали на самой верхушке холмов Тачин. Со стороны реки берег крутой, со снежным козырьком. Там они поставили палатку. Гурин каждый раз все отчаяннее съезжал вниз. Когда он, Седой, сделал первую расчистку, задула поземка, потом пошел сильный снег. Гурин набил рюкзак образцами, чтобы рассортировать их в палатке, и поехал вниз, сказал, что вернется за другой партией. Через час не вернулся, через два тоже. Работать наверху стало нельзя, и Седой пошел вниз. В палатке Гурина не было. Седой нашел его в двухстах метрах вверх по реке прямо под обрывом. Гурин кричал все время, но ветер крик уносил. Лыжи вдребезги, ноги сломаны обе, хребет вроде цел.

...Втроем пошли к холмам Тачин. Валька Карзубин остался охранять базу. Седой только просил заварить чифир в термос и сунул термос в карман. Идти было светло. В белесой прозрачной мгле они двигали лыжами по рыхлому снегу. Куценко ушел вперед. Седой отставал.

Сергей почему-то думал о горных лыжах «мукачах». Можно было сделать из них грузовые нарты. И до паводка уйти в горы, потому что холмы ничего неожиданного не дали. Можно сделать еще одни нарты, а главный груз и гуринские тяжелые образцы оставить в палатке, чтобы зимой забрать самолетом. Седой сильно отстал, и Баклаков остановился, поджидая его.

В бледном рассеянном свете Седой в своей коротко подобранной и туго подпоясанной телогрейке, загнутых валенках походил на лобастого, настороженно идущего зверя. Лицо его казалось темным, почти черным.

— Беда, — сказал Баклаков. — Беда к нам пришла, Седой.

— Главное, спасти-то его как? Пока самолет вызовешь, гангрена начнется, — вздохнул Седой.

...Снег у палатки был покрыт песцовыми следами. Из палатки доносился веселый голос. Гурин бредил, пока они вытаскивали спальный мешок из палатки и грузили на нарты: три ящика из-под сгущенки, приколоченные на лыжи.

— Лечу, — весело говорил Гурин. — Кувыркаюсь.

Лицо его было черным, и черной была невероятно быстро отросшая щетина.

— Лечу! Кувыркаюсь! — кричал Гурин и улыбался жутковатой улыбкой.

На половине дороги Гурин очнулся и начал кричать на одной ноте. Баклаков сильно ненавидел его в эти минуты. Он ушел вперед, потому что принял решение: до рации должен бежать он. Сто семьдесят километров за пару суток осилит, иначе на кой черт было накачивать мускулы, тренироваться и иметь звание мастера. При хорошем заводе можно за полтора суток, чтобы сохранить ноги сокоешника. За это время Седой перевезет на нартах собранные на холмах Тачин образцы. Куценко прошлифует долину Китама, и они сразу уйдут в горы. В эту долину в крайнем случае можно вернуться осенью. Как всегда, когда решение принято, Баклакову стало легче, и теперь уже он сильно жалел Гурина и досадовал на собственную мягкотелость. Надо было запретить

Гурину брать эти дурацкие лыжи. Под предлогом того, что мешают работе. Баклаков жалел Гурина и думал о том, как он переносит эту боль. Жизнь Гурина представлялась ему излишне благополучной. Благополучные люди плохо переносят боль. Если же Гурин потеряет ноги, то ему конец. Он не из тех, кто сможет остаться человеком без ног.

...У палатки Баклаков увидел Кьяе. Старик сидел прямо на снегу, вытянув сомкнутые ноги, и улыбался Баклакову. Кьяе был без шапки, а в вырезе кухлянки виднелась сморщенная коричневая кожа.

— Кьяе! — выдохнул Баклаков. — Тебя мне бог второй раз посылает.

— Разве за-а-был? — протянул Кьяе и подал, не вставая, сморщенную ладонь. — Зимой, когда ты на самолете летал, договаривались. Все привез.

— Привез? Ты на оленях? Где олени?

— Там. Они у меня умные. Ягель едят, далеко не уходят.

— Инженер у меня ноги сломал. Везут на нарте.

— Знаю, — сказал Кьяе. — Очень плохо. Я в тундру ходил. Я тут с утра сижу. В тундре травки нарвал. Помогает, чтоб не загнило.

Кьяе запустил руку за вырез кухлянки и вынул пучок желтой травы.

Гурин был в сознании, когда Куценко и Седой дотащили нарту на базу. Ему дали полстакана спирта и вытащили из спального мешка. Баклаков разрезал шнуровку на ботинках и выкинул ботинки из палатки. Разрезал штаны. Переломы были закрытые, ниже колен. Куценко примотал ему на обе ноги дощечки от консервных ящиков, и Гурина снова затолкали в спальный мешок. От спирта он немного повеселел, и пот каплями выступил на черном заросшем лице.

— Извини, — хрипло сказал он, встретившись взглядом с Баклаковым.

— Брось, — сказал Баклаков.

— Извини, — настойчиво повторил Гурин. — Допрыгался я. Извини, если можешь.

— Брось! Держись.

Кьяе пригнал нарту, и Гурина положили в спальном мешке, примотали веревками. Нарта была беговая, и места для самого Кьяе не осталось.

— Ничего-о, я место найду, ничего-о, — сказал Кьяе.

Олени с места взяли разгон, и нарта исчезла за поворотом русла. Кьяе балансировал, стоя на полозе нарты.

Кьяе не успел даже выехать за поворот, как нарта попала на заструги, и Гурин начал кричать. Олени, испуганные его криком, понесли еще сильнее, нарта прыгала, и Гурин кричал. Так Кьяе вез его километров тридцать. Когда Гурин окончательно охрип и посинел, Кьяе остановил нарту. Он быстро вырыл пещеру в снежном надуве под обрывом, положил туда оленью шкуру с нарты и волоком перетащил Гурина. Рядом он поставил бутылку с водой, которую всегда возил за пазухой, и тут же метнулся на нарты. Олени побежали, потом, успокоившись, пошли было шагом, но Кьяе издал короткую ноту волчьего воя, и олени рванули как сумасшедшие. Они невесело бежали по тундре, а нарта сзади прыгала и исчезала между застругами, как лодочка в бурном море. Кьяе не давал им успокаиваться и в нужный момент издавал все ту же ноту волчьего воя.

Где-то в предутренний час олени остановились. Кьяе спрыгнул с нарты. Правый олень подогнул ноги и тяжко рухнул на снег. Кьяе загнул веко у оленя и отвернулся. Ездовые олени всегда умирают сразу. Второй стоял, широко расставив ноги, вывалив язык. Бока его вздувались и опадали. Кьяе развязал упряжь, неторопливо отнес нарту на берег, на обрывчик, где ее не смоет водой. До метеостанции осталось километров тридцать или сорок. Кьяе оглядел мертвого оленя и второго, лежащего рядом с ним, и побежал. Он бежал по твердому, еще не подтаявшему снегу, и бег его все еще по-юношески был легок.

...Когда Гурин очнулся, он долго не мог понять, где находится. Он видел лишь снег. Повернув голову вправо, Гурин увидел зыбкие прутики ивняка. За прутиками тянулась снежная равнина и сливалась с небом. Он закрыл глаза, и перед ним замаячила обтянутая кухлянкой спина старика, тряска нарт, болью закручивавшая все тело, и еще Гурин вспомнил взгляд, глаза старика. Он сразу откинул мысль, что тот его бросил. Такого не может быть...

Боль в ногах оттянула на себя суету, жизненное томление, и голова у Гурина была очень ясной. Он четко увидел себя со стороны в совокупности поступков, слов, случайностей и закономерных фактов. Чужие и самодельные афоризмы, гордое самоудаление. Андрей Александрович Гурин, специалист высокого класса, единичный

философ. В результате он валяется сейчас в дурацкой долине дурацкой реки и неграмотный пастух загоняет оленей, чтобы его спасти.

Странное дело, но жалости к самому себе Гурин не испытывал. Горячие сверла шевелились в ногах. Он приподнялся, боль хлынула к сердцу.

...Дополнительная партия рабочих, которых отправляли к Жоре Апрятину, уже сидела в самолете. Неожиданно вышел пилот, открыл защелки двери и стал смотреть на рулежную дорожку. Подкатила «скорая помощь», вылез врач с чемоданчиком.

— Отбой. Отсрочка на три часа, — скомандовал пилот работягам. Боязливо переговариваясь, те вышли из самолета, обступили «скорую помощь».

Они поняли все, когда через два с половиной часа самолет вернулся и из него вынесли в спальном мешке стонущего, заросшего щетиной человека.

— Ваш черед! — скомандовал пилот, и работяги, сутулясь, оглядываясь на завывающую на полосе машину с красным крестом, пошли на посадку в самолет.

87

Кьяе опять остался один. Был лыжный след самолета, пещера в снегу. Кьяе потоптался на месте, вслушиваясь в исчезающий гул, и нерешительно пошел к тому месту, где остались олени. Требовалось забрать упряжь и шкуры. Но, не пройдя и километра, Кьяе изменил решение и повернул направо, по направлению к стаду. Идти туда пешком было трое суток. Чем дальше, тем большую усталость чувствовал Кьяе, и поэтому изменил решение еще раз. Пошел к базе Баклакова. До базы он надеялся дойти часов за десять. Кьяе шел неторопливой перевалистой пастушьей походкой и на ходу грыз галеты, которые ему дали на метеостанции. Кьяе было тяжело. Он понимал, что совершил грех, нарушил главный обычай «настоящих людей» — никогда не бросать ничего, что может пойти в дело. Тем более оленей, с которых можно снять шкуры. Но он шел и шел, медленно, но безостановочно, зная, что упорная тихая ходьба лучше, чем быстрая с передышками. Он очень жалел оленей. Ездовых оленей тщательно выбирают и долго учат. Они дорого

стоят. Конечно, за оленей колхозу заплатят геологи. Но деньги все же никак не олени.

Базу Баклакова Кьяе застал пустой. Палатка была застегнута и привалена снегом. Кьяе расстегнул застежки и увидел, что в центре палатки стоит ящик со спиртом, цинка винтовочных патронов, мешок сахара, коробка с пачками чая и еще несколько пачек галет. «Хороший человек. Держит слово», — подумал Кьяе о Баклакове. Как всегда, при виде хороших поступков других людей, Кьяе стало легче, и он перестал думать об оленях.

Он набрал веточек полярной березки, разжег крохотный костерок и поставил на него консервную банку со снегом. Кьяе подряд выпил банок пять очень крепкого и очень сладкого чая и заснул в палатке прямо на полу. Проснувшись, он еще попил чая и тщательно застегнул палатку. Теперь он мог идти к стаду. За продуктами на оленях приедет Канту. Подумав о Канту, Кьяе выругал себя. Он опять вернулся к палатке, вытащил ящик со спиртом и отнес его в камни. Заложив ящик камнями, Кьяе придирчиво осмотрел место и остался доволен. Одну бутылку спирта он взял с собой. Теперь все было сделано окончательно правильно, и Кьяе шагал и легонько улыбался на ходу. Он думал о том, как перехитрил Канту или других, кто за выпивку отдаст все, даже ум.

38

— Мужики! — сказал Баклаков, как только нарта с Гуриным исчезла за поворотом. — Умоляю не валять дурака. Если все начнем калечить себя, кто сделает маршрут?

Вопрос Баклакова повис в воздухе. Седой вздохнул, как бы отвечая на собственную мысль: сколько можно в жизни валять дурака?

— Илья Николаевич сказал... — наставительно начал Куценко. Но так никто и не узнал, что именно сказал Илья Николаевич Чинков на данный жизненный случай.

— Чо делать, начальник? Лучше что-нибудь делать, чем без дела молчать, — громко спросил Валька Карзубин. — Насущно!

Но и ему никто не ответил. Валька Карзубин шумно расшуровал примус и стал набивать снегом чайник.

— Старик сказал, что три дня будет морозить, а по-

том снег и дождь, и все раскиснет, — сквозь рев примуса прокричал Валька. — Девальвация, а, начальник?

— Переходим в горы, — очнувшись, сказал Баклаков. — Отдыхаем до ночи, ночью переходим.

Ночью сильно подмерзло. На самодельную нарту, в которой перевозили Гурина, погрузили спальные мешки, меховую одежду. Седой впрягся в нарту и пошел на холмы Тачин. Они решили переправляться двумя этапами. Баклаков набил рюкзак консервами, сидя влез в него, затем поднялся на четвереньки и встал. В рюкзаке было килограммов пятьдесят, но Баклаков мог идти всю ночь, потому что после перехода оставался на холмах Тачин, чтобы закончить работу Гурина.

Куценко и Валька Карзубин остались вдвоем. Куценко долго укладывал карзубинский рюкзак, чтобы груз был на спине и затылке, потом вдруг оставил его и вытащил резиновую лодку, взятую на всякий случай. Он заставил Карзубина накачать ее. Когда лодка была накачана, Куценко полил ее водой, заморозил, положил на дно распоротый мешок и снова полил водой. Мешок примерз, и Куценко бережно нарастил на нем тонкий слой льда. В эту импровизированную нарту они положили канистру с соляркой, ящики с консервами, лотки и палатки. Лодка легко скользила по снегу, и они на десятом километре догнали Баклакова. Проблема транспорта была решена. Обратным рейсом они забрали все образцы. Баклаков остался документировать расчистки. Был жаркий день, и, сидя в одной рубашке на вершине холма Тачин, Баклаков все пытался понять замысел Гурина, почему тот считал этот крохотный гранитный массивчик «готовой лабораторией». С вершины холма было видно сверкающую тундру, уже испещренную темными проталинами. Стена Кетунгского нагорья казалась совсем рядом. Баклаков описал зону контакта. Сбоку нахально тявкал и негодовал песец, уже потемневший, в грязной клочкастой шерсти. Баклаков кинул в песца камень, песец отскочил, по-кошачьи фыркнул. Баклаков рассмеялся. История повторяется. Прошлый год он швырял камни в зайцев и переправлялся через Ватап. Вспомнив о прошлогодней беде, он покосился на винчестер Монголова, гревшийся на солнце.

Сосредоточенное настроение рабочего лета снова вернулось к Баклакову, и он забыл о Гурине. Принудительная сила реальности в том, что теперь ему придется изменить план работы. Ему придется отказаться от коль-

цевых маршрутов и ходить в одиночку длинным пилообразным ходом. Седой и Карзубин будут в группе Куценко. Теперь главное сбить границы с маршрутами Семена Копкова и Жоры Апрятина.

«Не суетись, не суетись, — внушал себе Баклаков. — Главное, работать методично и без рывков, тогда тебя хватит на целое лето. Главное, работать ежеминутно, не расслабляться, и тогда ты выдержишь это двойное лето».

Едва они успели выбраться в нагорье, как пришла пора теплых туманов. На тундру, на сопки, на речные долины лег пронизанный солнцем и влагой парной воздух. Снег исчезал на глазах. В тумане все казалось искаженным и невероятным: пуночка была величиной с барана, палатка выглядела скалой. Всюду журчала невидимая вода, и мягко вздыхал оседающий снег.

От новой базы до ближайшей бочки с продуктами было шестьдесят километров. Отсюда Баклаков решил сходить на запад, в верховья Лосиной. Куценко готовился шлиховать верхнее течение Китама.

Собираясь в маршрут, Баклаков извлек свою трубочку с обломанным краем и пачку махорки.

— Начальник! — изумился Валька Карзубин. — Ты разве куришь?

— Летом курю.

— Правильно, начальник. Я так считаю, что, если мужик не пьет и не курит, лучше к нему не поворачиваться спиной. Такого лучше перед собой иметь, на глазах.

— Летом можешь спокойно иметь меня за спиной.

— Я не про *наших*.

Подул легкий ветер, и мимо них понеслись клочья тумана. Они были желтые и оранжевые от солнца. Из палатки вылез Куценко и протянул Баклакову рогульку с леской. На крючок были насажены разноцветные кусочки изоляции.

— Где водичку встретишь, кинь да подергай. Один-то харюз все равно не выдержит, схватит. Ты у него мясо вырежь и насади. После этого таскай харюзов сколько влезет. Будут хватать.

— А если не будут?

— Я об рыбе думаю много, — серьезно ответил Куценко. — Зачем консервы таскать, если еды под ногами полно?

— Проверим. Возьму чай, галеты и сахар. Вместо

мешка — меховую одежду. С таким грузом бегать бегом можно.

— А то! — согласился Куценко.

— Инженер вот наш не курил, — разрабатывая неизвестную мысль, сказал Валька Карзубин. — Отрежут ему ноги или оставят? Эх, не жизнь, а кантата!

И вдруг сверху раздался посвист крыльев и тревожный гусиный гогот. Весь этот день и всю ночь гуси сваливались к ним с перевала. Шел «главный гусь». И всю ночь они слушали крик, тревожный, как долг, и ясный, как жизненная задача.

Снова Баклаков засыпал под похлопывание палаточного брезента. Снова ему хватало нескольких часов, чтобы быть готовым к маршруту. Каждое утро Баклаков благословлял мех северного оленя и старика Кьяе. Он вспоминал о нем часто и с нежностью. «Может быть, легенды о просветленных мудрецах и святых кудесниках имеют в основе такого вот Кьяе. Чего проще?» — думал Баклаков.

Снова зрение и слух по-звериному обострились, и Баклаков издали слышал стук камня под копытом барана, слышал вздохи ветра и даже запах камней. Куценко оказался прав. Хариус дуриком шел на хлорвиниловую насадку, и на рыбалку Баклаков время почти не тратил. Останавливался у ручья, ловил, ел и шел дальше.

На пятые сутки он вышел в верховья Лосиной. Здесь его съемка должна была сомкнуться со съемкой Жоры Апрятина. На стыках всегда возникают споры. Баклаков оставил весь груз и налегке, с одним винчестером и молотком, решил как следует обходить окрестности.

Баклаков шел вниз по Лосиной. Целью его были скалы, последний раз сжимавшие реку перед выходом на равнину. Вода прыгала по черным камням, но шум ее был отличен от медлительного и грозного рокота реки Ватап, Серой Воды, которую ему еще предстоит в это лето увидеть. Неожиданно Баклаков услышал четкий стук металла о камень. «Может быть, Жора? Неужели так повезло?» Но стук исчез. Баклаков заспешил вниз по реке и метров через двести увидел Жору. Тот сидел на камне у самой воды и что-то доставал из полевой сумки. Молоток валялся рядом, отблескивал на солнце. Жора согнулся над книжкой или дневником. Баклаков решил было подкрасться незаметно, ошеломить. Но вспомнил, что Жора всегда таскает на поясе расстегнутую кобуру с пистолетом.

Баклаков пошел нарочито шумно, на самом виду. Но Жора не замечал его. Вблизи он очень напоминал удалившегося от мира отшельника. Баклакова он заметил, когда осталось шагов пять. Рука Жоры метнулась к поясу.

— Не дури! — крикнул Баклаков.

Жора встал, и Баклаков с удивлением заметил, что пистолета-то у Жоры как раз и нет.

— Какой ты, к черту, ковбой? — сказал Баклаков. — Тебя связать, как сонного, можно. Где пистолет?

— В рюкзаке, — смущенно ответил Жора.

— Разоружился в связи с отменой «Северстроя»?

Жора Апрятин ничего не ответил, лишь с неловкой торопливостью стал засовывать в полевую сумку книгу.

— В маршруте? Книга? — удивился Баклаков.

— Это так просто, — пробормотал Жора.

Баклаков бесцеремонно протянул руку. Но Жора книгу не дал. Положил на колени названием вниз.

— Дед прислал. Пишет: полезно.

— Вроде как витамины? — жизнерадостно улыбнулся Баклаков.

— Для совершенствования души. Я деду написал про главного инженера. Оказывается, он в Буддины времена им курс геоморфологии читал. А дед прислал мне сборник поучений Гаутамы. Пишет, что студент Чинков, если он правильно его помнит, кличку Будда носить не может. Это противоречит истине. — Жора оживился, взял книгу и открыл ее наугад. — Ты только не смейся, Серега. «Никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она», — утробным голосом прочел Жора.

— Иногда полезно и сдачи дать, — прокомментировал Баклаков.

— «Серьезные не умирают. Серьезность — путь к бессмертию. Легкомыслие — путь к смерти. Легкомысленные подобны мертвецам», — покраснев от натужной торжественности, читал Жора.

— Так, между прочим, и есть. Сильная мысль, — вздохнул Баклаков.

— «Хорошо сказанное слово человека, который ему не следует, столь же бесплодно, как и прекрасный цветок с приятной окраской, но лишенный аромата...»

— Не трепись про высокие цели, а действуй личным примером. Об этом каждый начальник партии должен знать...

— «Трудно стать человеком, — зазвенел голосом Жора. — Трудна жизнь смертных, трудно выслушивать истину...»

— Ты в бога, что ли, ударился? — спросил Баклаков.

— При чем тут бог?

— Ну-у! Я не Гурин, я парень простой. Но вроде религию ты мне излагаешь.

— Для всякого человека одна религия: не дешеви, не лукавь, не пижонь, работай, — ответствовал Жора.

— Знаешь: Гурин ноги сломал?

— Как?

— По-пижонски. Глупо и жаль очень. А?

— Все идет, как положено быть, — печально сказал Жора.

— Давай съемку смыкать, — вздохнул Баклаков. — Мне на восток спешить надо. Река Ватап меня ждет.

— Давай, — согласился Жора. — Душа душой, события событиями, а работа остается работой.

С нагорья в долину Лосиной ползла полоса тумана. Через час он накрыл их и листы карты, металл винчестера, и камни сразу покрылись каплями влаги.

...Через неделю Баклаков вышел на базу своей партии. Все повторялось, и он чувствовал привычное состояние неутомимости. Баклаков был очень доволен маршрутом и тем, что повстречал Жору Апрятина. Конфликта на западной границе маршрута не будет. Может быть, ему повезет и он встретит Семена Копкова. «Но если в начале маршрута везуха, то невезуха будет в середине или в конце», — думал Баклаков.

Палатка их стояла в долине, один край которой был голубым от цвета составляющих его лав, второй зеленым. Сидя на склоне, Баклаков профессионально вглядывался в контуры этой смешной долины. Он увидел Куценко, Карзубина и Седого. Они шли с верховьев ручья. Судя по нагруженным рюкзакам, ходили в многодневку. Они подошли к палатке, заглянули в нее, и все трое стали смотреть на горы. Видимо, ожидали, что Баклаков уже вернулся. Баклаков сидел неподвижно, и увидеть его на фоне камня было нельзя. Куценко разулся. Обостренным зрением Баклаков видел его квадратные ступни. Куценко всегда разувался после маршрута. Карзубин с чайником пошел к ручью, из палатки донесся шум примуса. Баклаков поднялся и бегом на легких ногах стал спускаться по склону.

«Мы все обреченные люди, — думал он на ходу. — Мы обречены на нашу работу. Отцы-пустынники и жены непорочны, красотки и миллионеры — все обречены на свою роль. Мы обречены на работу, и это, клизма без механизма, есть лучшая и высшая в мире обреченность».

— Эпиталама! Начальник идет, — громко сказал у палатки Валька Карзубин.

Им еще предстояло, матерясь, проклиная судьбу, разыскивать во время июльского снегопада третью продуктовую бочку. Вальке Карзубину еще предстояло стонать ночами от ломоты в непривычных к мокрой работе руках. Им еще предстояло выбраться в верховья Ватапа, Серой Воды, и месяц плыть по реке, пересекать в маршрутах тундровые урочища. Им предстоял выход в пустынное устье и переходы по штормовому осеннему морю. Им предстояли маршруты в глубь побережья, предстояло слушать свист ветра в песчаных дюнах, и ждала работа в гиблой губе Науде, насквозь пропахшей сероводородом. Им предстояло запомнить багровые, на полнеба, закаты и колебание одинокой метлицы на галечных косах. Предстояло неделю сидеть у Туманного мыса, ежедневно пытаясь его обогнуть. Каждый раз шквальный ветер отшвыривал их обратно, они молча выбирались на берег, жгли костер из плавника, сушились и снова сталкивали вельбот на воду. И снова ветер заливал их и отбрасывал обратно за скалы. Лишь ярость окончания сезона давала им в это время силы. Им предстояло запомнить это лето до конца дней, потому что оно напоминало о себе перебоями сердца, ночной испариной тела. Может быть, это было последнее лето по старой методике «Северстроя» — «делай или умри».

39

...С тех пор прошли годы. Предвидение Чинкова сбылось: они открыли узел золотоносных россыпей Территории с очень сложными условиями залегания и с богатым содержанием. Для этого понадобилась удача, кадры и еще раз удача. Для этого понадобилось упорство, безжалостный, рисковый расчет Чинкова. И нюх Куценко. И свойственный сердечникам страх смерти перед рассветом у тех, кто вынес на себе тяжесть первых работ.

Для этого понадобились мозоли и пот работяг под кличками и без них. Что бы там ни было, но государство получило новый источник золота.

...Если была бы в мире сила, которая вернула бы всех, связанных с золотом Территории, погибших в маршрутах, сгинувших в «сучьих кутках», затерявшихся на материке, ушедших в благополучный стандарт «жизни как все», — все они повторили бы эти годы. Не во имя денег, так как они знали, что такое деньги во время работы на Территории, даже не во имя долга, так как настоящий долг сидит в сущности человека, а не в словесных формулировках, не ради славы, а ради того непознанного, во имя чего зачинается и проходит жизнь каждого. Может быть, суть в том, чтобы при встрече не демонстрировать сильное оживление, не утверждать с широкой улыбкой, что «надо бы как-нибудь созвониться и...». Чтобы можно было просто сказать «помнишь?» и углубиться в сладкую тяжесть воспоминаний, где смешаны реки, холмы, пот, холод, смерть, усталость, мечты и святое чувство нужной работы. Чтобы в минуту сомнения тебя поддерживали прошедшие годы, когда ты не дешевил, не тек бездумной водичкой по подготовленным желобам, а знал грубость и красоту реального мира, жил, как положено жить мужчине и человеку. Если ты научился искать человека не в гладком приспособленце, а в тех, кто пробует жизнь на своей неказистой шкуре, если ты устоял против гипноза приобретательства и безопасных уютных истин, если ты с усмешкой знаешь, что мир многолик и стопроцентная добродетель пока достигнута только в легендах, если ты веруешь в грубую ярость *твоей* работы — тебе всегда будет слышен из дальнего времени крик работяги по кличке Кефир: «А ведь могем, ребята! Ей-богу, могем!»

День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и причина грядущего дня создается сегодня. Так почему же вас не было на тех тракторных санях и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер, читатель? Где были, чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой?..

Правила бегства

РОМАН



I

АНКЕТА

Если я не за себя, то кто за меня?
Но если я только за себя, к чему я?
Древний вопрос

Мечтали ли вы стать, к примеру, бродячим фотографом?

Я мечтал. Бродить по деревням с ящиком древнего «Фотокора», расхлябанной треногой. Рассаживать в красном углу избы инвалидов войны, женщин с кирпичными от загара лицами и торжественно вымытых пацанов. «Внимание, снимаю... раз, два, три, спасибо». И, как результат близкого и понятного массам искусства, по стенкам замшелых изб — современниц Батыя, по стенкам новеньких совхозных коттеджей развешиваются в рамочках изготовленные тобой копии лакированной действительности. Они раскрашены розовым, голубым и зеленым.

В полуденный час на опушке можно закусить вареным яйцом и луком, а затем можно лечь на траву и мечтать. Нет, не о снимке, который потрясет суетный мир фоторепортеров. Можно мечтать о бессмертии. Ты умрешь, а сработанные тобой фотографии будут висеть на стенах. Можно мечтать об избе, которую ты купишь на сбереженные рубли. Устроившись сторожем или клубным оформителем, купить избу и... А там, в непонятном далеком завтра, угаснуть где-то в перерыве между хоккеем по телевизору и утренней рыбалкой, для которой даже заготовлены черви.

Но и вам и мне ясно — это пустая мечта. Профессия бродячего фотографа вымерла, как вымерла профессия странствующих иконописцев. Те шустрые люди, которые работают с камерой «Москва-2» на горячих курортных точках, никакого отношения к бродячим фотографам не имеют.

Я не случайно сравнил фотографов, работавших по деревням, с иконописцами. Вы все видали те непомерно увеличенные, заретушированные до степени символа фотографии на деревенских стенах. Вдумайтесь: разве это не есть иконы начала XX века? Их объединяет с иконами высокая степень символики. Лица на тех фотографиях гладки, чуть припухлы, правильны. Ни морщин, ни ссадин тяжелых лет. Какой немалый процент мужиков, напряженно глядевших когда-то в объективы, пря-

мым ходом могут быть зачислены в святцы! Ибо они соблюли главное условие святости — отдали жизнь не за себя, за идею, в конце концов, — за других. Но до того, как умереть не за себя, они прошли через муки голода, усталости, неверия — через все, что объединяется словом страдание. Я верю, что это иконы.

Пройдут шальные десятилетия, и очередные жители очередных центров цивилизации будут собирать эти фотографии в последних деревнях страны, как недавно собирали самовары и лапти.

Есть много причин, чтобы мечтать о работе странствующего по деревням фотографа. Вы не стали геологом или летчиком. Но вы путешествуете по делу, не как турист. Ваша работа при вас. Вы причастны к тайному миру искусств. Вы — свободный художник: желаю — работаю, желаю — смотрю на облака и размышляю о смысле жизни.

Что смогут противопоставить этому апологеты нынешнего рационального человека в умеренно строгом костюме и с днем, расписанным на секунды? Есть истина, неотвратимая, как набегающий паровоз: все умрем, все там будем. И все это было, было, уже баловались рациональностью. И был Цезарь, который за неимением времени правил конем, диктовал, читал и еще что-то делал одновременно, был Рахметов, и сами вы сколько раз вешали на стенку железный и неотменяемый распорядок, о котором забывали через неделю. Одно истинно: все мы живем в силу обстоятельств, цепляющихся друг за друга. Древние индийские мудрецы называли это «колесом сансары». В переводе на нынешний — обыдёнка.

Но допустим... Ваша тихая блажь стала явью, и вы — бродячий фотограф. Однажды в полуденный час, когда вы будете закусывать тем самым луком и яйцом на той самой обетованной опушке, не придет ли вам в голову вопросик: а почему вы, собственно, тот, кто сейчас есть? Может быть, ваше место не на этой опушке или не на этом поросшем травой откосе придорожной канавы, а в сферах таинственных и кондиционированно-прохладных, где решаются судьбы нынешнего мира. Может быть, вы — несостоявшийся конструктор тех хитрых устройств, о которых газеты пишут с многозначительной недомолвкой. Твои предтечи — иконописцы верили в идеологическую важность совершаемой ими работы. Веришь ли в нее ты?

И вот, пожалуйста, отрава готова.

Или другой вариант. Допустим, вы стали «человеком века» и ваша биография состоялась. Не придет ли однажды среди расписанного по календарю дня мысль, мечта о том, что хорошо бы сейчас идти по сельским тропинкам с ящиком за спиной и сумой, где лежат заказанные месяц назад фотопортреты? И начнешь вспоминать разную чепуху далекого детства — тропинки, жаворонков, небо, росу, и вдруг ударит телефонный звонок, против которого секретарша бессильна, и ты уже снова в делах. Но заноза в сердце осталась. Куда ни кинь, всюду клин. Интеллигентское самоедство.

Я думаю, что каждому среднему индивидууму свойственна мечта о побеге. В другую ситуацию, другой антураж, в другое занятие. Лишь редким достается величайший дар судьбы — точно найденное для конкретной его личности место. Редкий из неудачников решается на крутой поворот судьбы. А из тех, что свернули с торной дорожки, лишь редкие достигают цели. Большинство застревают в путанице тропинок. Посему я сформулировал для себя первое правило бегства: *убегая, оглянись на то, что оставил.* Будущее знать не дано, но то, что бросаешь, тебе известно. Оглянись и подумай.

Наша жизнь есть наша живая плоть, живая радость и боль.

Из наших поступков и намерений складывается то, что мы называем «анкетные данные». Думали ли вы о том, что мы живем в двух мирах — реальном и бумажном? Наша личность окружена десятками бумаг — от свидетельства о рождении до диплома о присвоении ученой степени. Каждый из нас заполнил в своей жизни десятки анкет. Мы зарегистрированы во множестве учетных служб — от больничной карточки до паспортного стола. Они живут параллельно — реально существующий человек и его бумажный двойник. Таким образом, великое племя канцеляристов неустанно занимается тем, чем занимались бы вы, будучи бродячим фотографом, — созданием вашего абстрагированного до степени символа портрета, гораздо более отвлеченного и условного, чем фотография в розовых и зеленых тонах в деревянной рамке.

Итак, второе, сформулированное мной правило бегства: если не нравится то, что тебя окружает, если ты решил изменить жизнь, видимо единственной целью должно быть *установление гармонии между тобой и твоим бумажным двойником.*

Наверное, в отделах кадров должны сидеть ясновидцы. Вы убедитесь в этом, если в светлой тишине одиночества положите перед собой очередной бланк и вдруг задумаетесь, что стоит за написанными вашей же рукой «нет, не был, не имел, не состоял» и так далее. Ниже я попытаюсь это сделать.

Но, впрочем, достаточно. Я пишу эту вещь для печати, и я знаю, что читатель не любит героя, который бесплодно копается в самом же себе, который не дает нравственного примера. Мы все хотим нравственного примера.

Но столько вопросов, столько вопросов...

* * *

Лошак вел вездеход артистически. Рычаги он держал, как держат чайную ложечку хорошо воспитанные девицы. Длинное горбоносое лицо его было сонным, казалось, вовсе не Лошак ведет эту громыхающую по льду колымагу, а кто-то другой. Сам же Лошак наблюдает эту сцену из покойного кресла, со стороны, как смотрим мы телевизор, прихлебывая из чашечки кофе.

Рулев был рядом с ним, на председательском месте. Сиденье его в вездеходе Лошак самолично обтянул ворсистой красной дорожкой, сразу было видно, что это не просто вездеход, а личный председательский транспорт. Рулев был в синей японской куртке. Красное кресло, синий нейлон и черные прямые волосы на рулевском затылке — отсюда, из кузова, все это гляделось. Казалось, что мы едем где-то под Москвой, а не по льду дикой реки у черта на куличках.

Я лег на оленьи шкуры, наваленные в кузове. На льду вездеход трясло все-таки мало. Траки гремели где-то у самого уха, точно внизу трясли железное решето с камнями. Я закрыл глаза, и перед глазами, как всегда в дороге, ползло тупое рыло вездехода, лед, снег, голые кусты с зарослями шиповника. Шиповника в этом году уродилась дикая сила, и ягоды все еще не опали — красное засилье над белыми снегами. Черные тени глухарей, взлетающих с берегов на излучинах, силуэты лосей, убегающих к сопкам от нашего грохота, след в слюдяном оконце, который тянулся за нами по нехоженой равнине первого снега — что и говорить, мы были в раздолье, в диком краю, вдали от двадцатого века.

Вездеход качнуло, и меня тут же начало подбрасы-

вать, бить о железное дно — значит, Рулев решил завернуть к лесорубам на Константинову заимку. Я сел.

Лошак вломил вездеход в заросли тальника. Тальник поддался, потом уперся. Лошак кончиками пальцев переключил коробку скоростей, вездеход взвыл, и тальник лег под гусеницы. Ветки возмущенно заскребли по брезенту.

— Губишь природу, — сказал Рулев.

— Гы! — ответил Лошак. У Рулева все кадры были такие — артисты профессии, но не философы, куда как нет.

Приземистая изба лесорубов виднелась на мари издалека. Я увидел тонкую фигуру Поручика в перетянутой ремнем телогрейке, потом рядом с ним появился согнутый Северьян, или, как все здесь его по-простому звали, — Север. Северьян унырнул в избу, и тотчас из трубы пошел дым.

Вездеход, повинуясь рукам Лошака, описал, как лыжник, плавную завершающую фигуру и замер, подрагивая. Лошак тотчас полез к мотору. Рулев задернул молнию на японской куртке и неспешно вышел на снег.

— Здорово, тунеядцы, — сказал он.

— Здравствуйте, — ответил, улыбаясь, Поручик. Северьян же толчком кулака распахнул дверь.

Я поздоровался с Поручиком, протянул ему пачку своих сигарет.

— Спасибо, — сказал Поручик. Он разминал сигарету тонкими интеллигентскими пальцами. Я щелкнул зажигалкой.

— Благодарю, — сказал Поручик, и мы улыбнулись друг другу, точно подтвердили тайное родство наших душ, о котором незачем сообщать посторонним.

— Прошу в дом, — сказал Поручик и встал у двери, чтобы пропустить нас. И в который уж раз я поразился несоответствию между обстановкой и тем, что внешне являл Поручик. В этой позе, с сигареткой этой ему бы стоять не на фоне лиственничных, в обхват, бревен, а рядом с книжной полочкой, где Сименон, подборка журнала «Человек и закон» и прочее незамысловатое чтиво человека умственно-средних занятий.

Северьяна и Поручика я знал еще раньше, в Столбах. Они были людьми грубого лесного труда, и потому избу их не украшали журнальные картинки, как у рыбаков и охотников. Но чугунная печь хорошо горела, и длинные нары, застланные с лета сеном и тальником,

давали еще хороший запах увядания, смешанный со здоровым запахом папирос «Байкал».

Северьян пожал руку Рулеву, пожал руку Лошаку.

— Здорово, Северьян! — издали крикнул я, чтобы избежать металлического рукопожатия. Но Северьян, отодвинув в сторону Лошака, просунул длинную руку мимо Рулева, и я заранее прикусил губу. Северьян был простой мужик, деликатности он не знал. Впрочем, если бы я был лошадью, Северьян жал бы мне копыто куда бережней. Лошадей он уважал.

— Я однажды верхом проехал из Аян-Уряха двести верст, — год назад рассказывал мне Северьян. — После этого неделю лежал пластом, неделю ходил раскорячкой. А лошади хоть бы што. Это я-то пластом! Сильный зверь, лошадь!

Они шли тогда разрабатывать драгоценную делянку сухостоя, и вместе с ними был Поручик. Тогда я знал о них столько же, сколько сейчас. Согнутый от силы мышц Северьян, со своими ручищами до колен, наверное, всю жизнь рубил лес в местах, где лес почти не растет. Профессия лесоруба здесь схожа с древней профессией старателя. Надо найти участок разрешенного к вырубке сухостоя, свалить, разделать каменной твердости лиственницу, перетаскать на своем горбу в штабеля — о другом транспорте и речи быть не могло на этих тысячеверстных пространствах, где тундра сцепилась с тайгой в вековом единоборстве. Впрочем, оплачивался труд лесорубов щедро.

Осенью, сдав лес, Северьян шел возчиком в Якутторг. Работа с лошадьми была для него чем-то вроде курортной поездки с умной и интеллигентной компанией.

О Поручике я знал только одно — он считал себя на месте лишь в низшей клетке штатного расписания. Впрочем, может быть, так считали и другие, не знаю.

Северьян грохнул на печку большую алюминиевую кастрюлю. Из замерзшего бульона торчали мослы.

— Браконьерствуете, мерзавцы, — сказал Рулев.

— В лесу-то? Без мяса? — возразил Северьян. — А зачем тогда лес?

Я сел на чурбак. Лошак, не снимая телогрейки, положил греть у печки какую-то железку. Рулев устроился на нарах. Смуглое насмешливое лицо его было умиротворенным, точно он наконец-то попал в нужное место и в нужное время, и теперь все будет хорошо, уж ничто не помешает. Он закрыл глаза и придвинулся к печке.

— Куртку свою спалишь, директор, — сказал Северьян. — Я в позапрошлом годе такую же блескучую приобрел. Задремал с папиросой... — Северьян осекся, видно, вспомнив судьбу давней нейлоновой куртки.

— Синтетика не терпит огня, — сообщил из угла Поручик. Он сидел в тени у самодельного стола как хозяин, который видит, что гости осваиваются и мешать им незачем.

— Одеколону бы хоть привезли! — бухнул Северьян. — Лося сейчас разогреем. А с чем?

— Сколько раз я тебе говорил, Северьян, — не открывая глаз, сказал Рулев, — одеколон пить нельзя. Изза эфирных масел портится зрение.

— Для морозного времени есть способ, — деликатно кашлянув, сообщил Поручик. — Берете железный прут, выносите все на мороз. Затем ставится чашка, и одеколон медленно льется по пруту в чашку. Спирт, не замерзая, стекает, все прочее примерзает к пруту.

— Бичи! — с ласковым укором сказал Рулев. — Как выработка?

— Семнадцать кубов взяли. Еще кубов пять разделано, но не сволокли в штабеля. Трактор гнать можно.

— Запиши, — сказал Рулев.

Это относилось ко мне. Я вынул блокнотик, паркеровскую авторучку и записал: «Третьего ноября. Константинова заимка. Северьян и Поручик. Семнадцать кубов в штабелях, еще десять на подходе».

— Принеси, — все так же не открывая глаз, сказал Рулев.

Это тоже относилось ко мне. Я вышел к вездеходу и взял из замотанного в шкуру ящика две бутылки спирта. Из рюкзака я взял термос.

— В честь наступающего праздника. И в честь ударной работы, — сказал Рулев.

Я поставил спирт на стол. Ноздри Поручика вздрогнули, Северьян медведем, без всякой цели, прошелся по избе и описал круг около печки.

— Может, заночуем? — с надеждой спросил Лошак.

— Завтра не утопишь? — Рулев все так же сидел с закрытыми глазами, и сильные залысины на лбу посвечивали в полумраке.

— Я? Гы! — обиделся Лошак.

— Тогда заночуем.

После вездехода у меня болела голова. Я отвинтил крышку термоса. Сильно запахло кофе.

— Будешь, товарищ босс? — спросил я Рулева.

— В тайге пьют чай, — наставительно сказал Рулев.

— Хороший кофе варят в Вене, — сообщил Поручик. — Когда я был в оккупационной администрации, хозяйка квартиры фрау Луиза каждое утро приносила мне в комнату кофейник с двумя чашками кофе. И сливки. В отдельной посуде. Настоящий китайский фарфор.

Поручику никто не ответил. Никто не среагировал на фрау Луизу. Северьян сунул палец в кастрюлю.

— Уже согрелось, — сообщил он. — Может, налить для начала?

— Успеешь, — сказал Рулев. — Видишь — стоит. Обратно не спрячу.

— Чего ждать-то? — простодушно возразил Северьян.

Рулев открыл глаза, поднял голову. Он улыбался. Улыбка у него была прекрасная, дерзкая, насмешливая и все понимающая.

— Филолог, — сказал он. Это относилось ко мне. — Ты жрешь кофе из термосной крышки, забыв о маленьких чашечках. Я сделаю из тебя мужчину, филолог. Ответ!

— Вы, как всегда, правы, товарищ босс, — заученно ответил я. Такая у нас была игра с тех пор, как я поступил к Рулеву.

— Труженики! — сказал Рулев. — Хлебы на столе. Манна также. Омоем персты, постелим скатерть и преломим хлебы.

Пить я не мог. Это все знали. Я не мог пить не из-за какой-то болезни, просто меня тошнило от одного запаха алкоголя. Поэтому я лег на нары.

За столом было шумно. Центром, как всегда, был Рулев. В вольно расстегнутой рубашке, с улыбкой своей, он царил за столом. Он не боялся панибратства с подчиненными, потому что верил — всегда он любого поставит на место простой насмешкой. Так и получалось.

— В капиталистических странах, — говорил Рулев, — выдумали общество анонимных алкоголиков. Они там утешают друг друга и рассказывают о том, как им хочется выпить и как они побеждают это. Я — Рулев. Я создам республику для вас, алкоголики. Здесь не будет одеколона, денатурата и других жидкостей. Я уже запретил их привозить в магазин. Спирт будет. Всегда. Но только с моего разрешения. Ибо человек выпивающий от алкаша отличается тем, что на первом месте работа, а бутылка... ну, там, на пятом.

— На втором, — сказал Лошак. — Пусть будет на втором, а, начальник?

— Пусть, — серьезно сказал Рулев. — Прощаю тебе глупость, потому что ты знаешь машину. Больше от тебя и не надо.

Северьян, выпив, задумчиво держал в руке лосиный мосол. Глаза у него стали мечтательными. Наверное, он видел пейзажи из сухостоя. Вся география для Северьяна делилась на местности, где он взял хороший кубаж, и, напротив, были пустые, ничтожные долины и страны без всякого кубажа.

Поручик не закусывал. Он сидел все такой же изящный, деликатный, и глаза у него были пустые. Я знал, что завтра в этих глазах вместится вся тоска мира, если Рулев не даст опохмелки.

— В этом совхозе, — сказал Рулев, — будет республика гордых людей. Я сделаю из вас людей, тунеядцы.

— Я не тот, — очнулся Северьян. — Я всю жизнь лес валю.

— О тебе речи нет, мамонт, — рассмеялся Рулев. — Ты кадр. Кстати. Лес мы добываем. Оленеводство у нас развивается. А рыба? Рыба в реке лед ломает. Но рыба — не лес. Тут нужен специалист. По ловле, засолке и так далее. Чтобы был товарный выход. Где взять людей? Чтобы не трепачи подмосковные, а знали рыбалку.

— Мельпомен, — сказал Северьян. В голосе его возникло почтение.

— Федор Матвеич, по прозвищу Мельпомен, — подтвердил Поручик.

— Где?

— В Столбах. Его там каждый знает.

— Запиши, — бросил через плечо Рулев. — Полетишь. Привезешь.

— Записал, — сказал я.

— Он может не согласиться, — кашлянул Поручик. — Он гордый.

— Гордый! Гы! — сказал Лошак.

— Вот те и «гы», — пробурчал Северьян. — Ты ему скажешь «бичи-и», а он глянет и мимо пройдет. Вот те и ступил ты в г...

— У меня есть дипломат, — кивнул затылком Рулев в мою сторону.

— Уважение. Простор для инициативы и творчества. Хороший оклад. В руководство никто не вмешивается. Если я правильно понимаю рыбаков — любой настоящий будет согласен.

— Настоящи-и-ий, — вздохнул Северьян. — Уж он-

то не я. Я только с лошадью говорить умею. А он хоть с министром, хоть с журналистом, хоть с самим председателем райисполкома. Слова знает.

— Пойду воду спущу, — сказал Лошак. — Двигатель заглушу, утром с кипятком прогрею. Пущай отдохнет.

— Правильно. Вот наглядный пример: вначале работа, потом выпивка.

— Так выпили еще мало, — резонно заметил Лошак.

Я лег на бок и стал смотреть на спину Северьяна. Спина его, сутулая, обтянутая верблюжьим свитерком, состояла как бы из мощных длинных сухожилий и грубо, но намертво сработанных позвонков. Северьян был простой человек, и спина его была простой и уютной. От нар шел спокойный запах увядшего с осени тальника, и я представил, как с севера к нам идет сейчас короткими перекочевками оленье стадо, закупленное у оленеводов Территории, и это стадо будет первым на обширных ненаселенных пространствах «хозяйства Рулева». Мы встретим стадо, Рулев передаст карту маршрута с разведанными ягельными пастбищами, который еще и названия не имеет. Потом мы вернемся в поселок, я по поручению Рулева вставлю лист в пишущую машинку «Колибри», закурю сигарету «Лорд» и буду стучать отчет о поездке в районное сельхозуправление. Для этого меня Рулев и держал, за божий дар писать докладные, объяснительные, отчетные и прочие бумаги.

Из толпы нерегламентированного народа, который Рулев набрал по всем забегаловкам области, наверное, самым бесполезным был именно я. Люди, которых набирал Рулев, имели одно качество — они знали точную земную профессию, знали гаечный ключ, рычаги, топор и так далее. Рулев утверждал, что прощелыгу и профессионального тунеядца он видит сквозь стену, когда тот еще только идет к нему за авансом.

Я закрыл глаза, и вдруг в голове поползли гуманитарно закругленные мысли о том, как богата наша земля, от древности до наших дней, спившимися талантами. Вот тот же Лошак, ему бы командующего возить на параде, чтоб маршальский торс не испытал ни малейшей качки, а он был обнаружен Рулевым в старой барже на заброшенном причале.

Да, великий Лесков, описавший Левшу... И уж я лежал на своем московском диване, и знакомые голоса, и черт побери...

— Выпить хочешь? — спросил Рулев. Он сидел ли-

цом ко мне и в упор смотрел на меня, и вокруг рта у него легла жесткая складка.

— Выпил бы, — сказал я. Я и в самом деле бы выпил, если б не паническая тошнота от запаха. Бывает же такое. Наверное, аллергия, как любят сейчас выражаться.

Анкета

Фамилия, имя, отчество

Возмищев Николай Петрович. Это — я. Рост средний. Телосложение худощавое, субтильное. Лицо в меру интеллигентное. Волосы, зубы, нос, руки, подбородок — все как у людей. Общественный транспорт в конце и начале рабочего дня таких, как я, перевозит миллионами. На меня не оглядываются ни девушки, ни милиционеры; пьяницы не подходят ко мне просить десять копеечек, старушки не просят помочь перейти улицу. Как и миллионы, я спешу, в руке портфель или папка, одет ровно посередине между модой прошедшей и модой грядущей. В магазине мне не показывают два пальца. Родился я под знаком Водолея, значит, в феврале.

Анкета

Место рождения

Я родился и вырос в южном городке, не имеющем исторического, промышленного, стратегического, курортного или архитектурного значения. Наверное, этот городок возник неизвестно когда на перекрестке пыльных степных шляхов, там, где чумаки останавливались поить волов у пересыхающей речки. Кто-то поставил корчму, кто-то кузницу, кто-то открыл торговлю дорожным товаром — и пошло, и пошло. Затем городок остался в стороне от железных дорог и, как мне кажется, в стороне от всего на свете. Осталось скопище одноэтажных домов, каждый со своим садом, большой дом райисполкома в центре, видимый отовсюду, невдалеке немалое здание горпромкомбината и еще здание бывшей церкви, где сейчас авторемонтные мастерские.

Единственной достопримечательностью является гора, к которой прилепился городок. Склон ее, обращенный к городку, весь занят садами, а противоположный склон гол, глинист, и ветер говорит там сам с собой среди сухих степных трав. Насколько знаю, с этой горой не связано никаких казачьих, разбойничьих или иных легенд о зарытых кладах. С вершины ее виден весь городок: и кирпичное здание школы, бывшей гимназии,

промкомбинат, зеленые пятна камыша на речке, и еще виден шлейф пыли за машиной, едущей по степной дороге. Где-то еще дальше виден следующий клуб пыли, и можно долго сидеть и гадать, догонит ли вторая машина первую, и сольются ли эти две пыли воедино.

Семь лет назад, в июне, когда сдавались последние экзамены на аттестат зрелости, я сидел на вершине этой горы и знал, что через короткое время уеду отсюда и никогда не вернусь. Так и случилось. Может быть, с годами ко мне придет, как и ко всем, обостренное чувство родного места, единственного, где ты почти все узнал в п е р в ы е. Но пока этого чувства у меня к нашему городку нет.

* * *

Оленей мы должны были встретить у горы Камень Такмыка. Их неспешно гнали сюда из полярных тундр пастухи совхоза, где олени были закуплены. Рулев должен был встретить их и принять. Гору Камень Такмыка назначили сами оленеводы. В незапамятные времена там торговали племена, рассеянные среди лиственниц, безымянных рек и тундры.

Вся беда была в том, что принять оленей Рулев не мог. У него не было пастухов, а из тех кадров, что он набирал, не могли сразу получиться пастухи. И полугодового опыта Рулева хватило, чтобы понять — из бича, из рыбака, даже из самого что ни есть истового к правильной жизни рабочего пастух за несколько недель не получится.

Сейчас Рулев сидел в своем красном ворсистом кресле и курил мои сигареты. Вид у него был задумчивый. Лошак усердно вел вездеход мимо тысячетонных завалов плавника, мимо накренившихся на обрывах лиственниц, мимо скалистых прижимов с гнездами орланов на недоступных кручах, мимо этой тайги, которой нет конца и края. Ноябрьские дни сумрачны, и заваленные снегом хребты выступали вдали как неровности неба.

...Вся эта история была, наверное, следствием технического прогресса. И началась она два года назад. В междуречии крупных полярных рек, примерно в одинаковом удалении от Ледовитого и Тихого океанов затерялась область километров этак шестьсот на шестьсот. В прежние времена сюда забегали на лыжах эвены, так как для эвена дом — под любой лиственницей. Смени-

лось время, и как бы там ни было, но оленеводы и охотники стали жить поближе к культурным центрам. Оседлость поощрялась. А область осталась пустой. Сюда не могли подняться по реке баржи с грузом, тракторные поезда на такое расстояние разве что могли захватить солярку для самих себя.

Впрочем, во время войны несколько барж поднялось вверх по течению до Константиновой заимки. Для перегона самолетов из Америки требовался аэродром. Именно в этом квадрате. Аэродром построили из дырчатого железа, построили рядом бараки и службы. Он просуществовал несколько лет и был оставлен за ненадобностью.

О нем вспомнили, когда лозунг «авиация — транспорт XX века» стал входить в быт. Вокруг аэродрома решили создать базовый совхозный поселок. Не слыхавший топора лес, нетронутые ягельные пастбища простирались вокруг. Кирпич, железо, продукты для совхоза решили возить на грузовых самолетах. Дело разворачивалось широко. Проект организации «аэродромного совхоза» предложили шустрые и дальновидные ребята из одного научно-исследовательского института. Они же дали подсчеты, что при правильной организации совхоз может давать самую дешевую оленину. Из шустрых ребят был и первый директор совхоза. Он продержался два месяца и сбежал, оставив прямо в сельхозуправлении свой финансовый отчет и наличные суммы. Наука оказалась далека от снабженческих дел.

...Мы подошли к Камню Такмыка ночью. Ковш Большой Медведицы благодушно сиял на небе, очень синем, что называют — бархатном. Стоял умеренный мороз. Над горизонтом поднималась луна, и плоская вершина Камня Такмыка торчала над зубчатым лесом, как крыша жилья великанов.

Лошак включил фары. Мы пересекли один нартовый след, другой, въехали на выбитую тысячами копыт тропу, и в свете фар мелькнула человеческая фигура с поднятыми руками.

Приехали! Лошак круто развернул вездеход, в щель кузова сзади влетело облако снежной пыли, попало за ворот. Я оглянулся. В кузове лежал целый сугроб, укрывший ящики с продуктами, бочки с бензином. Только теперь я понял, что за этот суточный перегон не оглянулся ни разу, смотрел на дорогу, на гладкую ленту реки, на лиственницы — каждый раз за поворотом одно и то же, и каждый раз новое.

Вездеход остановился.

— Здорово, Мышь, — сказал Рулев.

— Начальник приехал! — счастливо воскликнул тот, кого Рулев назвал Мышью. В свете приборного щитка я разглядел совсем еще парнишку с жидкой бородкой, круглолицего и на вид глуповатого.

— Это Мышь, — объяснил мне Рулев. — Он кочевал со стадом.

— Начальник приехал! — повторил Мышь. — Приехал!

— Приехал, приехал, — сказал Рулев. — Сейчас вылезу, дам тебе пальчик, и можешь за него все время держаться.

Подходили люди.

Мы сидели на оленьих шкурах в довольно просторном пастушеском чуме. В центре под чайником горел костер, у входа могуче гудели два примуса под кастрюлями. Было жарко. Трое из пяти пастухов, пригнавших стадо, сидели рядышком сбоку от входа. Еще двое находились у стада. У пастухов были темные худые выразительные лица с резкими скуловыми костями, жесткие черные волосы. В вырезах расстегнутых пыжиковых рубашек виднелась гладкая коричневая кожа, — крепкие ребята. Они курили доставленный нами «Беломор» и молчали. Я неплохо знал историю их племени и сейчас, кажется, понимал, почему в полярных владениях царской России именно этот северный народ оказался единственным, который не платил дани.

Рулевские люди — Мышь и Толя Шпиц — тоже молчали, бесхитростные мужики из тех, которые кормятся в геологических партиях, в зверобойных морских поселках, вообще около любого сезонного дела. Видно было, что они наспех переоделись, заслышав мотор вездехода. На ногах остались торбаса и меховые штаны, но кухлянки они сняли, надели мосшвеевские синтетические курточки, которые есть в чемодане у каждого бродячего работяги.

Старший пастух с выбритой по обычаю макушкой отчужденно сказал:

— Пиши акт, директор. Завтра оленей считаем, уезжаем обратно. Девятьсот девяносто пять олешек.

— Закуплена тысяча, — быстро сказал Рулев.

— Пять потеряли дорогой. На такой дороге пять — очень немного. Я и сдаю — девятьсот девяносто пять, — пастух сунул руку в кармашек на рубашке и вынул сло-

женную бумажку. Непослушными корявыми пальцами он развернул ее и протянул Рулеву. На мятой бумажке неровным прыгающим карандашом было написано: «995». Карандаш был химический, видно, его слюнявили, чтобы цифра писалась ясно, но карандаш писал плохо. Я сообразил, что слюна застывала на морозе.

— Приобщи, — сказал Рулев.

Это относилось ко мне. Я раздернул «молнию» на английской кожаной папке и «приобщил».

Видимо, принятие акта смягчило пастуха. Он посмотрел на Рулева, улыбнулся и сказал:

— Жены с лета не видел, детей с лета не видел. Ух, быстро будем ехать обратно. Завтра строим загон, считаем, быстро считаем, цифра правильная. А еще лучше не считай — смотри оленя. Все здоровые, за дорогу не похудели. Хорошо гнали. Весной важенки будут рожать — стадо удвоишь. Смотри оленей — сам все увидишь.

— Я в них ни бельмеса не понимаю, — сказал Рулев. — Мне что олень, что лошадь, что зверь жираф.

Пастухи, как один, уставились на Рулева. Затем заговорили по-своему. Потом снова стали смотреть на Рулева.

— Наше дело маленькое, — старательно выговаривая русскую поговорку, сказал старший. — Пригнали. Пиши акт. Будем ехать домой.

— Вы молодцы, — сказал Рулев. — Хорошо пригнали. Я вам верю. — Пастухи быстро перекинулись словами. — А почему я должен вам не верить? Вы специалисты, не я. И оленей можем не считать. Вот только покажете как специалисты: это хороший олень, это плохой. И почему.

Пастухи опять перекинулись словами. Я услышал слово «специалист». В колхозах и совхозах слово это было хорошо известно. Теперь они все улыбались.

— Мы честные люди. Специалисты, — улыбаясь, сказал старший. — Хорошо делаешь, если веришь. Спирту не привез немного?

— Почему не привез? Привез, — спокойно сказал Рулев. — Я же понимаю: гонят стадо хорошие люди. Давно гонят, устали. Надо им отдохнуть.

— Тогда выпьем, — сказал старший. — Завтра оленей тебе хорошо покажем, а сегодня выпьем?

— Выпьем, — сказал Рулев. — Только чуть после. Сегодня. Вот мясо сварится, о деле поговорим.

Два пастуха засмеялись.

— Они говорят, ты плохой торговец. Торговец, как старики говорили, вначале спиртом поил, потом делом занимался.

— А я не торговец, — сказал Рулев. — Я в торговле, как и в оленях, — ни шиша. Вот такие дела.

— Тогда почему директор? — спросил старший.

— Сказали «надо, Вася». Я и стал. Вон их жалко, — Рулев кивнул на молча сидевших работяг в мосшвеевских курточках.

Те напряженно слушали разговор. Было видно, что они пытаются разгадать игру Рулева. И уж, наверное, в длинном перегоне и Мышь и Шпиц сговорились не оставаться с оленьим стадом вдвоем.

— Они хорошие, — щедро сказал старший. — Лени нет. В палатке не прячутся. Что скажешь — делают.

— Вот, вот, — сказал Рулев. — Поэтому и жалко. У меня все хорошие.

— Давай выпьем, — сказал старший.

— Ребята! — Рулев обратился к рабочим. — Вы пойдите и смените тех двух пастухов. Мне нужны все. Поняли вы?

Мышь и Шпиц молча скинули мосшвеевские курточки, натянули кухлянки. И сразу изменились — стали тонконогими и плечистыми. У входа они потоптались.

— Ребята, — сказал Рулев, — вы к стаду идете. Спирта я вам все равно не дам. Никто ваше не выпьет. Обещаю.

Пастухи пришли быстро. Было слышно, как они выколачивают снег из кухлянок и торбасов. Потом они вошли. От них еще исходил мороз, и был запах движения, когда человек входит в жилье после физической работы на воздухе.

Теперь все пятеро смотрели на Рулева.

Он грустно усмехнулся и поочередно тщательно погладил залысины.

— Такое дело, ребята. Отпускать мне вас никак нельзя. Нету у меня пастухов. Даже плохих нету. Но скоро будут.

Пятеро быстро заговорили.

— Мы свое сделали. Надо ехать, — объявил старший.

— Я понимаю. Вот какой выход. Каждого из вас я назначу пастухом-инструктором. Старшим специалистом. Каждому дам людей. Вы будете им объяснять.

— Нельзя, — сказал старший. — Надо ехать.

— Так ведь и стадо бросить нельзя. Вот ты пастух. Я нет. Но я знаю, чем все кончится. Волки стадо разгонят. Болезни начнутся. К весне оленей не будет. Так?

Пастухи молчали.

— А почему оленей не будет? Потому что нету специалистов. Вот он, — Рулев кивнул на меня, — может говорить на всех языках. В Африку его пошли, он сразу заговорит. С тобой поживет... неделю. Будет говорить на твоем языке. Такой человек. Но разве он оленя сможет пасти?

Старший искоса посмотрел на меня, пожал плечами.

Я смотрел на пастухов. У всех пятерых на верхней губе и на лбу выступили капельки пота. Они смотрели на старшего, который, видимо, действительно был старшим. Тот достал из кармашка папиросы и закурил. Тотчас закурили остальные.

— Ребята, — сказал Рулев, — если решите уехать, держать я вас не могу. Но я вам предлагаю должность пастуха-инструктора. Каждому. Все, что требуется, будут вам завозить. Ну, вернетесь. Ну, будете пастухи. А здесь каждый станет большим человеком. Еще пригоним оленей. Крупных якутских оленей. Каждый станет большой бригадир. Мы с вами, ребята, все обговорим. Дам документ. И если я что-то не выполню — можете уезжать.

— Жена дома, дети, — сказал старший. — Может, мы уедем? А будет плохо — вернемся.

— Другой разговор, — Рулев включил свою улыбку, и чум вроде бы осветился. — Только сделаем наоборот: каждому привезу жену и детей. Всех, кого он пожелает. Привезу самолетом со всем имуществом. Прямо у палатки высажу. Ребята! Женам! Детишкам покажете. Ведь здесь места, где никто не ходил. Новые здесь места. Вы же кочевники. — Рулев улыбнулся, и теперь я сам начинал верить в этот фантастический договор.

— Нельзя, — вздохнул старший. — Руководство нас не отпустит.

— Это моя забота, — быстро сказал Рулев. — Будете числиться, если хотите, в командировке. Как сейчас. Захотите — войдете в мой штат постоянно.

— Когда семью привезешь? — Пастухи быстро и возбужденно переговаривались, и видно было, что мнения разделились.

— Через неделю, — сказал Рулев. — Быть мне всю жизнь на карачках, через неделю семьи доставлю.

Стало тихо. Рулев искоса посмотрел на меня. «Черт, — подумал я, — бабушки, дедушки, наверное, их по всей тундре собирать надо».

— Это тебе не вытянуть, — сказал мне Рулев. — Сам полечу, сам привезу.

— Неделю ждем, — сказал старший. — Сам сказал: раз договор нарушил, больше нет договора.

Пастухи возбужденно смотрели на Рулева. Рулев улыбался. Теперь это уж была его настоящая, светлая и лишь чуть ироническая улыбка, блестели хорошие зубы, и сам Рулев казался пожилым, умным и тонким. Я любил его за эту улыбку. И пастухи улыбались в ответ.

— Ну вот, — сказал Рулев. — А ты говоришь, давай выпьем. Сейчас выпьем. Вы верите мне, я верю вам. Самое главное, ребята, — это доверие. Тогда все просто, легко и весело. А почему? Потому, что наружу выходит душа человека. А душа у каждого лучше, чем он сам. Вы мне поверьте, я это знаю.

И вдруг со мной произошло что-то странное. От дороги, от тепла, от рева примусов голова у меня закружилась, я стал невесомый. И полностью отключился от происходящего, как йог, ушедший в самосозерцание. Я думал не о себе. Я поверил, что Рулев действительно з н а е т. Я вспомнил до мельчайших подробностей, как Рулев извлек если не из-под земли, то во всяком случае из-под ног парнишку, которого звали Толя Шпиц.

Было это в прошлом году в конце сентября в Нижних Столбах. В сентябре на этих широтах уже зима, уже началась полярная ночь, уже плотно лег снег, хотя настоящих морозов еще не было. Я шел в аэропорт, чтобы взять на завтра билет, а Рулев провожал меня. Мы шли по дощатому коробу. В этих коробах прятали теплоцентрали, которые нельзя было зарыть в мерзлоту. Доски гулко стучали у нас под ботинками. Улица была пуста.

— Стой! — сказал Рулев и наклонился. Сквозь щели короба шел снизу свет. Мы стояли как раз перед квадратным люком, закрывавшим винтовые задвижки теплоцентрали. Рулев постучал ногой и отодвинул доску люка. Снизу ударило теплом, светом, запахом тряпья, человеческого тела, еды.

— Залазь, — донесся снизу сиплый голос. — Эй, шмурак, или залазь, или закрывай.

Рулев протиснулся в люк, исчез. Следом за ним пополз я. Мы были теперь в низкой, только сидеть, ка-

морке. Впереди и за спиной были опилки, прикрывавшие теплоцентраль, по бокам и над головой доски. От труб несло сухим жаром. Горела свечка, поставленная в банку с водой. На одной стенке, на гвоздике, висела аккуратно раскрытая пачка «Беломора». На двух гвоздиках лежала коробка спичек.

— Я думал, свои, — с разочарованием сказал хозяин этого жилища. Он сидел в одной нижней байковой рубахе, очень грязной. Лицо у него было коричневое от запоя, вспухшее и тоже грязное — лицо давно и насмерть пьющего человека.

— Неплохо устроился, — сказал Рулев. Он лежал, опершись на локоть, и вид у него был, точно он всю жизнь заходил в короба.

— Старый способ, — усмехнулся хозяин. — Не знаю, кто эти короба выдумал, только их сразу мы приспособили. Тепло. Светло.

— Что-то я тебя не видел, — сказал Рулев.

— Где ж тебе меня видеть. Ты культурный. Я бич, алкоголик. Ты ж сквозь меня смотришь. Так?

Рулев молчал.

— Забирать будете?

— Нет, — сказал Рулев. — Если сам хочешь, то вылазь. Специальность какая?

— Бутылки. Вы ж народ гордый. Спирт пьете, а бутылки сдавать вам неприлично. Вот я их и подбираю. Десятка в день. Мне хватает.

— А до бутылок что ты умел делать?

— Брось, начальник, — ухмыльнулся хозяин. — Брось, не агитируй. Опоздал ты с агитацией.

Он наклонился вперед и вытащил из опилок бутылку. Спирта в ней было немного. Он вынул из банки с водой свечку, подал ее мне, отхлебнул воды, потом спирта и снова воды. И снова поставил свечку.

— Так, так, — сказал Рулев.

Я никогда не видел, чтобы глоток спирта так действовал на человека. Припухлость на лице исчезла, кожа обтянулась. Теперь я видел перед собой просто немытого мужчину лет сорока пяти.

— Катитесь вы, чистенькие, — сказал он. Я видел: он догадался, что мы не из милиции и доносить никуда не пойдем.

— Катимся, — сказал Рулев.

Он отодвинул доску. И вылез. Следом за ним выбрался я. Было темно, свежо и холодно после душной

жары короба, после запаха спирта, опилок и грязного тела. Мы пошли.

— Эй! — донеслось сзади. Мы оглянулись. Был прямоугольник света и черное лицо человека посредине.

— Там у больницы парнишка один зимует. Если ты такой добрый, забери его. Пропадет. Шпиц его кличка. Толя Шпиц.

Мы пересекли весь поселок и вышли к длинному деревянному зданию больницы. Короба здесь пересекались, расходились, как железнодорожные пути. Рулев постоял, оценивая. Потом направился к возвышению над вентилями. Он потопал ногой, угадывая пустоту в опилках. Потом отодвинул доску:

— Шпиц! Вылезай, — скомандовал в темноту. И тут же, точно этой команды давно ждали, из отверстия вынырнула голова в меховой драной шапке, потом узкие плечи, и вылез парнишка — маленький, сгорбившийся. Рулев чиркнул спичкой. Парнишка зажмурился. Лицо его заросло белесым пухом, и весь вид был безобидный, домашний. Ясно, почему его прозвали Шпицем.

— Пошли, — сказал Рулев.

И мы пошли. Впереди Рулев, сзади Шпиц, за ним я. Мы пришли в комнатушку Рулева. Парнишка молчал. Его бил озноб.

— Колотунчик? На ночь запасаться одеколоном еще не умеешь? — спросил Рулев. Парнишка лишь улыбнулся. У меня было ощущение, что он давно в ночной темноте, когда над головой стучат сапоги прохожих, лежал и ждал, что придет кто-то сильный и скажет: «Вылазь! Пойдем!»

Рулев налил ему немного спирта. Намазал хлеб маслом. Парнишка, отвернувшись, выпил. Хлеб он лишь надкусил.

— Я радист, — застенчиво сказал он. — С «либертоса» «Сиваш». На капитана с ножом бросился.

— Ай-ай-й! — сказал Рулев. — Как же это?

— Не помню, — сказал парнишка.

— А ножик? Финочку при себе имел?

— Не-е! Перочинный ножик. Радисту нужен. Если бы финка, я понимаю. Судили бы. А так выкинули на берег.

— Понятно, — сказал Рулев. — «Сиваш» был в конце июля. Так?

Парнишка кивнул.

— Значит, с тех пор ты не мылся. Вон в углу белье,

выбери что подойдет. Напротив дома котельная. Там есть душ. Скажи, я просил.

— Я котельную знаю, — сказал парнишка. — Я там ночевал пару раз.

— Ну и отлично. Помойся, переоденься, потом топай сюда.

— Я приду, — сказал парнишка. — Я приду обязательно.

На другой день я улетел.

Анкета

Были ли Вы в плену, находились ли на оккупированной территории во время войны?

Да, находился. Более того, я и сейчас частично нахожусь в плену тех военных лет и буду в них до самой смерти. Причины этого я и попытаюсь сейчас объяснить.

Городок наш, лишенный, как я уже писал, стратегического и промышленного значения, война обошла стороной, коснулась краем своим, взмахи ее ужасных крыл долетели до нас сравнительно слабым ветром.

Вначале городок заняли румынские части. Мы, мальчишки, бегали вечерами смотреть, как господа румынские офицеры в штатских цилиндрах, фраках и очень блестящих сапогах катались верхом по городскому парку — останку дворянской эпохи.

Парк у нас действительно был прекрасен, а офицерские лошади сказочны, как детские полеты во сне. Господа офицеры вежливо приподнимали цилиндры, встречаясь друг с другом на дорожке, их улыбки были белоснежны, от них пахло духами. Наверное, они привыкли у себя в Румынии кататься вот так вечерами и разносить запах духов и вести сдержанные беседы, рукой в перчатке усмиряя гарцующих лошадей. Для них война была пока еще праздником.

Для нас, мальчишек, она была чем-то вроде кино. Мне было пять, и, когда к нам поселили какого-то румынского солдата, у меня установились с ним самые дружеские отношения. Слова «оккупант» и «враг» были неведомы моей юной душе. А ужас войны катился там, где были железные дороги, главные направления.

Солдат часто саживал меня на колени и гладил по голове, глядя почему-то на дверь, точно он ждал, что в эту дверь сейчас вбегут его дети или, допустим, войдет жена. Для него война с самого начала не была праздни-

ком, но и солдат этот, несмотря на затюканность и печаль, не был уж столь безобиден. Я видел, как однажды он сопровождал по улице господина офицера в вычищенном мундире, сверкающих сапогах, с каким-то хитрым огромным погоном на плече. Офицер шел, разглядывая где-то в будущем сверкающие дали победы, а солдат с карабином почтительно следовал в десяти шагах, и одна обмотка у него все разматывалась, а он на ходу затыкал ее конец, чтобы не размоталась совсем. На углу тетка продавала семечки, и вдруг наш солдат подскочил к этой тетке, наставил на нее оружие и, держа карабин в одной руке, другой стал быстро пихать в карман семечки. А затем бросился догонять господина офицера.

Затем в городок вошли немцы, и отец запретил мне выходить за палисадник. Но что могло нас удержать? У немцев были большие тупорылые машины, которые почему-то очень тяжело заводились. Однажды в квартале от нас я видел, как несколько солдат долго крутили ручку машины. Машина не заводилась. На улице, на беду свою, показался дядя Семен — дезертир, спрятавшийся в своем огороде во время нашего отступления. Он был в телогрейке, в брезентовых сапогах и нес что-то в мешке. Солдаты подозвали его и заставили крутить ручку. Дезертир Семен ручку крутил долго, и почему-то я помню его затылок и спину. Они были напряжены и задумчивы, если напряженная спина может быть задумчивой. Машину он завел. Солдаты приказали ему сесть в кузов, и больше мы дезертира Семена никогда не видели...

Затем один немецкий офицер застрелил в парке румынского офицера с его цилиндром, фраком и блестящими сапогами. Румыны устроили демонстрацию торжественных похорон, и в городке остались одни немцы. Пожалуй, это последнее, что я знаю о войне в наших местах, потому что у меня имелся ручной бильярд. В центре бильярда был нарисован самолет-этажерка с красными звездами, и при отступлении наших войск бабка красные звезды тщательно закрасила химическим карандашом. Когда к нам поселили группу солдат в серо-зеленых мундирах, я, разумеется, не утерпел и втерся в комнату, где они стояли у окна и громко говорили по-своему. Они рассматривали мой бильярд. Я решил, что они не знают, как класть шарик и дергать пружинку, растолкал солдат, чтобы показать им. Один из солдат взял меня за локти, поднял, подержал перед собой в

воздухе. Я и сейчас помню запах мыла, машинного масла, легкий запах алкоголя и помню розовый подбородок солдата. Он поставил меня на пол, наступил на мои ноги, зажал коленями мои колени, обхватил мои щуплые плечи и резко их крутанул.

На этом военные впечатления для меня кончились — я был в постели в боковом чуланчике нашего дома до самого отступления немцев.

Хотя мой личный опыт отношения к войне не дает мне ни малейшего права касаться этой поистине страшной темы, я вынужден был все это рассказать хотя бы для того, чтобы объяснить, почему я освобожден от воинской повинности, имею третью группу инвалидности и могу сразу же ответить на анкетный вопрос о воинских наградах, которые, возможно, предназначались мне, но никогда не будут получены.

Не так давно я видел в метро паренька в форме суворовского училища. Я видел его чистое мальчишеское лицо с твердо сформированным подбородком, я видел неуловимый скромный шик его формы и видел, как он с почти аристократическим изяществом уступил место какой-то девчонке, и я вышел на следующей остановке, не знаю зачем. Бог мой, я почти не чувствую своей инвалидности, и уже лет двадцать ни один врач не ограничивает меня ни в чем, кроме запрета поднимать тяжести...

Но все же пункты моей анкеты могли быть заполнены по-другому. Я помню глаза того немецкого солдата, который смотрел на меня с вялым любопытством. Может быть, так мы смотрим на овода, которого летним днем мы поймали, воткнули в него травинку и пустили лететь с этим грузом. И, может быть, потому, что от того солдата пахло шнапсом, я до сих пор не переношу запаха алкоголя в любом его виде.

Таковы физиологические последствия войны для меня, конечно, неизмеримо менее тяжкие, чем для сотен миллионов других людей.

* * *

Когда мы подъехали к поселку, Рулев мановением руки остановил вездеход. Перед нами была уже накатанная дорога, до поселка оставалось около километра. Мотор тихо работал, корпус вездехода подрагивал, оседала снежная пыль.

— Выключи мотор, — сказал Лошаку Рулев. Я выбрался следом за ним, лишь Лошак остался в кресле — кончики пальцев на рычагах, черное от грязи и усталости лицо без всякого выражения. Мотор стих, и мы услышали со стороны поселка стук топоров, прерывистое тарахтенье бензопилы и обрывки людских голосов, от мороза громких и ясных. Было тихо, и снежная пыль на нашей колее висела в воздухе, как пудра.

— Слышишь? — спросил Рулев. — Понимаешь?

Лицо у него было счастливым, и не было в этот момент даже иронической ухмылки в углах рта. Я его понимал: простые и ясные звуки — топор, пила и человеческий разговор. Люди строят жилье.

...От старого аэродрома, кроме посадочной полосы из дырчатого железа, остались аэродромные службы и ряд бараков. Службы были срублены из хорошо просушенной смолистой лиственницы по типовому проекту для здешних мест. Им еще стоять и стоять. Их заняла авиация после того, как заброшенный аэродром включили в список действующих. Бараки находились в стороне, отделенные от аэродрома полоской невырубленной тайги. И хотя их тоже выстроили из лиственницы, они были бараками, при постройке которых мало думали об уюте. Скорее наоборот. Рулев сразу же приказал разобрать их. Из бревен вдоль намеченной колышками улицы ставили небольшие домики — комната, кухня, печь. Остальное новоселу предстояло доделывать самому. Расчет Рулева был прост и справедлив: каждый должен иметь свой собственный дом. Общежитий и разного рода бараков в жизни его «кадров» прошло достаточно.

Плотниками у Рулева работали три брата, три владимирских мужичка. Они завербовались на Север «для поправки избы», как сказал старший брат, и были перехвачены Рулевым на аэродроме в Столбах, где люди ждали отправки на объект по месяцу и больше.

Старший из братьев, Федор Филиппович, в прошлом майор, начальник склада, еще не утратил ни майорских щек, ни вдумчивости в обращении, свойственной снабженцам. Он пожал руку Рулеву, мне и шоферу, вежливо закурил и осведомился о поездке.

— Как положено быть, — ответил Рулев, оглядывая дом.

— Поездка окончилась благополучно. Очень хорошо, — констатировал майор.

— Федор! — заорал с конька второй по возрасту — Мишка. — Опять филонишь, крыса складская!

Мишка был человеком несдержанным: в армии не вылезал из штрафбата и старших ни во что не ставил. Он был маленький, худой, рыжеватый, и в глазах его вечно висел неизвестный, но сложный вопрос, на который так охочи заковыристые деревенские жители.

Младший, Ленька, прилаживал дверную коробку и беззаботно насвистывал, не обращая на братьев внимания.

— Говорят, плотники в Медвежьем получают до пятисот в месяц, — сказал майор.

— А у вас в прошлом месяце по скольку вышло? — быстро спросил Рулев.

— По триста семьдесят.

Оба других брата затихли, вслушиваясь в разговор.

— Значит, вам остается еще дожать на сто тридцать в месяц, — сказал Рулев. — Я не возражаю. Напротив — всячески поддерживаю.

Мишка на крыше весело засмеялся.

— Учу я тебя, Федор, учу, — сказал он, — что вкалывать надо. Ты же сейчас колхозник. А колхознику платят только за труд.

Ленька улыбнулся. Он жил, как мне кажется, в каком-то своем, тихом и уравновешенном мире.

— Может быть, все-таки надо нам было в Медвежий лететь? — вежливо, доверительно спросил майор.

— А кто мешает? — спросил Рулев.

Майор промолчал.

— Лети, майор, лети, — сказал Мишка с крыши. — Я тут останусь. Пока улицу начальнику не построю, отсюда не тронусь. Верно, товарищ Рулев?

Рулев лишь посмотрел вверх. Ленька приладил одну сторону коробки и перешел на вторую.

— Может быть, нам расценки повысить? — сказал майор Федор Филиппович. Мысль эта, видимо, давно у него была обдумана.

— Взрослый вы человек, — громко сказал Рулев. — Вы ведь за жизнь знаете? Ведь правда, знаете?

— Знаю, — согласился Федор Филиппович.

— Ну так зачем глупости говорить? Говорить надо о деле.

Рулев пошел к вездеходу.

Мишка на крыше снова радостно рассмеялся.

— Начальник! — крикнул он. — Даю слово штраф-

батовца. Через три дня и этот очаг будет готов. Эх, вспомнишь Мишку!

Мы оглянулись. Мишка сидел на крыше — телогрейка, валенки. В одной руке победно поднят топор, в другой зажат пучок гвоздей, и шапка заломлена — «где наша не пропадала».

— Вспомню, — сказал Рулев.

Анкета

Ваши ближайшие родственники

Отец.

Лучше всего я помню отца в день окончания войны. Наверное, это вообще первое мое яркое воспоминание о нем, потому что довоенного времени я совсем не помню, а всю войну отец — инвалид первой империалистической — жил так, чтобы его вообще не замечали. Но в тот день он исчез вначале в сарае и вышел оттуда в единственном своем шевиотовом костюме, там он был спрятан от лихих людей. Затем деревяшка отца застучала на чердаке. С чердака он спустился с большим латунным шприцем для набивания колбас. Шприц был передан отцу на сохранение руководством нашего промкомбината. Густо смазанный, он лежал в груде ветоши. Отец тщательно вытер шприц и вышел на улицу. Он нес этот шприц к промкомбинату как знамя, и латунь сверкала, как положено сверкать военным регалиям. Я навсегда запомнил этот день и отцовскую прямую, как кол, спину, обтянутую пиджаком, и стук его деревяшки по тротуару.

Светило майское солнце, постукивала деревяшка отца, и за палисадниками торчали головы в платках и кепках. Возмищев вынул колбасный шприц — настало мирное время.

Еще совсем молодым потеряв на войне ногу, отец, видимо, искал способ самоутверждения. Талант его выявился в колбасном деле. «Возмищевская колбаса» производства местного комбината исчезала из магазинов и ларьков немедленно. Сейчас я люблю отца больше, чем любил его, когда жил с ним. Сейчас я понимаю, что он был пылинкой среди миллиардов пылинок истории, он был тем, что стратеги называют «человеческий материал», тем, кто относится к рубрике «жители», но он имел свой малый талант и свою роль в жизни нашего ненужного истории городка: он воспроизвел род свой и посильно участвовал в хаосе мирового прогресса. Я пони-

маю его беззащитность перед событиями. Я помню, как однажды к нему приехал давний, еще по первой войне, друг, прокурор соседнего, такого же, как наш, городка. Он выпил бабкиной наливки, закусил отцовской колбаской, похвалил и спросил:

— По каким ГОСТам ты ее, черт одноногий, делаешь?

— Как придется, — ответил отец. — Рецепт семейный. От матери.

— А нормы? А если ОБХС?

— Я не ворую, — сказал отец. — Это все знают. Раньше немного брал для себя.

Отцовский друг — прокурор пришел в ужас. Он, видимо, был хороший друг, потому что через неделю принес отцу стопку справочников, правил и ГОСТов колбасного производства.

Я помню, что в кухне всю ночь горел свет, отец смотрел в эти справочники и тихо вздыхал. Он всегда молчал, но вздыхать умел выразительно. Утром он ушел на работу, худая спина, как всегда, обтянута пиджаком, лишь деревяшка стучала печальнее. Колбасу он, как и прежде, выпускал по-своему, а справочники куда-то исчезли.

* * *

На трассе от поселка к Столбам интересно смотреть вниз. Вначале ты увидишь тайгу, зимой она напоминает ворох иголок, густо рассыпанных по простыне. Изредка в тайгу въедаются белые пятна марей. Самолет гудит и гудит на север, и эти пятна встречаются все чаще. Затем ты видишь длинные белые языки, которые вгрызаются в тайгу с севера, и наступает момент, когда тайга ослабела, и даже с высоты трех километров ты можешь себе представить отдельные лиственницы, которые в отчаянном порыве выбежали на границу тундры и стоят, как редкая цепь солдат под натиском превосходящего противника. Начинается тундра. Но это еще не все, еще встретится группа-другая лиственниц, которые заняли круговую оборону в белом пространстве и стоят, несмотря ни на что. Потом и они исчезнут.

...В самолете летели последние северные отпускники. Они возвращались загорелые, вымотанные полугодовой отпускной страдой, притихшие после буйства страстей. Все они летели дальше, на золотые прииски и в

геологические разведки Территории, и, честное слово, в глазах у них была радость предстоящего трудового процесса. Бывает же так, что человеку надоедает безделье и трудная работа, жизнь в заброшенных тундровых поселках представляется заслуженным отдыхом.

Я сошел в Столбах. Рулев даже не вышел из самолета. Он сидел в кресле в своей японской куртке и смотрел в иллюминатор. Он два года прожил в Столбах, работал в районной газете. Рулев был Рулев, и я его не расспрашивал.

Я шел от самолетной стоянки и, как всегда, прилетая в Столбы, думал, что здешний аэродром есть типический, полностью отвечающий представлениям, которые мы связываем с понятием полярный аэродром. С одной стороны посадочной полосы была гладь великой сибирской реки, с другой — желтый глинистый обрыв и на нем вразброд стоявшие чахлые лиственнички. В пойме реки они забирались на север почти до океана.

Я подождал, пока самолет, идущий на Территорию, улетит. ИЛ-14 растаял в ранних морозных сумерках, и уютный гул поршневых моторов затих. Теперь Рулеву предстояло маяться по глухим аэропортам, выклянчивать вертолет или АН-2, плести интриги с руководством совхозуправления и неизвестным коллегой — председателем колхоза. Собрать семьи пастухов и уговорить, вывезти. И почему? Потому что оленей должен кто-то пасти, потому что существует совхоз, потому что наука придумала экономическую рациональность организации его возле заброшенного аэродрома. Но, наверное, в этом была логика освоения новых земель, иначе чем объяснить, что директором совхоза оказался Рулев — бывший журналист, бывший шурфовщик, бывший студент.

Мне требовалось найти человека по прозвищу Мельпомен, и я пошел в редакцию. В районных редакциях все знают. Я любил сюда заходить раньше, когда редактором был Вадик Глушин — толстый седой лохматый чудак, романтик газетного дела и умница. Вадик Глушин ушел «на укрепление» в другой район. Новым редактором стал Грачин. Говорят, что именно Рулев пустил о нем шутку: «Ну этот... очки и зеленый галстук». Теперь каждый, кто в Столбах видел Грачина, наверное, обязательно говорил про себя: «вон этот... ну очки и зеленый галстук».

Редакция была в стеклянном, по новым веяниям

моды, зданьице. И редакционная вывеска была теперь на черном стекле. Все как у людей.

Грачин всегда меня поражал розовощекостью. Ты заходил и видел перед собой человека, который не курит, не пьет, который твердо знает простые истины жизни и своего поста. Было Грачину сорок, и при таких данных он еще мог неспешно и долго идти вверх. Районная газета не была для него пределом.

В редакции был один новенький — Мишка Ивлев, москвич, прямо с журналистского факультета МГУ. Он сидел за столом, маленький, курчавый, чем-то похожий на тонкого армянского мальчика. Я вдруг подумал, что, наверное, Вадик Глушин в молодости был вот таким тоненьким, курчавым и с чуть печальным взглядом поэта.

— Проходите, садитесь, — официально приветствовал меня Мишка. Он меня почему-то не любил. Я это чувствовал.

— Где Андрей?

— Сбежал еще с осени. Конфликт с Грачиным.

— Значит, уже второй?

— А кто первый?

— Рулев.

Мишка не захотел говорить о Рулеве. Придвинул к себе стопочку отпечатанных на машинке страниц и углубился.

— Где найти человека по имени Мельпомен? — спросил я.

— А зачем он вам? — неприязненно спросил Мишка.

— Это не мне. Это Рулеву он нужен.

— Первый переулок направо. Через сто метров увидите сруб. Это и будет он.

— Сруб — это стены без крыши, — сказал я. — Он без крыши живет?

— Ах, да, вы же филолог, — сказал Мишка. — Уточняю: увидите старый сруб с крышей. Это и будет дом Мельпомена.

— Спасибо. — Я встал. Что говорить с человеком, который неизвестно за что тебя ненавидит.

— Как там Рулев?

— Только что проследовал мимо. Из самолета не вышел.

— Ага! — сказал Мишка.

— Что именно «ага»?

— Так. Вопрос: Рулев верует в идеалы?

— В какие?

— Вообще.

— Пообщайтесь с Рулевым с мое. Тогда, может быть, вообще забудете такие вопросы.

Мишка снова уткнулся в бумаги. А я пошел в первый переулок направо. По этому переулку не ходили машины, в снегу была пробита лишь тропинка. Я шел мимо одноэтажных домишек, встречные собаки уступали мне дорогу вежливо, но без подобострастия. Это были знающие себе цену ездовые псы. И, наконец, я увидел именно сруб — что-то среднее между русской избой и якутской урасой. Стены были выложены по-русски, но щели промазаны глиной, и крыша плоская, как у урас.

Ни палисадничка, ни забора, лишь прочищенная лопатой тропинка к крыльцу из чистых досок и поленница дров, уложенная тщательно, можно сказать, педантично.

Я вошел в сени и на ощупь постучал в дверь.

— Войдите, — сказал густой и как бы насмешливый голос.

Я вошел. В единственной комнате за столом, накрытым розовой клеенкой, сидел мужчина. В одной руке он держал нож, в другой — лосиный мосол. На столе была миска, наполненная крупными кусками вареного мяса.

— Проходи, друг, проходи, — сказал мужчина и ножом указал мне на стул у стены. У него было крупное, тронутое оспой лицо и очень внимательные, я бы сказал, изучающие глаза. Я сел. Меня поразило обилие толстых журналов, раскиданных по подоконнику, на стульях, на полке. Я сразу заметил, журналы были именно те, что считал в наше время нужным читать именно мыслящий интеллигент или человек, считающий себя таковым.

— Слушаю вас, — сказал хозяин.

Голос у него был богат модуляциями, и эти быстрые переходы с «ты» на «вы» как-то отражались в голосе.

— Я по поручению директора совхоза товарища Рулева, — начал я.

— А... этот, — сказал хозяин. — Ну а ты в этом совхозе кто, что-то не помню?

— Я же сказал, что по поручению, — терпеливо разъяснил я.

— Ну-ну, — хозяин хмыкнул.

— Товарищ Рулев считает, что в совхозе надо организовать рыболовецкую бригаду. Вас назвали как наиболее подходящего человека.

— Кто назвал?

— Северьян и Поручик.

— А-а! Ну а мою кличку вы знаете?

— Мельпомен.

— А почему так прозвали, известно?

— Нет.

— По ошибке. Я, видите ли, юрист в прошлом. Кто-то перепутал Мельпомену с Фемидой.

— Бывает.

— Думаю, что Рулев ваш также напутал. Ни черта у него не получится в этом совхозе.

— Я тоже так думаю, — неожиданно для себя сказал я.

— Вот как! Почему?

— Не знаю. Но вдруг все-таки выйдет. Рулев на вас рассчитывает. Знаете — новая река, рыбы, конечно, завались. При умной организации...

— Ладно, — неожиданно сказал Мельпомен. — У вас финансовые полномочия есть?

— Зачем?

— Самолет мне нуже-е-е-ен, товарищ! Сети завезти, снаряжение. Людей я сам подберу. Ставить рыбалку — значит, ставить.

— Самолет будет.

— Весной. Рыбалку надо делать с весны. А сейчас пойдемте.

— Куда?

— Кое-что покажу для ознакомления.

Из-за ситцевой занавески вышла женщина. Поклонилась мне.

— Знакомьтесь, — сказал Мельпомен. — Жена.

Женщина протянула мне руку лодочкой и застенчиво улыбнулась. У нее было простое хорошее лицо.

— Можно выехать и с женой, — сказал я, вспомнив размах Рулева.

— Нет, — сказал Мельпомен. — У меня тут дом. Собаки. Хозяйство. И фирма ваша долго не просуществует.

Он встал и оказался почти такого же роста, как и когда сидел. Короткие ноги. Женщина снова поклонилась мне и улыбнулась. В сенях застучали шаги. Вошел парень в матросской шинели.

— Сын, — кратко сказал Мельпомен. — Служит, за отличную службу награжден отпуском.

— Ты куда, батя? — спросил сын.

— Пойду покажу дом Лыскова. Для науки.

— Я дома буду, — сказал сын.

— Ладно, — улыбнулся Мельпомен.

Он натянул полушубок. Я вышел на улицу. У меня осталось ощущение, что человек со странной кличкой живет в своем срубе по каким-то крепким и ясным домостроевским законам. Что общего могло быть у него с Поручиком, Северьяном и вообще всей этой ватагой северного бродячего люда, который мается между заработками и загулом, нерегламентированной экспедиционной работой, тяжким трудом в лесу, на рыбалках и столь же нерегламентированной пьянкой, где единым потоком сливаются рубли, спирт, шампанское, одеколон, портвейн?

Анкета

Я не состоял, не исключался и не восстанавливался...

Из-за простого совпадения событий. Как раз, когда пришел возраст вступления в ряды ВЛКСМ, куда меня несомненно приняли бы как лучшего ученика школы, я узнал, что мой отец вор.

Пожалуй, я узнал это раньше, потому что стояло голодное послевоенное время, и промкомбинат не знаю уж из чего, но продолжал выпускать колбасу. Каждый вечер в тот год отец, вернувшись с работы, почему-то становился ко мне спиной, задирал рубаху на животе и вытаскивал из-под ремня небольшой круг колбасы. В углу кухни сидела бабка, и глаза ее, жгучие и темные, как у цыганки, быстро перебегали с меня на отца и с отца на меня. Отец клал колбасу на кухонный стол, вздыхал, как лошадь, и отстегивал деревяшку, дома он ходил с костылем.

Примерно за неделю до того, как мы из пионеров должны были перейти в комсомольцы, я совершенно случайно увидел, как на выходе из промкомбината отца остановил милиционер. Он быстро и как-то профессионально провел рукой по впалому отцовскому животу и взял его за рукав. Я не слышал, о чем они говорили, но милиционер держал отца за рукав, и отец покорно за ним шел. Но почему-то они повернули не к милиции, а к кустам сирени, что окружала промкомбинат.

Оттуда отец вышел один. В тот вечер он не клал на кухонный стол колбасу и не отстегивал деревяшку. В своем чулане я слышал ее неумолчный стук по половицам и шепот бабки, только не мог разобрать слов.

На следующий день отец снова пришел с колбасой, а на следующий, устроив засаду, я разгадал секрет этого наивного и жалкого жульничества голодного времени: милиционер ждал отца, и они молча, отстраненно уходили в кусты сирени, откуда отец выходил один. Просто теперь он выносил два круга колбасы — для милиционера и для себя.

Избави бог, я не пытаюсь кинуть тень на высокую честь советской милиции, да и на поступок отца я сейчас смотрю несколько по-другому, просто я объясняю, почему я отказался подать заявление в ряды ВЛКСМ. Мое поколение было воспитано в высоком уважении к «членству в рядах», точно так же, как мы знали истину «яблоко от яблони недалеко падает». Может быть, мы не знали ее, просто наши четырнадцатилетние души чувствовали жизненный смысл этих слов. Я все это сейчас понимаю, но не знаю лишь одного — почему мой отказ вступить в комсомол, высказанный вслух и без объяснений, не имел никаких для меня последствий. Меня не вызывали, не разбирали, не требовали объяснений, и я не стал изгоем бóльшим, чем был.

Я лишь помню, что отец пришел ночью ко мне и положил руку на мой затылок, точно знал, что я не сплю. Он неловко погладил затылок, поправил одеяло и ушел. Мягкое «тук» резинового наконечника костыля и «шарк» тапочки. Тук, шарк, тук, шарк и заключительный вздох. Подушка моя была мокрой, потому что я плакал бесшумно и обильно. Я хотел быть в рядах, я вообще всю жизнь, а в те годы особенно, хотел быть вместе со всеми, хотел быть частью шумного горячего стада, хотел в грохоте копыт мчаться вперед вместе со всеми, когда твой взмыленный бок касается бока соседа и пыльный ветер вздувает гриву и врывается в ноздри, а мы единым разумом стада знаем, что нет преград, мы все сметем на пути и пространства покорно лягут под наши копыта.

Когда на горе среди жесткой травы я принял решение сбежать навсегда, я смотрел на крышу промкомбината, где работал отец, и думал о его коллегах, таких же знаменитостях сферы обслуживания. В этом здании работал парикмахер Лазаревич, который, навер-

ное, взял внешний облик с преуспевающего адвоката времен своей юности. Лазаревич носил великолепную седую гриву, очки с золотой дужкой, а поперек жилетки он носил золотую цепь золотых же часов. Он лично ежеутренне брил председателя горисполкома. Если в этот момент у него в кресле сидел намыленный клиент, Лазаревич с твердой вежливостью пересаживал намыленного клиента в свободное кресло, брил председателя горисполкома и с той же твердой вежливостью говорил затем: «Извините. Теперь продолжим».

Еще был сиропник Зигмунд. У Зигмунда был рецепт сиропа для газировки, который он хранил так же тщательно, как знаменитая фирма «Кока-Кола» хранит рецепт своего напитка. Без сиропа Зигмунда и отцовской колбасы в нашем городе и прилегающих местностях не мыслились свадьбы, именины или иные даты. Зигмунд готовил сироп сразу партией, выгнав из цеха всех и завесив окна одеялами.

Я как-то спросил отца, зачем Зигмунд это делает. Он же, отец, не таит секрет своей возьмищевской колбасы.

— У него сын в институте. Ему надо, — ответил отец.

* * *

Мельпомен шел впереди меня с прутиком в руке. По бокам его очень симметрично бежали две ездовые собаки. Они бежали, опустив тяжелые головы, и только изредка, как по команде, взглядывали на Мельпомена, точно читали на его лице предстоящий маршрут.

Мы шли в противоположную от аэропорта сторону. Поселок кончился, и мы шли по узкой тропинке среди лиственниц. Потом и тропинка свернула к речному обрыву. Внизу под тяжелой глиной, кое-где неряшливо закиданной снегом, лежала река. Противоположный берег ее еле угадывался темной полосой тальника, и еще дальше шло рыжее пятно лиственничного леса. Тот берег назывался Низина, и он бежал на запад болотистой равниной, где неизвестно чего было больше — озер или перемычек суши между ними. «Водички-то вроде побольше», — говорили местные старожилы. Берег, на котором мы стояли, назывался по-местному Камень. Здесь шли низкие сопки с долинами рек, которые впервые вошли в географию по докладным запискам казаков-землепроходцев.

Мельпомен повернулся и пошел от берега прочь пря-

мо по целине. Собаки пошли следом за ним, а я за собаками. Мельпомен углубился в чахлый лиственничный лесок. Снег был еще неглубок, и мне было легко идти по широким следам Мельпомена. Лиственницы вдруг расступились, и я увидел как бы небольшую поляну, расчищенную от деревьев. В глубине поляны стоял дом неправдоподобного для здешних мест облика. Он был двухэтажный, кирпичный, с южной верандой, и окна у него были по-южному большие и светлые. Такие дома можно видеть в пригородах Сухуми или в иных теплых местах. Все это так не вязалось с засыпанной снегом поляной, зябкими зимними лиственницами и этим небом, что я как-то не сразу догадался, что дом нежилой.

Мельпомен обернулся ко мне. Он разглядывал меня вдумчиво и серьезно, как, допустим, мы могли рассматривать только что купленную и доставленную домой дорогую вещь. Допустим, новый холодильник. Я даже видел в глазах Мельпомена — серых, чуть выцветших, с легкими склеротическими прожилками, — видел в них сожаление, грядущее сожаление, что и этот, последней модели, агрегат устареет, сломается, выйдет из строя и покроется желтым налетом старения, несмываемой паутиной кухни. Собаки тоже смотрели на меня. Но без особого любопытства.

Я почувствовал странность и некую чертовщину. Этот странный нежилой дом (и какой дом!), и этот человек с диким прозвищем и, видно, немалым прошлым, и странная моя роль в этом углу страны, черт-те где, черт знает при чем — чертовщина.

— Вот тут и жил дед Лысков, который вам пригодился бы больше меня.

— Где он сейчас?

— Умер, — сказал Мельпомен и неопределенно кивнул в заснеженные пространства Сибири. — Он, знаете, сдох.

— Все-таки умер или сдох? — я понял, что Мельпомен уже нашел интонацию разговора со мной: только на «вы», и уровень слов он тоже определил.

— Сдох, — беспечально сказал Мельпомен и улыбнулся.

— Так при чем тогда наш совхоз?

— С миром ли? И сказал Ииуй: что тебе до мира? Поезжай за мной, — Мельпомен покачал головой. — И я, знаете, поехал за ним.

— Ииуй — это Библия? Я тут не силен.

— А в чем вы сильны? Чем богаты? — усмехнулся Мельпомен. — Богатство то же, что обоз для армии. Передвигаться с ним трудно, но бросить его нельзя.

Я молчал. Когда человек начинает говорить притчами и цитатами, лучше молчать. Он сам разъяснит.

Мельпомен прошел несколько шагов перпендикулярно нашей тропинке. Образовалась в снегу как бы буква Т, и хвост ее тянулся в лиственничный лес, откуда мы только что вышли.

— Умеющий молчать слышит много признаний, — сказал Мельпомен, и голос его весело прозвенел среди тишины. Собаки зевнули. Мельпомен закурил, с ясной насмешливостью улыбнулся и стал неторопливо ходить по перекладинке буквы Т.

— Не знаю, кем вы служите в этом совхозе. Думаю, что вообще вы там с целью странной и, может быть, даже нечистой... Расскажу историю свою и деда Лыскова. Я — юрист. Был адвокатом, был судьей и был прокурором. Назначили меня прокурором в район приисков, это на Алдане. Тем временем война. Я стал просматривать папки дел. Дел много — знаете, прииск, народ разный. Мелкие кражи, хулиганство, драки. Контингент — мужчины в возрасте от двадцати до пятидесяти. Иных на приисках нет. Где они в данный момент? Они на фронте или по дороге к нему. И таким путем в качестве первого служебного шага я прекратил следствие по девяносто шести делам. Одним росчерком пера. Над этими мужиками вела сейчас следствие эпоха. Я видел, что это следствие самое беспощадное и самое беспристрастное из всех, ибо их личные дела взяла в свои руки История. Зачем тут прокурорский надзор и эти конторские папки? Кто я?

— Потом, позднее, вам все это припомнили, — вставил я.

— А как же! — с удивлением воскликнул Мельпомен. — Юридически необоснованный шаг со стороны прокурора, ибо из этих девяноста шести один попал в плен, а один оказался власовцем. Из девяноста шести — двое. Сколько из них погибло, я не мог знать. Ибо я перестал быть прокурором. Я понял, что не могу быть юристом, ибо служение закону оказалось выше меня.

Приехал я в эти края. Имелся тут человек. Но... Черт с ним! Сюда приехать легко, уехать труднее. Вот тут я и вырыл землянку. И жена в ней жила, и сын. Отнеслись ко мне как к чудаку. Кличку дали. Живу волком. И при-

ходит однажды ко мне старичок. Голова как одуванчик, полушубочек на нем чистенький, в руке палочка, морщинки на лице промытые, ясные. «Зима, — говорит, — на носу, мил человек». — «Зима, — отвечаю. — А тебе какого черта?» — «Я тебе рыбки принес, — говорит. — Вяленая рыбка, хорошая. Вот отведай». Тут что-то во мне шевельнулось. От души ведь старик принес. В глаза смотрит ясно. Пригласил войти. И стал я у него вроде работника. Впрочем, не то слово. Окружил меня заботой старик. Денег дал семье на одежду. Расписку не взял. «Это, мил человек, глупости. Н. душу нету расписки». Приспособил к делу. Старик здешний, тут Лысковы столетия жили. Все — здешние рыбаки. Главная забота — сети. Рыбы-то в реке ведь не меряно, не ловлено. Сети у старика были. Лишние. По осени помогал ему неводить, потом подо льдом. Не то чтобы он мне науку преподавал. Сети есть, места есть, остальное сам быстро усвоишь. Прожил зиму. Деньги кое-какие завелись. Весна. А я уезжать и как-то определяться уже не хочу. Такое чувство — мне рыбаком надо было родиться. А дед горизонты раскрывает и говорит о смысле бытия. Своими словами, но хорошо говорит. «Что тебе люди? Иди за мной!» Ну, он Библию плохо знал. Это я ее знал по должности, с сектантами как юристу приходилось общаться. Работаю у деда еще год. Потом узнаю — он мне примерно третью часть платит. Того, что положено. Я в рыбалку вошел, меня уважать стали. Черт, думаю, с ним. На жизнь хватает. Землянку оборудовал. Потом дед ко мне в помощь еще одного приспособил. Кудрявый Леха, отщепенец людей. Когда выпить не было, работать умел. Ему дед вообще не платил. Платил выпивкой и одеждой. Этого я не стерпел. Отошел от деда. Вступил в колхоз. Я уже рыбак, мне можно вступать в колхоз. Получил участок, дом построил. С дедом Лысковым не ссорюсь. Очень он мне стал интересен. Вижу его установку жизни. Пригреть человека вроде меня. Дать ему место работы, ласку, дать почувствовать две ноги. И на этом взять себе толику денег. Без обиды. И никакой контроль, никакой надзор не придерется. У деда участок. Выдан ему для ловли рыбы. Он и ловит. Имеет право вдвоем и втроем, если отсутствует принцип эксплуатации. А где эксплуатация? Разве я могу сказать, что дед меня эксплуатирует? Нет, не могу. Он мне помог, сети дал, учит меня и сам рядом со мной работает. Это называется — промысловая артель. Так и идет по жизни лас-

ковый и безгрешный старик. Потом я понял. Дед ко мне зашел как раз.

«Федюша? — спрашивает. — Тебе место, где старая твоя землянка, не нужно?» — «А на кой оно мне черт», — отвечаю. «Ты отдай его мне. Я там дом построю». — «Да строй, старый черт. Места в тайге, что ли, мало?» — «Нет, Федюша, — он говорит. — То место тобой в смятении выбрано. Ты спокойствия искал и там его обрел. То место хорошее». — «Валяй». И только тут стало видно, сколько дед накопил, что у него есть. Кирпичи по разным кладовкам, железо, цемент. И люди — как будто он по всей Сибири собрал — забулдыги, но ведь мастера. Дом они, видишь, выстроили на славу. Забулдыги исчезли, распустил их дед. Драки при расчете не было, значит, заплатил.

Мельпомен помолчал, обернулся к дому и посмотрел на него. Южного облика кирпичный особнячок стоял спокойно и приветливо отблескивал окнами. Наверное, в этом доме было тепло и уютно жить в окружении этих лиственниц, тишины и неяркого северного неба.

— А потом что? — спросил я.

— Я, видишь ли, этих ребят, что дом строили, нашел. Кого где. В обычном их состоянии. Побеседовал о деде. О том, что он им говорил, что платил, как он их разыскал и так далее. И после этого сказал деду Лыскову: «Либо ты, либо я. Вдвоем нам в этом поселке на одной реке не жить. А я уезжать не собираюсь».

— Ну и?

— Дед мои слова принял спокойно. Посмотрел лишь на меня с укоризной. Зашел перед отъездом. «Я, — говорит, — Федюша, завещание написал. Если умру, тот домик тебе. Живи». Взял мешок с сетями, полушубок свой надел, палочку взял и улетел. На Территории рыба понадобилась. Золото там пошло, значит, и бичи развелись, бесприютный народ. Наладил там дед большую рыбалку. Но вдруг умер.

Мельпомен вдруг остановился, посмотрел кругом и прошел мимо меня по обратной дороге. Собаки следом за ним — нос в хвост, я за собаками. Минули полоску лиственниц, вышли на берег и, точно повторяя маршрут, пошли к поселку. Когда показались окраинные дома, Мельпомен остановился и сказал:

— Козимо Медичи писал: «Мы обязаны прощать своих друзей». Быть добрым к опустившемуся — долг человеческий. Но если в доброту вносится подлость — не хуже ли это просто подлости? Доброта должна быть од-

ной добротой. Твой Рулев — зачем, по какому пути он идет? Если ты протягиваешь руку — протягивай ее открыто и до конца. Бросить добро на половине дороги нельзя. Знает ли он это? Уверен ли он, что сумеет помочь? Уверен ли, что ему это позволят?

— А кто запретит? — сказал я.

— Дурак! — сказал Мельпомен, и я увидел в глазах его жалость. — Во все века на Руси были убогие и неприкаянные. И во все века их тянуло в Сибирь. Здесь тебе дадут трояк вместо десяти копеек, здесь проще и легче прожить, были бы руки. Но что есть наш бич? Это человек с душевным изъяном. Он выбит из жизни. В руках государства — палка. Встань в ряды, или тебе будет плохо. Государство право, бич ему дорого стоит. Но мы люди, отдельные личности. Если видишь заблудшего и презираешь его — пройди мимо, не демонстрируй презрение. Он и так знает, что его презирают. Если видишь озверевшего — бей его, но только пока он озверел. Если тянешь ему руку помощи, знай, что ты уже утратил право бить. И твой долг, человека, а не общества, понять его душевный изъян. В ряды он и без твоей помощи встанет. Рулева хочу повидать. Рыбалкой вашей займусь. Будь здоров и иди в другую сторону.

Анкета

Ваши ближайшие родственники

Мать.

Мать я впервые увидел, когда приехал поступать в институт. Точнее, я сбежал из нашего городка, сбежал от отца и его промкомбината, и наиболее естественным поводом бегства было — поступить в институт. Школу я окончил с золотой медалью. Причина, почему мать разошлась с отцом, когда это было — мне неизвестно. Неизвестно мне и то, почему она не взяла меня с собой, оставила у отца с бабкой. Я знал лишь, что у меня есть мать и что она живет в Москве, работает официанткой в одном из крупных столичных ресторанов. Она встретила меня на Киевском вокзале. Видимо, отец дал ей телеграмму, наверное, он посылал ей мои фотографии, потому что она меня сразу выделила из толпы, сказала:

— Значит, ты и есть мой сын?

Она чмокнула меня в щеку сухими губами и принялась молча разглядывать меня, а я ее. Мимо текла вокзальная толпа. Я видел среднего роста женщину в хорошем трикотажном костюме, еще вовсе не старую, если

сравнить с отцом; вообще все в ней было отличное от нашего захолустья, чувствовалась благополучность и гигиена, и нашими, семейными, были лишь глаза. Они горели темным сухим пламенем в глубоких глазных впадинах. Такие глаза были у моей бабки. Мать держала меня за локти, мы были почти одного роста, и я видел темные волосы без единого седого волоска. Она вовсе не походила на официантку. Когда я попробовал освободить локти, она так же просто и глухо сказала:

— Пойдем.

В такси она сидела рядом и смотрела прямо перед собой, я же смотрел вбок, на мелькающие дома.

— В общежитие тебе нельзя, — сказала она.

И еще через минуту:

— У меня тебе тоже будет неудобно.

И еще через минуту:

— Я сняла тебе комнату. Однокомнатную квартиру. Знакомый уехал за границу. Будешь жить там. Потом посмотрим.

И еще через минуту:

— Тебя надо переодеть. При твоей фигуре это просто. Завтра я тебе все привезу.

Мы приехали. Это было на Преображенке. Немного мебели, какая у всех, немного книг, немного керамики, проигрыватель. Жилье человека, который уезжает за границу и оставляет его знакомой официантке.

— За комнату я буду платить, — сказала мать. Она сидела на краю диванчика и не осматривала комнату, наверное, потому, что хорошо ее знала.

Я молчал.

— Так как технический институт для тебя отпадает, я выбрала тебе гуманитарный. Будешь на филологическом учиться. Поступить помогут.

— У меня медаль золотая, — сказал я.

— Знаю. Только под оккупацией ты был и в комсомоле не состоишь. Почему?

— Это мое дело, — сказал я.

— Твое, — согласилась она. — Деньги я тебе давать буду.

* * *

Не настала ли пора поговорить о Семене Рулеве, о его роли в моей судьбе, или, наоборот, моей роли в его?

Семена Рулева я впервые встретил в Сокольниках. Это было за пределами официального парка на берегу реки Яузы, на поросшем березками с желтыми песчаными тропками обрывчике. Я часто ходил здесь, потому что жил рядом, и, кроме редких спортсменов, тренирующихся на желтых песчаных тропках, тут редко кто ходил в будние дни. День был осенний, солнечный, из тех осенних дней Подмосковья, когда жить бывает грустно и хорошо. На этом обрывчике у меня было любимое место, откуда виднелась только река, слабый кустарник и на той стороне старый забор со старыми покосившимися домами — на глаза не лезло ничто индустриальное, и лишь в стороне раздавался нервный грохот электричек Ярославской дороги. На этом самом месте я его и увидел. Стоял по-городскому стройный лысоватый парень в хорошем костюме, в белой рубашке с расстегнутым воротом и смотрел, как я к нему подходил. Лицо у него было смуглое, по-городскому худощавое, и по этому лицу было нельзя угадать, двадцать пять или тридцать пять лет человеку. Он подождал, когда я подошел ближе, и вдруг улыбнулся чистой хорошей улыбкой.

— Свобода! — сказал он. Улыбка сверкала на смуглом лице, и он бережно подержал что-то в руках — большое и хрупкое — и повторил: — Свобода!

Глаза его смотрели на меня доверчиво и печально, так смотрят иногда обезьяны в зоопарках, он умолял меня понять, в тот же момент оценить, взвесить и присоединиться к нему в оценке того великого комплекса, что он понимал под словом «свобода».

— Что — свобода? — спросил я.

Он еще раз оглянулся кругом, взвесил руками большое и хрупкое, задержал взгляд на осенних березках и вынул из внутреннего кармана начатую бутылку портвейна.

— Свобода — это осознанная необходимость, — сказал он и протянул мне бутылку.

Прогрохотала электричка. Я взял портвейн, вежливо отхлебнул и увидел в сторонке еще одну пустую бутылку, закинутую в кусты. Шумно дыша, пробежала группа в тренировочных костюмах. Они бежали, точно делали тяжелую и очень нужную работу. Глаза спортсменов были сосредоточенно прикованы к песку на тропинке.

— Свобода! — печально повторил, глядя на их спи-

ны, Семен Рулев и опять улыбнулся. — Неужели не понимаешь? Люди гибнут за это слово, потому что...

— Суть-то не в слове, — сказал я.

— Вначале бе слово, — возразил он библейским текстом и махнул рукой.

Черт его знает, почему я с ним разговорился тогда. Была грустная московская осень, не хотелось идти на лекции, и мне понравилась его подкупающая улыбка и то, что человек может вот так сказать первому же прохожему о том, что наболело у него на душе. Пусть даже под влиянием портвейна номер пятнадцать.

У нас начался бессвязный разговор о свободе. Мы открывали друг друга. Рулев непринужденно уселся на землю, прислонился спиной к березке и поставил в траву рядом недопитую бутылку. Я нашел место почище и тоже сел.

— И ведь ни один из тех миллионов, что погиб за свободу, не знал смысла этого слова. Никто не знает. — Он отхлебнул и закончил: — И не узнает...

— Но в результате все-таки было дело, — возразил я. — Возьмем, к примеру, освоение Сибири. Не будем трогать французскую революцию.

— Она погибла потому, что к слову «свобода» она прицепила глупые слова «равенство» и «братство». Равенства не было и не будет. Это кошачий бред. А на братстве всю жизнь кормились одни демагоги, — пророчески подняв палец, вдохновенно сказал Рулев. — Есть свобода и хлеб. Этим исчерпана жизнь человека.

Я промолчал. По неизвестному сцеплению обстоятельств меня последнее время интересовали мужики, которые триста лет назад промчались по диким просторам Сибири, терпели дикие муки, писали слезные юродивоуниженные письма царю, были жестоки, выносливы, несчастны и нищи. Что направляло их энергию именно на восток? Они не знали слова «романтика», и краткого опыта хватало, чтобы понять, что материальные блага из них получат лишь единицы, если получат. При равной затрате энергии...

— Но это же просто, как мячик, — кричал Рулев, упираясь спиной в березку. — В официальной истории они называются казаки-землепроходцы. Официальная история — чушь. Это были бичи, голытьба, рвань. Что главное в любом босяке? Ненависть к респектабельным. Ненависть к живым трупам. Где респектабельность — там догматизм и святая ложь. Ложь! Он бежит, чтобы

не видеть их гладких рож, пустых глаз и чтобы его не стеснял регламент. Он бежит от лжи сильных. Он ищет пустое место, куда они еще не добрались. В тот момент на востоке было пустое место. Туда и бежали твои землепроходцы. А по их следам шли респектабельные, чтобы установить свой идиотский порядок. И принести туда свою ложь.

— Ты анархист, что ли? — спросил я.

— Дурак, — необидно сказал Рулев. — Нацепить ярлычок и успокоиться, да? Свобода!

Он подержал руками воображаемую свою ценность, и руки бессильно упали вниз.

Мы не разошлись. Рулев пил, но не пьянел. Он вытащил из кармана еще бутылку, на его тощей фигуре городского парня, видимо, можно было спрятать много бутылок. Я с интересом наблюдал.

Рулев, как я вскоре узнал, был старше меня на семь лет. Был кадровым офицером, уволился из армии по суду чести (иначе не отпускали), поступил в университет на исторический и вот сегодня решил бросить его. «История — мертвая вещь. Никто не может узнать историю».

По дикому совпадению оказалось, что мы живем рядом. В получасе ходьбы друг от друга. И когда мы через парк и через тихие сокольнические переулки вышли к Преображенке, он пригласил заглянуть к нему.

О жизни своей он рассказывал с хорошо затаенным юмором. Глаза его смотрели вдаль в восторге пьяного вдохновения. Жизнь Рулева в его пересказе была разорвана на эпизоды, каждый эпизод имел самостоятельную ценность и вес, имел свой объем, юмористические и мрачные стороны. Впрочем, стороны бытия Рулева не были мраком сами по себе. Это были каверзы судьбы, которая не всегда играет по правилам и, кроме того, любит шутить не всегда уместно, но без малейшей злобы.

Лишь один раз, когда мы проходили мимо новостройки с развороченной землей, с рычащими самосвалами, с разбросанными бетонными блоками, гнутыми прутьями арматуры, он остановился и процитировал: «Век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век, тобою в сумрак бесконечный беспечно брошен человек. Двадцатый век — еще страшнее...» Минут пять после этого он молчал, лишь улыбался, и улыбка его теперь таила затаенную каверзу, хорошо обдуманный хитрый ход.

Дом его находился на тихой улочке, выходящей на

Преображенскую площадь. Это был уголок старой Москвы, несомненно, обреченный на снос. С улицы мы зашли в дверь в торце двухэтажного дома. Поднялись по деревянной, с балясинами лестнице на второй этаж, потом поднялись еще выше, и Рулев ввел меня в скрипучую обширную мансарду, которую с улицы вовсе не было видно. Здесь был уют холостяцкого нерегламентированного жилья, с собранной кое-как мебелью, несколькими книгами на полке, плитой на кухне и, главное, с горбатыми древними полами, которые выли и визжали на разные голоса.

Я не сразу понял атмосферу уюта, которая была тут, и то, что те несколько книг, которые были на полке, были любимыми книгами Семена Рулева.

Пройдясь по половицам так, что они завыли на разные голоса, он сказал:

— Там еще и чердак есть. Тоже мой. — Он сказал это счастливым голосом обладателя небольших, но радостных ценностей и опять подержал в руках нечто не очень важное, но близкое и дорогое ему.

Дорогой мы зашли в магазин. Рулев, уже не предлагая мне, налил себе стакан вина, нарезал колбасы, положил на тарелку несколько перышек осеннего лука, кусок хлеба, посмотрел сбоку, поправил зеленое перышко и лишь тогда сказал:

— Выпьем за моего папу — крупного подлеца, который все делал вовремя.

— Как это? — ошарашенно спросил я.

— Знаешь, есть люди, предрасположенные к подлости. Когда затевается большая, сильная подлость, они тут как тут. Безнаказанно издеваться над теми, кто втрое выше тебя, — разве не счастье? Жрать в три горла и между глотками бормотать про высшие идеалы — ну разве не наслаждение?

— Где же твой отец?

— Он умный мерзавец. Ушел ровно за год до закрытия лавочки. Заболел, пенсию получил. Стало не до него.

— Как же ты жил с ним?

— А я не жил. Он меня поместил в суворовское училище.

— А как сейчас собираешься жить? Университет бросил. И вообще... Без образования в наше время... Диплом...

— Господи! — Рулев посмотрел на меня, как на мар-

сианина. — Я же вырос в Сокольниках! К десяти годам я знал о человечестве все. Я и умею все. Устроюсь куда-нибудь, где надо уметь все. Или уеду, куда, где нужны люди, умеющие все.

Он закурил и улыбнулся насмешливо и открыто, и я опять сразу попал под обаяние этой улыбки.

— Да. Ты в самом деле устроишься и, наверное, умеешь все, — сказал я с открытой завистью.

— Ну а ты-то? Ты как живешь? — с пьяноватым участием спросил Семен Рулев.

— Я, как ты, не могу. У меня принципов много... наверное, лишних.

— Для кого как, — мудро сказал Рулев. — Для кого принципы просто излишни. Другому они нужны как воздух. Отними у него принципы, и личность рассыплется. Ты, наверное, из таких.

— Наверное, из таких.

— Но историю всегда делали люди без принципов.

— Только не в науке, — вяло возразил я.

— Да твоя филология разве наука? — изумленно спросил Рулев. — И в настоящей науке работали именно те, кто отвергал ее прошлые принципы. Они были принципиальны в обыденной жизни, в отношениях между людьми. Но в поисках истины они были вовсе беспринципны, пока... не создавали новые принципы.

— Согласен.

— Но это все ерунда. Я вообще хотел узнать, как ты живешь.

Я промолчал. К немногим объективным моим достоинствам относится умение промолчать. Наверное, это наследственное, отец тоже умел молчать. Но я превзошел его: в тех местах, где отец вздыхал так, что позвонки становились видны под хлопчатобумажным его пиджаком, в этих местах я тоже молчал.

...Так началась моя странная дружба с Рулевым. Меня тянуло к нему. Я думаю, что без моего общества он обходился прекрасно, но, когда я к нему заходил, он всегда радостно говорил:

— О-о! Возьми Еще пришел. Ну, здравствуй! — он протягивал мне вялую узкую ладонь и обязательно говорил что-либо вроде: «Ну что, Возьми Еще, пойдем по бабам? Возьмем у вокзала шлюх — накрашенных, наглых, немытых. А?»

— Да брось ты! — смущался я.

— Не пойдем! Черт его знает, что там подхватишь.

И вообще все это ведет к половому бессилию. Давай по-свински нажремся водки. Теплой, противной.

— Ты же знаешь, нельзя мне, — защищался я.

— Правильно. Не будем травить печень и мозги. Мы лучше чайку выпьем и поговорим. Потом пройдемся по асфальту, подышим.

— Идет, — говорил я.

Мы пили чай, и Рулев, пройдя цикл своих дурацких шуточек, становился умным и милым хозяином. С ним было хорошо. Я любил его улыбку и острый городской ум. Дом свой он любовно называл фанзой.

А потом Рулев исчез. «Фанза» его на втором этаже стояла запертой, висел замок, и видно было, что Рулев сам приладил петли для замка и повесил это веское амбарное чудище. И на дверях чердака также висел замок. Я зашел раз, другой. Мне было грустно без Рулева, и я жалел, что ни разу не пригласил его к себе и адреса не дал. Может быть, он написал бы.

Наверное, теперь я знаю, почему я тосковал о Рулеве и почему меня тянуло к нему. Причина проста: меня инстинктивно тянуло к людям нестандартным, можно сказать, беспутным. Я вырос в готовом русле, в заготовленном, так сказать, желобе. Меня родили, затем мне был готов детский сад, затем школа и затем мне был готов институт. Так сказать, государство в своей заботе о моей персоне позаботилось и о том, чтобы начисто отбить у меня инстинкт борьбы, инстинкт личной инициативы. Если угодно, инстинкт драки за жизнь. Я понимаю, что государство мыслит категориями масс, а не личностей. Но то, что мне все было готово с пеленок, — благо ли это? И если это благо, то почему молодое поколение всегда мечтает и тоскует о временах, когда были вши, тиф и молодежь тех времен валилась под сабельными ударами, или от пуль, или была голодуха. И была жизнь! И не потому ли в моих детских снах я видел себя частью единого горячего стада и пространства ложились под наши копыта? Я пишу повесть, может, исповедь, а не публицистическую статью. И посему я опять должен перейти к анкете, ибо в этом пункте она странно сплелась с судьбой Рулева — человека, случайно встреченного мной на окраине парка Сокольники.

Анкета

Ваше место работы

Я младший научный сотрудник в научно-исследова-

тельском секторе одного из московских институтов. Специальность моя — филолог. Аспирантуру я закончил. Кандидатская диссертация, что говорят, на подходе. Название ее ввиду высокой научности употребленных в ней терминов лучше не называть. Смысл же ее в том, что я исследую диалектальные различия в местной речи давних русских поселенцев в устьях сибирских рек, а также влияние на их речь словаря местного коренного населения. К теме этой я пришел совершенно случайно. Для какой-то курсовой работы еще в институте мне потребовались архивные акты времен землепроходцев. Я натолкнулся там на свою собственную фамилию — Возмищев.

В 1668 году Возмищев Сидор привез якутскому воеводе Ивану Борятинскому донесение казачьего атамана Семена Дежнева с реки Оленек. Значит, служил с ним. На донесении рукой дьяка Сибирского приказа он назван «служивым человеком». Видимо, тогда же он привез от Дежнева отчет о сборе ясака, но писарская рука тут же назвала его Федором Возмищевым. Описка? Брат? В дальнейшем Федор Возмищев не встречается, а с Сидором я столкнулся через четырнадцать лет, когда он уже был пятидесятником и привез опять-таки якутскому воеводе Ивану Приклонскому донесение о гибели коча в устье Яны. Значит, был крепкий и надежный мужик, раз именно с ним отправляли донесения и отчеты, если дослужился до пятидесятника в те горячие времена, когда отряды землепроходцев уже докатывались до восточных пределов Азии, когда они форсировали последние великие сибирские реки — Яну, Индигирку, Колыму.

И я вдруг представил себе давнего своего предка, который был крепким отчаянным мужиком, который вламывался в дикие пространства Сибири. Смена эпох, поколений, столетий привела к тому, что я — его кровь, его продолжение в веках — есть очкарик, инвалид третьей группы, и единственная моя жизненная задача — как-то устроить свою судьбу: диплом, квартира, наверное, жена, место службы и тихая смерть и, может быть, фотография в траурной рамке на стене учреждения, где я буду служить. Она будет висеть неделю.

И, наверное, тогда впервые я вдруг понял, что люблю своего отца, уважаю его. Его худую, обтянутую пиджаком спину, его деревяшку, его костыль, его неистребимое молчание и умение вздыхать. Ибо отец мой честно нес свой крест простого человека, и он был именно честен, хотя в один из голодных годов воровал колбасу,

чтобы накормить меня. Да будет благословенна память отцов наших, ибо им было труднее, чем нам, во всяком случае труднее, чем моему поколению.

Я взялся за казаков-землепроходцев.

* * *

Заведующим кафедрой славянской филологии был Ка Эс. Так все его звали, по инициалам, и я, конечно, никак не мог протянуть параллель между его фамилией и фамилией знаменитых екатерининских вельмож, вошедшей во все школьные учебники. Лишь потом я узнал, что этот двухметровый толстый гигант — «натуральный граф», прямой потомок и так далее. При двухметровом росте и объемном животе Ка Эс носил обувь тридцать седьмого размера, и потому походка его была зыбкой, частой. Голос Ка Эс грохотал в древних стенах, и ему вторил смех — за ним ходила стайка хорошеньких лаборанток, старшекурсниц и просто поклонниц — штук пятнадцать девиц.

Ка Эс был неистощим на рассказы о «славном прошлом», когда он верхом на коне пробирался в глухие памирские кишлаки для переписи населения, о том, как он путешествовал в китайские пределы, в Кашгар — к русским староверам, переселившимся туда при Екатерине, о своих путешествиях по Северу в поисках русской речи, не испорченной влиянием времени.

Однажды в перерыве между лекциями я услышал за поворотом коридора писк и аханье девиц и зычный рев Ка Эс. Он сидел на стуле вахтера, вытянув толстые ноги в крохотных детских туфельках. Девицы молитвенной стайкой окружили его.

— Юноша! — закричал Ка Эс, увидев меня. — Подойдите. Этот сюжет никто не знает, кроме меня.

Я подошел.

— Расскажу, как я лично был знаком с Ага-ханом, — сказал Ка Эс и обвел взглядом слушательниц. Глаза у него были светлые, умные, с дымкой начавшегося склероза. Видно, в наших глазах он не узрел оживления при имени Ага-хана, никто не знал, кто это такой, потому что Ка Эс взъерошил седые кудри и с легкой досадой продолжал: — Ага-хан — глава церкви исмаилитов, живой бог. В то время резиденция его была в Индии. Люди из секты исмаилитов жили в Гималаях, Кашгаре, в нынешнем Пакистане и отчасти у нас на Памире. Ага-хан,

тогда это был жирный юноша лет двадцати, считался, да и сейчас считается, одним из богатейших людей на земле. Встретиться с ним, как с живым богом, окруженным толпой фанатиков и проходимцев, было практически невозможно...

Ка Эс снова взъерошил седые кудри, выпятил нижнюю челюсть. У него была полнокровная нижняя губа, губа пожившего в свою радость человека.

Девицы тихо вздыхали, они, наверное, думали об Ага-хане, двадцатилетнем толстом балбесе, самом богатом человеке в мире.

— Кстати, богатство Ага-хана заключалось в драгоценных камнях и золоте, преподнесенных ему поклонниками. Он благоразумно хранил их в Швейцарии.

Прозвенел звонок на лекцию. Девицы не шелохнулись.

— Перерыв для науки, — сказал Ка Эс. — Легкими ногами марш все на лекцию.

Девицы ушли. Ка Эс остался на вахтерском стуле, я — рядом.

— А вы что же, юноша? — брюзгливо спросил он. — Вы остались, чтобы поверить мне интимную тайну?

— Примерно, — сказал я.

Я рассказал ему о «своих» землепроходцах, о курсовой работе и о том, что хотел бы делать диплом.

Ка Эс вроде не слушал меня. Я смотрел на его красное набрякшее ухо, из которого торчал пучок седых волос, на вельможный обрюзгший профиль и внушал, чтобы идея моя дошла до него.

Ка Эс вздернул рукав пиджака. На мясистой ручище часы выглядели крохотными.

— Время обедать, — сердито сказал он. — Сопроводите старика, юноша.

Ресторан был рядом. Здесь Ка Эс знали. Он одышливо поднялся по лестнице, прошел в угол, и официант тут же принес графинчик водки, тонкий стакан и вопросительно посмотрел на меня.

— Я не пью, — сказал я.

— И не надо, — согласился Ка Эс. — Курить и пить надо начинать после пятидесяти. А не с пеленок, как это принято, — он фыркнул, — в наши безумные времена.

Ка Эс вылил водку в тонкий стакан и медленно выпил его. Целиком. И со смаком съел кусок хлеба, густо намазанный горчицей, посыпанный солью и слоем пер-

ца. Он готовил его любовно и бережно. Ел он быстро и жадно. Я ковырял свой бифштекс. Во время еды он молчал. И лишь когда ему принесли чай с лимоном, а мне кофе, он сказал:

— Не думаю, чтобы на этом материале вы перевернули славянскую филологию. Тема стара, можно сказать, избита. Но! Нельзя забывать о тех мужиках, что в семнадцатом веке проскочили Сибирь. Они несли в своих котомках культуру России. За их спиной был и Архангельск, и Новгород. Они шли как миссионеры русской земли, и души их были чисты и устремлены в неземное. Поставить русскую избу на азиатском пределе? Разве это не достойно мечты? Я вам помогу.

Уже гораздо позже я понял, что даже случайно оброненное обещание Ка Эс будет безукоризненно выполнено. Точно так же я узнал, что нельзя ни разу нарушить оброненное в присутствии Ка Эс свое обещание. Он ничего не забывал, и, если ты о чем-то забыл, он становился холоден и брюзглив.

Можно сказать, что Ка Эс научил меня жесткой науке — держать свое слово. Может быть, к этому его обязывало графское достоинство, а может, наша трепливая гуманитарная среда, где каждый ценил полет своей мысли в данный момент, но не ее продолжение.

* * *

На многих сибирских реках есть поселки с названием Кресты: Верхние Кресты, Средние Кресты, Нижние Кресты и так далее. Говорят, что названия эти произошли от обозначения давних казачьих переправ через реки. Место это обозначалось большим деревянным крестом. Вблизи тех Крестов, о которых я веду речь, было древнее поселение Пристанное. Название его говорит само за себя, и основали его землепроходцы лет за триста с лишним до того, как я очутился в Пристанном.

Это были два десятка деревянных домов на высоком берегу среди тальника. У воды лежали «ветки» — узкие, изящные, как перо, лодочки, по сравнению с которыми туристская байдарка кажется этаким незыблемым и надежным плотом.

Я проводил первую научную экспедицию «для сбора полевых материалов». Состояла экспедиция из меня самого. Снаряжением был репортерский магнитофон, который отказался работать на второй день, и еще я имел

записную книжку. Кроме того, я твердо знал, что делать мне здесь совершенно нечего. Все диалектальные различия, за которыми я якобы охотился, давно были записаны моими предшественниками — настоящими подвижниками науки. Так что изучать их лучше всего было в Ленинской библиотеке. Но я и не собирался их изучать. Неведомая сила пригнала меня в места, где, может, рубил первую избу мой давний предок Возмищев.

Во всем этом имелось Нечто. Великая река катила серые воды куда-то в туманный Север. Направо уходила тундра. Ты мог сидеть на крыльце, и бегущий мимо ездовой пес вдруг деловито сворачивал к тебе, совал нос в колени и, подышав недолго, выразив тем самым почтение к тебе — Человеку, так же деловито бежал дальше. Поселок днем казался пустым. Казалось, в нем жили лишь комары и собаки. Но вдруг из неизвестного зауголка пространства возникал кто-либо из Шкулевых, Никулиных или Гавриных — представителей древних потомственных здешних фамилий, — и жидкобородое, с явной примесью якутской или чукотской крови лицо его еще издали улыбалось тебе улыбкой человека, который желает тебе добра в прошедшей, будущей и, если угодно, загробной жизни.

— Чо, паря! Сидишь? — уточняет он очевидный факт.

— Сижу.

— Эх, головко́й, умственный народ на материке пошел. Я ведь иду мимо и вижу — сидишь. Поди, думаешь. Про себя вздохнул. Ты, думаю про себя, может, и не задумался в жизни ни разу. Максы налимьей поел, ухи похлебал, чаю попил — и живу, как вода, дальше.

Мы молчим, курим.

— Я вот чего подошел, — вдруг говорит мой собеседник. — Вижу — в книжку пишешь. Вспомнил я такой факт. Есть у нас Гавря Шкулев — старик уж, но крепкий. Его сейчас нет, неводит на Шалаевой тоне. Раньше у нас почет по числу собак был. Сколько держишь, столько тебе и почету. Собаку-то кормить надо? А кормить — надо рыбки добыть! Раз добываешь, собак много держать можешь, значит, ты из сто́ящих людей. Так у этого Гаври собак больше всех было. Уважали. И тут как раз стали у нас коллективизацию делать. Приехал представитель. Собрались. Возражение какое? В наших местах, на реке-то, ведь мы сто лет колхозом живем. Соседа не поддержишь зимой, а

на будущий год сам помирать будешь. Мало ли что, рыбий ход упустил или приболел. Одно слово, у нас тут давно колхоз, от предков. Уговаривать нас не надо. Но выступать надо. Кому? Гавре, конешно. Ну, он встал, покурил и говорит: «Ребят-т-та! Колхоз — дело очень хорошее, ребят-т-та. Вступать надо. Вы-то вступайте, а я подожду, ребят-т-та».

Собак ему, вишь ли, в коллектив сдавать жалко было. Кончил речь и сел. Вот ведь уж сколько лет прошло, а ему эту речь наши забыть не могут. Совсем старика засмеяли. Эх, река наша матушка!

И собеседник мой, сообщив эту странную повесть, уходит к своей «ветке», и лодчонка эта под взмахом невесомого весла удаляется в серую водную гладь, куда и на катере-то соваться страшно — Река, холод и эти пространства, которые как бы ежесекундно смотрят на тебя строгим, безжалостным и всевидящим взглядом.

Наверное, единственное «научное» заключение, которое я вывез из первой поездки в Пристанное, заключалось в сознании и вере в неистребимый и неподражаемый русский юмор. Если бы я собирался писать, я бы мог издать целую книгу неподражаемо лукавых рассказов о Гавре Шкулеве или о ком-нибудь из Никулиных.

...Когда я вернулся в Кресты и шел к аэропорту за билетом на самолет, я увидел кучку людей в полярных куртках. Что-то привлекло мое внимание в одном из них. Он стоял спиной ко мне, и я видел, как он держит в руках что-то невидимое, но большое и ценное и как бы бережно взвешивает в воздухе этот невидимый груз. Это был жест Рулева. «Свобода! — вспомнил я. — Свобода!» Я подошел и услышал рулевский голос: «Вы пижоны и вахлаки. Наши друзья имеют право на свои ошибки, если они наши друзья. Без ошибок нет друга. Но ведь есть же те, кто наши друзья». При слове «друзья» Рулев подержал в воздухе свой драгоценный груз.

Он посвежел. И в лице его как-то появилось больше мягкости.

— Филолог! — с радостным изумлением сказал он. — Юноша! Ты здесь зачем? Молчи! Знаю! Ты герой молодежной повести. Тебе надоел растленный город и ресторанный чад. Ты приехал испытать трудности в палатке или штормовке, поносить сапоги-рюкзаки и узнать, что смысл жизни в труде и борьбе. А, филолог?

Странно, но Рулев обнял меня, чмокнул в щеку и

так, обняв покровительственным жестом мои щуплые плечи, представил ребятам.

— Это пижончик с Преображенки. Зовут его Колька Возмищев. Это вот Вадик Глушин, мой босс в районной газете, последний идеалист государства. А это Андрей. Блестящее перо, аналитический ум, стальной характер.

Вадик Глушин и Андрей смотрели на меня дружелюбно и открыто. Они улыбались, и видно было, что эта троица любит друг друга. Вадик Глушин протер зачем-то очки и протянул мягкую руку. Без очков у него действительно были глаза безнадежного добряка. Андрей пожал мне руку твердо, да и взгляд у него был жестковатый.

— Ну что, филолог, — закричал Рулев. — Нажремся спиртища! Приобретем скотский облик и будем орать дикие песни на диком бреге Иртыша. А?

— Кончай блажить, — мягко сказал Вадик Глушин. Андрей же отвернулся. Видно, шуточки Рулева уже приелись ему. У меня вообще странный и безошибочный дар — чувствовать настроение людей, с которыми имею, как говорят, контакт.

— Правильно. Даже на диком бреге нельзя терять человеческий облик. Будем гордо нести человеческое достоинство по нехоженым местам и диким пустыням. Идем топить печь, пить чай и жарить рыбу. В Москве такой рыбы, по имени чир, ты не увидишь. Идем, филолог.

...Так я второй раз встретил Рулева. Оказалось: длинная история с тем, как он махнул в какую-то геологическую разведку на Территорию. Приобрел там легендарную славу рассказчика анекдотов, так что за ним гоняли вездеходы из других дальних разведок, и от работы на шурфах он был освобожден. Потом произошла неизвестная несправедливость с одним буровым мастером. Рулев послал статью в областную газету, и через неделю получил радиограмму с предложением стать литсотрудником в Крестах, в газете Вадика Глушина.

Я прожил у него три дня. Мне показалось, что в газете Рулева действительно любили и уважали. Может быть, за умение мгновенно разговорить любого самого застенчивого пастуха из тундры, может быть, за дар мгновенно подбирать точные и хлесткие заголовки. А может быть, он был прирожденным журналистом, но этого просто никто не знал до Вадика Глушина.

О молодежных повестях, где юный герой едет при-

ложить к романтике нежные ручки, я думаю примерно то же, что говорил на аэродроме Рулев. Я далек от идеализации дальних мест. Но все же я заметил, что в дальних местах лица людей чище, открытее и, если угодно, проще. Мне нравилось быть в газете Вадика Глушина, где в немыслимом дыму стучала машинка, Вадик вонзал авторучку в куртку какого-нибудь очередного посетителя в болотных сапогах, и метранпаж — седой, сутулый старик — заходил и говорил как-то к месту: «Ну! Все орете, слонята? Ну-ну» — и уходил.

Я застрял в Крестах. Иногда мы с Рулевым выходили гулять. Оранжевое дымное солнце пылало над равнинным берегом под названием Низина. Берег под названием Камень тонул в синих тенях.

Мощно и ровно гудели прогреваемые моторы самолетов. В их гуле я чувствовал твердую уверенность в том, что ты живешь, и что есть человеческий разум, и вообще в мире есть твердые истины. Изредка по реке в ровном стуке мотора проходил катер с баржой на буксире и удалялся медленно, но неотвратимо. Ездовые псы приветствовали нас взмахами хвостов. И окна домишек, ставни которых были обиты оленьим мехом, отсвечивали в закате какой-то простой истиной несложного бытия. Было хорошо жить. На берегу, где валялись списанные и вытащенные на слом катера и баржи, или просто у каких-то странных хибарок иногда встречались нам группы по двое-трое парней в телогрейках, с черными лицами и глазами либо красными, либо пустыми. Их позы были вольны и вызывающи. Возле почти всегда валялись флаконы одеколона, «Лесной воды» или бутылки из-под вина. Это были ребята, которые рвались к вольной жизни приисков и геологических разведок Территории, где был полновесный труд, но и полновесный рубль и где твое бытие ценилось не анкетой, а умением держать в руках лом, топор, баранку грузовика или рычаги трактора. Кресты были последним «вольным аэродромом», ибо для въезда на Территорию уже требовался пропуск. И они ждали сердобольного вертолетчика, лихого снабженца или начальника, которому срочно требуется кадр, анкета которого никуда не годится, но который умеет работать и умеет не ныть, если вдруг прижмет экспедиционная или снабженческая беда.

Рулев частенько оставлял меня в стороне и подходил к ним. Почти все бичи его знали, и они протягивали ему вялые от перерыва в труде ладони. Потом Рулев

возвращался ко мне, и я видел его горько опущенные углы рта и наморщенный лоб.

Иногда он говорил:

— Бич — слово морское. Но заметил ли ты, филолог, что оно вошло уже давно в сухопутный язык?

Или:

— Странно, что бичи концентрируются у морских портов или в поселках вроде нашего. Словом, бич существует как бы на границе жилого места и стихии. Ты можешь представить себе бича на улице Горького? Не тунеядца, а именно бича?

Или:

— Алкоголизм — болезнь, или порок, или то и другое вместе. Пьяных презирали во все века все народы. Но пьяный трезвеет — и тогда он человек. А об этом забывают. Что надобно государству? Ему нужен точный и трезвый рабочий кадр. Половина из этих ребят имеет на руках две-три дефицитные специальности. Половина из них ювелиры в своей работе. Понял? Когда трезвы. Понял? Но не было еще случая, когда палкой можно было заставить человека быть человеком, а не скотом. Под палкой он может лишь спрятать в себе скота.

Странные были эти слова, ибо, как я уже объяснял, проблемы алкоголизма были далеки от моего быта, мыслей и образа жизни.

Анкета

Семейное положение

Я женат. Жену мою зовут Лида. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что была в нашей женитьбе неопровержимая логика, неумолимый ход шестерен. События эти двигались чугунным напором крохотного роста девушки (или молодой женщины). У девушки (или молодой женщины) были русые волосы, серые (а может, голубые) глаза и круглые деревенские щечки. Думаю, что это ее ужасно мучило — нос и щечки, потому что они не желали приобретать нужный городской облик. Ее безусловно можно было назвать хорошенькой, потому что крохотный рост вызывает некую покровительственную нежность, как к ребенку. Хорошо слепленная фигурка, где грудь, талия, бедра — все на месте, все пропорционально. Это и была Лида.

Неотвратимость событий заключалась еще и в том, что я жил в отдельной квартире, — редкость все-таки по тем временам. Рано или поздно у меня должна была

начать собираться компания. Это могли быть танцульки под магнитофон, выпивка или компания с девчонками и пугливым развратом на кухне или в ванной. Всякое могло быть. Но первым о моей комнате узнало и, так сказать, абонировало ее окружение Боба Горбачева, который был гений. Боб Горбачев когда-то учился в нашем институте, потом узнал, что он гений, и стал художником.

Я не знаю, где сейчас Боб Горбачев, и не знаю меру его гениальности. Об этом узнают или не узнают потомки. Во всяком случае, я от души желаю ему добра. Внешние признаки гениальности в нем были: длинный худой малый, которому абсолютно наплевать на одежду. Он не носил свитеров непомерной длины, джинсов — все, что ему полагалось бы по роду занятий. Он носил хлопчатобумажные брюки, стоптанные туфли с резинкой и ковбойку, всегда туго заправленную в штаны, плоский его живот перетягивал ремешок. Лучше всего у Боба Горбачева были руки — длинные, с прекрасными длинными пальцами. Руки жили как бы отдельно и говорили лучше, чем Боб Горбачев.

Словами же он говорил редко. А когда говорил, то речь его состояла из трех компонентов: Сальвадор Дали, Поллок и слово «дерьмо». Чаще всего он молчал, уничтожая в методической последовательности кофе и сигареты, сигареты и кофе. Но чаще всего молчал.

Кричало окружение Боба Горбачева. У каждого был свой собственный кумир, собственный божок — Фет, Анненский, Вийон и еще какие-то имена, которые я не запомнил, ибо больше никогда их не слыхал и не читал. Каждый цитировал своего.

Лида появилась вечер на третий. Она так же молчала и так же молча курила. В нашем институте она не училась. Я заметил, что она рассматривает всех с какой-то сугубо материальной заинтересованностью. Рассмотрев одного человека, она стряхивала пепел с сигареты, и твердый ее подбородочек выдвигался вперед в легкой брезгливой гримасе. Курила она очень аккуратно, захватывая губами лишь самый кончик сигареты. Я заметил, что взгляд ее чаще и чаще останавливался на мне. А выкидывая после ухода гостей пепельницу, я всегда узнавал ее окурки — они были аккуратны и свежи, насколько может быть свежим окурок.

В один из таких вечеров Лида осталась, когда все разошлись.

— Я тебе помогу прибраться, — сказала она.

Но прибирался я один. Лида сидела все в том же углу, все так же курила, и подбородочек ее выдвигался в каком-то принятом решении. Когда я вымыл, подмел, проветрил, она сказала:

— Я, пожалуй, останусь у тебя ночевать. Только без этих штучек, пожалуйста.

Я постелил ей на диване, себе на полу. Я лежал, отвернувшись к стене, слушал, как шуршит белье, щелкают кнопки, и голова шла кругом: я не был близок еще ни с одной женщиной.

Щелкнула зажигалка.

— Можешь повернуться, — сказала Лида.

Она лежала, укрывшись до подбородка одеялом. Я выключил торшер.

— Ты что обо мне знаешь? — спросила в темноте Лида.

— Кроме имени, ничего, — сказал я. Это было правдой.

— Я учусь в театральном. Заканчиваю.

— Актриса, что ли? — изумился я.

— При моих данных? — усмехнулась Лида. — Я буду театроведом.

— А-а?

— Я выросла на Алтае, окончила исторический факультет в Иркутске и теперь вот кончаю театральный.

— Конкурс был, наверное, страшный.

— Я поступила без конкурса. Нам дали одно место. Отец мне его добыл.

— А-а.

— У меня есть московская прописка. Теперь ты знаешь обо мне все. Еще запомни, что я своего добьюсь.

— Чего именно?

— Потом узнаешь. Но я добьюсь. — Мне показалось, что голос ее дрогнул.

— Ты замужем?

— Нет.

— А прописка?

— Простой нормальный фиктивный брак.

— А-а. — Все это выходило за понятную мне сферу явлений, и я как-то терялся.

— Давай спать, — сказала Лида.

На другой день она пришла с чемоданчиком. «Я решила пожить у тебя. Мне диплом надо писать».

В эту ночь мы с ней стали близки. А через неделю отнесли заявление в загс.

Близость с женщиной разочаровала меня. Я ждал гораздо большего. Наверное, мои эмоции были в другой области. Но жили мы нормально. Я вел хозяйство, Лида писала диплом и еще стирала. Она была очень брезглива и не могла отдавать белье в прачечную.

...О, тайные изгибы материнской души! Моя мать родила меня в муках, как миллиарды миллиардов матерей. Но, доведя меня до хныкающего комка мяса, до состояния осмысленного, она бросила меня (с сожалением или нет?), как немногие из матерей. За какими миражами или реальными категориями счастья (благополучия?) гналась она, от каких мнимых реальных страхов, опасностей и тягот бежала? Что нашла и от чего отказалась, что потеряла, вырастив свою плоть в отдалении от себя? Она жила своей жизнью, я понимаю. Я многое понимаю. Я был каким-то компонентом ее дней, которые невозможно совсем выбросить, забыть.

Но почему, когда рядом со мной появилась другая женщина, чужая женщина рядом с ее чужим сыном, она сразу возненавидела ее активно и прочно?

Я женился, не уведомив ее. Но сказать-то требовалось. Она примчалась в тот же вечер как встревоженная (и пожилая) птица. Они с Лидой сидели друг против друга, и на материнском, как всегда точно из косметического салона, лице все резче выступали морщины, и мне чудилось, что черные блестящие волосы ее седеют и теряют парикмахерскую ухоженность, а подбородочек Лиды все выдвигался, и в комнате рушились торосы, гудели пурги. Арктический мороз был в комнате, и среди этого мороза неприкаянно мотался я — тоже сокровище, которое не могут поделить эти две женщины.

Я пошел на кухню, чтобы поставить чайник. Кран завыл дурным голосом, крышка чайника упала на пол, и вдруг я подумал (эх, не душа, а пустыня, выжженная напалмом), что в сущности обе они, там, в комнате, мне чужие. И еще я подумал: «Бабы!» И даже что-то этакое мужское шевельнулось в моей душе: галифе, сапоги, подрагивающая походка самца. О, боже!

— Проводи меня, — сказала мать.

Я пошел.

— Заходить к тебе я не буду. Звони мне на работу в конце каждого месяца. Приходи за деньгами, — сказала на улице мать.

— Хорошо, — согласился я.

— А с этой... ты долго не проживешь, — сказала мать.

— Ну почему? — возразил я.

— Физдипит много, — сказала мать, и голос ее был груб, и в нем не имелось жалости.

— Слова какие. В ресторане, что ли, так говорят?

— Я в закрытой точке работаю, — обиделась мать. — Сквозь нее этих физдипиточек много проходит.

— Да брось ты, — вяло сказал я.

Я еще не знал тогда, что столь активная ненависть матери еще сослужит мне службу. Да что мы вообще-то можем знать наперед?

Я шел от метро «Преображенская» обратно. Была зима. Падал снег. Светили фонари. Узкие переулки Преображенки были уютны. Шумели трамваи. Падал и падал снег. В снеге этом была какая-то высветленность, ясная насмешка над суетой нашего бытия — женитьбы, жилье, прописки, фиктивные браки, закрытые точки, физдипиточки...

О, боже! И что впереди, что впереди? Рождаемся как бессмысленные комки плоти и живем, живем, не зная даже, что ждет нас за ближайшим углом, и наша единственная и неповторимая уходит на что? Ну оглянитесь, прохожие, — на что уходит наша единственная неповторимая? Сколько в нашей жизни звездных минут — когда мы знаем миг безошибочной истины? А ведь каждая минута наша, каждая секунда неповторима. Судьба обращается с нами, как циничный анекдотчик, и даже костер, на который взошел Джордано Бруно, для нас не горит. А может, надо знать, что каждый Бруно сам находит свой собственный костер и никто за тебя, дорогой товарищ, его не подготовит для тебя? И ты сгниешь без свету, памяти, пламени. Выйди в ночной нормальный снегопад декабря, на улицы нормального города. Вернись в свой дом и посмотри на жилье, на приобретенные ценности другими глазами.

Где твой костер? Кто ты?

И — мелкое, гадко-радостное предвидение пользы от того, что твоя мать возненавидела твою жену. Тление обыденки.

* * *

Я вернулся из своей первой научной экспедиции в институт и, конечно, сразу пошел к Ка Эс. В конце концов именно он был моим научным руководителем и именно он оставил меня в НИСе — научно-исследовательском секторе. Был час занятий, в коридорах пусто. Лишь запах сигарет и запах схлынувшей толчеи. Я издали увидел, что дверь в кабинет Ка Эс приоткрыта, там горел свет, и я вздохнул с облегчением. Поймать Ка Эс для душевной беседы, то есть с глазу на глаз, было затруднительно.

Ка Эс сидел за столом и читал. Читал он странно — вздернув очки на лоб и далеко откинув массивную голову. Горела настольная лампа — в этом крыле институтского здания всегда было темно.

— Рыбу привезли? — спросил Ка Эс, едва я приоткрыл дверь и ступил на порог.

— Какую рыбу? — ошалело спросил я.

— Садитесь, Возмищев. — Ка Эс положил книгу на стол и подождал, пока я усядусь. Он смотрел на меня, и глаза его были как две тусклые голубоватые лампочки, затянутые паутиной склеротических жилок. Эти лампочки слабо светили в обширном подвале мудрости и житейского опыта Ка Эс.

— Вы приехали из краев, где есть лучшая в мире рыба. Осенний вяленый чир, осенний омуль слабого семужного посола. — Ка Эс пожевал губами. — Я, знаете, едал в Париже, едал в былые времена и в Москве. Лучшей рыбы, чем в тех местах, где вы были, не было и не может быть. А вы не могли доставить удовольствие старику.

— Я хочу еще поехать туда, — сказал я. — Знаете...

— Скажи-и-и-те на ми-ло-ость. — Ка Эс водрузил очки. — В вас что же, полярные инстинкты проснулись? Или инстинкт исследователя?

— Нет, — честно сказал я. — Но там что-то есть. В местности, в людях. А что — я понять не успел. — Я даже пощелкал для убедительности пальцами.

Ка Эс покачался в кресле. Массивная седая голова его колыхалась в тени лампы, как белый шар. Светили корешки книг. Пахло книгами и, как ни странно, табаком, хотя Ка Эс не курил и запрещал курить при нем. Бывает так, мгновенно проскочит длинная и объемная мысль, и в какой-то краткий миг я успел подумать об удивительной жизни этого старика, потомка аристо-

кратов, который уцелел, прошел сквозь гражданскую, не эмигрировал и сумел занять себе место в новом государстве, место и образ жизни, к которому он привык. Рассказывал ли он это? Я охватил взглядом книги, новых книг Ка Эс не терпел, и большинство из них были старыми — на английском, французском и еще черт его знает на каких языках. Ка Эс пробормотал фразу на фарси, это я угадал, потом еще на каком-то, затем на английском. По-английски я уловил лишь одно слово... Он снова в упор посмотрел на меня, и опять две тусклых голубоватых лампочки горели в обширном подвале каэсовских знаний. Я молчал.

— Я сказал одну и ту же поговорку на трех языках. Вы поняли?

— А по-русски можно? — попросил я.

— Вот, — назидательно поднял палец Ка Эс. — Вы, Возмищев, имеете высшее образование. Гуманитарное. Знаете ли вы хоть один язык? Пишете, читаете со словарем, так, кажется, по анкете? Вам, как говорится, открыты все дороги. Какую же дорогу выбираете? Не вы лично, ваше поколение и ваши сверстники. Вы стремитесь читать Диккенса в подлиннике? Шекспира? Монтеня? Вы стремитесь успеть, ухватить, проскочить, пролезть, дьявол вас побери. В аспирантуру, в кандидаты наук, в удобную квартиру. На русском хотя бы вы Диккенса читали?

— Я Монтеня люблю, — признался я. — И Диккенса я читал. Не все, конечно.

— Поверьте старцу, — со вздохом сказал Ка Эс. — Ценно лишь знание, все остальное не стоит затрат. Ценно умение. Хороший столяр ценнее плохого доктора наук. А вы... В следующую экспедицию вы поедете, конечно. Чем черт не шутит, и вдруг Возмищева озарит. Я же...

Но тут раздался стук каблучков, торопливое дыхание, смех, и в кабинет Ка Эс впорхнули студентки. Они окружили, затормошили, защебетали, все сразу, все вдруг. Ка Эс вздыбил свою гриву, заулыбался, глаза его увлажнились, я понял, что я тут уж совсем ни к чему, и встал. Одна из студенток перевернула книгу, которую читал Ка Эс. Выходя из кабинета, я успел заметить, что читал он Агату Кристи. На русском.

«Старый балбес», — с неожиданной злостью подумал я о своем благодетеле. Я знал, что злость пройдет, и думал, кому бы послать телеграмму, чтобы прислали эту проклятую знаменитую рыбу. Эх, взятки борзыми щенками! Мать моя работала в закрытой, видно

привилегированной, точке. Там, видно, не простые смертные жуют антрекоты. Не работяги. Значит, можно черта жареного достать. Но я чувствовал, что Ка Эс не обманешь, не проведешь. У меня чутье на людей, я знаю. Нужен подлинник, нужна рыба с низовьев сибирских рек, сделанная безвестными мастерами засолки и копчения. Не перевод, не пересказ, подлинник нужен. «Рулева попрошу, кого же еще, напишу, поймет ситуацию. Конечно, Рулева!»

Письмо я ему написал в тот же вечер и выслал на адрес газеты. Хорошее было название у газеты Вадика Глушина — «Полярная звезда». Приятно было надписывать адрес.

...Я стал ходить на службу, пытался как-то оформить летние записные книжки, заполненные моим сумбурным почерком. И как-то вечером, проезжая станцию «Комсомольская», когда волна пригородных пассажиров валом, как прорвавшаяся плотина, заполнила вестибюль, и все спешили, и каждый четко знал свою цель, минуту отхода электрички, время подъема по эскалатору, время, чтобы схватить «Вечерку», — все было рассчитано по секундам, я вдруг вспомнил закат над тундрой, красную от заката равнину воды и моторку, летевшую в шальном реве спаренных подвесных двигателей.

— Э-эх! — сказал тогда сидевший рядом со мной поречанин. — Ку-да-а летишь, куда-а-а стремищща? Ведь за рыбой? За ней. А рыба-то тихо плавает, не торопясь. Да-а!

Запах папирос «Байкал», травы, рыбы, воды, закаты, дождики и неспешные разговоры вошли вдруг мне в душу сразу все целиком. Кто-то толкнул меня: «Заснул, что ли?» Но я не обиделся. Я улыбнулся в спину обидчика. Я, Возмищев, выдерну себя из суеты. Лучше встать на час раньше, но побриться без спешки и без спешки идти на работу, лучше... среди всеобщего грохота и суеты надеть на себя стеклянный футляр тишины и неторопливости.

Так я решил.

Но ровно через неделю в нашу с Лидой жизнь вошло слово «кооператив», «квартира», и появился человек по имени Боря.

Анкета

Ваше постоянное место жительства. Адрес. Телефон

Собственно говоря, Боря появился раньше, где-то в промежутке между временем Боба Горбачева и временем

нашей с Лидой женитьбы. Он появился незаметно и вел себя незаметно. Усаживался в углу и внимательно помаргивал глазами, слушал. Предлагали выпить — выпивал. Предлагали кофе — пил и кофе и всегда говорил «спасибо». Думаю, что любимым напитком Бори было пиво. Об этом говорил и ранний животик, и особая налитость, даже, можно сказать, свежесть щек, которая бывает у молодых мужчин, очень любящих пиво. Если ты встречался с ним взглядом, Боря всегда улыбался: «Старик, я все понимаю. Все это туфта, старик. Но ты хороший парень и вот увидишь — Боря тоже хороший парень, убедишься». Так можно было истолковать его улыбку. Чувствовалось, что Боря рангом ниже всей компании, не интеллектуален, нет. Но видно было, что Боря имеет и свои достоинства, иначе Лида не привела бы его. А привела его она, это теперь я хорошо понимаю. Одевался Боря всегда точно. Если джинсы, так замшевая курточка, и полосатая модная рубашка, и замшевые туфли. Если уж костюм... Одежда на нем сидела неловко, нельзя носить джинсы при Борином заде и животике, он, чувствовалось, сам это понимал. И в улыбке его можно было прочесть: «Старик, я сам понимаю: грош цена этому барахлу и мне на него... с высокой башни. Но так принято, старик, зачем выделяться?»

Загадочный хозяин комнаты, где мы жили, объявился. На пятый год. Пришла открытка: «Возвращаюсь в Москву, прошу освободить комнату к 1 февраля». И неразборчивая подпись.

Был конец ноября. Лида с утра куда-то ушла, я сидел (библиотечный день), курил и думал, как теперь быть. За окном было мокро, шел мокрый снег, тут же таял, леденел — черт-те что. Люди шли по тротуарам, как канатоходцы, ветер вздувал полы пальто.

Щелкнул замок.

— Входи, входи, — сказала Лида. И вошел Боря. Он поздоровался со мной за руку, поставил на пол портфель, снял пальто и сел, поставив свой стул точно против моего стула. Боря улыбался, от ветра щеки его зарумянились, и на меня вдруг пахнуло покоем: как-нибудь все уладится.

Лида ушла на кухню, гремела там посудой. Вышла с двумя чашками кофе и поставила на стол.

— Нет уж. Это не для меня, — сказал Боря и вдруг засмеялся неизвестно чему. — Лидок, принеси какую-нибудь кружку.

Он открыл портфель, вынул бутылку чешского пива и ловко карманным ключом сковырнул пробку. Пробка звякнула на пол.

— Ничего, я подниму, — сказала Лида и поставила перед Борей фужер.

Боря залпом выпил первый фужер пива, залпом выпил второй и вылил остатки. Закурил. Лида стояла сбоку от меня, спиной к окну. Она тоже закурила.

— Как я понимаю, нужна немедленно кооперативная фанза о двух комнатах, — сказал Боря и стряхнул пепел в мое кофейное блюдце. Он выжидательно смотрел на меня. И Лида смотрела.

— Нужна, — сказал я. — Где ее взять?

— Раз так, — Боря хлопнул меня по коленке, — нон проблемас, как говорят в Мексике. Тысяча сверху. И вся забота моя.

— Это очень недорого, — сказала Лида.

Боря вынул вторую бутылку пива. Пробка не открывалась, и Боря деловито возился с нею.

— Где ее взять? — сказал я. — За кооператив ведь тоже надо платить. А мои доходы...

— Возьми у своей матери, — сказала Лида. — У нее есть.

Боря всецело погрузился в возню с пробкой.

— Как же я возьму? Да она и не даст, — пробормотал я.

Лида молчала. Я посмотрел на нее. Она держала сигарету между пальцами, и я видел, что рука ее мелко дрожит. От этого и дым поднимался вверх такой интересной спиралькой. Лида смотрела на меня, я смотрел на эту дрожащую руку, и, не зная почему, мне вдруг стало жаль эту руку и Лиду, которая уставала на работе. Она работала каким-то клерком, делопроизводителем в Министерстве культуры, работы по профессии в Москве не нашлось. И как она злилась на эти бумаги. Иногда она останавливалась посреди комнаты и бормотала: «Я своего добьюсь, я своего добьюсь, я своего...» Я многое вспомнил и поэтому сам для себя неожиданно сказал:

— Я попробую.

Пробка открылась, забулькало пиво.

— Нон проблемас, — сказал весело Боря. — За деньгами я зайду послезавтра. За тысячей. Она ведь, сам понимаешь, старик, не мне.

— Боря на этом ни рубля не берет. И то, что так дешево, скажи спасибо ему, — добавила Лида.

— Для друзей. Только так, — сказал Боря. — Я на этом теряю, ибо буду должен своим друзьям, которые все устроят. Но для Лиды.

Он допил пиво.

Я чувствовал, что должен что-то возразить, поставить условие, я же мужчина, хозяин дома, и деньги, черт побери, мои.

— Но только в этом районе, — сказал я. — Я здесь привык.

— Разумно, старик, — сказал Боря. — Это за городом и в центре города. Тишина. Парк рядом. Этот район еще просто не все раскусили. Договорились, старик. На твоей улице не обещаю. Но поблизости будешь. Нон проблемас.

...Ночью я спросил Лиду:

— А что ты имеешь в виду, когда говоришь вот так: «Я своего добьюсь, я своего добьюсь». Чего ты должна добиться?

Лида молчала. Я слышал лишь ее короткое дыхание и видел огонек сигареты. По окнам проползал свет от автомобильных фар. Кто-то орал в трубку телефона-автомата под окном: «Тоня, ты меня слышишь. Тоня! А, черт побери!» Звякнул автомат, хлопнула дверь. Торопливые шаги.

— Я не для того кончала два института, чтобы подшивать бумажки в министерстве. Я должна быть завлитом в театре. И буду.

— Завлит — это что? Вроде режиссера?

— Это человек, который первым читает поступившие пьесы. И от него зависит...

— Поставят или не поставят? — перебил я.

— Нет. Поступит пьеса наверх или не поступит. Не всегда. Но очень часто. Завлит также работает с авторами пьес, — голос у Лиды был ровный. А она всегда злилась, когда я задавал глупые, по ее мнению, вопросы.

— Ну, а если...

— Поговорим завтра. Я выпила две таблетки снотворного, — сказала Лида. — Я сплю.

Она задышала ровно и глубоко. Но огонек сигареты светился.

Матери я позвонил на другой день с работы. Мы договорились встретиться на проспекте Мира у кафе «Юность». Для этого пришлось на полчаса раньше уйти с работы. Я ждал мать недолго. Сквозь стекло в кафе я видел официанток, которые судачили, подперев локтя-

ми могучие груди. Был пустой час, когда народ еще не пошел по кафе, а дневная суета кончилась. Мать была в темном пальто с воротником из норки и вязаной шапочке. Я почти с гордостью оценил, что она одета лучше, гораздо более со вкусом, чем все проходившие мимо женщины. Даже девушки. И лицо ее было не старше, чем в прошлый раз, даже свежее. Лишь морщины у глаз стали глубже и резче, и темный бабкин пламень в них вроде бы полыхал сильнее.

Я рассказал, в чем дело. Мать взяла меня под руку. Мы медленно шли по направлению к Выставке.

— А он не жулик? — спросила мать.

— Лида говорит, нет. Она говорит, что это ее старый знакомый.

— Я дам деньги, — сказала мать. — Взамен ты сделаешь следующее. Ты дашь расписку о том, что полностью отказываешься от прав на отцовский дом в мою пользу.

— Там же отец! — с изумлением сказал я. — Бабка! Зачем он тебе?

— Отец твой скоро умрет. Бабка, может быть, еще раньше.

— Ну я тебе так просто его отдам. Мне он не нужен.

Мать подняла голову. Взгляд ее был короткий и какой-то жалостливый. Она жалела меня.

— Ты же ученый, — сказала мать. — Институт кончил. Тебе известно, что был такой царь Соломон. Он носил золотое кольцо с надписью: «Все проходит».

— Это не о том надпись, — сказал я.

— О том! Все проходит. Любовь, жалость. Благодарность. Благодарность проходит быстрее всего. Поэтому лучше расписку.

— Дом-то тебе зачем?

— Дачу устрою, — коротко и зло сказала мать. — Тысячу я занесу завтра утром. И чтобы этой... твоей... не было дома. Я с ней говорить не хочу.

— Ладно, — сказал я. — Расписку когда оформим, сейчас?

— Сейчас я пойду, — сказала мать. — Поймаю такси и поеду. Не провожай.

...Дома меня ждала посылка Рулева. От посылки шел знакомый запах слегка подкопченного чира. На почтовом квитке «для письма» рукой Рулева было написано: «Растешь, юноша. Мужаешь. Но все-таки помни, что я у тебя есть».

Утром мать принесла деньги. Вечером явился Боря. Теперь, когда он был в своей сфере, молчаливость и застенчивость у него исчезли. Боря шумно хлопнул дверью и, не раздеваясь, прошел к дивану. Он сел, положил руки на колени и начал смеяться. Он мотал головой, животик его подрагивал, и короткие пальцы весело барабанили по коленям.

— Посадили, — отдышавшись, сказал Боря. — Сашку позавчера посадили.

— Как посадили? — спросила Лида. — Сашка, который в очках?

— Ну как? Обычно! Пришел майор Пронин и сказал: «Пройдемте».

— Что же ты веселишься?

— Сгорел Сашка, — сказал своим коленям Боря. — Коньяк любил. Армянский. Баб любил. Тощеньких. Чтобы вместо ягодиц два теннисных мячика, и в них спички воткнули вместо ног. Обожал таких мымр. Сгорел Сашка.

— Прекрати! — сказала Лида.

— Ты прекрати, — отмахнулся Боря. — Если бы я твои деньги ему позавчера отдал. А? То-то!

— А ты, ты не замешан? Тебя не арестуют?

— Не-е, — сказал Боря. Веселость его прошла, и он как-то отяжелел. — Я, Лидок, свои полтора года отбыл и больше не хочу. Я со всех сторон всегда чистый.

— А как с кооперативом?

— Дураки вы, что ли? Я же говорю: сгорел Сашка.

— Но может быть...

— Нон проблемас. Но в другом районе. На окраине прекрасной столицы. И еще тысячу сверху.

— Зачем еще тысяча? — тоскливо спросил я.

— Потому что другой район. Потому что там не Сашка, а другой человек.

— Пятьсот я достану, — быстро сказала Лида.

— Не буду я больше просить у матери, — сказал я.

— Ваше дело, бобики. Решайте, — Боря вздохнул и расстегнул пальто.

И вдруг я вспомнил приписку Рулева: «Помни, что я у тебя есть».

— Есть шанс, — сказал я. — Пожалуй, пойду и прямо сейчас дам телеграмму.

...К февралю мы въехали в двухкомнатную квартиру, похожую на тысячи других квартир, в доме, похожем на

тысячи других домов. Это был новый район Москвы. Здесь было тихо, и воздух был как в пригороде. Въехали — не то слово. Вошли. Все наше имущество уместилось в трех чемоданах. В двух была одежда и белье, в одном книги. Из моих книг были два тома Монтеня — «Опыты». Я купил их случайно. Мне нравилось слово «Опыты», нравилась биография Монтеня.

Я перестану писать о квартире, потому что теперь все взяла на себя Лида. Я был отстранен и только рад был этому. Осталась лишь клятва, что я верну матери деньги, несмотря на расписку о доме, которую я дал взамен. Осталось еще что-то. Не знаю что. Чистоплюйство, в общем.

Читайте Монтеня, «Опыты». У вас ведь были свои опыты, приятель. А?

* * *

В марте у меня был отпуск. Я решил поехать к отцу. Отношение в нашем НИСе ко мне как-то изменилось. Не знаю, какими путями, но все знали, что я вступил в кооператив, и оказалось, что я как бы попал в некий клан заговорщиков, в какую-то секту. Со мной говорили о высоте потолков, о разделенных и, напротив, совмещенных санузлах, смежных комнатах и комнатах с отдельным входом. Я отмалчивался, отшучивался и говорил, что все это жена моя — Лида, я тут ни при чем. Но все как бы не замечали моих возражений. Я был член сообщества, и членским билетом был ордер ЖСК. Как раз перед самым отпуском мне сказали: «Небось по уши в долгах, Возмищев? Есть работенка. Оплачивается хорошо. И для тебя».

Выяснилось, что весьма именитый ученый написал труд «Поговорка и прибаутка как жанр народного словесного искусства». Я должен был сделать ему подборку народов Сибири. По литературным источникам, разумеется. За это он давал мне прямо в руки пятьсот рублей.

— Шестьсот, — сказал я.

Почему шестьсот? Потому что Лида сказала: «Чтобы не жить на раскладушках и не есть на полу, нам надо вначале шестьсот рублей».

Сделка была заключена, и весь отпуск я просидел в Ленинской библиотеке. Три последних дня я сидел там от открытия до закрытия. Почему? Потому что моим

предком был упрямый казак Возмищев и я решил повидать отца.

...Отец не постарел, только стал еще суше, и голова его как-то стала сползать вниз. Если раньше спина его напоминала обтянутую пиджаком жердь, то теперь это была как бы жердь с надломленным кончиком.

Дом наш был мал, темен, и я лишь по запахам узнавал его. Улица тонула в весенней грязи. Бабки не было. Она уехала к своим родственникам в соседней станице.

— Помирать, — объяснил отец. — Она ведь тут для тебя жила. Ты побывай.

Говорить нам с отцом было не о чем. Поставить на стол бутылку мы не могли, потому что я не пью.

— Жалко, бабку не повидаю, — сказал я. — Мне завтра уезжать.

— Может быть, задержишься? — вздохнул отец.

— Мне на работу. Отпуск кончился.

— Работу нельзя пропускать, — сказал отец. — Это правильно.

Ночью я слышал, как отец вздыхает и ворочается на кровати. Я встал и пошел к нему. Он лежал под одеялом, глаза его были открыты.

— Плюнь ты на все это, отец, — сказал я. — У меня двухкомнатная квартира в Москве. Будешь жить с нами.

Отец вздохнул долго и тяжко.

— Уезжать мне нельзя. Дом. Бабка. Потом как тут без меня. Народ стал жить хорошо. За моей колбасой на машинах за сто километров приезжают.

— Ну, передай рецепт, обучи кого-нибудь.

— Там будет видно, — сказал отец и повернулся набок. Культяпка ноги на миг высунулась из-под одеяла. Отец лежал на боку, глаза его были открыты, и теперь по шее, по запавшим в седой щетине щекам я видел, что он постарел сильно.

Я сидел.

— Ты не переживай, — сказал отец. — Я ведь не одинокий. Всю жизнь тут. У меня, считай, весь город — знакомые. Заболел или что — за день десять человек народу зайдет.

Отец улыбнулся. Вот что-что, а улыбки его я не помнил. Это была не улыбка. а как бы тень от нее, намек на улыбку, но от этого лицо отца сильно менялось.

— Правда или нет? — спросил он. — В городе у

вас, в домах, живешь год, два, а соседа по лестничной площадке и фамилию не знаешь?

— Правда, — сказал я.

Отец вздохнул. Я продолжал сидеть. Я думал о том, что план мой перевезти его в Москву, мягко выражаясь, нереален. Как они уживутся с Лидой? Как вообще он примет город, где не знают фамилию соседа по лестничной площадке? Это будет похоже на то, как Арсеньев привез гольда Дерсу Узала в Хабаровск.

— Помру я скоро, — сказал отец.

— Да брось ты, — торопливо возразил я.

— Это я тебе сообщаю. Не для того, чтобы ты меня жалел, ты тоже помрешь. Просто сообщаю как сыну, что скоро помру.

— Да брось ты, — повторил я.

— Ты не переживай. Я не маршал и не министр, чего переживать. И на памятник не траться. Такие, как я, из навоза вышли и в навоз уйдут. Такие, как я, — удобрение. Вот видишь, тебя вырастил. Ученый. Большой ученый. Меня спрашивают: что сын-то? Я отвечаю — ученый. Занят. Приятно. — Отец снова улыбнулся, и я вышел. Не мог я видеть эту улыбку, не было ее раньше у отца. Что-то в мире сменилось? Что?

Когда я ехал обратно, мне пришла в голову мысль. Как положено, я выписывал и читал толстые журналы. Проза в большинстве своем шла деревенская, там говорили нутряным голосом простые слова и произносили точные речи. Я вдруг вспомнил о гольде Дерсу, о его встрече с Арсеньевым, их дружбе и о том, как Арсеньев привел гольда Дерсу в Хабаровск. При всей их дружбе был европеец Арсеньев и был гольд Дерсу. И первый смотрел на второго именно как на мудрого туземца.

Что же случилось, что писатели наши, мы все, отцов своих воспринимаем, как Арсеньев воспринимал гольда? Своих же отцов? Что с нами случилось?

Дома меня ждало короткое письмо от Рулева. «Юноша! (Или теперь ты уже муж?) Если хочешь видеть Великий Эксперимент Рулева — приезжай. Тут чудеса творятся. Зарницы в небе и лики ангелов возникают среди облаков. Пообещай своему научному мастодонту тонну рыбы высшего качества (я тебе ее достану) и бери командировку на год».

II

ЭКСПЕРИМЕНТ. ЖИТИЕ С. РУЛЕВА. ЧАСТНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Размышляя о жизни Рулева (я все-таки мало о ней знаю), я могу представить себе тощего, подвижного и не по летам смышленого городского парнишку. Была трехкомнатная квартира, обставленная с тяжелым стандартным вкусом официального учреждения. Портрет вождя на стене, и в книжном шкафу ничего, кроме строго идеологически выдержанных собраний сочинений. Квартира жила под тяжкой дланью отца, который уходил по телефонному звонку, иногда звонил, что задерживается, иногда исчезал на неделю и две, но все равно его тяжкое присутствие чувствовалось. Отец был самодур — это ясно.

Была улица, сверстники, и был парк Сокольники. В этом парке Рулев-мальчишка рано познал тайны сношения полов, силу денежных отношений, силу кулака как довода в споре, дружескую взаимовыручку, законы стаи, и он познал там росу на траве, свист птиц и великое очарование деревьев, травы, кустов и облаков на небе. Он познал науку догонять, убегать, зарабатывать трояк на мороженое, научился подползать к пьяным парочкам, познал сладость шкоды и тяжесть расплаты.

Я думаю, что главным уроком, который усвоил Рулев, наблюдая за ночной жизнью столичного парка, за человечеством, которое отдыхает, главным уроком было то, что *нет стандарта*. Не существует. Градации людей, которых ты встретишь в течение минуты, могут идти от загулявшего бандюги с финкой в кармане до умиротворенной старушки на лавочке, которая с улыбкой смотрит на пробегающих мимо мальчиков (среди них Рулев). И где-то посредине был отец семейства с женой, дочкой, сыном, который вышел в воскресный день подышать с семейством свежим воздухом или вышел один, в расстегнутой на груди рубашке и в пиджаке, наброшенном на трудовые плечи, потолкаться у пивного ларька, пройтись, покурить и потрепаться. Нет стандарта — это твердо усвоил юный Рулев.

Было суворовское училище. Может, Рулев оказался там из-за раннего знакомства с сокольнической шпаной, и у него все-таки был отец и была мать (о ней я ничего не знаю).

Как ни странно, я никогда не замечал в Рулеве следов выучки суворовского училища, которое, как известно, из детей готовит будущих воинов со всеми необходимыми профессиональному военному нравственными качествами. Одно знаю твердо, что Рулев усвоил в суворовском силу коллектива. Роты, спальной комнаты, строя. Закон именно коллектива, а не стаи, которую он узнал раньше.

Артиллерийское училище, которое окончил Рулев, было следствием суворовского, и о нем не стоит писать. Это было задолго до того, как в артиллерию мощно вошла электроника и другие хитрые науки, задолго до появления ракетных войск, и потому на мой вопрос, что он узнал в училище, Рулев кратко ответил: «Пушку калибра восемьдесят шесть миллиметров».

Была служба. Где-то под Хабаровском. Гарнизон. Женитьба. Дочь. Рота. Наверное, Рулев был плохим офицером, ибо ум его, рано узнавший разнообразие стилей и способов жизни, не мог устремиться по нужному, необходимому для кадрового офицера руслу: служба, высшее военное училище, служба, академия, высокое звание, служба. Он не годился в профессиональные военные в мирное время, хотя, убежден, во время военное был бы командиром батареи не хуже прочих. Рулев вышел в запас старшим лейтенантом. Наверное, здесь сыграло роль и то, что он имел неглупое, именно по-человечески понимающее начальство и смутное, но неотвратимое стремление найти смысл бытия. С женой он развелся. Я твердо знаю, что он регулярно и добровольно высылал ей деньги, бóльшие, чем требовали бы алименты. Как бы там ни было, но армия воспитала в нем чувство долга.

Университет. Среди толпы юношей, заполнявших аудитории в ту пору, когда поступать в институт было легко, Рулев был переростком, почти стариком, ибо позади у него был опыт жизни. Посему он самостоятельно понял то, что сейчас начинают понимать многие: диплом о высшем образовании — это еще не паспорт жизни, куда как нет. Дремавшая в Рулеве буйная сила тянула его к жизни нерегламентированной, где новое решение надо принимать каждый момент и где есть свобода выбора. Учеба и диплом — это та же армия. Преподавание или работа в каком-нибудь НИСе. Возможно, на истфаке он понял, что история пишется прихотливо и странно, что она течет в границах, продиктованных объ-

ективными законами, но границы эти широки, и внутри них история мечется бешеной странной рекой и то и дело выкидывает на отмели личности, стили жизни, эпохи и целые государства.

В ту пору я был уже с ним знаком, и его мансарда, в которой я бывал, была наследием после раздела отцовской квартиры.

* * *

Когда я в следующий раз прилетел в Кресты, я не узнал ни аэродрома, ни поселка. На Низине, к западу от реки, среди огромных болотистых тундр начали искать нефть. Я только теперь понял, вижу, какое это огромное и даже пугающее понятие «нефть».

Поселок был забит вездеходами, завален буровыми трубами, вокруг аэродрома городом раскинулись палатки, из палаток торчали печные трубы, из труб шли дымы, и через реку, на запад, в холодное марево Низины днем и ночью шли тракторные колонны, ревели моторы, и лед на реке был черным от гусениц, разбросанного барахла, смазочного масла, а где-то там, в тундрах, гусеницы безжалостно крошили землю и лед, строились другие палаточные поселки, дыбились к небу буровые вышки, грохотали дизели — и все это была еще не нефть, это были поиски нефти, и они должны были смениться либо новым, еще не виданным обрушением человека и техники на тундру, либо вдруг сгинуть, схлынуть, точно грохочущая волна, чтобы возникнуть в другом месте, в других тундрах или пустынях.

Маленькие домики поселка с оконцами, все еще по-зимнему закрытыми ставнями, обитыми оленьим мехом, потерялись, вросли в землю, как бы задавленные толпами громкоголосых мужиков в сапогах, распахнутых куртках, с лицами, коричневыми от ветра, с размашистыми движениями рук, привыкших не к карандашику, нет — к буровым трубам, гаечному ключу, рычагам грубых машин.

Была весна, был гомон.

В апреле белая ночь уже почти началась, и поселок не затихал до позднего ночного часа, и лишь где-то часа в четыре утра, в краткий миг тишины, тоскливо и испуганно выли хором ездовые собаки. Для них тоже рушилась привычная жизнь, и псы, поколениями тянувшие примитивные нарты, как бы предчувствовали близкую

свою ненужность, смерть от заряда собачьего ликвидатора, сочувствовали растерянности своих хозяев-поречан. Впрочем, многие из собак уже находили себе новых хозяев и уезжали на тракторных санях на запад, чтобы там, где-то на куске тундры, не имеющем географического названия, животным своим простодушием согревать человеческие сердца. И как истинный работяга не может долго оставаться без дела, так, наверное, эти псы в новой бездельной своей должности будут тосковать по тяжести алыка и сладкой усталости собачьей работы, когда съеденный до последнего атома кусок мяса или вяленой рыбы честно заработан собачьим трудом.

Ну, а бичи? Они исчезли. Может быть, этого они и ждали, ночуя в коробах и заброшенных баржах, — ждали нашествия нерегламентированной работы, нерегламентированной оплаты труда, экспедиционной вольности и размаха, чтобы на один сезон (или насовсем?) включить свое не пропитое еще умение и обрести положительный социальный статус.

Ну, а те, кто были уже безнадежны, наверное, «работали» при щедрых коллективах щедрых ребят побирушками и трепачами. А может, отправились в тихое место, а может, занялись опасной работой мелкого воровства, карточного жульничества — работой очень опасной, ибо щедрые коллективы щедрых ребят безжалостны на расправу за подлость.

Я ждал самолета к Рулеву. Я решил даже не заглядывать в Пристанное и другие поселки поречан. Мыслишка у меня возникла.

Самолета к Рулеву не было — вся авиация была захвачена энергичными и напористыми, как танки, снабженцами нефтеразведчиков. Они орали в телефонную трубку в отделе перевозок, обняв за плечи, вели куда-то в угол замотанного начальника аэропорта или пилота и там, заговорщически оглядываясь, энергично и таинственно сообщали нечто. Они орали кому-то облеченному полномочиями. Слова: «райком», «обком», «министерство», «распоряжение главка», «указание товарища...» — висели в воздухе. Куда было тут крохотному самодельному «хозяйству Рулева», зашвырнутому в земли, куда еще толком не пришла жизнь.

Иногда мне казалось, что той таежной реки, того аэродромчика из дырчатого железа и прижатого к нему поселочка вовсе не существует, как не существует олень-

их стад и тонконогих пастухов возле них. Другая планета, другой век...

Никогда я не чувствовал себя еще настолько потерянным. Специальность моя, аспирантура и тема диссертации казались ненужными, как обнаруженный на чердаке лист газеты десятилетней давности. Детские мечты о том, чтобы быть единой частью горячего бегущего стада, травили душу, и я бродил по улицам, боязливо и вежливо уступая дорогу шумным парням. Что говорить, я хотел быть с ними! Что говорить!

Моя двухкомнатная квартира в Москве и будущее научное положение не стоили крепкого матюга, с каким тракторист оглядывал перекособочившиеся на уличном ухабе тракторные сани.

Комплекс неполноценности — так это называется.

Жил я в старой комнате Рулева у кочегарки — гостиницу напрочь забило нефтяное начальство. Комнату теперь занимал юный журналист Мишка. Он приходил с работы поздно, а придя, демонстративно заваливался лицом к стене, спиной ко мне — читал Шервуда Андерсона. Может быть, страдания молодого парня в провинциальном городке Иоганнесбурге, Огайо, были созвучны его душе. И ненавидел он меня, может быть, за то, что видел во мне некое отражение своего «худшего я», может быть, тоже маялся комплексом. Известно, что в ближнем мы прежде ненавидим недостатки, присущие нам самим. Лишь однажды он соизволил поделиться со мной заботами жизни. Сидел на койке, дул чай и ерошил черные кудри. И сказал, глядя в пол:

— Нефтяники газетенку нашу из рук рвут. Понятно — прибыли в местность, хотят приобщиться. Тираж надо увеличивать. Организовать как-то и заброску ее к ним в тундру. О них надо писать. Какое там! Чучело наше пальцем шевельнуть боится. Вдруг райком не одобрит. Так ты, черт возьми, запроси райком: одобрит или не одобрит. Боится! Вдруг инициативу не так воспримут. Напиться, что ли?

— Компанию не могу составить, — сказал я.

— Знаю! — Мишка глянул на меня то ли с ненавистью, то ли с презрением и залег с Шервудом Андерсоном — лицом к стене, спиной ко мне.

Я вышел на улицу. Пошел в сторону дома деда Лыскова. Стоял домик, отрешенный от суеты, от мирской жизни. Поблескивал темными пустыми окнами. И вдруг меня осенило: тему диссертации я нашел. «Мы тут от ве-

ка колхозом живем. Нам что возражать против колхоза?» — вспомнил я. Итак: «Некоторые вопросы колхозного строительства в отдаленных районах Арктики». Блестящая диссертация. Проходная. В два счета. И трудов-то — посидеть месяц в краевом архиве, почитать газетки давних времен. К Рулеву надо, к Рулеву. У него я увижу, так сказать, свежие кровоточащие впечатления. В архивах найду фактики. И ни забот, ни хлопот.

Радостный и возбужденный шел я по улицам, и теперь шумные ребята на улицах казались мне чуть ли не ровней.

У Мишки сидел геолог. Интервью давал. Молодой парень, насмешливый, этакий весь ленинградский.

— Валер Валерыч, — представился он.

Мишке не хотелось говорить с ним при мне, но я не уходил. Нравился мне Валер Валерыч. Хотя бы тем, что был вроде меня — нормального физического сложения человек, не мамонт, не ходячая тумба. Если угодно, и я могу быть геологом.

Они с Мишкой пили спирт.

— Эх, господа журналисты, — Валер Валерыч вздыхал снисходительно. Меня он, видимо, тоже считал журналистом. — У вас все сразу. А мы по этой Низине десять лет ползали. Геофизики в основном. Теперь вот лет пять бурить будем. Нефть — это вещь, но легко она не дается. Если удача — в газетах будет: «в этом году геологи добились новых удивительных открытий...» То, что к этим открытиям пятнадцать лет шли, — в газетках не будет.

— Ну, а вы как считаете, есть нефть? — спросил Мишка.

— Шеф мой предполагает. Остальное знает бог, — ответил Валер Валерыч. — Мое дело четвертичка. Сплавлюсь вот по реке, и так далее. Завтра нас забрасывают.

Он вскоре ушел. Унес с собой мою симпатию. И вроде унес кусок времени.

Как-то мгновенно схлынула волна, опустел поселок, исчезли снабженцы, и вездеходы, и тракторы, лишь грязные следы гусениц уводили через реку на запад.

И вновь стал тихим поселок Кресты, и ездовые собаки обрели покой, и из низких домишек со ставнями, обитыми оленьим мехом, вылезли поречане и стали смотреть на реку, как веками смотрели их предки — ждать ледохода и первой рыбы.

Я вылетел к Рулеву.

* * *

Я летел в пустом ЛИ-2. Фюзеляж как-то радостно и облегченно поскрипывал после нефтяной страды, моторы гудели умиротворенно и тихо, как самовар на отцовском столе. Казалось, что самолет ЛИ-2 был живым, казалось, он летел в отпуск.

А внизу была белая тундра, и я улыбался, увидев первые иголочки лиственниц, выбежавшие меня встречать из еще далекой тайги.

Дорогие однопланетники! Наверное, и вы, и я, все мы родились бродягами. Но почему именно этот полет в усталом и радостном самолете ЛИ-2 я запомнил? Не знаю. Но и вы ведь запоминаете какой-то один переулок в какой-то единственный вечер, в какой-то единственный и неповторимый час. Переулок, речку; возникшее в беге жизни и в нем же исчезнувшее лицо неизвестной девушки. В тот полет, дорогие однопланетники, я вдруг кожей, кровью, своими смертными клетками смертного организма почувствовал, что я живу. «Я мыслю, значит, я существую», — сказал Декарт. «Я двигаюсь и чувствую, значит, я существую», — сказал Возмищев в тот трехчасовой отрезок счастья.

О, наивность счастливых моментов! Я смотрел вниз, слушал ласковый рокот моторов, и я мечтал о сите, об этаком нравственном решете. Сквозь то решето безошибочно, четко и мудро мы могли бы в самих себе отсеивать дурное от хорошего. Дурное складывать в герметические контейнеры, а хорошее ссыпать обратно в амбары души. А жизнь бы шла, и производство исходной массы для сита не прекращалось, и решето бы работало, и, значит, хорошее ворохами копилось бы в наших душах, и, значит, день ото дня все становилось бы безмятежнее, яснее, ласковее, чище, проще...

Я не дурак, у меня высшее образование. Конечно, я знаю закон природы — ничто без борьбы. Но мне не хотелось скепсиса, не хотелось сомнений. Я смотрел на коричневую хвою тайги и мечтал, лелеял, холил в себе минуту счастья. Полетная эйфория. Да черт с ним!

Я сохранил эту радость на все три часа и даже больше. И обнял Рулева, пришедшего меня встречать.

— Ну-ну, — сказал Рулев. — Я рад, что ты рад меня видеть, филолог.

* * *

— Я думаю о связях понятий, о связях слов, филолог, — сказал мне Рулев. Никогда я не видел еще у него такой горькой усмешки.

— Поясни, — сказал я.

— Когда появилось слово «лицемерие»? Наверное, тогда же, когда появились слова «человеколюбие» и «справедливость». Согласен?

— Черт его знает, — сказал я.

— Я так думаю, что все мы рождаемся простыми и добрыми. А потом что-то теряем. Знаешь, жадность, успех, всякое там честолюбие, стремление... Что получается? Быть простым и добрым — это завещано тебе от начала. Но мы завещание не выполняем. Потому, наверное, умираем так быстро. Изменяем собственной сущности.

— На религию, что ли, тебя потянуло? — полюбопытствовал я.

— Нет. На зависть. Вот Кляушкину завидую.

Мы шли в медпункт. Его выстроили уже без меня. Здесь, в тайге, среди чистого снега, весна чувствовалась меньше. Светило солнце, было тепло, тихо — как погожий февральский день на материке. В солнечном резком свете помноженное отражением от снега лицо Рулева выглядело бледным, нездоровым. Может, болеет? Рулев шел сбоку, мимо редкой улицы далеко друг от друга стоящих домишек. Домики стояли только с одной стороны «улицы», но каждый уже имел свой облик: который для тепла обвален снегом, у которого щели обмазаны глиной, которые как есть — с пустыми темными окнами. Хозяин или в тайге, или еще просто не объявился.

Медпункт был на отшибе, метрах в двухстах за поселком. Он стоял посреди чистой, окруженной лиственничками полянки. Я вспомнил дом деда Лыскова, но тут же откинул сравнение. Бревенчатый сдвоенный срубик стоял не то что уютно, он тут «по делу» стоял. Двери были распахнуты. Внутри постукивал молоток.

Мы вошли. Маленькая квадратная комната отблескивала свежей фанерой и краской. Одна стена была выкрашена свинцовыми белилами. Высокий тонкий парень, стоя на табуретке, приколачивал к стене фанерный лист, а внизу стоял и держал угол листа Мишка-штрафбатовец. Он подмигнул Рулеву, улыбнулся мне и показал глазами на человека на табуретке, вот, мол, горит трудящийся на работе. Я смотрел на спину, обтянутую пид-

жачком, на узкий светловолосый затылок, и мне вдруг померещилась спина отца — было в чем-то неуловимое сходство. Наконец парень кончил прибивать лист и слез с табуретки. Увидев нас, он улыбнулся. Улыбка была симпатичная, чуть смущенная. И лицо было симпатичное, типично сибирского облика — нос уточкой, твердый подбородок, серые глаза, прямые волосы.

— Фельдшер Кляушкин, — представился он мне. — Сегодня закончим, — сообщил он Рулеву.

— Ты, Коля, что-то все сам да сам, — теплым голосом сказал Рулев. — Есть плотники. Все сделают, ты наблюдай.

— Наблюдать-то что? Мы с Мишей вдвоем все и сделаем. Главное, чтобы аккуратно. Вольфсон принимать медпункт прилетит — всякую щелку осмотрит, как краску клали, проверит. Он к моим медпунктам привык. Я везде сам делаю, — говорил Кляушкин. Говор у него был точно — сибирский.

Мы прошли во вторую половину, жилье Кляушкина. Насколько в медчасти чувствовался порядок — даже в недостроенной, — настолько тут — в достроенной, готовой части — был бедлам. Валялся на полу полуразобранный рюкзак, два раскрытых, тоже полуразобранных чемодана, свитера, рубашки, костюм, какие-то книжки — все вперемежку, как в винегрете. Стоял примус и неряшливая кастрюля с недоеденным варевом.

— Что же так живешь, доктор? — спросил Рулев. — Порядка не вижу.

— Я фельдшер, — скромно возразил Кляушкин, — не доктор.

— Его там «доктор Кляуль» зовут, — сообщил мне Рулев. — Когда я его увозил, весь поселок собрался. Из тундры пастухи приехали. А увозил я его для пользы советской медицины. К врачам, понимаешь, не идут, требуют все — «доктора Кляуля». Ему неловко, врачам обидно.

Кляушкин вскрывал консервные банки. Руки у него были хорошие, с твердыми длинными пальцами, плоскими чистыми ногтями, не руки — загляденье.

— Дело-то несложное. Институт кончить. Заочно можно, — сказал я.

— Дак как его кончишь? — Кляушкин серьезно смотрел на меня. — Мысль, конечно, была. Я в медицине себя нашел. Как его кончишь? Вот надо здесь все довести до ума. Медицина ведь чистотой, порядком воспи-

тывает. В здешних местах. Потом надо людей осмотреть — полгода. Всех, кто в совхозе работает. У кого, знаете, зуб, у кого мало ли что. Надо кое-кого направить в райцентр — пусть там всерьез смотрят. Потом всякие ЧП — роды в тундре, несчастный случай. Там уже ремонт подвалит. Плотников тут не будет — кто его за меня сделает? И закрутишься, и закрутишься. Какой институт? Нет, я мечты об этом оставил.

— Ты его, доктор, не слушай, — сказал Рулев. — Он в жизни мало смыслит.

Мишка-плотник сидел на табуретке, как был, в измазанной краской телогрейке. Умный взгляд его перебегал с меня на Рулева, с Рулева на Кляушкина. Он молчал.

— Может быть, спирта медицинского? — предложил смущенно Кляушкин.

— Пункт еще не открыт, а уже транжиришь? — усмехнулся Рулев.

— Не-е. Это у меня личный запас. Так. На всякий случай.

— Спирта по стопке выпьем. Верно, штрафбатовец? — Рулев полуобернулся к Мишке. Тот кивнул. — Только вот что, доктор Кляуль. Спирта у тебя нет. Ни личного, ни общественного. Такая здесь ситуация. Тропку к тебе проторят быстро. Приготовься. Но спирта нет. Понял? Если врать не умеешь, скажи, что я приказал. Вот он подтвердит.

Рулев снова кивнул на Мишку. Тот молчал.

Они трое, по очереди, выпили по стопке спирта. Стопка была одна. Вилка тоже. Они пили и закусывали по очереди.

Я заметил, что Мишка по-крестьянски держит руку под вилкой, чтобы еда не падала на пол.

— Такой случай, доктор Кляуль, — сказал Рулев. — Мне их распрямлять надо, ты мне их не сгибай. И осматривать их особенно нечего. Им души надо осматривать. Наверное, тут я буду специалист. Пошли!

Это относилось ко мне.

Мы шли обратно. Солнце теперь было за спиной, и наши короткие тени бежали впереди нас по слепящему снегу.

— Бывает же, — сказал Рулев. — Видел бы ты, как его провожали. Старухи выползли, плачут, ребятишки за него цепляются, мужики — каждый ему лично стремится руку пожать. Я специально справки навел: никаких таких героических дел за ним не водилось. В тундру, конечно, летал, конечно, делал, что положено фельдшеру

делать. Наверное, больше делал. А врачи, понимаешь, — там большой медпункт — стоят в стороне и смущенно так улыбаются, гадают, наверное, будут их так провожать или нет. Наверное, нет. Тут секрет есть.

Я следил за своей короткой, толчками передвигавшейся тенью.

— Знаешь, я думаю, — продолжил Рулев, и голос у него был какой-то загробный, — большое состоит из малого. Так? Так! Знаешь, как в этой старой байке: «Если каждый вырастит одно дерево...» Если каждый для начала возьмется за себя лично. Ну, и когда маленько себя от шелухи очистит, от суеты этой, от пошлости, жадности, эгоизма нашего, тогда пусть пошарит глазами вокруг, поищет заблудшего. Это не каждому по силам, я понимаю. Но ведь заблудших-то в принципе мизер по сравнению с нормальными. Значит, если на каждого бича да не найдется умного сильного человека — грош цена человечеству. Но человечеству все же цена не грош. Значит, что получается по моей программе?

— Слюна какая-то получается. Помесь религии со светлой коммунистической моралью. Даосизм какой-то вперемежку с графом Толстым, — сказал я. Не знаю, почему, но меня это злило. Я ж на Рулева молился. Я видел в нем твердого человека, а он мне излагает то, что я в «мансардные» времена наслушался. Зачем я сюда прилетел?

— А ты, парнишка, растешь. Зубки у тебя прорезаются. — Рулев теперь смотрел на меня, и голос и улыбка у него были прежние, рулевские. И я теперь видел, что улыбка у него деланная и голос деланный, наверное, в самом деле я взрослел и стал замечать то, чего не замечал раньше. Может быть, не столь уж редко Рулеву было тяжело, и тогда он защищался своей улыбкой и иронической интонацией голоса.

— Всю эту твою христианскую чепуху растопчут в два счета. — Меня несло, и я не мог остановиться. — Приедет румяный деятель с инструкцией, посмотрит анкетки твоих кадров и выметет всех за милую душу. И тебя за компанию. Или пришлет идеологически выдержанного зама, он тут лекции начнет, собрания, доклады, обязательства, и кадры твои завянут, как ландыши на морозе. Или...

— Хватит, — сказал Рулев. — Зубки у тебя прорезаются, а ум еще нет. Про душу твою не говорю, она просто отсутствует.

— Во-во, — сказал я. — До души дело дошло.

— А как же? — Рулев остановился и в упор смотрел на меня. — А как же, филолог? Без этого идеалистического понятия нет людей, нет человечества. Есть просто механизмы с производственной функцией.

Я промолчал. Насчет души и механизмов он точно сказал. Было тут нечто, я сам еще не мог осознать что.

— Спохватишься ты, — сказал Рулев. — Будет пусто тебе, и спохватишься.

— А если не спохвачусь?

— Тогда думать о тебе нечего. Было пусто место, пусто осталось. Что о пустоте думать?

— Мы ссоримся, что ли?

— Не думай, что люди знают о тебе. Думай о том, что ты знаешь о людях, — сказал Рулев.

— Кто это?

— Лао Цзы. Или Конфуций. Точно не знаю. Образование у меня отрывочное, — сказал Рулев. — Лоскутки.

* * *

Нервозность Рулева я понял позднее. Совхоз начат на пустом месте. Но где-то он уже стал «единицей», где-то в областных, партийных, хозяйственных, финансовых органах он числился абстрактно как действующий. Уже шли положенные инструкции и требования отчетности. Бухгалтерии у Рулева еще не имелось. Точнее, она состояла из отставного майора снабжения Федора Матвеича, бывшего плотника. Майор по совместительству был и завскладом. Он снова по-снабженчески округлился, и солидность, впрочем не покидавшая его, как-то обрела новую полноту.

— Семен Семеныч, — он входил к нам с папкой под мышкой, — требуют ответ на форму четыре.

— Составь, — говорил Рулев.

— Уже! — майор с шиком раскрывал папку и подсовывал Рулеву графленый бухгалтерский лист. Рулев вынимал авторучку.

— Не посадят?

— Никак! — твердо отвечал майор.

Рулев подписывал, майор захлопывал папку и извещал:

— Полушубочки пришли — черные. Вместе с овчинными брюками. Я отложил два комплекта. Вам и товарищу Возмищеву.

— Хорошо, — говорил Рулев.

— Семьдесят восемь рэ, — майор уходил.

Рулев тоскливо смотрел в окошко.

— Школу надо строить — раз. Интернат — два. Правление строить — три. Почта — четыре. Магазин — пять. А народ? Бухгалтера на автовокзале не подберешь, зоотехника в брошенной барже не обнаружишь. А почта?

— Мы же заявку дали. Пришлют, — утешал я его.

— Кого пришлют. Мне люди нужны. Эх, верных и точных ребят с десяток. Или передышку в два года. Я бы сам таких воспитал.

— У тебя же друзей половина Союза. Напиши. Пригласи.

— Напиши! Пригласи! — горько вздохнул Рулев. — Так и так, дорогой Гриша (он сейчас полковник в отставке), требуется мне младший бухгалтер, который не нарушит мне работу с трудными элементами. Приезжай. А Гриша мне в ответ: если бы ты, Сеня, загибался или маршрут поперек Ледовитого океана наметил, я бы подумал. А младшим бухгалтером мне скучно жить.

Понятно поэтому, когда пришла радиограмма, что к нам вылетает зоотехник, Рулев вначале вызвал майора. Приказал, чтобы в домике пять был полный ажур: натоплено, стол был, койка имелась и чтобы чайник стоял на печке. Мы вместе пошли встречать самолет.

Самолет был рейсовый, проходящий. Раз в неделю он шел из области в Кресты с посадками на таких вот, вроде нашего, аэродромах.

День был апрельский, попросту жаркий. Снег сверкал так, что даже за темными очками болели глаза. А без очков вообще ничего не было видно — сверкающий мираж с какими-то расплывчатыми плоскостями, — то были теневые стороны аэродромных служб.

ИЛ-14 сел. Спустили железную лесенку. По лесенке вначале спустились пилоты, встретились со своими аэродромными, затеяли свой разговор. Потом из самолета вылетел мешок, набитый чем-то мягким, и задом, неспешно спустилась широкая спина в полушубке.

Человек подобрал мешок, закинул его за плечо и лишь потом повернулся. Видно, черный солнечный свет ударил в глаза, потому что мужчина снял шапку и отер лицо и глаза. Голова у него была седая. Оглядевшись, он направился прямо к нам. Шагал он широко и твердо. На полдороге он нашлепнул шапку так, что седые космы оста-

лись торчать во все стороны, и еще на подходе вытянул руку.

— Саяпин Иван Ильич, — представился он. Рукопожатие у него было, как и походка, какое-то размашистое и твердое. Рулев пихнул меня локтем в бок.

— Пойдемте, Иван Ильич. Домик вам приготовлен, — сказал я.

— Счас! — сказал он и устремился куда-то за аэропорт, где валялись пустые бочки из-под горючего и разный дюралевый хлам. Мы пошли за ним. Он попинал снег под лиственницей и вздохнул.

— Палатка тут у меня стояла. И никаких следов, — он вздохнул и улыбнулся, разведя руками. Зубы у него были пластмассовые, вставная челюсть сверху и снизу. И лицо от улыбки менялось — крепкие щеки без морщин и меж ними этакий самостоятельно живущий нос, вроде как крепкая яхта, зажатая между двумя валунами.

— Вы здесь были? — спросил Рулев.

— Я-то? — удивился Саяпин. — А как же! Я тут из первых был. Пастбища здешние я картировал. Еще до войны. И плоское место для аэродрома я указал. Вот на этом вот ТБ детали его проверял с начальством. — Саяпин кивнул на дюралевый хлам. — Он уже после разбился.

...Майор постарался на совесть. В домике было тепло, пахло свежим деревом. Под окном, куда на зиму между рамами забился снег, натаяла лужа. Стол был накрыт куском сатина, и на столе стояли раскрытые банки консервов и бутылки спирта.

Когда мы подходили к домику, Рулев явно ждал, что Саяпин что-то скажет о поселке. Но он лишь скользнул взглядом по разобранным баракам — фундаменты, груды сваленных в неряшливые кучи бревен, поваленные набок печи из железных бочек, колья со шматками колючей проволоки, — на миг Саяпин даже остановился, но тут же отвел взгляд и потопал дальше. Новых домов он вроде бы и не приметил. Просто вошел в дверь одного из них и ведь точно угадал, какого именно.

Рулев, отряхивая снег с унтов, задержался на пороге. Когда хлопнула дверь, Рулев тоскливо сказал:

— Пенсионер. Мамонт вымерший. Что я буду с ним делать?

— Крепкий мамонт, — сказал я.

...Мы сидели за столом. Саяпин пил спирт неразбавленным, и он вроде на него совсем не действовал. Рулев катал в руке мускатный шарик. Кто-то ему прислал этих орехов — видимо, Рулев считал, что запах алкоголя будет вредно действовать на его контингент. Саяпин в дешевеньком свитерке, суконных штанах сидел за столом глыбой и молчал. Выпив, он аккуратно очистил две банки консервов с полбуханкой хлеба и теперь сидел, положив на стол крупные кулаки. Победный нос его все так же твердо сидел среди тугих щек, и маленькие светло-голубые глазки были дремотны и спокойны.

— Как со здоровьем у вас? — спросил Рулев.

— Не жалуюсь, — хмыкнул Саяпин.

— Понятно. Ну, а поселок наш как вам показался? В ваши времена тут ведь кусок тундры был. Пустошь.

— Я, товарищ директор, таких поселков штук десять выстроил, — ответил Саяпин. — Вот этими руками.

— Понятно, — повторил Рулев. — Понятно.

В печке обрушился уголь, и сразу загудело пламя.

— Печь надо переставить, — сказал Саяпин. — К стенке тут печь ставить нельзя — чего улицу греть? И фундамент тяжелый нужен. Мерзлоту разогреешь, ухнет вниз и печь и сама изба. Я переложу.

Мы снова молчали. От Саяпина исходило не то что спокойствие, а какая-то молчаливая и уравновешенная скука. Я первый раз видел, чтобы Рулев не мог «держать беседу».

Закурили.

— А вот этого я не терплю, извините, — живенько сказал Саяпин и отсел от стола.

— Пенсионеры здоровье берегу-у-ут, — усмехнулся Рулев. Я видел, что он начинает злиться. Я решил его поддержать.

— Вы на пенсии где жили?

— В Ге́ленджике, — с ударением на первом слоге сказал Саяпин.

— Юг. Море. Солнышко, — усмехнулся Рулев. — Сбережения, что ли, кончились, Иван Ильич?

— Жизнь кончилась, — Саяпин улыбнулся, показав свои прекрасные пластмассовые зубы. — Пять лет на пенсии и пять лет без жизни.

Глазки его теперь хитровато поблескивали.

— Как кончилась? — удивился Рулев. — Человек, говорят, и живет всего десять лет. Семь до школы, три после пенсии.

— Так. Кончилась.

— Непонятно, Иван Ильич.

— Детишки вы несмышленые: семь до школы, три на пенсии. Хе! Выдумывают же люди!

Рулев вдруг заулыбался. Он взял спирт, налил себе и Саяпину.

— Не-е, — твердо сказал тот. — Я только одну дозу пью. Дальше точка. Вот что, товарищ директор. Число сегодня какое?

— Седьмое апреля, — сказал Рулев.

— Завтра мне в стадо надо. Отел. Когда отел, зоотехник должен быть на месте.

— Организуем, — сказал Рулев.

— Что же вы без вещей-то? — спросил я.

— А вон мои вещи, — Саяпин кивнул на мешок. — У старого дружка на чердаке лежали. Точно знал, что вернусь.

Он взял мешок и вытряхнул его на пол. Выпала кухлянка, меховые штаны, короткие торбаса, «плеки» и резиновые сапоги. Саяпин любовно развернул кухлянку и вынул из ее рукавов маленький чайник с кружкой. И кружка и чайник были ветхими, черными от старости и налета.

— Вот мои вещи, — сказал он. — Хоть сейчас в стадо. Малокаliберку дадите, ножик у меня есть.

— Это все ни к чему, — сказал Рулев. — На вездеходе забросим.

— Ну-у, вездеход вездеходом, — вздохнул Саяпин. — На ногах-то надежнее. Мотор — вещь слабая против ног. Так как насчет завтра?

— Едем, — сказал Рулев. — Прямо с утра.

— Тогда идите, ребята. Я маленько посплю.

Саяпин прямо при нас улегся на кровать, и пружины жалобно взвизгнули. По-моему, когда мы закрывали дверь, он уже начал похрапывать.

— Крепкий дед, — сказал на улице Рулев. — Очень крепкий загадочный дед.

* * *

Едва мы вышли из домика, как прямо над головами прогрохотал самолет АН-2. Где-то над тайгой он развернулся и снова пролетел над поселком, а затем, набирая высоту, пошел на северо-восток к Константиновой заимке.

Он исчезал на фоне неба, и долгое время были видны сдвоенные плоскости его, и доносился слабый гул мотора.

— К чему бы это? — спросил Рулев. — Куда бы это?

Через какое-то время мы снова услышали самолетный гул, он прошел над крышей. А еще минут через двадцать к нам постучали.

— Войдите, — крикнул Рулев. Я забыл сказать, что у Рулева появилось кожаное вертящееся кресло. Раздобыл его наверняка отставной майор. И сейчас Рулев крутнулся в этом кресле от стола к входу и эдак полулег в нем, нога на ногу, в руке сигаретка.

Вошел летчик. Наверное, с улицы, после солнечного снежного ослепления, он ничего не видел, поэтому сказал только:

— Привет, ребята. Вот тут к вам... — и летчик отошел в сторонку. За ним вошел некто рослый, в распахнутой меховой куртке, в тяжелых собачьих унтах, с карабином за плечом, и еще я заметил на поясе под курткой тяжелый нож.

— Не я! — заорал Рулев. — Я никого не трогал, я был совсем в другом месте.

Пилот прыснул. Он был одет в аэрофлотскую шинельку, в нормальных полуботиночках, круглолиц и молод.

— Садитесь, — я пододвинул ему стул. Пилот сел, снял летную фуражку и стал похож на деревенского красавца — русый волнистый чуб, ресницы на пол-лица, румян. Вошедший следом топтался, тоже, видно, ни черта не видел, хотя и был в темных массивных очках.

— Оружие к печке. Очки в карман, — скомандовал Рулев.

Рослый так и сделал. Стульев не оставалось, и он сел на рулевскую койку. От унтов по комнате протянулись мокрые большие следы.

— Дай-ка мне эту пушку, — сказал Рулев.

Я взял холодный ствол карабина, протянул его Рулеву.

— Осторожно, — сказал длинный.

Рулев клацнул затвором, на пол упал патрон. Рулев открыл магазин, вынул остальные патроны, ссыпал их, латунные, остроносые, в ладонь и протянул длинному.

— Так я и знал, — пробормотал он. — Ух, землю на вершок вижу. Эдик! Ты как с ним летаешь?

— Да ничего. Мы по делу зашли, — улыбнулся пилот Эдик.

— Вы председатель совхоза? — солидно и напряженно спросил длинный.

— А как же! Неужели он на председателя похож? — Рулев кивнул на меня.

— Семен Андреич Рокито, — представился длинный. — Вот мои полномочия.

Он вынул желтый бумажник и вытащил оттуда два сложенных листа. Я заметил, что это бланки Академии наук.

— Сеня, значит. Тезка? Ну давай, тезка, свои бумаги! Ух ты! «Предлагается оказать всемерную помощь». Кто же это мне предлагает? Руководитель центра региональных исследований. Не знаю такого, не знаком. Ну, а если по-человечески? Что за помощь?

— Жилье, транспорт, рабочая сила, снабжение. Да мало ли что понадобится.

— Так! — весело согласился Рулев. — Ну, а какой транспорт, какая рабочая сила? Что за жилье?

— Я начальник восточного отряда, — длинный снял наконец свои дымчатые очки. — Есть такая наука — стратиграфия. Мы бурим профиль. Отсюда к Низине и через нее на восток. Вот мы и будем бурить самую восточную скважину.

— Бурить-то я не умею, — вздохнул Рулев. — Я бы помог.

— Разнорабочие будут нужны. Тракторы.

— Вот что, тезка, — Рулев отвернулся к окну. — Забудь, что здесь существует совхоз. Считай, что здесь голое место. Рабочих у меня нет. Транспорта также. И что еще ты собираешься попросить — не знаю что, но знаю, что и этого у меня нет.

— У нас задание государственного значения, — Сеня улыбнулся, точно говорил с ребенком. — Есть обком. Есть министерство. Можем и через них давить.

— Вот обком пусть вам и помогает. У меня нет ничего. И не будет.

— Найдется, — усмехнулся Сеня. — У всех ничего нет. Нажмешь — и находится.

— Катись-ка ты отсюда прыткой рысью, — мирно сказал Рулев. — У них задание, а мы здесь вроде как на субботней рыбалке. Катись, тезка. Заходи в шахматишки сыграть.

— На Константиновой заимке ваши люди? — вмешался пилот.

— Мои.

— Они там рыбу, случайно, не ловят? На этом своем озере?

— Этому озеру глубина метр, — сказал Рулев. — Оно до дна промерзает. Никакой рыбы в нем нет.

— Что и требовалось, — сказал пилот. — Полетишь?

— Куда?

— Посадочную площадку на озере будем готовить.

— Для чего?

— Тяжелые самолеты. Буровую технику будут перебрасывать. Тракторы, дизели. Ну, и так далее. На ваш аэродром эти самолеты не сядут.

— Они там, там сядут, — горячо заверил Рулев. — Слушай, ребята. Чайку по кружке и — летим. Там моих два лба. Они, конечно, помогут. Еще тут один лоб. Он тоже поможет. Филолог! Дуй за майором. Быстрой ногой. Давай чайку, ребята.

Рулев суетился, улыбался, и, черт его знает, не мог я понять его. Но я ушел за майором.

Когда вернулся, на столе стоял чайник, длинный Сеня рассказывал свежие анекдоты. Рулев смеялся и закричал мне:

— Эх, одичали мы тут, филолог. Вот тезка анекдоты привез. Ах. Ах. Эти, как их? Как, тезка? Вспомнил: сюрреалистические. Черный юмор. Ух, усмеялся.

Мы вылетели вшестером. Кроме нас, Рулев взял еще Лошака, майора.

Северьян и Поручик выбежали навстречу самолету. От них попахивало брагой. И в избе густо пахло брагой. Но Рулев точно ничего этого не видел. К вечеру под руководством пилота мы наметили посадочный створ, на концах которого и в середине были поставлены огни — фальшфейеры. И еще по предложению Лошака — лиственницы, которые мы вморозили в лед. Снега на озере почти не было, его выдул недавний мартовский ветер. Многокилометровая гладь блестела зеленым, и кое-где во льду отражались облака и закат. Вместе с АН-2 в Крестты улетел майор, Лошак и длинный Сеня. Мы с Рулевым остались. Рулев заверил, что все будет в полном порядке. Чуть свет он лично обежит все ориентиры по трехкилометровой посадочной полосе.

И лишь когда стих гул мотора, мы остались одни, Рулев грубо спросил:

— Не утерпели, алкаши? Дрожжами на всю область пахнет!

— А чо! — сказал Северьян. — А чо! Я в это время

привык расчет получать. Ломаешь всю зиму хребтину, ломаешь. А лес-то в штабелях. Почему не вывозишь?

Поручик молчал. Лицо у него было умиротворенным, розовым, благодушным, и только глаза жили совсем отдельно, совсем в другой стране.

— Как всегда! — вдруг сказал он. — Как всегда, и нет больше мест.

— Что как всегда? — спросил Рулев.

— Всегда! Уходишь. Живешь тихо. Лес. Птицы. Небо. Но уже самолет, и уже вылазят из самолета. И думаешь, куда уйти дальше. А там опять — смотри в небо и жди самолет.

— Спать бы ложился, — мягко сказал Рулев.

Но Поручик стеклянной хрупкой походкой пробрался в угол избы, разобрал там полушубки и зачерпнул брагу прямо кастрюлей. Ударило резким и кислым запахом. Смолистые дрова затрещали в печке, и вдруг стало очень жарко. Северьян распахнул дверь.

Поручик вынул из кармана красную свечку сигнального огня, который взял у пилота. Он вышел на улицу, чиркнул спичкой, и вдруг сквозь шум и треск вспыхнуло багровое, какой-то пугающей красноты пламя. Красный свет залил снег и стены избушки, и внутри точно мигало зарево ужасного пожара. А Поручик стоял, держал в руке этот факел — черная теневая фигурка.

Утром мы проснулись от моторного грохота. Огромный самолет затих в дальнем конце полосы.

И пошло, и пошло. Какие-то энергичные мужчины в ватниках, тракторы, вездеходы выползали из распахнутых дюралевых недр. Мы стояли в стороне, и всем командовал толстый мужчина в полушубке с трехдневной щетиной, и другие мужики действовали по мановению его руки слаженно, быстро и четко. На льду, расхряпанном следами гусениц, вырастали штабеля ящиков, а уже летел второй самолет, и из недр его ползли бочки с горючим, тяжелые ящики на полозьях, сани.

Мы были в стороне от этого шумного и важного дела, и лишь Северьян бродил между грузами, ковырял ногтем обивку и ухмылялся. По белой глади озера двигалась одинокая черная фигурка — Поручик уходил прочь, к избе, к бражке.

С последним рейсом прибыло то, чего ждал и ради чего суетился Рулев. Наш трактор. Лошак и майор восседали с видом победителей. Последним выскочил длин-

ный Сеня — уже без ножа и карабина, вид усталый, — и Рулев обнял его за плечи и кричал:

— Наука и техника должны помогать деревенским! Ну — спасибо.

Начальник отряда хотел освободиться от рулевских объятий — шутка ли, сделали дурачком, за его счет привезли самолетом трактор! Буровики похохатывали.

— Спасибо за помощь деревне. Заходите на пироги! — кричал Рулев.

Все собрались в избушке. Пусто было только вокруг раскаленной печи. Весь пол застлан спальными мешками. Выпили.

* * *

И снова громыхал вездеход. На председательском месте сидел Саяпин, и седина его отсвечивала в кузове. Хмурый Лошак вел вездеход вежливо и как-то брезгливо. Казалось, рычаги сами перемещаются, стоит ему приблизить к ним кончики пальцев. Мы с Рулевым валялись в кузове на спальных мешках из оленьего меха — кукулях. На том, чтобы взять кукули и лыжи для всех, настоял Саяпин.

— Мотор не ноги, — бубнил он, укладывая кукули. — На него надежи нету.

Это слышал Лошак, может, тем и объяснялось его хмурое настроение.

Снег на реке был нетронут и чист — все зимние следы затерли, заполировали мартовские пурги. На обращенных к югу обрывах снег вытаял, с корней лиственниц свисали сосульки, и если подойти к такому обрыву то чувствовался живой глиняный запах земли, и теплота тут держалась такая — хоть раздевайся до майки. Один раз с обрыва слетел самец куропатки и растопырил крылья прямо перед носом вездехода. Лошак заглушил мотор. Куропач кричал, взмахивал черными кончиками крыльев, и налитые красные пятнышки на голове горели как лампочки.

Саяпин вытащил из лямок прикрепленную к двери рулевскую тозовку и с одной руки, прямо из двери выстрелил. Куропач забил крыльями, встал, пробежал метров пять и перевернулся вверх лапами.

— Готов. Гы! — сказал Лошак.

— Зачем? — спросил Рулев.

Саяпин вылез, протопал своими валенками к куропачу, взял его за лапки и дернул в разные стороны.

Я видел еще вздрагивающее сердце куропача, красную печень и внутренности. Саяпин поднял горсть снега, сунул ее внутрь и всосал этот набухший кровью снег. Затем аккуратно выкусил сердце, печенку и отшвырнул остатки птицы. Лицо у него было в крови. Он вытер его снегом и оглянулся кругом.

Лошак сплюнул в сторону.

— Лихо! — сказал Рулев.

Саяпин повернулся к нам. На залитом солнцем снегу в расстегнутом полушубке он казался молодым, почти юношей.

— Во! — он постучал себя по зубам. — Из-за этой брезгливости я в сорок девятом зубы оставил. На этой самой реке. Цинга. С тех пор и привык мясо сырое, теплое, свежее есть. Кровь пить. Рыбу с хребтины живую грызть. И — здоров.

— Раз остановились — чайку, что ли? — сказал Рулев.

Саяпин медведем пошел к берегу и вломился в кустарник. Затрещали сучья — он крошил их руками. Лошак молча вылез, вынул из-под сиденья паяльную лампу, поставил ее на гусеницу. Через минуту Саяпин вылез из кустов с охапкой веток, но на гусенице уже ревела паяльная лампа, и пятачок жестяного чайника наливался красным, и шипел снег.

— Тьфу! — сказал Саяпин. — Нету понятия. Чай с бензином кто пьет?

Он бросил сучья. Лошак трамбовал чайник снегом. Мы подошли к Саяпину. Он смотрел вперед, где белая гладь реки убегала в сверкающий снежный туман и лес казался рельефным, голым и странным, как на китайских рисунках тушью.

— Жена-то у вас в Геленджике осталась? — спросил Рулев.

— Которая? — Саяпин не обернулся.

— Которая есть жена, — сказал Рулев.

— У меня их четыре было. С тремя разбежался, четвертая в прошлом году померла. Воспаление среднего уха. Болела — битва! Померла.

— Понятно, — сказал Рулев. — А дети?

— Детей нет, — Саяпин все стоял к нам спиной. — С двумя не хотел. С двумя не получалось. Хотя возможности и сейчас не утратил. На юге с этим просто.

— Просто, — подтвердил Рулев.

— Дети, конешно, есть. Только я их не видал, а они меня.

— Это у всех есть, — сказал Рулев.

Саяпин хохотнул и обернулся. Во взгляде его было превосходство, и пластмассовая челюсть по-волчьи на миг блеснула в улыбке.

— Ныне вы щуплые все пошли, — сказал Саяпин. — Бабу магнитофончиком охмуряете. Или наши, которые с Севера, так деньгами. А на деньги кто идет? Шлюхи. А в шлюхе какая сладость? Там до меня пятьсот побывало, мне это неинтересно. Не-е-т! Я в бабах больше, чем в оленях, понимаю.

— Бабтехник? — обидно улыбнулся Рулев.

— И зоотехник тоже! Дружок мой стародавний Лажников, он в области в сельхозуправлении. Письмо прислал.

— Знаю Лажникова.

— А кто его здесь не знает? Так прислал письмо: хватит, пишет, тебе, старый бобр, на пляжах песок уминать. На землях, на пастбищах, что здоровьем своим клал на карту, совхоз делаем. Прилетай. Кадров нету. А есть — так не настоящие. Я и прилетел. И не жалею. Давно надо было. Не-е! Я еще попашу. Еще вспомнят Саяпина.

— Лажников-то скоро слетит, — вставил Рулев. — Замену ему ищут.

— А ему пора, — сказал Саяпин. — Мы с ним ведь сидели три ночи вот прямо на днях. Устарелые методы руководства, ему говорят. А он говорит, не могу по-другому. Круто, но чтобы дело шло. Где выговор, где с занесением в личное дело, где разговор с глазу на глаз. Трудно, говорит, стало работать. Кадры пошли с самолюбием, уважения к вышестоящему нету. Я, говорит, сам уйду.

— Так примерно и есть, — сказал Рулев.

Саяпин посмотрел на небо. Небо было светлым, бледноватым, безоблачным.

— Наши бы старые кадры сюда, — сказал он. — Лажников, Шкуренок, Тывытай, Мишку бы Грымзина. Сделали бы мы совхоз за милую душу. Передовой, крупнейший, гордость области, железный был бы совхоз.

— Такой и будет, — сказал Рулев.

Саяпин промолчал.

— Чай готов! — крикнул Лошак, и мы пошли к вездеходу.

Чай был северный, черный. Но Саяпин взял пачку и еще тряхнул себе в кружку полпачки, помешал пальцем. Потом вынул из полушубка жестяную коробочку леденцов и запихнул один леденец в рот. Нам не предложил.

— Сахар, по науке, здоровью вредно, — сказал он. — А в крепком чаю витамины, каких нигде нет. Для сердца, пишут, вредно, да ведь еще живем...

...Нам было суждено остановиться через час. Еще издали мы заметили широкую полосу поперек реки. Полоса казалась черной, и над ней висел легкий радужный отсвет, точно сверху протянули яркую пеструю полоску чудесной многоцветной ткани. Это оказался след оленьих копыт, след стада, пересекавшего реку.

Саяпин выскочил на снег.

— Неужели наши? — тревожно спросил Рулев. — Не положено им тут быть. Маршрут у них вовсе в другую сторону.

Меж тем Саяпин грузно ходил по снегу, вглядывался из-под ладошки туда, где след стада выходил на косу и затем исчезал в лиственницах. Саяпин махнул нам рукой и грузно пошел в лес. Вернулся он быстро, на ходу вытирая шапкой лицо. Снег здесь был рыхлый, и Саяпин проваливался до колен, спасали его брезентовые манжеты на резинках, натянутые поверх валенок.

— Кеулькай это, — издали возбужденно крикнул Саяпин. — Я его нарту, его полозья из сотен узнаю.

— Какой Кеулькай? Какого совхоза? — тревожно спросил Рулев.

Саяпин подошел к нам и сел на гусеницу вездехода, приложил к затылку пригоршню снега. Мотор вездехода работал, и гусеница подрагивала, подпрыгивали седые волосы Саяпина, и мелко дрожала рука на затылке.

— Поехали, что ли? — недовольно буркнул Лошак. — Пикник через сто метров.

— Обожди! — приказал Рулев.

— Этот Кеулькай — последний единоличник в государстве, — сказал Саяпин. — Тридцать лет от Советской власти в этих местах спасался. Жена, дочь да он. А нашел его я, когда получил задание ягельные пастбища нанести на карту. Пастбища тут нетронутые, на десять-двадцать тысяч голов. И бродил по ним один Кеулькай. Олени у него — бóльших в мире нету. Не олени, а лоси. Я первый год вернулся, донес куда следует — Лажников за голову схватился. Послали людей — обнаружить,

представить к властям. Да его, лешего, разве поймаешь. Люди помороженные вернулись. Пять лет его ловили, пока аэродром действовал. У Лажникова Фрол Григорьича седина из-за него появилась. Выговор за выговором: на вверенной ему сельскохозяйственной территории беззаботно живет кулацкий элемент. Значит, что? Значит, нет воспитательной работы и есть преступное попустительство. Лажников до того дошел — просил у командующего округом боевой самолет, чтобы кулацкий элемент с воздуха уничтожить.

— Дали? — спросил Рулев.

— Времена были, — вздохнул Саяпин. — Могли бы и дать.

— Все-таки не дали?

— Решили меня напустить. Последняя попытка в целях всеобщего гуманизма.

— Ну?

— Я его осенью разыскал. По методу сыщиков — представил себе, куда бы я стал перегонять стадо к зиме с хребтов, с летовки.

— Ну?

— Он от меня обманом ушел. Напоил какой-то травой и ушел. Но неделю я у него жил. Крепкий оленевод. Ох, оленевод он крепкий. Профессор.

— Ну?

— Ушел, все унес. На обратной дороге я и потерял зубы. Хорошо, он мне топорик оставил. Плот я связал, на нем доплыл. Иначе погиб бы, как мышь. Потом слухи о нем ходили. Сколько же лет-то ему сейчас? Ведь, поди, помрет скоро... Лажников мне слезно говорил: «Найди эту заразу кулацкую, вынь из моего сердца».

— Так, — сказал Рулев. — Так. Значит, еще одно стадо на вверенной мне территории.

— А куда он теперь денется? Вот обоснуюсь, я с ним разберусь. Только...

Саяпин замолчал. Взял еще пригоршню снега и приложил к затылку.

— Только что? — спросил Рулев. Он улыбался по-прежнему, и я видел прежнего, т о г о Рулева, перед которым я преклонялся.

— Жена у него умерла. Это знаю. Нарт три. Одна его, одна дочери, а еще одна получается... моего сына.

Рулев неприлично хмыкнул.

— Жеребец я тогда был, жеребец. Никакие горы укатать не могли, никакая тайга. На девке своей он и

взял меня. Потом слухи были, что сын. А может, ему сын и был нужен, для продолжения кулацкой борьбы. Сейчас, выходит, по возрасту самый парнишка. А если в меня пошел, дак ведь его вертолетом не словишь. Он его из винтовки сшибет, а кто придет, так руками задушит.

— Роман, — сказал Рулев. — Сименон с Райдером Хаггардом. Не верю. В романах такое лишь в два часа ночи можно изобрести.

— Рома-ан! — Саяпин откинул снег и пригладил волосы. — Я говорю, времена были. Такое в романах не пишут и писать нельзя. Романы сочинять надо. Так или нет? — Саяпин почему-то смотрел на меня. В серых его глазах вылезли красные прожилки, то ли от непривычной физической усталости, то ли от солнца.

— А черт его знает! — сказал я. Я обдумывал, как бы мне «раскопать» Саяпина, расшевелить, разговорить. Он же для моей диссертации кладом был. Это ж можно сразу докторскую писать. Если найти нужный вариант изложения. А тут сообразит Рулев. У него острый ум, у него интуиция и нахальство. Его нахальство и моя осторожность — это и есть, что надо.

Солнце садилось на вершины лиственниц. Снег сиял. Было холодно. И было остро, хорошо жить.

* * *

Стадо находилось в небольшой котловине. При въезде в нее долину сжимали скалы, на выходе тоже, по бокам подступали сопки. В котловине стояла тишина, и снег здесь был рыхлым. Солнце грело, как в парнике.

К отелу мы опоздали. То тут, то там возле важенок с влажными материнскими глазами стояли смешные ногастые оленята. Одни, недавно родившиеся, стояли на расставленных спичечных ножках и с изумлением смотрели на мир или тыкались мордочкой в материнский живот. Другие уже взбрыкивали, как неловкие заводные игрушки. Еще не отелившиеся важенки с отвисшими животами бродили по снегу, искали укромное место. Они ложились в вырытую копытами яму, и оттуда торчали лишь их спины и головы. Глаза важенок, казалось, были наполнены материнской мудростью и печалью. Над всей долиной держался, или так мне казалось, влажный запах крови, запах животного чрева, сырой земли и еще какой-то острый, щекочущий, властный аромат жизни. От него

у меня кружилась голова. Мне хотелось бежать от этой вековечной идиллии, от влажных покорных глаз, от запахов, которые бьют в мозг и подгибают колени. Нет, я не для них.

...Когда мы подъехали к котловине, когда увидели рассыпанные по ней группы оленей, в Саяпина точно шприц воткнули.

— Останови! — приказал он. Но Лошак невозмутимо держал кончиками пальцев свои рычаги, и вездеход с ревом месил снег.

— Останови, говорю, — повторил Саяпин. Он даже не смотрел на Лошака, он смотрел на стадо. Лошак оглянулся на Рулева. Тот кивнул. Вездеход остановился.

— Эх, директор, — сказал Саяпин, он уже открывал дверцу, уже спускался. — Разве стельных пугать можно, это же тебе не картошка, не лук, это зверь. Или ты о картошке не знаешь?

И Саяпин уже чесал к стаду, только валенки его мелькали, и седой венчик волос на затылке сливался с блеском снега. Теперь он, скинув свой полушубок, в одном свитерочке с закатанными рукавами мотался среди этого новорожденного мяса. Он что-то бормотал, посвистывал, и, видно, была в этом сила и власть, потому что оленята покорно шли ему на руки, и важенки доверчиво смотрели на него. И был Саяпин как господь бог Саваоф, создающий твари земные в солнечный апрельский день в горной котловине где-то в закоулках Азиатского материка.

Брезгливость и тошнота подкатили мне к горлу, я повернулся и пошел к опушке, где виднелась палатка и конус пастушьего чума. Около чума возились два зашитых в мех пацаненка. А может, девочки, не разобрать в этих оранжевых оленьих комбинезончиках. Увидев меня, они кинулись в чум, и я услышал хихиканье и увидел два нестерпимо блестящих глаза в щелке разошедшейся шкуры. Я вошел в палатку. Здесь было благолепие. Изнутри палатки был фланелевый голубой подпалатник, натянуто все это было туго. У дальней стенки стояла маленькая железная печь. По бокам длинные нары, устланные шкурами. Низенький столик. На столике «Спидола». Тихонечко завывала труба какого-то зарубежного джаза. На нарах спали мертвым сном два молодых пастуха. Толя Шпиц и Мышь — рулевские кадры — сидели рядышком около холодной печки и смотрели на меня.

— Привет, — сказал я.

— Здравствуйте. — Они ответили почти хором.

Мы закурили. Пастухи спали бесшумно и неподвижно — ни дыхания, ни сопения, — два выключенных неподвижных тела, из которых ушла душа.

— Как из розетки выдернули, — Шпиц кивнул на них и улыбнулся.

— Товарищ директор приехал? — спросил Мышь. Он сильно загорел, похудел, и серые его волосы казались сейчас белыми. Вокруг круглых глаз лежала сеточка морщин. От солнца. Морщины были белыми, они разбегались белыми лучиками на коричневом лице, казалось, он нанес их краской.

— Приехал, — сказал я.

— Хочу уходить, — Мышь вздохнул.

— Почему?

— В себя пришел. Работа, конечно, здоровая. Но — одиноко. У стада ночь торчишь, чего не передумаешь. Всю жизнь — до и после, раньше и потом. Спасибо Семену Семеновичу, он меня спас. Вытащил из разрухи.

Шпиц молчал. Видно, долгими ночами у них все было переговорено.

— Не-е! Я не обижаюсь, — монотонно продолжал Мышь. — Ребята все хорошие, все справедливо. Но — наука. Этих оленей всю жизнь учить надо. Хотя работа здоровая. Специалистом тут надо быть. Я же не специалист... Закройщик я. — Мышь поднял на меня глаза, чтобы проверить впечатление. — У нас в Горбуле я главный закройщик. Товарищи из райкома, райисполкома, и жены их, и офицеры из военного городка никогда в область не ездили. Всем я шил. Все были довольны.

— Как же здесь очутился?

— Теща! Хай она сгине. Через тещу и с женой пошли ссоры. Мечтать я люблю. Книжки читать. «Мир приключений». «Ветер странствий». Про одиночные плавания через океан — тоже. А у тещи, хай она сгине, одна мечта, чтобы с клиентов червонцев побольше брать. Я брал, конечно. Но ведь знакомые все, совесть тоже надо иметь! А больше всего книжки мои их раздражали. Ну, читаю, ну, отдыхаю после трудов. Имею право. Скандал. Жена, между прочим, не работала, теща тоже. Сбежал я от них. Довели до точки. Клиент один у нас отдыхал в Горбуле. Я три костюма ему сделал. Из «жатки». Хорошие костюмы. Ну, он мне и напел этих песен. Ну, а здесь... Работы по специальности не нашел, пробовал бить шурфы — не с моими руками. Потом милиция меня за загорбок — по письму тещину и жены. Пока

выяснили, что никакой я не алиментщик, все по закону, все путем, месяц в предвариловке просидел. А оттуда прямым путем в эти... в бичи. Вот вся биография.

Мышь излагал все это монотонно, помаргивал выгоревшими ресницами, и вялые кисти его, руки закройщика, лежали на коленях, на засаленных меховых штанах.

— Так что же? Теперь под каблук обратно?

— Не-е. — Мышь хитро улыбнулся. — Сибирь большая. Закройщик нужен. Мне бы документы с работы забрать. Там я не пропаду.

— Не отпустит Рулев, — сказал я.

— Как не отпустит? Не имеет права.

— На что это я не имею права? — весело спросил Рулев. Он стоял во входном отверстии палатки и смотрел внутрь. Наверное, после солнца ничего не мог разглядеть в полумраке.

Пастухи сразу проснулись. Может быть, у них инстинкт такой был — просыпаться, услышав начальственный голос. Какой-то миг оба они лежали с открытыми глазами, и в глазах, как в темных колодцах, еще была пустота сна, отсутствие мысли, потом оба они одновременно сели.

— Ну-ну! — Рулев вошел и стал по солнышку обходить всех, пожимая руки. Я тоже протянул свою. Рулев пожал и мою руку, даже не улыбнулся. Он сел напротив Мыша.

— Ну, излагай, — голос Рулева был добрый. Один из пастухов вышел, и за стенкой палатки застучал топорик. Пастух вошел в палатку с охапкой коротких полешков. Напихал их в печку, поднес спичку. Смолистая лиственница сразу же загорелась. Второй пастух тем временем вышел и принес чайник, набитый льдом. Печка загудела, и в палатке мгновенно стало жарко.

Мышь молчал.

— Слушай, — сказал Рулев все тем же добрым голосом, — я ведь все понимаю. Весна. Тянет куда-то. По бабе томление. Кругом солнце, а жизнь какая-то... с чернотой. Ты на себя посмотри. — Рулев расстегнул куртку и вытащил из внутреннего кармана... зеркальце.

— Чо мне на себя смотреть? Тридцать лет вижу, — пробурчал Мышь. Но Рулев положил зеркальце ему на колени. Мышь посмотрел на себя. Толя Шпиц тоже посмотрел на себя. Вынул грязную, забитую перхотью расческу и причесался.

— Ты на себя посмотри, — продолжал Рулев. —

Ты же сейчас на человека похож. Тебя в Антарктиду посылать можно. Или женить. Лицо крепкое, загорелое. Взгляд умный. Не было у меня фотоаппарата, чтобы показать, каким ты был, когда я тебя подобрал.

— Я чего говорю? — пробурчал Мышь. — Я доброе разве не помню?

— А мне спасибо не надо. Я щедрый. — Рулев закурил. — Но право на совет я заслужил. Заслужил или нет я право дать тебе добрый совет?

— Кто говорит! — пробурчал Мышь.

— Так я говорю. Ну, увезу я тебя. Прямо сейчас. Дам расчет. У тебя на счету деньги кое-какие есть. Получишь. Ну, на билет. Приодеться немного. Ну, там бичи тебя облепят в Столбах — мимо них не пройдешь. И с похмелюги начнет тебя совесть грызть. Был закройщик — гордость районных чуваков и чувих, убежал. Здесь впал в слабость и подобрал тебя добрый человек Семен Семенович Рулев. А ты и ему в карман наложил. Сбежал в самое критическое время. Запьешь ты снова от этих мыслей. Только второй раз я тебя подбирать не буду. Ты это учти.

— Закройщик я, — с тихой тоской сказал Мышь. — Что я тут?

— Тут? — Рулев недоуменно развел руками. — На переднем фронте государственных нужд. Из этой долины ты можешь на всех чуваков страны плевать и гордо смеяться. Такую жизнь, жизнь пастуха, из тысяч двое выносят. Ну ладно, ты слабоват. С декабря будет год, как ты у меня. По северным законам два месяца отпуска. Я тебя отпускаю. С деньгами, с удостоверением отпускника. За это время все твои документы я выцарапаю сюда. Лети! Шествуй гордо и можешь теще ломать мебель, а жене предъявлять ультиматум — либо твоя линия жизни, либо пусть ищет другого мужа. Честно. Просто. И главное — гордо, глупый ты человек. Ну?

Рулев улыбался, прямо освещал всю палатку. Мышь, не поднимая головы, тоже заулыбался, видно, представил картину гордого ультиматума и ломки тещиной мебели. И Шпиц улыбался, не сводя обожающих глаз с Рулева.

— Ты же мне говорил, книжки любишь читать. Про приключения и разные там мореплавания. Я тебе книжек пришлю. С первым транспортом. И винтовку свою сейчас вот тебе оставлю. Будь человеком — тебе тут полный простор.

— Весна мутит, это верно, — виновато заметил Мышь.

— Да я же понимаю. Я на тебя твердо рассчитываю. А минутная слабость — у кого ее не бывает?

Молодые пастухи вернулись в палатку. Они что-то говорили по-своему. Послышались шаги. Кто-то грузно сопел за палаткой. Мы вышли. Это был Саяпин. Руки по локти у него были в крови. Он отмывал их снегом. От него шел запах, каким пахнут внутренности животных.

— Ну как? — спросил Рулев.

— Что — как? — Саяпин поднял голову.

— Как отел?

— Как положено быть в природе, — сказал Саяпин и набрал новую пригоршню снега, стал оттирать мощные белые локти.

В палатке звонко запрыгала крышка чайника, зашипела вода. И через минуту оттуда выполз, заполнил долину горький аромат крепко заваренного чая.

Один пастух вышел, молча взял палку и побежал по истоптанному снегу, куда за изгиб котловины, за мысок и лиственницы уводил взрыхленный перекопыченный снег, след кормящегося оленьего стада.

— За бригадиром помчался, — поглядев ему вслед, сказал Саяпин.

На снегу графически чернела фигурка — Лошак шел от вездехода. Он принес мешок Саяпина и бросил возле него — «забери».

— Не бушуй, милый, — сказал Саяпин.

Лошак промолчал. Саяпин ушел в палатку и вернулся оттуда переодетый в пастушью мехотуру. Сидело все это на нем ладно. Вот только лицо было еще не здешнее и загар не тот — южный, курортный загар.

— Там продукты, газеты, разное барахло, — сказал Рулев, — надо перетаскать.

— На нартах перевезем, — сказал Саяпин. — Вон они едут.

Из-за лесного мыска показались нарты. Ехал бригадир.

...Чай мы пили на улице. Поставили буквой «г» пустые нарты, а на шкуру поставили чайник. Вместе с бригадиром вылезли стеснявшиеся жены пастухов и детишки. С Рулевым они здоровались за руку и хихикали. Видно, вспомнили развеселую эпопею с их вывозкой. Нам они просто кивали. Женщины в чуме скинули свои меховые комбинезоны — керкеры и были в платьях. Из-за торбасов ноги их казались непомерно толстыми.

У них были смешливые скуластые лица и красные ленточки в черных коротких косичках.

Они беспрерывно хихикали, разглядывая нас.

— Вот главный бог по оленям, — сказал бригадиру Рулев и кивнул на Саяпина.

Саяпин поставил кружку на колени и вдруг заговорил с бригадиром на его языке. Язык этого племени имел как бы синкопированные согласные «к» и «г», но у пастухов это получалось мягко. У Саяпина все это звучало грубее, казалось, во рту щелкают косточки. Пастух сказал что-то, потом вдруг обернулся к Рулеву и протянул палец, указывая на Саяпина.

— Са-я-пин? — спросил он.

— Он самый. Во слава! — сказал Рулев.

Надо было видеть, как у бригадира, у молодого пастуха и у женщин мгновенно возникло на лицах одно и то же выражение — тут была отчужденность, уважение и, может быть, даже легкий испуг.

Саяпин ничего этого как бы не замечал. Он долил свою кружку новым чаем, вынул свою коробочку с монпансье, кинул леденец в рот и вдруг, ловко уцепив пацана за материнской спиной, сунул ему в руки всю эту коробку. Пацан исчез за материнскими ногами. Саяпин что-то сказал. Женщины заулыбались. Обращаясь к бригадиру, Саяпин что-то длинно сказал. Я уловил лишь знакомое имя — Кеулькай.

Лицо у бригадира стало непроницаемым. Женщины склонились над детишками, те, вырывая друг у друга, пытались открыть банку.

— Уехал, зачем приехал? — по-русски спросил бригадир.

— Помирать буду здесь, — просто ответил Саяпин. — Поем перед смертью оленины вдоволь, на тайгу погляжу. Здесь и похоронят.

Он опять заговорил на языке бригадира, и опять замелькало имя таинственного Кеулькая. Бригадир отвечал односложно и, как я понял, уклончиво.

Саяпин встал.

— Что ж, мы приехали с пустыми руками, — сказал он. — Вездеход трогать нельзя. Сейчас я на оленях.

Он подошел к запряженным оленям, на которых приехал бригадир, плюхнулся на нарточки, выдернул остол, и олени, сильно выбрасывая копыта, промчались мимо нас, описывая дугу. Шуршали полозья нарты, хлопали по

снегу копыта оленей, и Саяпин как влитой сидел на крохотной нарте — седой краснолицый олений бог.

— Он оленя знает. Не хуже, лучше нашего знает любого оленя, — сказал ему вслед бригадир. И зачем-то сплюнул.

Вечером дежурили два молодых пастуха. Полярный день почти начался, над котловиной висел лишь легкий сумрак. Морозило. И чум и палатка были ярко освещены свечками — Рулев привез два ящика. Саяпин плотно засел в чуме. Мышь, Толя Шпиц, Лошак и мы с Рулевым сидели в палатке. Лошак подергал носом и вдруг вышел. Вскоре из яранги стали доноситься вовсе оживленные голоса и среди них резкий гыкающий смех Лошака.

— Спирта привез зоотехник, — сказал Рулев. — Ах, дед! Ах, олений король.

— Может, пойти? — спросил я.

— Устанавливаются контакты. Зачем мешать? — сказал Рулев и зевнул. Потом он вдруг стал рассказывать смешные истории о том, как он работал рабочим на кондитерской фабрике. Шпиц, Мышь и я, что говорится, животики надорвали от смеха. Потом пришла одна женщина и сказала:

— Кушать пойдем. Зачем на пустой живот хохочете?

В чуме на полу стояло большое блюдо вареного мяса. Тут царили мир и взаимопонимание. Женщины возились у костра. По-моему, их пошатывало. Ребятишки сидели в пологе. Каждый держал в одной ручонке галету, в другой конфету, и еще по конфете было засунуто за каждую щеку. Лошак грыз кость, опершись на локоть. Глаза у него были дикие. Саяпин ножиком снимал с ребра длинную полоску мяса и, не жуя, опускал ее прямо в желудок. Они переговаривались с бригадиром, но слова «Кеулькай» я не слышал. Вареная по кочевому рецепту оленина невесомо проскакивала в желудок. По-моему, ее можно было есть бесконечно. По подбородку у меня и по рукам за манжеты тек мясной сок, но я все ел и ел, никак не мог наглотаться. И запах животного изобилия, от которого утром трещала и кружилась голова, стал не то что приятен мне, но стал чуточку ближе.

Мы уехали через день. Саяпин остался в стаде, чтобы произвести окончательный осмотр и инвентаризацию. С нами поехал Шпиц, чтобы наладить в поселке нашу стационарную радиостанцию, а с собой взять портативную, специально разработанную для северных кочевых

стад. Стадо у нас было одно, и Рулев рассчитывал, что три раза в неделю по часу у нас будет работать по совместительству один из двух аэропортовских радистов.

Перед отъездом Мышь сказал Рулеву:

— Вы это... извините меня за глупость. Я отпуска буду ждать.

— О чем разговор, — сказал Рулев. — Я же тебе всегда верил, Сизов Виталий Кириллыч. — Так я узнал имя и отчество закройщика-пастуха по имени Мышь Маленький.

— Ты, Мышь, не горюй, — басом сказал Шпиц. — Я быстро вернусь. Будем держать связь со всем светом. Филиппины, Гонолулу, Огненная Земля. Я тебя с кем хочешь свяжу.

— Жду, — сказал Мышь и пошел прочь.

Краем уха я подслушал разговор Рулева с Саяпиным. Саяпин жал на то, чтобы разыскать Кеулькая. На вертолете.

— Так и сделаем, — сказал Рулев, — но только со мной.

— Я что, не справлюсь? — обиделся Саяпин.

— Директор-то я. Прошу это запомнить, — жестко сказал Рулев.

— Кто есть начальство, я всегда помню, — сказал Саяпин.

Он передал Лошаку какой-то сверток и тоже ушел. Лошак заливал радиатор вездехода горячей водой. Потом копался в моторе. Ребятишки стояли рядом и смотрели на него, раскрыв рты, хотя, конечно, в свои малые годы вездеходов, самолетов и вертолетов они видали больше, чем средний городской пацан. Лошак был мрачен и деловит. Всю обратную дорогу казалось, что вездеход сам бежал по старому следу. Я думал об обрывке подслушанного разговора между Саяпиным и Рулевым.

— Вот рыбалку организую, и займемся, — сказал Рулев.

— А кто ее будет ставить?

— Из Столбов. По имени Мельпомен, — сказал Рулев.

— Мельпомен-то! Который праведник? — Саяпин хохотнул.

— Что, дело не знает?

— Мельпомен? Дело знает. Только он праведник. А с праведника какая работа? — Саяпин еще раз хохот-

нул, и вот тогда-то он и повернулся к нам широкой спиной, зашагал к чуму.

Все сплеталось, как в детективе. Среди тысячекилометровых пространств действовали знакомые, чем-то связанные между собой люди. Мельпомен, Саяпин, сельскохозяйственный кит Лажников, последний единоличник Кеулькай. Связи эти казались мне странными, может быть, был в них даже элемент уголовщины. Но это уже не мое дело.

Мы заехали на Константинову заимку и забрали там Поручика и Северьяна. Свой «кубаж» они выполнили, и надо было до распутицы вывезти лес. И тот и другой казались одичавшими от сна, загара и грязи.

* * *

В начале мая, как положено, ударили холода, и с северо-запада, из «гнилого угла», пришла пурга. После солнечного апреля она казалась особенно постылой, ненужной. Душа и тело просили лета, тепла. И особенно диким это казалось потому, что уже пришел полярный день, в два часа ночи можно было читать у окна, а за окном свистел ветер, белые струи поземки неслись черт знает куда, и днем и ночью на улицах ни души — все попрятались по домам, и лишь ветер рвал из труб, швырял на землю струи дыма. Тоска!

Рулев, сидя ко мне спиной, писал какую-то хитрую бумагу — может, докладную о развитии совхоза, может, соображения о привлечении всесибирских бичей к нормальному образу жизни, черт его знает. Бумагу, уходя, он клал в стол, стол запирал, а ключ уносил. Уходил он только на радиостанцию. Толя Шпиц оказался не то что великим радистом, но все-таки профессионалом, и рацию он установил, один раз даже связался с райцентром, за тысячу километров от нас по прямой. Я стучал на своей «Колибри» конспект диссертации. Печка горела без передыха, на плите плевался кипятком чайник, а на краешке плиты вздыхала в консервной банке вязкой густоты заварка. Жизнь!

В одну из этих белых ночей нас разбудил стук в дверь. Кто-то кричал и ломился. Рулев сунул ноги в валенки и вышел в сени в одних трусах. Трусы Рулев носил по армейской привычке длинные, как сейчас называют «семейные», и, помню, я спросонок усмехнулся, глядя

на тощую рулевскую спину, тощие ноги его в этих трусах и валенках.

Ввалился засыпанный снегом Мишка-плотник.

— Беда! — сказал он. — Лошак!

— Где? — Рулев уже натягивал штаны.

— Я его на горбу доволок. У вашей завалинки и лежит.

Они с Рулевым вышли и втащили Лошака, как носят труп — за руки и ноги. Но Лошак не был трупом, он стонал. По комнате густо пошел запах спиртного.

— Дуй за Кляушкиным, — приказал Рулев и стал раздевать Лошака. Я слез с койки и, стараясь не дышать, стал помогать ему. Мы стащили мокрые валенки, точнее, они были не мокрые, а замерзшие — где-то Лошак угодил в воду. Рукавиц на Лошаке не было, я видел белые, как хорошая бумага, кисти, и, когда мы переворачивали его, они стукали о пол как деревянные.

— Таз со снегом, — приказал Рулев.

Когда я принес снег, Лошак уже голый лежал на кровати, на живот ему был брошен полушубок, и Рулев растирал снегом ноги его, а мне предложил растирать руки. Руки были твердые, как железо. Появился Кляушкин с чемоданом. Он отстранил Рулева, быстро осмотрел Лошака и констатировал: «Пьяный».

— Я его у ключа подобрал. Услышал — кто-то воет. Собака ли, человек ли. Пошел и вижу — Лошак. Лежит и воет, — сказал Мишка-плотник.

Кляушкин осмотрел руки-ноги и сказал Рулеву:

— Санрейс надо требовать. Срочно.

Рулев ушел. Кляушкин посадил Мишку тереть кисти рук Лошака, а меня приспособил таять воду. Сам он тер ноги. Лошак начал выть. Кляушкин послушал сердце и налил полстакана спирта. Лошака вытошнило, и тут я уж выбежал на улицу, и меня тоже стошнило.

Кляушкин невозмутимо тер и тер белые ступни, Мишка — руки, и Лошак уже не выл, а тихо стонал и бормотал какую-то ерунду.

— Удачно! — сказал, вернувшись, Рулев. — Там какой-то всепогодный пилот объявился. Вылетает. В больницу, что ли, его?

— В больницу его нельзя. Таскать туда-сюда незачем, — сказал Кляушкин. — Будем ждать здесь.

Тянулось это часов шесть. Я слонялся по улице, чтобы не торчать в доме, где пахло перегаром, блевотиной и

где молчаливый неутомимый Кляушкин обрабатывал беспамятного Лошака. И снова я уходил. И снова я приходил.

— Где он спирт взял, где? — спрашивал Рулев.

— Без моего брата не обошлось, — хмуро говорил Мишка. — Хоть кол на голове отеши — чую, тут брат мой замешан.

Я опять уходил и опять приходил и видел спину Кляушкина в белом халате, блевотина была уже убрана, и запах спирта почти исчез, и Лошак опять выл и бормотал чепуху в промежутках.

Самолет — санитарный АН-2 — все-таки прилетел. Рослый пожилой врач в меховом костюме к Лошаку даже не подошел. С Кляушкиным они обнялись и расцеловались. Пока Лошака грузили на носилки, пока несли и пока мы неизвестно зачем тащились за ним, врач расспрашивал Кляушкина о какой-то Тоне, о новой больнице и обещал, что прилетит летом на хариуса. Наверное, он полностью Кляушкину доверял во всем, что касалось диагноза и первичной обработки больных. На прощание он опять обнял Кляушкина, и самолет взмыл, растаял в белом месиве, и гул мотора через минуту оборвал ветер.

Через день пурга исчезла, точно ее и не было. А еще через день с радиостанции пришел Кляушкин и сказал, что Лошаку ампутировали обе ступни и первые фаланги пальцев обеих рук.

— И ничего нельзя было сделать, — сказал Кляушкин. — Ни-че-го.

Солнце жарило, как на Черном море. С крыш ползли и плюхались пласты снега. Прилетели пуночки и расхаживали между домами, как ручные домашние птицы. По-моему, их можно было брать в руки. Это была окончательная весна.

Не знаю почему, но в один и тот же день у того ключа, где Мишка-плотник нашел Лошака, оказался и сам Мишка, и я, и Рулев. А Кляушкин был уже там. Здесь всю зиму из-под снега бил ключик, долбил он многотонную глыбу льда. Сбоку были во льду вырублены ступеньки для тех, кто не ленился сюда ходить за водой.

Когда мы подошли, Кляушкин, не оборачиваясь, сказал:

— Вот она, родная, лежит.

И мы увидели внизу под наледью вытаявшую на солнце бутылку из-под спирта, и баночка консервная была там же. Видно, Лошак где-то выпил, потом куда-то по-

шел, по дороге завернул добавить, и успел, а потом поскользнулся и грохнулся вниз, и вода успела залить ему валенки. Он, видно, пытался ползти, но спирт его сшиб.

— Хошь, узнаю, директор, есть ли тут дела моего брата? — спросил Мишка.

— Узнай, — сказал Рулев.

Новости в таких поселках, как наш, разносятся моментально. Все ушли, я зачем-то остался. Смотрел на лес, на тайгу. Оттуда несло смолистым запахом, там шлепался снег, шевелились кусты. За спиной кто-то всхлипнул. Это был Толя Шпиц. Он все смотрел на бутылку и, по-моему, плакал.

— Никогда я ее, проклятую, в рот не возьму. Никогда, — шептал Толя Шпиц. Пришел Поручик. Он молча и вежливо поздоровался со мной и со Шпицем и тоже стал смотреть на бутылку. По-моему, в глазах у него был ужас.

Притопал Северьян.

— Был вездеходчик, стал самовар, — громко сказал он. — И ежели бы на войне, как все, как кому по судьбе полагается. А чо видим? Видим одну пустую посуду.

Северьян развернулся и пошел обратно. Руки его болтались где-то возле колен, и сгорбленная лесорубной работой спина двигалась тяжко и прочно.

* * *

Дикая история с Лошаком как бы сняла некий грех, висевший над нашим поселком. И весна пришла. Толя Шпиц с рацией отбыл к оленьему стаду. Вездеход вел Мишка-плотник. В колхозе он был шофером, был и трактористом.

— Все на уровне третьего класса и наших дорог, — объяснил он. — Туда доеду, чтобы этого дурачка довезти с электроникой. Обратно не ручаюсь.

Перед тем как занять место в вездеходе, он зачем-то перекрестился, поглядел на синее весеннее небо и сказал:

— Эх, как там мой очаг, как мать-старушка. — Добавил с хорошей улыбкой: — После армии я ее год не понимал. Говорит: «Мишка! Ты бы рубило-то набулацил». Это значит, надо топор наточить. Ты, директор, проследи, чтобы мой старший брат деньги ей не зажиливал. С него будет.

И отбыли они. Ни шиша я в технике не понимал и не

понимаю, но даже мне было ясно, что мотор стучит не так, как у Лошака, и у гусениц лязг другой.

Добирались они неделю. Рулев сильно переживал и ежедневно держал с ними связь по рации. Вначале Мишка задавал вопросы:

— Начальник, от той сопки, которая кривая, вправо брать? А может, не эта кривая? Она просто косенькая, как одна моя подруга жизни.

Но постепенно Мишка вошел во вкус и каждый сеанс заканчивал чем-нибудь вроде: «А вот моя мать, начальник. Ей девяносто годов и весу эдак килограмм тридцать. Она, если на тебя распалится, возьмет за штаны и кинет на печь или там на сеновал. А ежели возьмется тебя переругать, ты, начальник, навек ругаться отвыкнешь».

Было приятно слышать, как с каждым сеансом связи в голосе Мишки возникает лихость человека, познающего себе цену. Последнее его донесение было кратким: «Тут я, начальник. Обратно уже не быть. Все развезло. За машину не боись».

Об обратной дороге, конечно, нечего было думать. Снег на реке лежал метровой толщины водяной кашей — ни плыть, ни ехать. Да и вездеход по здешним местам летом годился разве что гонять по деревне. За околицей начинался бурелом, а если не бурелом, так топкая марь.

Саяпин сообщил, что стадо почти удвоилось и, таким образом, к осени надо думать о его разделении. Рулев ждал вертолет.

* * *

Я изменю порядок в повествовании и расскажу, как вернулся Лошак. Был он на костылях, и на ногах его по летнему времени были валенки. Привезли его с аэродрома на аэропортовской машине.

— Зачем ты его сюда? — спросил я Рулева.

— А зачем я его туда? — зло ответил Рулев. — Жену бил, матери за всю жизнь, наверное, копейки не дал, от алиментов спасался. А теперь калекой на их шею? Или, по-твоему, так надо, филолог?

— Не знаю, — сказал я.

— Удобный ты для себя человек, — сказал Рулев.

...Лошак сидел в нашей комнате. Когда он снял валенки, я увидел обмотанные бинтами, кое-где с кровью, культяпки. И такие же культяпки, только без бинтов, но все равно ярко-красные, лежали на коленях. Лицо у Ло-

шака было белым, но не худым, просто белым, как разрезанная картошка.

Рулев куда-то ушел.

— Ты не унывай, Лошак, — сказал я.

— Был Лошак. Только кончился. Теперь Александр Андреич. — И голос у него был какой-то белый.

— Ладно. Александр Андреич.

— Можно — Сашка, — равнодушно ответил Лошак и вдруг быстро заговорил: — Хотел задавиться-повеситься. Лежал и обдумывал, как выйду, как веревку достану, как зубами петлю завяжу. Обдумал. Стал обдумывать, кому какие слова напишу на прощанье и кому это дело доверю. Без последнего слова такому, как я, из мира уйти страшно. Значит, чтобы совсем тебя не было. И вот пока обдумывал я эти слова, понял, что вешаться мне невозможно.

— Почему?

— Как я могу ему, — Лошак сказал это шепотом и мотнул головой в ту сторону, где вроде бы должен был находиться Рулев, — как я могу *ему* на совесть положить такой камень? Ночами, ночами обсуждал я такую мысль. Эх, ночами! Жил я последней свиньей. Он хотел из меня человека сделать. Так буду я человеком! Буду бороться так!

И Лошак поднял вверх красные свои обрубки кистей и задрал кровоточащие бинты на ногах.

— Буду бороться так! — Лошак посмотрел мне в лицо.

Что? Есть тезис, что страдание облагораживает человека. Если хотите, я этот тезис видел своими глазами. Не забыть мне взгляд Лошака.

Через неделю Рулев как-то мимоходом сказал мне:

— Вот что, филолог-юноша, лети-ка в Москву. Сопровождающим с Лошаком. Бесплатно повидаешь жену. Лошаку будут протезы делать. По последнему слову техники и науки.

— Где? Кто?

— Позаботятся без тебя.

— Жить он у меня будет?

— Отказался он у тебя жить. Он у моего брата жить будет.

— Я и не знал, что у тебя брат есть.

— А что ты обо мне знаешь, филолог? — сухо сказал Рулев.

Но я на него не обиделся. До меня добрался заветный

пакетик из забытой людьми и богом деревни Походск. Добрейший старина Гаврилов, председатель Походского сельсовета, прислал мне его по первой же просьбе. В пакетике том были ученические тетради, коряво исписанные химическим карандашом. А карандаш тот держала рука самого Гаврилова, первого председателя Походского колхоза. И были там бесценные протоколы заседаний, в коих считалось число собак, тонны пойманной рыбы и доклады о поддержке Советской власти и международном положении и о том, как «раскулачивали» Гаврю Шкулева.

Постановили. 1. Объявить Гаврю Шкулева кулаком и изъять ездовых собак и запасы рыбы, а самого Шкулева выслать в центральные районы — поселок Нижние Кресты. 2. Ввиду того, что семья Шкулева останется без кормильца, а сам он хороший рыбак и может служить трудовым примером, пункт 1-й считать недействительным. 3. Однако самого Шкулева отныне считать кулаком и врагом мирового пролетариата и не разговаривать с ним до его добровольного вступления в колхоз.

Мы вылетели с Лошаком в Москву. В Москве было лето. Доктор Кляушкин до отлета привел ноги Лошака в сносный порядок, дал запас бинтов и самолично сшил из рукавов телогрейки этакие чехольчики, даже брезентовые подошвы подшил аккуратными косыми стежками. Но бинты не пригодились. Не знаю почему, Лошак меня не терпел. Раньше у нас были сносные отношения. Он отказывался, чтобы я перебинтовал ему ноги, сам ел, зажав ломоть хлеба между культяпками, и сам ходил в туалет. Не знаю, как он там управлялся.

В Москву мы прилетели глубокой ночью. Никто нас не встречал. Только теперь я сообразил, что из-за хлопот с Лошаком не дал телеграмму Лиде — жене. И как-то мельком, как-то с холодком даже вдруг подумал, что почти не вспоминал о ней. Ну, ладно.

Мы взяли такси и поехали по адресу, который дал Рулев. Было это где-то в Новых Черемушках. Нашли дом. Поднялись. Я нажал кнопку звонка. Дверь тотчас открылась, точно стояли за дверью и ждали. Перед нами стоял парень, красивый, как Жерар Филип, киноактер.

— Ну-ну, — сказал он. — Прибыли? Входите.

Парень улыбнулся, и вдруг я увидел у него на лице лучшую из улыбок Рулева и вдруг понял, что мне в ней нравилось — это же была знаменитая «дуэльная» улыбка Жерара Филипа.

— А меня брат-Володя зовут, — сказал парень. — Двоюродный я.

Комнатка у парня была пустая. Человек приходил сюда ночевать, не жил. Я подумал, что сей брат-Володя вот так и живет где-то открыто среди людей и ночует здесь редко.

Лошак позволил ему довести себя до дивана. Брат-Володя сел напротив него и спросил:

— Что, друг, прижало?

— Прижало, — сказал Лошак, и я впервые увидел, как он пусть горько, но улыбнулся.

— Займемся мы с тобой завтра. Все будет лучше, чем у людей. Деньги привез?

— В пиджаке зашиты, — сказал Лошак. — Он сам зашивал.

— Все будет лучше, чем у людей, — повторил брат-Володя. — Водки выпьешь?

— Налей немного, чтобы заснуть, — сказал Лошак. — К твари этой я теперь равнодушен. Отныне и навсегда. Заснуть надо.

Я поехал домой. Такси удалось поймать быстро. После дальних краев, откуда я прибыл, ночная Москва казалась красивым, удобным для жизни городом.

Я поднялся к себе на третий этаж, буксируя картонный ящик с рыбой для Ка Эс. Ключ у меня был, но дверь была закрыта на защелку изнутри. Стоя на площадке, я подивился тому, как быстро обветшал, загадился мой еще столь недавно чистый подъезд.

— Кто там? — спросила Лида.

— Водопроводчик с милицией, — сказал я.

— Это ты? — тихо спросила Лида.

...Все было просто, ясно и гнусно. По ее просьбе я спустился вниз и сел на лавочке. (Она проверила это из окна.) Вскоре из подъезда вышел парень и, не глянув в мою сторону, пошел по улице. Это был Боря. Это был не тот Боря, который устроил мне эту квартиру, это был другой, но все равно это был Боря. Он был в каком-то легком плащике, наверное, очень хорошем. Невдалеке от меня остановился, щелкнула зажигалка. В походке его, во всей его спине было написано простодушное, беззлобное изумление, а может, презрение к мужьям, которые отсутствуют по полгода и прилетают без телеграммы.

Ах, боже ты мой!

Я поднялся, прошел на кухню. На столе стояла початая бутылка коньяка и две рюмки. Я налил себе и, не

чувствуя ни запаха, ни вкуса, выпил. Налил еще и выпил.

Пришла Лида. Она была похудевшая, причесанная, в самом строгом из своих строгих платьев. Я налил еще рюмку и выпил. Она отставила бутылку.

— Между прочим, ты пьешь из его рюмки. И коньяк принес он, — сказала она.

— А мне... с ним, — сказал я. Я впервые в жизни выпил и впервые в жизни выматерился. Такой я человек.

— Ты всегда был слизняк, — сказала она.

Я повторил свой тезис.

— Однако, — сказала она. — На севере ты кое-чему обучился.

— Уйди отсюда, б... — сказал я.

Она курила и рассматривала меня, как некую картину, о которой известно, что это хорошая, известная картина, но надо понять ее внутренний смысл.

— А я все-таки стала завлитом в театре. — Она пустила дым мне в лицо, и подбородочек ее выдвинулся вперед.

— Через этого?

— Ага. Что скажешь?

— А пошла ты! — коньяк уже начинал оказывать свое действие.

— Я постелю тебе на диване, — сказала она.

— Я не буду спать дома. — Я уже решил, что поеду к своим ребятам, брату-Володе и несчастному Лешаку. Мне с ними будет жить проще и лучше.

— Между прочим, у тебя отец умер, — сказала из комнаты Лида.

— Между прочим? — Меня удивил не факт, а то, как это она сказала.

— Телеграмму дали на неправильный адрес. Она шла четыре дня.

— Заткнись!

Я придвинул к себе его коньяк и налил в его рюмку. Я измывался над самим собой, как последний неврастенический хлюпик. Странно, но смерть отца меня нисколько не ошеломила. Со стеклянной ясностью я вдруг понял, что для меня отец умер очень давно, наверное, с тех пор, после тех лет, как он сидел у моей постели в чулане, где я лежал с поврежденной спиной и мне нельзя было шевелиться. Тогда он был мне отец и мать. А потом я ушел, сбежал от него. *Убегая, ты предаешь.*

Ясно и просто, как спички.

Грязь и боль, все смешалось. Может быть, поэтому сработал какой-то переключатель, и я стал думать о вещах, вовсе далеких от измены жены и смерти отца.

Лишь мелькнула мысль о том, что я собирался поехать к брату-Володе.

И еще о расписке на отцовский дом, которую я дал матери задолго до смерти отца.

И о Мельпомене. Он прилетел к нам перед самым вскрытием реки. Северьян и Поручик с утра ждали его на аэродроме. АН-2, арендованный совхозом, плюхнулся, подрулил, выскочил второй пилот, и неторопливо показался Мельпомен в коротком полушубке и коротко обрезанных резиновых сапогах.

Северьян и Поручик кинулись к нему, как малые дети, но где-то на полдороге застеснялись и чинно протянули ладошки.

— Рыбачить со мной будете? — сразу спросил Мельпомен.

— С удовольствием, — сказал Поручик.

— А то! — сказал Северьян.

— Тогда таскайте. — И Мельпомен первый полез обратно в фюзеляж. Оттуда полетели мешки с сетями, связки наплавов из пенопласта, нанизанные, как бублики, проволочные кольцевые грузила для сетей. Затем Мельпомен лично вынес два плотницких топора с калошами, надетыми на острия.

— Да ить топоры-то! Да неужто мы тут без топоров живем! — донесся возглас Северьяна.

Они перетаскали все это к аэропортовской избе и затем стали выносить пачки связанных проволокой досок. Даже я видел, что это очень хорошие, отборные доски, распиленные и просушенные надлежащим образом, что в них нет сучков, трещин, косых слоев и так далее. Северьян таскал эти пачки, как ценности. По-моему, руку мне он жал куда менее бережно. Поручик вынес замотанный в старую телогрейку подвесной мотор. Мельпомен вымел веничком оставшийся мусор, стряхнул его на аэродромное железо и сказал в пространство: «Все! Прилетел я, ребята!»

А аэродромные ребята уже щупали кольца-грузила, лезли в мешки с сетями, ковыряли пенопласт наплавов, и было видно, что в каждом из здешних сидит рыбак и они отчаянно завидуют Мельпомену — вольному человеку, который сменил мундир юриста на почтенный рыбацкий труд.

Мельпомен поздоровался с ними со всеми по-дружески, вежливо. Неожиданно появился Саяпин. Его неделю назад вывезли из стада вертолетом. Как и Мельпомен, он был в коротком полушубке и коротких резиновых сапогах. Была в них похожесть.

— А-а! Праведник объявился, — сказал Саяпин. Он как-то нехорошо улыбался.

Мельпомен вскинул голову: «И ты здесь? Ну-ну!»

Саяпин отвернулся и полез наверх, к метеорологам.

— Пойдемте, я отведу вас в приготовленное жилье, — вежливо сказал Поручик.

— Избу уж натопили. Ждем, — бухнул Северьян.

Мельпомен оглядел сети, прошелся как-то по лицам аэропортовских, поднял голову на будочку метеорологов, куда улез Саяпин, и сказал:

— Сети, грузила надо с собой прихватить. И доски.

Аэропортовские рассмеялись.

— Да бери нашу машину. Вон Дядьвась идет. Дядьвась! Подкати телегу, будешь все лето с рыбой!

Дядьвась издали оценил обстановку — бывалый северный человек — и пошел заводить грузовик.

Какая собака, когда пробежала между Саяпиным и Мельпоменом?

Что за Боря № 2 возник между мной и бывшей женой?

Что было между матерью и умершим отцом?

Не знаю. Лучше о другом.

К примеру. Я видел счастливых людей.

Я видел счастливых людей под яростным солнцем конца мая на Севере. На берегу протоки, подходившей к проселку, Мельпомен организовал свой рыбацкий стан. Тут была верфь для лодок, и колья для растягивания сетей, и котел для смолы, и тут неизменно горел костер с неизменно висящим над ним чайником.

Северьян в своем свитерке из груды лиственниц вырубал кокоры для лодочных шпангоутов, Мельпомен сортировал доски, а Поручик с цигаркой в зубах перемещался меж полотнищ сетей и штопал разные малые дырки. Не знаю, как на лесорубной работе, но здесь Поручик вовсе не походил на человека, который когда-то в Вене пил кофе со сливками. Это был небритый, худощавый малый в грязноватой рубашке, обвисших брезентовых штанах, и лишь взгляд у Поручика оставался прежним: виноватым,

внимательным, ласковым и все понимающим одновременно. Он был здесь на месте. Северьян бубнил что-то нечленораздельное, крушил листвяк, по-моему, больше пальцами, чем топором, а Мельпомен с перворазным изумлением говорил: «Вот доска, так это доска-а! Мы ее на борт пустим».

А однажды я увидел, что они работают вчетвером. Четвертым был Рулев. Он присоединился к Поручику и штопал сети с не меньшей сноровкой, чем тот. Они работали и изредка обменивались взглядами, и я даже возревновал Поручика, ибо раньше лишь мне Поручик выражал взглядом тайное родство и сходство наших заблудших душ.

Рулев проработал весь день и к вечеру был обгорелым от солнца, точно вернулся с Кавказа. Он сидел у окошечка нашей комнаты, смотрел в синеватый свет за окном и вдруг сказал:

— А ну бы все к черту! — И сам себе ответил: — Нельзя!

Я вжился в роль рулевского секретаря и знал, когда не надо к нему лезть с разговорами. Посему я молчал, делал себе конспектик работы.

— А Мельпомен наш с бо-ольшой заносцей мужик, — сказал Рулев добрым голосом, я чувствовал, что он улыбается. Я видел на фоне окна рулевский профиль. Я вдруг заметил, что он отяжелел со времен нашего знакомства, не было той городской обаятельной легкости. И умные залысины Рулева как-то раплылись, стали шире, и отяжелели щеки. И как бы чувствуя мои мысли, Рулев сказал сам себе, это уж точно:

— Директор! Да!

И снова передо мной поплыло солнце, и три фигуры на берегу протоки, и дым костра у воды и... наверное, тогда я и заснул.

Проснулся я утром. Я спал, положив голову на стол. Прежде всего я взял бутылку и рюмку и вынес все это в мусоропровод. И лишь потом увидел записку на холодильнике: «Несколько дней поживу у подруги. Давай разойдемся по-человечески. А по-человечески — это значит на моих условиях. Лида».

III

СВЕТЛОЕ И КРАТКОЕ

То лето мне представляется бесконечным, длинным, как день, когда ты поднялся в шесть утра, не имея определенного плана и цели. И, ложась в двенадцатом часу ночи спать, ты думаешь о всяких непредвиденных событиях, которые произошли, и о том, что бывают удивительно длинные дни, и о всяком другом.

Например.

Как историк, занимающийся колхозным строительством в Арктике, я видел ликвидацию последнего единоличника. Может быть, это был последний сельский единоличник в государстве.

Я не знаю, какими путями Саяпин нащупал летний маршрут стада Кеулькая. Может, просто логикой. А когда логика сопряжена с вертолетом, все становится проще.

Когда я прилетел, они уже получили разрешение. Ждали лишь вертолет. И, видимо, позади были какие-то крепкие споры. Я понял это по официальным отношениям между Саяпиным и Рулевым и по тому, что случилось дальше.

Мы вылетели втроем. Саяпин, Рулев и я. Рулев счел необходимым взять меня. Саяпин на это только хмыкнул.

— Фотоаппарат пусть захватит, — сказал он Рулеву, хотя я стоял рядом.

— А я снимать не умею, — сказал я. — В жизни в руках не держал фотоаппарата.

Саяпин вздохнул, и во вздохе этом было: «А что ты вообще-то умеешь?»

Мы вылетели в восемь утра. Дырчатая железная полоса аэродрома была мокрой от ночного дождика. Лиственницы за взлетной дорожкой уже начали желтеть, и где-то в глубинах их ползли тихие клочья тумана. Была тишина, птицы почему-то молчали, и из колхозного поселка доносились резкие и редкие человеческие голоса. Потом вдруг резко затрещал пускач, и тотчас мирно и убаюкивающе заклокотал дизель — это опробовали поселковую электростанцию. Дизель и все оборудование для нее завезли самолетами, и вместе с тяжелыми замасленными ящиками прибыли два новых жителя — один специалист по установке этих малых электростанций, в меховой куртке, и еще трясущаяся личность — будущий

дизелист, которого Рулев подобрал, по своему обыкновению, на какой-то человеческой свалке.

Вертолет оглушительно дребезжал. Я сел на скользкую металлическую лавочку, тоскливо посмотрел на красную надпись «Не курить» и прильнул к иллюминатору. Вертолет вначале пошел косо, как лист, гонимый осенним ветром, потом выровнялся. Внизу была наша Река. Она блестела десятками проток, зеленела островами, и дальше шли серые сухие русла, тайга, а еще дальше желтая, заросшая осокой равнина с рыжими пятнами марей, где-то на одной из них Щербаковская заимка, а еще дальше уже синели голые хребты.

Мы шли над рекой, и где-то минут через десять я, честное слово, увидел рыбацкий стан Мельпомена — две четкие палатки на берегу тихой и гладкой заводи, был дым от костра, и по заводи, как водяной жучок, двигалась моторка, и от носа ее разбегались усы. У меня вдруг кольнуло сердце от той тишины. Там, внизу, людей я, конечно, не успел рассмотреть, но увидел дым костра, потом все это исчезло, и остался лишь железный грохот.

Саяпин вынул из-за пазухи сложенный лист карты, посмотрел на него и по железной лесенке полез наверх, в кабину пилотов. Рулев полулежал на своей металлической лавочке и не смотрел ни на меня, ни на ноги Саяпина, торчавшие из кабины на лесенке, ни в иллюминатор. Он смотрел в трясущийся металлический потолок.

Через полчаса вертолет снова накренился. Река исчезла. Под нами осталась тайга, сверху она была совсем рыжей, и чем дальше, тем рыжее, ее прорезали какие-то малые ручейки, они были сверху серыми от гальки, и в серости этой изредка отблескивала вода. Я все смотрел, смотрел, пока не зарябило в глазах, потом отвернулся, а когда посмотрел снова, то мы уже шли вверх, под нами был черный и серый от лишайников камень хребта. Кое-где в хребты врезались широкие цирки верховьев ручьев, и они были ярко-красными. Я знал, что это от полярной березки, которая краснеет от увядания.

Вертолет грохотал и грохотал. Хотелось спать. И Рулев перестал разглядывать трясущийся потолок, закрыл глаза. Я, наверное, задремал, потому что очнулся от толчка. Толкал меня Саяпин и что-то кричал. Я угадал слово «Есть!», а Рулев уже смотрел в иллюминатор.

Саяпин возбужденно полез снова вверх по лесенке. Я смотрел и видел лишь красный от увядшей березки цирк, дальше серые камни склона, еще дальше черную

щебенку. Вертолет накренился в одну сторону, в другую, и вдруг я увидел на краю красного и серого пеструю ленту, она двигалась, была живой. То было оленье стадо. Вертолет стал снижаться, и я успел увидеть в самом центре цирка островерхий пастуший чум и дымок костра. Костра Кеулькая. Последнего единоличника в государстве.

Вертолет сел на желтой травянистой полянке, окруженной желтыми лиственницами. После грохота настала тишина. Мы спрыгнули на твердые кочки, и вдруг показалось, что ничего этого не было, ни пестрой ленты оленьего стада, ни четкого силуэта чума. Лиственнички и тишина и еще запах бензина, который здесь, на земле, чувствовался почему-то острее, чем в вертолете.

— Там! — сказал Саяпин и махнул рукой. На плече у него откуда-то взялся карабин.

Второй пилот и бортмеханик спустились на землю вслед за ним. А командир остался в кресле и смотрел на нас с высоты, отодвинув форточку.

— Оставь карабин, — сказал Рулев. Но Саяпин уже споро двинулся к лиственничкам. Рулев в два счета догнал его.

— Оставь карабин, — сказал Рулев. Саяпин остановился, и какое-то время они с Рулевым смотрели друг на друга. Рулев протянул руку, снял с плеча Саяпина ремень и вернулся к вертолету. Он сунул карабин в руки второго пилота, совсем молоденького, в аккуратной летной форме.

Саяпин топтался на месте.

— Пойдем, — сказал мне Рулев.

И мы пошли. Впереди шел Саяпин, за ним Рулев, последним шел я. Саяпин споро месил землю своими кирзовыми сапогами, Рулев шел, а я скоро начал задыхаться. Но мы уже вошли в лиственнички, они были редкими, а земля между ними щебенистой и твердой. Эти двое ходили куда как лучше меня, они шли затылок в затылок, а я то шагал широко, то пускался в мелкую пробежку, и молотилось сердце, и липкий нехороший пот закрывал лицо и спину. «Курить надо бросать, — думал я, — курить надо бросать». Я уже не думал ни о чем, только бы не отстать.

И вдруг Саяпин остановился.

— Сейчас выйдем, — сказал он. И добавил: — Или убегает. Или с винтовкой залег. Зря карабин не взяли.

— А что бы ты делал с ним? — спросил Рулев, гля-

дя в сторону. — Стрелял бы, что ли? Таких полномочий нам не давали.

Саяпин промолчал.

— Пошли, — сказал Рулев. — Пусти-ка меня вперед. В тебя, Саяпин, стрельнуть могут.

И Рулев неторопливо пошел вперед. Саяпин тяжко ступал за ним и все смотрел вперед.

Лиственнички кончились.

И тут я увидел метрах в двухстах чум на красной поляне, за ним были горы, гладкий хребет полого убегал вверх в бледное небо. У чума все так же дымился костер, и я увидел фигуру, которая сидела у костра лицом к нам.

— Идите за мной метрах в пятидесяти, — сказал Рулев и, не оглядываясь, пошел вперед. Когда до костра осталось метров сто, Рулев раскинул руки и распахнул куртку, показывая, что у него нет оружия. Фигура у костра не шевельнулась.

Это был глубокий старик. Он сидел, скрестив ноги, и смотрел на нас с Саяпиным. Я слышал, как Рулев сказал «здравствуйте», но старик не повернул головы. Рулев сел. Старик смотрел на одного Саяпина. Мы подошли к костру. Сели. Я не видел в глазах старика страха, пожалуй, в них была усталость и еще какой-то вопрос. Я поздоровался, старик не ответил. Он смотрел на Саяпина. Тот сел на корточки как раз через костер от старика. Саяпин молчал. Молчали и мы. Из-за перистых облаков вышло солнце, и поляна вспыхнула темно-красным светом, а дым костра вдруг посинел. Было тихо.

Я рассматривал старика. Он был без бороды и совершенно сед. Вытертая летняя кухлянка была надета на голое тело, и в вороте я видел темно-коричневую сморщенную кожу на груди, и лицо старика было темно-коричневым, как кожа на старом потертом портфеле. И вдруг я вспомнил. Я вспомнил однажды пришедшее ко мне удивление. Был у меня такой период в жизни, когда я шатался по музеям. Мне нравилась тишина, которая была в них, и, наверное, я хотел найти в себе такую же тишину. И разглядывая портреты работы старых мастеров, я вдруг поразился однажды силе страстей, которая была на лицах умерших сотни лет назад кардиналов, пап, герцогов, неизвестных мужчин. Их лица были выразительны. В них была жестокость, алчность, скупость, в них был характер. И долго потом после этого удивления я не мог привыкнуть к лицам в метро и на улице, они казались бледными промокашками с полувы-

сохшего текста жизни. Лишь позднее, гораздо позднее я встретил подобные лица у старых летчиков полярной авиации, лица, в которых была жизнь и характер, а не мелкая каждодневная суета.

У Кеулькая было грубое, морщинистое, загорелое лицо человека, имевшего страсти.

Старик все так же смотрел на Саяпина и вдруг что-то сказал. Голос у него был тихий и хриплый.

— Жалеет, что не убил меня, — громко перевел Саяпин и тут же ответил старику. Старик сунул руку за пазуху и вынул деревянную пастушью трубку. К трубке был привязан кисет из почерневшей от пота и времени кожи. Старик набил трубку, как я заметил, самой обыкновенной махоркой. Теперь он смотрел на Рулева. Он снова что-то сказал.

— Говорит, что устал бегать. Что мы можем убить его, если нам хочется. Он устал бегать. Он старый, — перевел Саяпин. Из чума вдруг вышел парень лет двадцати. Он был в пастушьей обычной одежде, и, по-моему, он был эвенк, только у эвенков можно встретить эту тонкость, изящество и эти полудетские мягкие и правильные черты лица. Я видел, как дернулся Саяпин и как он вдруг затих, разглядывая парня. Он думал, что выйдет его сын. Но это был явно не его сын. Парень сел рядом со стариком. Он разглядывал нас, и в глазах у него был и испуг и любопытство. Следом вышла женщина. Она была кореняста и неуклюжа. Неуклюжесть эту еще больше подчеркивал меховой комбинезон-керкер, который носят местные женщины. В темные волосы были трогательно вплетены красные, потемневшие от времени и грязи тряпочки. Это и была дочь Кеулькая, которая родила от Саяпина сына.

Женщина села на землю поодаль от нас, за спинами Кеулькая и юноши-эвенка.

Саяпин спросил. Кеулькай ответил, коротко кивнув головой. Я понял, что Саяпин спрашивал о своем сыне, и понял, что сын его сейчас как раз у стада. На женщину Саяпин не смотрел. Они стали переговариваться со стариком короткими, как бы взвешенными на интервалах между ними фразами. Рулев молчал. Молчал и я. Я закурил, перехватив взгляд, каким парень-эвенк смотрел на мои сигареты, и протянул ему пачку. Он смотрел на сигареты, на меня, на старика и не протягивал руки. Я положил пачку перед ним. Парень взял ее. Руки у него были маленькие, женственные и очень пра-

вильной формы, как это бывает у эвенков. Он взял пачку, покрутил ее и вдруг улыбнулся. И тут мне захотелось плакать. Это была дикая, больная и беззащитная улыбка ненормального человека. Он вынул сигарету, взял от костра прутик и стал прикуривать ее с обратного конца, с желтого фильтра. Сигарета не разгоралась.

— Нет, — сказал я. Взял пачку и продемонстрировал, что фильтр надо брать в зубы, и снова положил пачку перед ним. Парень глянул на меня, и в темных узких глазах его мелькнула благодарность, понимание, жажда общения и черт его знает, что там еще было, в этих темных блестящих глазах, глазах больного зверя, которого вы палкой загнали в угол, но почему-то не бьете. А! Говорю — плакать хотелось.

— Это сирота, эвенк. Достался Кеулькаю в подарок от такого же бродяги, как он, — мимоходом обронил Саяпин и продолжал говорить со стариком.

Я улыбнулся парню, и он с такой поспешной готовностью улыбнулся мне своей дикой, обнажающей десны улыбкой, что я отвернулся.

— Сволочи мы, — сказал я Рулеву. — Сволочи и наглецы.

— Почему? — не поднимая головы, тихо спросил Рулев.

— Чего к людям лезем? Они нас не трогают, мы их не должны трогать. Пусть живут так, как им нравится.

— Кому? Кому нравится? — тихо спросил Рулев. — Кеулькаю? Его дочери? Или этому... из магазина подарков? Кому?

Я не ответил.

Кеулькай кратко обронил что-то. Парень тотчас поднялся. Исчез в чуме и тотчас вынырнул из него. Я понял, что Кеулькай отправляет его к стаду, чтобы сменить сына. Парень еще раз оглянулся на костер, на нас. Я видел, как в глазах у него мечется мысль и растерянность. Затем он побежал. Не пошел, а именно побежал, легко выбрасывая тонкие. обтянутые кожаными штанами ноги. Не знаю, какая пружина меня вскинула, но я бросился вслед за ним.

— Эй! — крикнул я. — Эй!

Парень остановился. Я подбежал к нему, сунул в руки пачку сигарет и свою японскую зажигалку. Она была бензиновая, с электровоспламенителем. Кремни ему не нужны, а бензин можно взять у вертолетчиков. Он взял сигареты, по лицу металась пугающая его улыбка,

и, зажав зажигалку, вопросительно посмотрел на меня. Я показал. Я говорил ему о том, что надо заливать бензин, и еще молол что-то. Он щелкнул, посмотрел на пламя. Прикрыл, снова щелкнул.

— Долго нельзя жечь, прикурил и закрывай, — орал я и махал руками.

— Ы! Ы! — сказал парень. — Ы!

Он был немой. Я сунул ему зажигалку в руки и пошел прочь. Он побежал. Он бежал неровно, легко и нервно, как бежали бы мы в ночной темноте в незнакомом переулке, где ямы, мусор и лужи. Он еще остановился и оглянулся и, увидев, что я смотрю вслед, тут же метнулся дальше. И исчез.

— Переведи ему, — говорил у костра Рулев, — что я предлагаю ему продать оленей совхозу.

— Лучше убить его. Он оленевод и не может жить без оленей, — перевел ответ Саяпин.

— Он останется при своих оленях. Я назначу его бригадиром, хозяином стада. Он будет жить при нем до конца своих дней, — терпеливо сказал Рулев.

Саяпин перевел.

Кеулькай молчал, видно, обдумывая это странное предложение.

— Переведи. Он старый человек. Зачем он лишает жизни дочь, внука, приемного сына. Все равно впереди у них ничего нет.

Саяпин перевел.

Кеулькай молчал.

— Его никто не тронет. С совхозным стадом он будет кочевать открыто. Будет чай, мука, патроны — все, что они хотят.

Саяпин перевел.

— Он все равно будет богатый человек. За стадо он получит деньги, которых нет у нас всех вместе взятых, — сказал Рулев.

Кеулькай молчал.

Женщина встала и вскоре пришла с чайником. Чайник был странной формы, на лоснящихся боках его блестели капельки воды. Она поставила чайник у костра, потом принесла прокопченную деревянную треногу. С треноги свисала простая капканная цепочка. Она поставила треногу над костром и зацепила крючок на дужке чайника за цепочку. Саяпин пододвинул в кучу прутики и перевесил чайник чуть ниже. Он глянул на жен-

щину и чуть усмехнулся. Но она уже сидела неподвижно и смотрела куда-то в долину.

Чайник закипел. Она поднялась и вернулась из чума с мешочком. В мешочке был истолченный кирпичный чай вперемешку с брусничными листьями и какими-то корешками. Она сняла чайник. Но Рулев движением руки остановил ее. Он открыл полевую сумку и вынул из сумки газету. Расстелив газетку, Рулев с какой-то бережной тщательностью прижал камушками ее углы и положил на газету три пачки плиточного чая. Я видел, что дочь Кеулькая обрадовалась. Она отломила от одной пачки кусок и бросила его в чайник. Саяпин снова повесил чайник на цепочку, а когда он запузырился, снял и отставил в сторону. Рулев меж тем вынул из сумки несколько пачек патронов для малопульки, три обоймы винтовочных патронов и картонную коробку патронов для охотничьего карабина калибра 8,2. Он жестом показал все это Кеулькаю.

Кеулькай взял патроны от малопульки и обоймы. Охотничьи патроны он не тронул. Все это исчезло тут же в вырезе кухлянки. Рулев убрал патроны. Дочь Кеулькая унесла чай и принесла нанизанные на палочку кружки.

И в это время послышался топот, и из-за чума вылетел и затормозил, как осаженный конь, огромного роста мужчина в оранжевой летней кухлянке, оранжевых ровдужных штанах, с винтовкой через плечо. Он затормозил, как осаженный конь, по-моему, даже камни брызнули из-под торбасов. И тут же подошел, и сел рядом с Кеулькаем, и посмотрел на нас открыто, дико и выжидающе. У него была правильная фигура, правильной формы лицо с негустыми усами и длинные, точно по моде, волосы. У метисов здесь всегда бывают правильные лица и великолепные правильные фигуры. Это был сын Саяпина. Он все еще тяжело дышал, и глаза его перебегали с Рулева на Саяпина, с Саяпина на меня. Старик тихо сказал ему что-то. Парень задышал еще сильнее и выпрямился. У него был вид человека, который получил единственный шанс в своей жизни и не хочет его упустить.

— Здра-в-ствуй-те, — вдруг с усилием выговорил парень и задышал еще сильнее.

— Скажи ему, — обронил Рулев. — По-моему, он тут всем и заправляет.

Саяпин заговорил.

Парень кивал головой. Саяпин все говорил. Парень кивал головой. Потом он сунул руку за пазуху и вытащил... мои сигареты и, небрежно щелкнув, прикурил от моей зажигалки и небрежно оперся на локоть — крепкий зверь в мехах.

Саяпин вдруг охнул и засмеялся каким-то клохчущим смехом.

— Уже! Отнял! Кровь! Вот что значит кровь, — сквозь смех простонал Саяпин. Я отвернулся.

Саяпин снова заговорил, и парень ответил ему кратко тремя гыркающими резкими словами.

— Он согласен. Все согласны, — торжественно объявил Саяпин. Парень с жадной заинтересованностью смотрел на Рулева. Кеулькай снова закурил свою трубку. У него был вид человека, измученного неизвестной болезнью, и вот теперь ему объявили, что у него рак. Дочь Кеулькая все так же безучастно смотрела в долину.

— Иди, посмотри оленей, — сказал Рулев Саяпину. — Оцени их примерно и прикинь, сколько. Хотя бы с точностью до сотни.

— До десятка угадаю с первого взгляда, — громко ответил Саяпин и тут же обратился к сыну. Тот с готовностью вскочил, метнул только взгляд на отца, на Рулева.

Они ушли. Парень был на голову выше отца и, пожалуй, шире в плечах, хотя Саяпин был куда как кряжист.

— А ты, филолог, топай к вертолетчикам. Скажи, что задерживаемся. Что так надо.

От вертолетчиков я вернулся с бутылкой авиационного бензина. Мне налили ее из отстойника. Я все же надеялся, что зажигалка будет у немого эвенка. Так я хотел, и так должно было быть.

Солнце село ниже. Похолодало. Перистые облака разошлись, и от них остались лишь тонкие белесые ниточки. Рыжая тайга под нами потемнела и стала похожей на старое золото.

Саяпин с сыном вернулись возбужденные. Ну, возбуждение молодого Кеулькая было можно понять. А Саяпин?

— Не олени, а кони! — издали крикнул он. Подошел к Кеулькаю и покровительственно похлопал старика по плечу. — Ну, силен! Ну, специалист. Таких мамонтов вырастить. Все как гвардейцы.

Кеулькай даже не шевельнулся.

— Тысяча четыреста штук, — торжественно сказал Саяпин Рулеву. — Высшая кондиция. Высшая категория. Вот так!

— Надо, чтобы кто-то из них, или отец, или сын, полетел с нами, — сказал Рулев. Он сидел, сгорбившись, и обдумывал что-то свое. — Документы на покупку оформить надо. Бригаду оформить надо. Скажи, что доставим обратно с товарами.

Саяпин сказал.

Молодой Кеулькай тревожно выпрямился, и на лбу у него выступил пот. И тут же он трижды кивнул. Дочь Кеулькая стала что-то монотонно перечислять. И старик безучастно обронил несколько фраз.

— Заказы дает. Говорят, что будут ждать на этом же месте, — торжественно объявил Саяпин.

Зажигалку я так и не забрал.

В вертолете молодой Кеулькай сидел безучастно и неподвижно. Чего-чего, а гордости у него хватало.

В правлении я был свидетелем того, как на счет бригадира Кеулькая было начислено двадцать семь тысяч рублей в новых деньгах.

Двести рублей молодой Кеулькай получил наличными и отбыл в сопровождении Саяпина с грузом муки, ситца, чая, сахара, конфет, табака, папирос, винтовочных патронов. Я научил его обращению с зажигалкой и передал через Саяпина, что принадлежит она немому пастуху Эму. Ему же я послал блок сигарет «ВТ». Одним словом, осчастливил.

* * *

Как раз выяснилось, где Лошак раздобыл спирт. Так это происходило. Еще весной, когда мы ездили в стадо, Саяпин отправил с Лошаком четыре шкурки пыжика, которые он взял у пастухов. Три шкурки Лошак должен был запаковать, надписать адрес и отправить в Геленджик знакомой Саяпина. Одна шкурка шла Лошаку в качестве гонорара. На нее он и выменял спирт у нашего завхоза — майора-отставника. Из одной шкурки как раз выходила одна шапка. Пыжиковая шапка в те времена стоила семьдесят рублей. Не мог майор устоять.

— Если. Еще раз. И никакой Лажников тебе не поможет, — сказал Рулев Саяпину. — Ты мужик битый. Я знаю. Но я тоже битый. Ты крепкий. Но я тоже крепкий. Помни.

— А мать его перемать! — возмущенно ответил Саяпин. — Ну, свихнулись нынче все на этих мехах. Бабы. Юг. Обещал я прислать. Мне эти бабы еще пригодятся, еще я живой. Пропади оно пропадом! А мне не грози, директор, не надо.

Было все это в нашей комнате, и Рулев сидел, уставившись в единственное окно, а Саяпин с шумом пил чай.

— Мне эти меха только одно место подтирать, — сказал, уходя, Саяпин. — На кой они мне нужны? Кому обещал, выслал, а так... я на них на всю жизнь насмотрелся.

— Пиши объяснительную, — сказал Рулев майору Федору Филипповичу. — Как обменял шкурку, как из-за этого погиб человек.

— Не буду, — сказал кладовщик. — Не буду.

Было видно, что он отчаянно трусит, и еще было видно, что он крепко округлился и посвежел в родной атмосфере накладных, фактур и отчетных ведомостей.

— Не будешь — передам дело в суд, — сказал Рулев.

Майор сел и написал. «Мною был произведен фактический обмен 1 (одной) бутылки спирта на 1 (одну) шкурку пыжика, которую мне предложил вездеходчик совхоза Глушенко А. А.». Подпись.

— А почему не написал, что из этого получилось? — спросил Рулев.

— А я мог это знать? — резонно возразил майор.

— Тогда поставь дату, когда был произведен этот фактический обмен, и подпишись.

— Уволюсь, — сказал майор, выполнив требование Рулева.

— Не-е! — усмехнулся Рулев и повернулся к нему от своего излюбленного оконца. — Не дам я тебе уволиться.

— Почему? — испуганно спросил майор.

— Во-первых, ты у меня на крючке. Значит, воровать будешь с оглядкой. Во-вторых, здесь у меня твой брат, который тебя насквозь видит. Он об этой бутылке и о том, что ты ее дал, сказал четыре месяца тому назад.

— Мишка! — с ненавистью произнес майор.

— Ну и, в-третьих, ты отлично знаешь, что такую хлебную должность тебе в этих краях нигде не добыть. Контингент, Федор Филиппыч, у меня в основном со

странностями. Алкоголика ставить завхозом я не могу. Ты у меня будешь завхозом. Понятно?

— Грубить-то зачем? — вздохнул майор. — Ну, дал слабинку. А кто ж его знал, что будет? А кто ж ее не дает, слабинку-то?

— Такие вещи учительница начальных классов знает, — ответил Рулев, и голос у него был жесткий. — Мы взрослые мужики. И обязаны думать как взрослые мужики.

* * *

Получилось так, что первым реальным продуктом, который выдал внешнему миру оленеводческий совхоз Рулева, оказалась рыба. Рыбу эту поймал, приготовил к продаже Мельпомен. Его моторка с широкой плоскодонкой на прицепе спустилась с заводей верхнего течения реки. В моторке и плоскодонке лежали аккуратно завязанные бумажные мешки. В таких мешках возят почту. За сотню метров от них шел запах копчения — запах рыбы, хорошего дыма и еще чего-то, от чего набегает слюна. В мешках была тонна отборного, слабопосоленного и затем выдержанного в дыму чира — лучшей рыбы северо-востока.

Лодка причалила к берегу поселковой протоки, сразу образовав вокруг себя облако запаха, где к запаху рыбы еще примешивался запах бензина, реки.

Мельпомен вышел на площадку, где они делали лодки и чинили сети, и закурил. Он курил и удовлетворенно рассматривал домики поселка, торчавшую над лесом диспетчерскую вышку аэропорта вдали, новое здание электростанции и тесовый гараж для вездеходов справа. Лицо у Мельпомена было загорелым, тщательно выбритым и умиротворенным. Он неспешно курил и курил свою нескончаемую папиросу, а мимо него туда-обратно бухал сапожищами Северьян, который таскал рыбу на склад. Мельпомен докурил и тоже стал таскать мешки. И я, грешным делом, присоединился. В каждом мешке было килограммов сорок рыбы. Такой груз мне, наверное, разрешил бы носить любой врач. Я отнес два мешка, а когда взялся за третий, Мельпомен сказал:

— Иди, зови директора. Где кладовщик?

Когда мы с Рулевым пришли к гофрированной из американского металла стенке склада, мешки уже были уложены, а Мельпомен и Северьян, добродетельные тру-

женики, разглядывали плоды трудов своих сквозь синий табачный дым.

Мельпомен сказал Рулеву:

— Выбирай любой мешок. Проба.

— Вот этот, — сказал Рулев.

— Вскрой. — Мельпомен протянул Рулеву узкое длинное лезвие — рыбацкий нож.

Рулев вскрыл.

— Суй руку, тащи любой хвост. Пробуй.

Рулев сунул руку и вытащил «хвост».

Рыба была окрашена в оттенки коричневого цвета. Она была распластана со спины, и брюшко ее дымчато и нежно просвечивало на солнце. От нее шел горьковатый и щемящий аромат осени. Рулев держал ее за хвост, и на одном из грудных плавников повисла прозрачная капелька жира. Рулев положил рыбину на мешок, отхватил кус и протянул мне. Потом отрезал себе.

— Такую закусь. Всухую... Грех. — Северьян посмотрел на небо.

Рыба была прекрасна. Она горчила и таяла на языке. Она отдавала сладостью и травой. Нигде я такой рыбы не ел и есть, конечно, не буду.

Рулев отдал нож Мельпомену и вытер руки о штаны.

— Так! Так! — сказал он. — Договорная цена у нас?

— Два пятьдесят за копченую, — ответил Северьян. — Для этих, значит, нефтяников и прочего городского населения Нижних Крестов.

— Нет, — сказал Рулев. — Нет.

Сбоку от него уже топтался наш кладовщик. Мельпомен и ему протянул нож, и он, деликатно отрезав кусок, жевал его. Лицо у майора было задумчивое, а ноги беспокойно топтались на месте.

— Сейчас еще лето, — сказал Рулев. — Значит, народ летит из отпуска или в отпуск. Туда или сюда, но мимо этой рыбы никто не проедет. Около аэропорта. Ларек. Пять рублей килограмм.

— Кто торговать будет? — спросил майор.

— Ты, — ответил Рулев.

— Я торговать не нанимался. Я завхоз.

— Здесь тонна. Проверим на весах. Значит, пять тысяч рублей. Усушка, утруска и прочее. Четыре с половиной тысячи рублей в кассу, Федор Филиппыч.

— Слушаюсь, — сказал майор.

Мельпомен молчал, как будто этот разговор его не касался.

— Эту тонну, ежли летная погода, разберут за день, — рассудительно сказал Северьян.

— Я что думаю, — майор сплюнул шкурку, вытер губы носовым платком. — Усушка, утруска, контакты, конечно, налажу. А если контакты налажены, надо гнать следующий груз. Когда будет другой груз?

— Рыба пошла, — сказал Мельпомен. — Через неделю будет еще тонна копченой. И через неделю еще. А также малосольная в бочках.

— Десять бочек берем для совхоза. Для работников центральной усадьбы.

— Это понятно, — согласился Мельпомен. — Но договор с нефтяниками выполнять надо. Им пойдет в бочках и часть копченой.

— Да, — сказал Рулев. — Конечно.

— Рук не хватает, — вздохнул Мельпомен. — Три хороших заводи рядом. Все сети раскиданы. Проверяем через четыре часа. Я проверяю. Поручик и Северьян пластают и солят. Собственно, я солю, но готовят они. А огонь в коптилке держать некому.

— Вот он будет его держать, — Рулев кивнул на меня. — Он у нас научный сотрудник, ему деньги нужны. Может он у вас заработать?

— А почему нет? Почему нет? — сказал Мельпомен.

— Эт-та у нас-та, — Северьян положил мне на плечо руку, как штангу. — Человека мы не обидим.

Вечером я укладывал в рюкзак свои свитера и шерстяные носки. Рулев, придвинув стол к своему излюбленному окну, заполнял месячную отчетность. Я видел затылок Рулева с длинными прямыми черными волосами, слышал поскрипывание пера и стук его о дно чернильницы — Рулев почему-то не признавал авторучек. Потом скрип пера затих, и я увидел, что Рулев давно уж смотрит в окно. И вздыхает.

— Смешно, — голос Рулева был торжественно грустным. — Лыжня.

— Какая лыжня? — Я знал, что ему нужна реплика.

— Такая. Бежишь ты по лесу на лыжах. Лыжня вправо, ты вправо, она прямо, ты прямо. А свернуть и срезать угол нельзя, потому что кругом снег, целина, а лыжи у тебя узкие, пригодные лишь для лыжни. И она диктует тебе направление. Два выбора у тебя: либо по ней вперед, либо, развернувшись, обратно.

— Не понял, — подал я свою реплику.

— А что понимать? Совхоз у меня становится совхозом. Завтра отправляем первую товарную продукцию. В активе два оленьих стада. Осенью будет три, и будет товарная продукция оленины. И я директор всего. А что у меня есть для директора? Ничего, кроме небольшого знания людей. В экономике я полный дуб. В оленеводстве — дуб трехкратный. И какой идиот сказал, что можно руководить хозяйством без специальных знаний? — Рулев помолчал. И тихо добавил: — Совхоз этот я никому не отдам. Я притащил сюда людей и обязан их довести до черты. Вот что решил: осенью рвану в центр и найду себе заместителя. Обязательно с высшим сельскохозяйственным и обязательно молодого и злого. Все хозяйство — ему. Мне — люди и общая политика. Единственное решение.

— Наверное, единственное, — согласился я.

— Я шлю тебя на рыбалку не для того, чтобы ты коптилку топил. Хотя и это тебе не вредно. Но главное — присмотрись.

— К чему?

— Вообще присмотрись. Ты же дилетант. А дилетанты всегда все хорошо подмечают.

— Попробую, — сказал я. — Хоть и не представляю, что я должен подметить.

— У меня штук сто биографий в башке, — сказал Рулев. — Штук сто медицинских анамнезов. И что? Хоть бы один пошел в бичи по причине «разочарование, душевный надлом, житейская катастрофа». Все пошли «просто так» — спиваются, гибнут без заданной цели, без всяких причин. Это-то меня и бесит, это мне труднее всего. Когда у человека причина или у него цель — легко доказать ему ложность причины и цели. А если ему нечего тебе возразить? Если он только вздыхает и кается? Крепкое желание взять кирпич и трахнуть им по курчавой бестолковке. Но нельзя.

— Почему?

— Любителей «метода кирпича» очень много кругом. А я, видишь ли, всегда любил индивидуальность, всегда любил жить собственным методом, — хмыкнул Рулев.

* * *

«Круговращение бытия», — бормотал я, просыпаясь. И, засыпая под ночные шумы, слабый шорох брезента, какие-то звериные вопли на дальних протоках, я бормо-

тал: «Круговращение бытия». Слова эти прицепились ко мне на рыбалке Мельпомена, и я жил как усыпленный этой лишенной информации фразой: «Круговращение бытия».

Распорядка дня не было. Костер горел круглые сутки, и почти круглые сутки на нем висел трехлитровый чайник с дегтярной заваркой, а рядом стояла черная ведерная кастрюля с ухой. Из ухи густо торчали рыбьи головы и хвосты. Пододвинь, разогрей, зачерпни миску, поешь, сполосни миску в воде, налей кружку чая и высеки спинкой ножа искры из куска сахара, который лежал тут же, в другой кастрюле.

То утром, то поздним вечером, когда дальние сопки становились почти черными, а закат полыхал на полнеба, на реке щелкала, вжикала пружина стартера, начинал тонко трещать мотор, и на заводь выползала лодка. Мельпомен ехал проверять сети. Он возвращался, причаливал ниже лагеря, и Северьян с Поручиком, выпив напоследок по кружке чая, влезали в короткие резиновые сапоги и шли к реке. Разделочный стол был поставлен прямо в воде. Поручик и Северьян входили в воду, набирали на стол груду оловянных скользких чиров и вытаскивали ножи. Вжик — взрезана, вжик — внутренности летят в воду, а рыба тяжко плюхается в цинковое корыто у берега. Когда корыто наполнялось, они цепляли его проволочным крюком и волоком тащили к бочкам, где Мельпомен уже готовил тузлук. Миска серой соли из рогожных мешков, ведро воды, миска соли... «Три, четыре, соль крепкая... воды», — бормотал, священнодействуя, Мельпомен. Рыба плотными пластами укладывалась в сухую бочку, и сверху лился мутный белесоватый от соли тузлук.

— Эти две откатить, уже готовы, в коптилку, — командовал Мельпомен, и Северьян, натужившись, катил по ребру днища забитую соленой рыбой бочку. Он катил ее к брезенту, где лежал ворох коричневых палочек — распорок для брюшка и ворох блестящих от копоти железных крючков. А чуть поодаль лежал м о й т о п о р — легкий, с длинным прямым топорищем и широкой полосой заточки, которую любовно навел для меня Северьян.

Я шел в лес искать сухую лиственницу и сухую ивучозению. Их надо было нарубить на метровые полешки и класть в топку, вырытую в обрыве берега. От топки вверх шла канава, покрытая железными листами и при-

сыпанная галькой, — это был дымовод. Он выходил наверх, в плотно сколоченный брезентовый куб, который круглые сутки сочился дымом. Внутри в три этажа была плотно развешана рыба. Раз в двое суток мы гасили огонь, открывали брезентовую, на рейках дверь и выбирали чуть теплую, пахнущую дымом и жиром рыбу и относили ее на упаковку под брезентовый навес и заполняли коптилку снова. Раз — берется скользкая от рассола рыбья туша, два — меж грудных плавников вставляется деревянная палочка, которая расправляет рыбу в белую пластину, три — около хвоста рядом с позвоночником втыкается острый конец проволочного крючка, который изогнут латинским S, четыре — второй конец крючка цепляется на проволоку, натянутую внутри коптилки.

Когда два верхних ряда были заполнены, я брал топор и шел в лес. Сухой лиственницы и сухой ивы поблизости становилось меньше, и я каждый раз уходил все дальше, в прозрачную сырость тайги, где ноги до колен тонули в путанице полярной березки, и вдруг все это кончалось, и я выходил на сухую протоку. Она была выстлана серой галькой и убегала вдаль и вперед, как лента стратегического шоссе, и вдруг появлялся откуда-то шальной заяц и мчался, заложив уши, по гальке и лужам, или с диким клацанием и шумом вламывался лось и бежал, нес бронзовое литое тело, и галька с шрапнельным свистом вырывалась из-под его копыт, или с шумом, доводящим до сердечного обморока, взрывался под ягодным кустом глухарь.

Тайга была забита черной смородиной, мощные сизые кисти ее свисали с кустов, как грозди винограда «изабелла», здешняя смородина почти не уступала по величине этому винограду, а там, где кончалась смородина, начинался шиповник, и весь нижний этаж тайги был забит красными продолговатыми прозрачными ягодами шиповника. Сквозь мякоть его просвечивали семечки, и так тянулось на сотни километров, как склад витамина С и зверинец.

Как-то Мельпомен и Поручик отмыли, просушили на ветерке две неиспользованные под рыбу бочки, потом с мешками ушли в лес. За какой-то час они набили бочку смородиной, и Северьян взял чурбак и принялся толочь смородину прямо в бочке. Сок брызгал, и Северьян работал чурбаком как поршнем, а сок брызгал и поливал его брезентовую робу и длинное лицо, а Поручик в рас-

стегнутой на груди ковбойке все бегал в лес и приходил обратно с полным мешком смородины. Потом они слили сок в другую деревянную бочку, налив чуть больше половины, и бросили туда две палочки дрожжей. А Поручик вытряхнул полкастрюли с сахаром.

— Для затравки, — сказал Северьян, размазывая сок по лицу.

— Далее процесс пойдет самостоятельно, — сообщил Поручик.

Мельпомен сидел в стороне, курил и поглядывал на своих оживленных кадров, как смотрит отец на взрослых разбаловавшихся сыновей.

Теперь по утрам мы совали кружку в пену над бочкой, пока кружка упруго не утыкалась в жидкость. Мы пили эту темно-красную вишневую жидкость, щипало в носу, было кисло-сладко, и через пять минут голова становилась прозрачной, а жизнь вдруг как бы раскрывала другое измерение, и ты понимал, что жизнь светла, прозрачна и коротка.

— Напиток! — выдыхал Северьян.

— Естественный природный продукт с большим количеством витаминов, — сообщал Поручик, запускал кружку и нес ее Мельпомену.

— Ну-ну, — говорил Мельпомен. Он выпивал свою кружку, и по краям губ и на верхней губе оставался вишневый след, и Мельпомен со своим крупным, покрытым оспой лицом приобретал вид раскрашенного китайского бога.

— А ну! — говорил Мельпомен. — Нам деньги за что платят? — И шел к реке, и от реки тотчас доносился скрип днища лодки по гальке, щелканье стартерной пружины и следом тонкий и оглушительный треск мотора.

Я думаю, это были лучшие дни в моей жизни.

— Человек не токарный станок. Он вообще не станок, — сообщил Мельпомен. Мы сидели с ним у костра, переваривали уху и курили. Был прохладный вечер. Северьян и Поручик, с утра без передыха разделывавшие удачный в это утро улов, ушли спать. Дальние хребты были бархатно-синими, и закат в этот вечер полыхал красным ужасом — представьте себе ровно половину неба, залитую красной дымящейся кровью.

— Нет, не станок, — продолжил Мельпомен, и в голосе его я уловил размышления и грусть. — Нас учили, и мы учим детей, а они будут учить наших внуков, что главное в жизни — это работа. Что работа — единственная функция человека. Это справедливо для машины. А человек? Без работы нет человека, я с этим согласен. Но нет человека, состоящего из одной работы, — пусть другие согласятся со мной.

— С этим доводом трудно не согласиться, — голосом Поручика сказал я. Не знаю, зачем я так сделал, но я сказал, как сказал бы Поручик. Мельпомен внимательно посмотрел мне в глаза. Его серые глаза были чуть покрасневшими, наверное, от постоянных отблесков на воде. Это были умные и внимательные глаза.

— Вот мой брат Саяпин. Или я...

— Как брат?

— Эх вы... наука, — насмешливо вздохнул Мельпомен. — Я тогда в аэропорту заметил, что у вас от любопытства рот приоткрылся. А тайна проста — мы с Саяпиным братья. Отцы у нас разные, а мать одна. Вот что бывает, товарищ научный работник.

Я молчал. Я многому научился, общаясь с Рулевым. Мельпомен неторопливо закурил, бросил головешку обратно в огонь.

— Сейчас расскажу. Зачем — неизвестно. Но расскажу, — ровным голосом сказал он. — Мы оба с Алтая. Из староверов. На Алтае много староверов — бежали еще во времена блистательной императрицы Екатерины. И после тоже бежали. Мать у меня была первой красавицей на деревне. Отдали ее замуж за бедняка. Отдали потому, что он строго жил староверским уставом. Отца я не помню, его кедром придавило во время сбора орехов. Мать вышла замуж второй раз. За богатого вдовца Илью Саяпина. Он мельницу держал, пушнину у местных скупал. И родился Ванька.

— Иван Ильич?

— Для кого Иван Ильич, для меня Ванька. Я его как раз нянчил. В деревне принято, что старший младшего нянчит. Отец его, Илья, меня не обижал. Держал как сына. Но, конечно, наследство для Ваньки метил. И Ванька на этом сломался. Зубки у него прорезались. В общем, в двадцать лет я ушел к дяде по матери в город. Булочки продавать у поездов. Так и школу закончил, и как сын бедняка поступил в университет. К тому времени, как я стал юристом, Илью Саяпина раскула-

чили, и Ванька вместе с ним пошел в ссылку. В ссылке мой отчим и умер. А я вызволил Ваньку. Написал товарищам, что никакой он не кулак, так... под влиянием. И предложил использовать его в сельском хозяйстве, так как у Ваньки с детских лет интерес к коровам и лошадям. Послушали мой совет и отправили Ваньку в тундру. А потом...

Мельпомен закашлялся, потом засмеялся и снова закашлялся.

— Потом мой Ванька, бывший кулак, стал уполномоченным по организации колхозов в глубинке. В глубинке здесь колхозы поздно организовывали. Оно так — организуют колхоз, все путем. А приходит осень или зима — нет колхоза. Укочевал, расплылся на разные стада. Надо снова собирать и организовывать. На этой почве Ванька сильно прославился. Он же двужильный, дьявол, слова «усталость», наверное, до сих пор не знает. Во время войны он был уполномоченным по оленеводству двух районов. Отправлял с обратными пароходами оленину для фронта. Тут его двужильность к месту была. После войны его, по-моему, в область собились переводить. Но я помешал.

Мельпомен улыбнулся и стал смотреть на закат. Закат отражался в его глазах, глаза казались красными, как угли, и зверские их отблески никак не вязались с насмешливым и грустным лицом Мельпомена.

— Когда я погорел, я ведь к нему в Кресты прилетел. А Ванька, прости господь его, дурака, за карьеру свою испугался. Фамилии у нас разные, и он меня знать не знает. Даже незнаком. Но в этих местах разве что скроешь? Может быть, я деду Лыскову рассказал. А может, и не рассказывал. Ситуация: я в землянке живу, Ванька в кабинете ногти кусает. А ногти кусает потому, что прозвище ему Ванька-Каин. Предал собственного брата ради карьеры. Смешнее всего, что карьера Ваньки на этом кончилась. В Крестах ему места нет, одно слово — Ванька-Каин. Поселок маленький, народ простой. Вся тундра это прозвище знает. А в область его не переводят, потому что у него вот такой странный брат. Как раз Ваньке стукнуло пятьдесят, и пошел он на пенсию. Последний год был, когда на пенсию в пятьдесят отправляли. Я, как видишь, остался.

— Как же на фронт вас не взяли? — полюбопытствовал я.

— Я просился. И Ванька, по-моему, тоже. Но ра-

ботали мы в специальной организации. Я ведь подполковник МВД. А Ванька, по-моему, майор. Все это, конечно, по бывшему счету, который теперь отменен.

Мельпомен замолчал. Закат начал уменьшаться, гаснуть, дальние хребты почернели, и над рекой начал рождаться туман.

— Суета сует и всяческая суета, — обронил Мельпомен. — Закручиваем собственную жизнь, как клубок ниток. А в мире есть что? Сеть, рыба, закат. Сын у меня растет правильно. В институт я его посылать не буду. Пусть пощупает жизнь лбом и ладошками, пусть тогда решает, что ему надо. Вы Ванькиного сына видели? В стаде у Кеулькая?

— Видел.

— Ну и что?

— Богатый парень. Двадцать семь тысяч на личном счету. Сильный парень. — Я вспомнил про зажигалку.

— И здесь Ваньке не повезло. У меня зла на него нет. Рыбаки — народ всепрощающий. Из нашего брата апостолы выходили. Я думаю, что, если бы я на него зло держал, отомстить как-то ему старался, Ваньке бы легче жилось. Может быть, даже и помирились бы. А так — он в вашей деревне спрятался, и нет ему хода из нее никуда. Стоят заградительные столбы, и на столбах приколочены доски с надписями: «Ванька-Каин». Ему мимо них не пройти.

* * *

Я открыл дверь московской квартиры как заключенный, которому доверили ключи от собственной камеры-одиночки. В квартире стоял нехороший запах. Шел от чайника, в котором заплесневел чай, и от кастрюли, в которой я перед отъездом варил суп из пакетика. Холодильник заплыл льдом, точно его откопали где-то на Земле Франца-Иосифа. Так я познал правило — если ты живешь один и уезжаешь надолго, дома надо оставлять только чистую посуду и надо размораживать холодильник. А также выносить мусорное ведро.

Я позвонил в институт и сказал, что мой академический отпуск закончен. Там долго переспрашивали: «Кто? Чей отпуск? Какой Возмищев, у нас нет такого».

Быстро меня позабыли.

мым, и я окликнул его. Это оказался сын Мельпомена, бывший морячок Тихоокеанского флота. Лицо и руки у него были в машинном масле, но и за маслом этим было видно, что парень повзрослел, возмужал, погрубел. Я напомнил о себе, но он все равно меня не узнал. Он все беспокойно оглядывался. Я сказал, что хотел бы видеть его отца.

— Пойдемте куда-нибудь, — сказал парень. — А то мать увидит.

Мы отошли за дом, а потом еще дальше, за старое здание больницы. Здесь уже начинался склон сопки, шли лиственницы и пролет полярной березки. На нас сразу набросились комары.

— Увел, чтобы мать не видела, — усаживаясь на землю, сказал он.

— А почему она не должна видеть?

— Никак не успокоится. Отец-то в прошлом году умер.

— Как?

— А никак. Увидели: лодку несет течением. В лодке никого. Подплыли. А там отец мертвый лежит. Разрыв сердца. — Парень вздохнул.

Я промолчал.

— Вы извините. Домой вас не приглашаю. Мать застанет, отца вспомнит, никакой валерьянки не хватит.

— Я адрес директора совхоза ищу. Того, где он рыбу ловил.

— Отец, по-моему, с ним переписывался, — подумав, сказал парень. — Вы посидите, я сбегаю. Если есть — принесу.

Сидел я недолго. Он вернулся с лицевой стороной конверта. На конверте был обратный адрес Рулева.

— Спасибо, — сказал я. — Пойду.

— Извините, руки не подаю. Я дизелистом работаю на электростанции. Все в масле и масле.

— Пока, — сказал я. Я решил, что не стоит спрашивать о Саяпине. О Поручике и Северьяне. Что было, то быльем поросло.

— Всего лучшего.

...В общем-то, мыс Баннерса был мне по пути, если, конечно, удалось бы с него улететь на юг, пересечь здешние тундры и нагорья, чтобы попасть в поселок, где

жили потомки землепроходцев. Так или иначе, я на него залетел. Залетел я на него в вертолете геологоразведчиков, которые здесь искали уже не нефть, а золото. Мы пролетали над речными долинами, в которых тундра была сметена бульдозерными ножами. Мы пролетали над долинами, которые, как заборами, были перегорожены отвалами серой гальки, между этими заборами блестели зеркала прудов, и в тех прудах, как фантастические земноводные, ползали драги и грызли породу челюстями ковшов.

Поселок мыса Баннерса был просто колхозным поселком — несколько десятков домов на берегу океана, на выдвинутом в море низком мысу. Поодаль от него расползлось скопище палаток, над палатками торчали печные трубы, и там ревели дизельные моторы. Геологоразведка. Золото. Мои спутники — молчаливые обветренные ребята, кто с карабином, кто с двухстволкой потопали к этим палаткам. Они пригласили меня к себе с северной простотой. Но я отказался — мне надо было в колхоз. Рулев в этом колхозе работал.

...В этом колхозе я прожил неделю — ждал вертолета к Рулеву. Он жил в ста пятидесяти километрах к югу на перевалбазе. Так называлась в здешних местах изба — жилье, пекарня и склад, куда за продуктами приходили из тундры оленеводы. Каждый колхоз Территории имел сеть таких перевалбаз, чтобы в любой момент пастухи могли поблизости взять нужное для жизни. Штат перевалбазы состоял из заведующего и радиста. Рулев и был этим заведующим.

Целыми днями я сидел на берегу моря. Оно здесь было нешумное и не раздражало сверканием лазури, пижонскими моторками и парусами. Просто море, и лишь изредка в тихом свисте мотора по нему скользил китобойный вельбот. Фигуры охотников в вельботе казались горбатыми из-за свисавших за спиной капюшонов.

Почти каждый день вместе со мной на море приходил рослый ездовой пес. Он садился невдалеке от меня у самой воды. В прибрежной воде, как пробки, колыхались кулики-плавунчики. Волна подносила их к самому носу пса, тот, взвизгнув, кидался в воду, но вода относила плавунчиков обратно в море. Я ни разу не видел, чтобы они взмахнули крыльями или шевельнули лапами, хотя вода подносила их к собачьему носу сантиметров на десять. И ни разу

пес не схватил ни одного из них. Может быть, у них была подписана конвенция о ненападении, и все, что я видел, было просто игрой.

Колхозный поселок днем был пуст. В нем стояла ленивая летняя тишина. И лишь ночью, когда солнце стукалось о дальние зубцы хребтов и начинало снова ползти вверх, поселок оживал. В море сталкивались моторки, около домов разгорались костры, слышались голоса, и чувствовался ритм жизни, движение. Был июнь, разгар полярного дня.

Мы вылетели на юг вместе с председателем колхоза — средних лет мужиком с костромским прищуром серых глаз, истинно русским носом и окающим волжским выговором. Кстати, именно у него Рулев увел пастухов три года назад. Председатель летел на осмотр стад. В одном из них они должны были заночевать, и он обещал захватить меня на обратном пути.

Здесь тундра была просто тундрой, а не угольным следом пожаров.

Через час с небольшим вертолет накренился, резко пошел вниз. Сели. Я сидел и ждал, когда утихнет грохот мотора. Но председатель колхоза махнул мне рукой — вылезай, и я стал открывать дверцу. На помощь спустился второй пилот. Он вытащил из-за оранжевого дополнительного бензобака две сети и протянул их мне. Я развел руками.

— Пусть Рулев поставит, завтра утром снимет. Залетим, заберем рыбу! — прокричал мне в ухо пилот.

Я вылез, ветер сорвал шапку, затряс сети, я, согнувшись, отбежал подальше. Вертолет тут же поднялся. Была изба, озеро в черной оправе берега. А навстречу мне шел Рулев в распахнутой рубашке, без шапки. Лицо у него было черное, а руки белыми. Лишь когда он подошел ближе, я увидел, что лицо Рулева черно то ли от загара, то ли от грязи, а руки были в муке и тесте.

— Филолог! — заорал Рулев. — У меня как раз самогонка поспела. Еще теплая, вонючая. Нажремся, загадим тундру блевотиной.

— Я не филолог. Теперь я историк, — сказал я.

— Ну тогда пойдем в избу, — весело сказал Рулев и зашагал обратно. Точно вчера мы расстались.

В избе было жарко. Пар шел от вмазанной в кирпичи четырехсотлитровой железной бочки.

Посреди комнаты на трех табуретках стояла раз-

резанная пополам деревянная бочка, и Рулев месил в ней тесто. Пахло кислым запахом хлеба, рыбой, табаком.

— Завтра ко мне, понимаешь, за хлебом прибегут. Труженики тундры. Вот готовлю. А на кой черт ты с сетями? У меня этих сетей вагон. Вот живу. Хлеб пеку. Хорошее занятие — хлеб печь. Когда, конечно, научишься. — Рулев без умолку говорил короткими фразами и искоса поглядывал на меня от своей квашни. — Чай на столе горячий, ты наливай сам. Только что пил. Заварка вон в банке. Геологи научили в консервной банке заваривать. Нет, стоп. Ты иди в сени. Срежь гольца, который на тебя посмотрит. У меня тут голец озерный, фирменный. Такого на Территории больше не встретишь. А ты, брат, расплылся. Рожа пухлая. Пиво пьешь, что ли? Бутылочку не захватил?

— Она у меня не пухлая. Она городская, — сказал я.

— Может быть, может быть, — охотно согласился Рулев. — Ты чай-то наливай. Да запусти руку под стол. Там брусника в бочонке. Рыбу почему не берешь?

Я налил себе чая. Выдвинул из-под стола фанерный бочонок. На крышке бочонка стояло блюдечко. Этим блюдечком я и зачерпнул ягоды. Они были прохладные, кисловатые, и нежный крепкий их аромат заполнил избу.

Рулев вышел в сени и вернулся со стопкой железных форм. Он вымыл руки, вытер их грязным полотенцем, висевшим около умывальника, и стал смазывать формы жиром. Он расставил их целый ряд, затем лопаточкой стал наполнять тестом. Запах дрожжей, хлебной кислоты заполнил избу и вытеснил все другие запахи — и рыбы, и табака, и брусники. Потом Рулев обмотал лицо платком так, что остались одни глаза, и открыл верхнюю дверцу печки. Он ловко швырял туда формы, и они с глухим визгом улетали в раскаленные недра.

Потом Рулев еще раз вымыл руки, снял платок и сел за стол. Он налил себе в кружку одной заварки. Кружка была коричневой от чайной накипи. Вид у Рулева был усталый и умиротворенный. Рука, державшая кружку, чуть подрагивала. И вдруг я заметил, что во всегда насмешливых, всегда лихих рулевских глазах где-то далеко внутри прячется страх, тревога, а может, просто тоска.

— Что же мы! — сказал Рулев, точно прочел мои

мысли. Он встал и вышел в сени. Вернулся с гольцом и квадратной бутылкой, наверно, оставленной у него каким-то туристом или начальством. Бутылка была из-под рома, и заткнута она была тряпочкой. Рулев поставил бутылку на край стола, положил гольца на стол и стал быстро строгать его длинным ножом. От гольца только отлетали мягкие розовые прозрачные пластинки, на столе оставалась лишь шкурка. Рулев принес тарелку и рукой сгреб на нее нарезанную рыбу. На тарелке образовалась розовая маслянистая груда. На темной поверхности стола она была похожа на странный цветок.

— Ни лука, ни масла сюда не требуется. Есть надо руками. Ну давай, — Рулев плеснул в стаканы из бутылки.

— Самогон?

— Руководящий напиток, — усмехнулся Рулев. — Летом у меня тут курорт для высоких лиц. Прилетают на охоту, на рыбалку. Коньяк весь выхлещут: «Семен Семенович, ну неужели нельзя организовать?» — Рулев очень похоже изобразил чей-то жирный начальственный бас. — Организовал. Теперь уж без коньяка прилетают. У тебя, говорят, лучше. А как не лучше, когда я по этому делу профессор? Давно я...

Нет, это точно, что в Рулеве что-то сменилось.

Мы выпили. Рулев посмотрел на меня.

— Ну вот, и ты поддавать начал, — сказал он. — И ты, филолог.

— Историк я, — с набитым рыбой ртом сказал я. — Историк.

Рыба была объедение. Она таяла.

— Да, — сказал Рулев. — Да.

— Вертолетчики просили сети поставить. А снимут они сами. Завтра.

— Вертолетчики здесь — люди. Без них мне было бы вовсе тоскливо.

— Один, что ли?

— Зачем? Радист у меня.

— Хороший парень?

— Шпиц. Ты его знаешь.

— Как он сюда попал?

— Как я. Прилепился ко мне, как листочек к асфальту. Теперь вот буду один.

— Почему?

— А он с тобой полетит. В техникум хочу определить парня. Знаешь, радист, конечно, профессия. Но

без диплома в наши-то времена. А так... дипломированный техник. Везде и всюду... В любой дыре государства полный почет.

— А сам-то он?

— А что я скажу, то он и сделает, — убежденно ответил Рулев. — Пойдем сети поставим. Ребята просили — надо сделать.

Мы прошли на берег озера. Был солнечный день. У противоположного берега в воде отражались сопки. Вода была настолько синей, что казалось, ею можно заправлять авторучки.

На берегу лежала перевернутая дюралька. Рядом, накрытый куском брезента, лежал мотор.

Рулев спихнул лодку, бросил на дно сети.

— Мотор нам ни к чему, — сказал он. — Поставим недалеко.

Он сел за весла. Я знал, что у дюральки очень неудобные для гребли весла. Я много чего узнал в бытность на рыбалке у Мельпомена. Но Рулев греб хорошо, умело. Мы двигались вдоль каменного, выглаженного водой и ветрами обрыва. Изба перевалбазы исчезла, а впереди радостно зажелтела полоска песка.

Рулев приткнул лодку и вышел.

— Давай сети, — сказал он. — Помогай.

Мы стали растягивать сети по песку.

— Я сети всегда здесь набираю. Возле дома нельзя — щепки, мусор. В тундре тоже нельзя — травинки разные лезут. А здесь у меня все щепочки, все камушки убраны. Бритый у меня этот песочек, ухожен, как английский газон.

Разговаривая, Рулев ловко набирал сеть — поплавок к поплавку, грузило к грузилу. Теперь останется лишь концевая веревочка, за которую привязать якорь, потом греби, и сеть сама пойдет в воду.

Я сидел на веслах. Рулев следил, как ложится сеть. Ровная нитка поплавков вытягивалась за кормой лодки.

— Правым, правым больше прихватывай, — тихо сказал Рулев. И вдруг меня пронзила сверкающая, как лезвие, мысль: *«Убегая, остановись»*. Может быть, она пришла сейчас, а может, когда я сидел рядом с псом на берегу нешумного полярного моря. А может, еще раньше, гораздо раньше.

Потом Рулев вынимал из печи формы с хлебом, и избу заполнил крепкий и ясный запах.

— Долго ты будешь здесь прятаться? — спросил я. «Убегая, остановись».

— Пока не сделаю анализа прошлых ошибок, — ответил Рулев. Он вытер залитое потом лицо и швырнул полотенце в угол. — Еще сухариков надо насушить. Два пастуха у меня сухарики любят.

Рулев принес из сеней пару черствых буханок и принялся резать их на кубики длинным рыбацким ножом.

— Ты Шпица с собой заберешь? — спросил Рулев. — Помочь ему надо.

— Я ему ключ от квартиры дам. Меня туда возвращаться как-то не тянет.

В сенях затопали шаги. Видимо, Рулев услыхал его гораздо раньше меня, еще на подходе.

Пришел Шпиц, и я увидел пример поглощения личности. Он смотрел в рот Рулеву, разговаривал как Рулев и сидел за столом как Рулев.

На другой день прилетел вертолет, и я отдал Шпицу ключи от своей московской квартиры.

IV

Приложения

Приложение № 1

С. Рулев

ПРЕЗРИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Рассказ

— Все люди — соседи, — сказал он мне. — Все!

— А если я поставлю глухой забор?

— Мальчишки прокрутят в нем дырки. А также в заборах выпадают сучки. Нету глухих заборов. — Я видел, что он смеется надо мной, жалеет мою глупость, глухоту. Я ушел.

Была осень. Березы уже потеряли листья и стояли под дождем, как голые дети. Я их любил. И дождик я тоже любил. В упоенном сим состоянии я сразу за калиткой впоролся в лужу, залил доверху свои драные башмаки. Черт с ним. Мне нравилась эта лужа и то, что ботинки у меня драные. Мне было тридцать пять лет, и я открыл, что до сих пор жил ложными ценностями и устремлениями. Я хотел возвысить и утвердить себя. Зачем и над кем? Мое появление на свет случайно — это счастливый выигрыш, что где-то когда-то был нужный вечер и моя бабка познакомилась с моим дедом. И все люди — мои собратья по случайным явлениям. Жизнь есть совпадение счастливых и несчастных случаев, и мы все соседи-пловцы в потоке времени. Мы стартовали в едином заплыве, и финиш у нас одинаков. Брат-пловец разве не поможет брату-пловцу?

В тот осенний день тридцати пяти лет от роду я полюбил людей... И река времени приняла меня и закружила.

Примечание. Все строки, кроме приведенных здесь, густо зачеркнуты жирным фломастером.

Приложение № 2

ГЛАВА, НЕ ДОПИСАННАЯ ВОЗМИЩЕВЫМ

1

Когда плывешь вниз по Реке в низовьях ее, то каждый раз, пусть это и повторялось уже многократно, поражают желтые песчаные обрывы и лиственнички, ко-

торые бессильно торчат на них. Они не растут прямо, каждая перекособочилась по-своему, а некоторые уже подмыты, уже склонились над этим обрывом, и на будущий год их снесет шалая вода паводка, и их вынесет в Северный Ледовитый океан. Моросит ледяной июльский дождичек, стучит дизельный движок катера, проползают слева заросшие буйным тальником острова, и еще дальше зеленеет смутно низменный левый берег — Низина по-здешнему. Но ты все равно видишь лишь правый, обрывистый и эти лиственнички, которые как бы хотят убежать от обрыва. Правый берег по-здешнему называется Камень. Но и на Низине и на Камне все те же лиственнички, которые как бы бегут на север из тесноты тайги, а с севера в них неумолимо вгрызается тундра, и потому я до сих пор не могу спокойно смотреть на эти деревья, которые зажаты между тайгой и тундрой, мечутся, и каждое дерево здесь находит свой индивидуальный способ выжить. Нет среди них похожих, каждое искривилось, перекособочилось, стоит само по себе.

Один из поселков Реки так и называется — грустно и поэтически — Край Леса. Дальше уже все тундра, «сендуха», со своими законами, природы и людских обычаев, а еще дальше Северный Ледовитый, который уже тоже сам по себе.

Пока ты думаешь все это, сзади неслышно подойдет моторист. Кто-нибудь из Шкулевых, Никулиных или Гавриных — здешних фамилий поречан, чьи предки триста лет назад прорвались сюда через фантастические просторы Сибири. На лице моториста жидкая азиатская поросль щетинки, нос у него рязанский, скулы якутские и глаза, когда он искоса на тебя глянет, готовясь к разговору, вдруг сощурятся эдакой вятской голубизной.

На мотористе замасленный ватник, подпоясанный ниже живота, по-чукотски на ремешке неизменный нож в нерпичьих ножнах, и он, поковыряв кирзовым сапогом палубу катера, вдруг скажет что-нибудь вроде:

— Ну-у! Страсть! Вон справа Митькина протока. Знаешь, что там в прошлом году было?

— Что?

— Приехал, понимаешь, начальник. С серьезным ружьем. Стволина у него — во и внутри нарезы. Желаю, говорит, на медведя. Ну, ты деда Шавро знашь, конешно. Тому что? Выпить? А разве начальник с таким ружьем

без коньяка? Дед Шавро, конешно, говорит: «Вон моя моторка. Берем припас. Сейчас будет медведь». Поплыли. Дед, чтобы видимость сделать, конешно, проехал, моторку в берег приткнул, пошли в лес. И надо же такому случиться — в самом деле навстречу идет медведь. Ну — бывает же! Дед, конешно, к лодке, прибегает, а начальник уже в воду ее спихивает. «А где ружье-то?» — спрашивает дед. Опомнился уже сам. «Я его там... положил», — говорит начальник. Слышь? Положил, говорит.

Моторист уйдет, и опять желтые глинистые обрывы и эти лиственнички. Но ведь стоят же, черт побери, стоят они и дают семя в мерзлую почву, и идут в здешние печи, и на рукоятки ножей, и еще, я помню, один залетный фотограф извел весь запас пленки на эти лиственнички, на немыслимые выверты их стволов.

— Это, — говорил он, — Хокусаи! Хокусаи! Ах, боже мой!

И щелкала камера «Пентакон», и ползал на коленях самозабвенный фотограф, не жалея джинсов, а дед Шавро, незаменимый для приезжих людей, подобрал брошенный фотографом бокс с набором дорогих объективов и глуповато повторил:

— Хокусаи! Мокусаи! По-нашему — лиственница.

И прищуренные глаза его смотрели в спину фотографа с той хитростью и лукавством, с каким только у нас, наверное, и могут смотреть.

2

Давно были те времена, когда я слушал эти слова о Хокусаи, Сальвадоре Дали, об Анненском, а также о Бобе Ильинском, который был гений. Может быть, он и в самом деле был гений, но об этом пока не знают, и узнают, когда Боб Ильинский умрет, а может быть, и тогда не узнают. А может быть, Боб и не гений вовсе, хотя я ровным счетом против него ничего не имею и не могу иметь, так как никогда не видел ни его, ни его картин. Все это видела моя жена, а также ее подруги и те ребята, которые тогда считались моими друзьями.

Во всяком случае, в ту пору я познакомился с Семеном Рулевым, и кажется, он, Сенька Рулев, повернул

мою жизнь вот в это самое русло, а потом сгинул, вынырнул, еще раз сгинул и опять возник. Во всяком случае, он сейчас есть в полутора тысячах...

Найдено снабженцами.
Столбы.

Приложение № 3

СПРАВКА

Рассказы остались недописанными, потому что оба, и Рулев и Возмищев, утонули во время памятной северной катастрофы *.

10.VI. 61 г.

* В рукописи романа есть другой вариант этой справки: «Дальнейшие судьбы героев автору неизвестны, так как жизнь продолжается и до финала (кто его знает?) еще далеко». *(Прим. ред.)*

О так называемом «молодом писателе»

1. Начинающий литератор приходит в редакцию, как правило, все же не из Литературного института и не из журналистики. Скажем так, что он приходит с производства... Наверное, главное, что потрясло меня (буквально) при столкновении с миром профессиональной литературы писательской организации (Московской), — это была рутинность. В качестве начинающего я ходил на заседания комиссии по приключенческой литературе. Я привык к техсоветам, многочасовым заседаниям. Но, как инженер, я привык к разговорам о деле, и к экономии времени, и к конечной цели, к которой ведет трата его. Контраст с тратой «заседательного» технического времени и такового же писательского потрясающ. Конечный вывод — от того, что в данный момент сидишь в данной точке на заданном стуле — толку от этого ни малейшего. И я перестал ходить на любые литературные заседания. Горький парадокс — все бесцельно заседающие люди в частном общении оказывались милыми, умными и знающими людьми. И в частном общении я много от них взял в качестве литературной школы.

2. Кстати о школе. Традицией русской литературы является традиция ученичества. Возьмем хотя бы пример А. М. Горького. Но кто из нынешних молодых может сказать: «Я ученик такого-то»? Я сплошь и рядом слышу, как молодые кинематографисты говорят с гордостью: «Я ученик такого-то и такого-то». Но я не слышал это от литераторов. Крупные наши писатели прочно замуровались в неких своих хуторах и лишь изредка «благословляют» кого-либо, кто понастырнее. Но школы, живой передачи опыта нет.

3. Но вот молодой литератор стал профессионалом, членом Союза писателей. Он должен достаточно много писать, чтобы жить. Запас юных впечатлений, приведший его благополучно в литературу, быстро иссякает. И ты сплошь и рядом видишь результат просто пугающий. Коллега и сверстник, за которым ты внимательно следишь, вдруг выдает сочинение, в котором учебная схема прорисована красным карандашом.

4. Идет большой социальный спрос на роман производственный, роман, допустим, о рабочем классе. Ты по-

лучаешь его в журнале и без труда можешь рассматривать его как злую и не очень умную пародию на производственный роман. Почему? Да потому, что нет уже знания предмета. В писательской поездке на завод или в парадном налете к нефтяникам производства ты не узнаешь. А пойти на производство работягой третьего разряда, приехать к нефтяникам не на обкомовской «Волге», а в кузове грузовичка, в рабочей одежке — уже нет смелости, уже возник жирок.

5. Ох эти печальной славы писательские десанты. Имя им — рутинность. Когда-то строителю первого Днепрогэса неграмотному мужику из деревни было важно увидеть живого писателя, поговорить. Но времена-то, времена-то так изменились. И не нужна нынешнему рабочему казенная говорильня под рубрикой «выступает писатель», ему хорошая книга нужна.

6. И возникает жирок. Мы приходим в литературу с яростью и светом в душе, но у нас нет умения. Мы изучаем редакционные коридоры, изучаем стиль длинных говорилен, приспосабливаемся к нерациональности литературного официального общения между собой и с читателями. Проходят годы. Число книг идет к десятку, есть некоторое литературное умение, ты профессионал, но где былая ярость и где былой свет? И лица ребят, с которыми вместе начинал, которых ты помнишь взъерошенных, нескладных, — лица их стали гладки, и, о боже, ты видишь, что они научились даже говорить — длинно, гладко, умно и бессодержательно.

7. И бесконечные: почему? Наверное, самой сильной литературой у нас является литература на военную тему. Запаса войны писателю хватает надолго. Лучшие литературные силы из моего поколения ушли в деревенскую тему. Почему? Не потому ли, что тридцати-сорокалетний профессиональный литератор каждое лето общается со своей бабкой Аришей, у которой снимает домик. И не от того ли подавляющая часть так называемой деревенской литературы все же выглядит подделкой под нее. Я с глубочайшим уважением отношусь к литературным фамилиям Василия Белова, Виктора Астафьева и покойного Шукшина Василия Макаровича. Но как всегда, как банальная истина: их литература — это просто хорошая литература без определения «деревенская».

Но ведь есть, кроме них, гигантский печатный поток деревенской темы. Утрирование деревенской речи, житейских коллизий, надуманные страсти. Знаете, что по-

трясает: как-то путешественник Арсеньев встретил гольда Дерсу. Образованный европеец столкнулся с человеком иного, своеобразного мира. Это естественно и это правда. Но я не могу понять и не могу принять, как молодое поколение литераторов описывает дни и заботы современной деревни, как Арсеньев писал о гольде Дерсу. Это о своих-то отцах?

Я родился в деревне и вырос в деревне, и мои родственники в вятской деревне. Я утверждаю, что деревня и деревенский житель неизмеримо сложнее, умнее, насмешливее, чем его полуанекдотический образ, ложный образ в потоке этих псевдокорней, псевдоистоков. Все это ложь. Я плоть от отца своего, и я не могу на него смотреть, как на гольда конца девятнадцатого века. И мне стыдно уподобляться тем, кто среди мебелей с тонкими ножками вешает лапотки как признание «истоков». Одно утешение — деревня без потока этих повестей прекрасно проживет. И черт с ним, что среди коллег-сверстников я считаюсь изгоем, ибо не желаю идти в потоке «нутряной темы». Я знаю, что такая тема есть в реальности. Но мне рано о ней писать, ибо для этого нужен не ум, а мудрость, не литературное умение, а горящее мастерство. И им, коллегам, которые «подкалывают» в статьях, — им тоже рано. Груз взят не по плечам. И почему, черт возьми, чем моднее квартира, чем дороже и стильнее мебеля́ — тем больше говорят об истоках? Я понимаю, когда барство рождается в снабженце, в чиновнике. Но когда оно в литераторе — этого я не понимаю.

Дай бог сил не жиреть, не учиться говорить складно и быть способным натянуть телогрейку и залезть в кузов грузовика, оставив писательские удостоверения дома. Я убежден, что средний талант, а он в обозримости нынешних дней у всех печатающихся не более чем средний, должен дополняться через испытание жизни на собственной шкуре. Если пишешь о буровиках — умей быть на буровой хотя бы подсобным рабочим.

8. И не стоит верить, что тебя «охватят» какой-то работой в Союзе писателей, направят на путь истинный. Тебя направят в «десант» или на выступление на заводе. Но это не литература, все эти казенные формы уводят, а не приближают. И не стоит верить, что бабка Ариша расскажет тебе всю мудрость жизни. Эту мудрость расскажут лишь мозоли, как у бабки Ариши на ладонях, и количество пота, пролитого ею. Не сдуру граф брался за ручки сохи. А мы все вовсе не графы.

КОММЕНТАРИИ

ПОВЕСТИ

Дом для бродяг. Написана в 1970 году. Впервые напечатана в журнале «Вокруг света» (1971, № 10, 11), с небольшими изменениями — в альманахе «Ветер странствий» (1973, вып. 8). Включена автором в сборник «Каждый день как последний», изданный посмертно («Молодая гвардия», 1976). Повесть документальна. В августе 1970 года О. Куваев в одиночку сплавлялся на лодке по реке Омолон — притоку Колымы. Протяженность маршрута — около 700 километров от поселка Омолон. Причину этого путешествия О. Куваев объяснил позднее, в ноябре 1974 года, читательнице Евтушенко: «Когда-то давно, в период полного душевного разлада и физического тоже, я навязчиво думал: «Ты, Олег, уже — все». Тогда собрал я в себе последний кисель и сплавился в одиночку по Омолону на долбленке. Это описано в повести «Дом для бродяг». Через 400 километров сего сплава я пришел к выводу: «Ты, Олег, еще ничего». Много что пришло в голову во время этого одинокого плавания, которое местные жители считали невозможным». В 1971 году О. Куваев предложил издательству «Современник» сборник под названием «Дом для бродяг», в котором объединяющим мотивом была мысль об извечном стремлении человека к странствиям, как выражение любви к природе и преодолению жизненных препятствий. В «Частном отступлении на тему этимологии слова «бродяга», предваряющем сборник, автор писал: «...Есть вечные категории. К этим вечным категориям я без колебания отношу склонность человека к странствиям. Не будем бояться слова «бродяга»... Пусть это будет авторская вольность, но можно истолковать слово «бродяга» как определение человека, который переходит «брод», бредет из последних сил, чтобы добраться до нужной цели... Странствия обогащают душу, лечат ее, если она больна, но они также ведут к печальному факту житейского краха, если человек шляется просто так или с мелкой целью рубля, тщеславием эгоизма, если он убегает, пытаясь убежать от себя, от действительности или ближних своих. Впрочем, это давно известная истина...» Редак-

ция предложила О. Куваеву поменять название повести и всей книги на «Дом для счастливых». О. Куваев отказался. Повесть не была включена в этот последний прижизненный сборник («Тройной полярный сюжет», 1973).

К вам и сразу обратно. Написана в 1971 году. Впервые напечатана в журнале «Сельская молодежь» (1972, № 2, 3). Вошла в книгу «Тройной полярный сюжет» («Современник», 1973).

РОМАНЫ

Территория. Первоначально: «Там, за холмами», «Серая река». Закончен в 1973 году. Впервые напечатан в журнале «Наш современник» (1974, № 4, 5). Отдельные главы из романа печатались в альманахе «На Севере Дальнем» (1973, № 1). Вышел в «Роман-газете» (1975, № 3(769)). Отдельной книгой впервые выпущен издательством «Современник» в 1975 году посмертно. Имел 15 переизданий на русском и языках народов СССР, а также издан на 15 зарубежных языках. В 1975 году О. Куваев написал радиопьесу «Территория», вошедшую в золотой фонд Всесоюзного радио. В 1974—1975 годах — киносценарий «Риск» по заказу «Мосфильма». Фильм «Территория» создан после смерти автора в 1979 году. Роман инсценирован для театра. «Территория» поставлена в драматических театрах Магадана, Петрозаводска (1976), Красноярска (1980). В московском театре «Современник» по мотивам романа шла пьеса «Риск» (1984).

Ранняя записная книжка автора свидетельствует, что первые заметки «к роману о золоте» появились в мае 1958 года на Чукотке, спустя пять месяцев после окончания Московского геологоразведочного института. Позднее записи в книжках относятся уже к обдумыванию плана, идеи, конфликтных линий романа. Он замышлялся как роман о молодых современниках. В 1962 году появилось и первое условное название — «Мы живем в краях отдаленных», и план, легший в основу будущего романа. В 1963 году пробует его писать, о чем сообщает в письмах к сестре: «Пишу роман. Пишется плохо. Хочу найти какую-то сдержанную форму, без всяких словесных выкрутасов, но в то же время свободную и емкую. Вот эти два рассказа («Где-то возле Гринвича» и «Чуть-чуть невеселый рассказ». — *Прим. Г. К.*) и явились как плод экспериментов в этом направлении» (июнь 1963 г.). «Единственное, что мне сейчас надо — это жить в какой-нибудь дыре, где меня почти никто не знает, и писать роман, который просится, и есть идея верная. Но пока я ничего не сделал, кроме трех вариантов начала, и ни черта не сделаю, если не сменю обста-

новку» (июнь 1964 г.). «Рвану в Темрюк. Буду купаться, загорать и писать роман, коронный свой номер, о котором думаю уже три года» (апрель 1965 г.).

Расставшись с профессией геолога в 1965 году и посвятив себя только литературе, О. Куваев начинает работать над новыми повестями и рассказами, но при этом не упускает из виду замысел романа. В мае 1967 года О. Куваев писал главному редактору Западно-Сибирского книжного издательства А. У. Китайнику (где готовилась к печати книга «Весенняя охота на гусей»), отвечая на его вопрос «Над чем Вы сейчас работаете?»: «Главное... это повесть об открытии чукотского золота... Собственно, речь-то не о золоте и не об истории, а о парнях, их судьбах и прочее. Произошла, или происходила, незаметная миру «чукотская революция» в конце пятидесятых и первых шестидесятых годах. ...Я обязап написать об этом хорошо».

Вплотную, только над романом начинает работать в 1971 году. Систематизирует имеющийся материал, освобождает время от всех «долгов и забот» для интенсивной работы над «золотом». О замысле и основных задачах работы над романом в январе 1971 года О. Куваев писал Г. Б. Жилинскому — одному из «основоположников чукотского золота», членкору АН Казахской ССР, лауреату Ленинской премии: «Темой этой я заинтересовался давно. У каждого литератора есть своя главная цель. Моей целью довольно давно уже было рассказать о ребятах редкой формации — геологах Чукотки... Это должен быть роман о сподвижниках геологии. Произведение сугубо литературное, но основанное на четкой документальной основе... Я свято верю, что открыватели Колымы и Чукотки были люди особой формации и именно они могут и должны служить примером для молодого поколения нашего времени... Так как законы литературы так же незыблемы, как законы науки, то вся история открытия должна быть как история столкновения характеров, обстоятельств и т. д. Но опять-таки первая моя профессия требует, чтобы тут как можно меньше было бы натяжек... Эпоха освоения Колымы и Чукотки, как всякая героическая эпоха, не должна пропадать в безвестности, люди, которые ее делали, — также». Через четыре месяца опять написал Жилинскому: «Главными в романе, конечно, являются морально-философские категории, которые автор пытается решить. В качестве «реактива» для проявления характеров и эпохи я выбрал историю чукотского золота». В июне 1971 года О. Куваев пишет Б. Г. Ильинскому, бывшему коллеге по экспедиционной работе: «Начал я работу над романом и убедился в собственной глупости, ничтожестве и малом уме. Головы не хватает. В общем-то, это нормальный ход событий, всегда так новую вещь начинаешь, в смятении и страхе. Но что-то на сей раз очень

уж... Эпоха одна у меня кончилась. Не пишу я больше этих повестушек, рассказиков этих. Все! Не могу больше. Или надо переходить на следующую ступень, или завязывать с этим делом... В Москве сейчас чрезвычайно трудно печататься. Во-первых, все главные редактора чем-то напуганы. Боятся они чего-то, и самое смешное, что неизвестно чего, это гораздо хуже, чем когда известно. Второе: все редакции завалены. Какой-то писательский зуд одолел вселенную. Третье: густо пошел сибиряк, и не какой-нибудь, а талантливые настоящие ребята — Распутин, Машкин, Потанин и... имя им легион. Короче: на элементарном владении словом сейчас не проскочишь. Нужны мысли, образы, идеи. И причем твои собственные... Это как раз тот случай, когда я не могу его не написать, пусть даже для сундука...»

Осенью этого же года в письмах к Ильинскому сообщает о дальнейшей работе над романом: «Хожу вокруг романа. Название нашел. Накатал первые сто страниц предварительного черновика романа. Плохо все это, но уже проблески надежды есть... А называется он «Там за холмами». Сто страниц текста, написанные кое-как, надо переносить на машинку, сделать это надо до 20 февраля и до... осени забыть. Ну а осенью сяду его ПИСАТЬ».

Весной 1972 года началась работа над вторым вариантом романа, которая закончилась летом. «Закончил второй вариант толстого романа. Этот вариант уже можно давать читать своим людям», — писал автор Вл. С. Курбатову — журналисту и товарищу с «певекских» времен.

Весной 1973 года был закончен третий вариант. В письме к главному редактору Магаданского книжного издательства Л. Н. Стебаковой писал в мае 1973 года: «У меня тут был весной шок. Закончил я третий вариант своего романа — читаю, нравится. Дал полежать дней пять, читаю — нравится. Я чуть не обалдел. Все, думаю... Крышка! Ну, теперь, слава богу, не нравится. Сюжета нету, да и герой не тот, не развит. Ну и так далее».

В мае 1973 года Куваев писал С. А. Гринь: «Значит, так: в журнале мой роман зарезали, в издательстве, судя по всему, тоже зарежут. Неважные дела. Одно утешает, что теперь я при деле. Перепишу его еще раз, так сказать, для себя. Думаю, что за май — июль я это сделаю... Ну а дальше будет видно... Так как в моей ситуации раскисать нельзя, то, высокомерно задрав вятский нос, гордо шлепаю вперед».

Началась работа над четвертым вариантом, который получил название «Серая река». Осенью 1973 года близилось окончание романа. В то время он писал Л. Н. Стебаковой: «Все вожусь с романом и никак все же не найду окончательного варианта. Переписал я его уже пять раз. Видно, еще раз перепишу до марта. Был расплывчат. Стал техничен, но сух... Ну и так далее... Ра-

ботай, значит». И в следующем письме: «Написал я нечто вроде сценария для трехтомной эпопеи. А требуется по замыслу не очень длинный и нервный современный роман. Вот в этом аспекте я его и переделываю. И сейчас в середине перекапывания вижу, что придется перепечатать и еще раз по нему пройтись для придания лоска — вот тогда уже будет кое-какой роман. Надеюсь в 74-м дать в журнале».

Тогда же появилось окончательное название — «Территория».

После сдачи рукописи в журнал «Наш современник» сообщил сестре Г. М. Куваевой в начале 1974 года: «Рецензии на роман (внутренние, редакционные) прямо неудобно читать. Утверждают, что я написал «Моби Дик» советского времени. Отдал также в «Роман-газету»... Полуторамиллионным-то тиражом...» После публикации романа в журнале и успеха его у автора не было полной удовлетворенности. В июне 1974 года написал Л. Н. Стебаковой: «Жизнь какая-то неопределенная. Тут еще с неделю в «знаменитостях» ходил, что тоже порядка в жизни не прибавляет. Ну сейчас волна этой славы схлынула, осталась лишь пена. Где-то статьи про меня строчат... Сценарий по роману идет туго — надоели мне эти фамилии и этот текст — ведь его шесть раз переписывал... Еще бы раз пять переписать, получился бы неплохой роман. Но в наш торопливый век...» Книжный вариант в том же году был сдан в издательство «Современник».

Впервые настоящая оценка роману «Территория» прозвучала на пленуме правления Союза писателей РСФСР в 1974 году в докладе Юрия Бондарева, посвященном проблемам развития русской советской прозы. Роман Олега Куваева был назван явлением нашей литературы, от романа, было сказано, веет «апрельской свежестью». Ему прислали письма Леонид Леонов и Борис Полевой.

8 апреля 1975 года О. М. Куваев внезапно скончался. А осенью 1975 года роман «Территория» вышел отдельной книгой.

В 1976 году роман был удостоен премии имени Магаданского комсомола. В 1977 году роман О. Куваева «Территория» получил первую премию на Всесоюзном конкурсе ВЦСПС и СП СССР на лучшее произведение о рабочем классе.

Правила бегства. В периодической печати не публиковался. Впервые издан в 1980 году посмертно Магаданским книжным издательством. В центральном издательстве выходит впервые. Издавался за рубежом на финском, чешском, словацком, болгарском языках. Замысел возник в 1972 году во время работы над романом «Территория». Первоначально он сводился к продолжению и развитию темы повестей «Весенняя охота на гусей» и «К вам и сразу обратно». С началом работы замысел усложнился. В письме

к Б. Г. Ильинскому в январе 1973 года Куваев писал: «Твоя идея насчет двух приятелей, из которых один [идет] вверх, второй по плоскости с уклоном — весьма мне близка и понятна. Примерно такова тема «мово второго романа», на который пока копятся разные заметочки. Но у меня клон не на того, который вверх, а на второго. Условное его название «Отставший». Сугубо так, для себя. Отстал вон в гонке — квартиру не ухватил, дубленку не носит, пыжиковую шапку «забыл» купить, и выяснилось вдруг, что крепко отстал, не догонишь... Тогда он вбок, и в конечном счете оказывается на реке Омолон в охотничьей избушке. Лет ему уже пятьдесят, мир убежал вперед... И он, с одной стороны, все понял, а с другой понял главную истину, что ничего понять до конца нельзя ни раньше, ни теперь, ни потом. Так примерно. Всякое бегство есть не более как попытка убежать от себя, и всякая гонка вперед не более как жалкая и никчемная попытка догнать выдуманного себя».

После огромного успеха романа «Территория» О. Куваев, по его собственным словам, попал «в популярку». Ему было предложено морское путешествие на паруснике «Крузенштерн», который должен был отправиться из Риги в Атлантику. Однако по неизвестным причинам это путешествие для него не состоялось. Олег Михайлович уехал в Переславль-Залесский и там написал первые главы нового романа «Правила бегства». В августе 1974 года он писал сестре: «Во всякой медали своя оборотная сторона. Не попал я в Копенгаген, но зато пошел роман. Сделал самое трудное — написал начало и теперь знаю, о чем речь. Действующие лица ясны. Написав первую четверть черновика, немного успокоился... Второй этот роман гораздо труднее — материал менее выигрышный, и мысли в нем больше. На легком таланте тут не проскочишь, но силу в себе чувствую очень большую и, думаю, справлюсь».

«...Смысл романа в эпиграфе, — объяснял свою задачу Куваев позднее. — Эти слова сказал когда-то древний мудрец Гиллель (?)... «Если не я за себя, то кто за меня? Если я только за себя — к чему я?..»

Эту цитату «подкинул» О. Куваеву его товарищ, геолог И. Г. Шабарин. «Я не могу отделаться от обаяния этих слов, — писал ему Куваев: — «Если я для всех, то кто для меня? Если я для себя, то зачем я?» Я, вишь ли, новый роман начал. «Правила бегства». О бичах. И эту фразу поставлю эпиграфом. Правильно ли я ее написал и чья она все-таки, какой народ или личность — автор ее?.. Слова эти обязывают и вдохновляют, если они есть на титульном листе, для меня они вроде камертона, по которому надо все проверять...»

И позднее ему же: «...Сижу за романом, и, кажется, подарен-

ная тобой цитата уже изживает себя. Это радостно. Ибо, когда вещь, которая когда-то тебя потрясла, начинает изживать, значит, развитие идет, она свое отдала и все идет путем. Когда изживет себя и название «Правила бегства», тогда можно говорить о том, что первый черновик романа есть.

...Эх, как нужны мне сейчас бичи, знал бы ты. Биографии и четкие слова, которые бичи умеют говорить. Роман-то, к счастью, получается о бичах как социальном явлении и об отношении к ним общества и личности. Понимаешь, отношение государства к бичам — одно, и оно правомерно во все времена, при всех формациях. Но ты — личность, и твое отношение к ним измеряется мерой души...»

Судя по всему, для Куваева вопросы нравственного порядка становятся центральными, отправными. Но писателя не только занимают трудные судьбы людей, которых он наблюдал в повседневной жизни Севера, его прежде всего заботит, как сделать, чтобы, возвращая «заблудшие души в русло общей жизни», не ломать, не уродовать при этом «внутреннего человека», саму его природу.

В конце 1974 года Куваев пишет И. Шабарину: «...Я сделал первую часть «Правил бегства». Черновик, разумеется. Будет еще одна такая по объему часть. И, боже мой, боже мой, каково необъятное море передо мной раскрылось. Необъятное море работы. Ошибку поспешности, допущенную с «Территорией», повторять нельзя. В одном повезло — удачно сложилась концепция. Треугольник: отщепенец — люди, желающие ему помочь, — государство. И у каждой стороны этого треугольника свой рок, своя железная и безжалостная поступь судьбы».

И позднее: «...пришло письмо с анамнезами бичей. Спасибо. Зол ты на них, друже, хотя во многом прав, и твои выводы «бич как явление» полностью совпадают с моими. Сюсюкать-то тут что? Зачем? Но некто А. М. Горький создал классическую литературу о бичах-босяках. Вот и я хочу сделать нечто подобное в новых социальных условиях на фоне лозунга: «Все для тебя, дорогой гражданин, только стой в строю, не выбивайся вбок». Они меня интересуют как люди, выбившиеся вбок. Почему? Как? Одним алкоголизмом это не объяснить. Ибо каждый бич алкоголик, но не каждый алкоголик — бич...»

О том, что значил для О. Куваева этот его последний (ставший для него последним) роман, что хотел он в нем высказать, донести до читателя, лучше всего говорит его письмо к Б. Ильинскому в конце ноября 1974 года:

«...Одна моя ночная и вечная подсознательная мечта: успеть. Два романа: «Правила бегства» и «Последний охотник»... Чувствую силу я в себе. «Территория» — это ведь так, разминка. И Островского 70-х из меня не будет. Ибо, помимо стальных нер-

вов и челюстей, помимо простых, как инстинкт, знаний Чести, Долга, помимо этого, о чем я писал в «Территории», валяются по магаданским подвалам, в Сеймчанском аэропорту, в общественных туалетах сотни бичей. А они — люди. И на 99% — талантливые и высокоорганизованные натуры, поэтому они в бичах. Доктор их не излечит. Дубинка по голове также. Что их излечит? Моя книга их не излечит, ибо они ее не прочтут. Но я хочу напомнить о том, что они есть, что они люди, и может, иной интеллигент возьмет и пригреет около себя иного забулдыгу. Но смысл, конечно, шире. Смысл в том: опомнитесь, граждане, и усвойте истину, что человек в рванине и с флаконом одеколона в кармане столь же человек, как и квадратная морда в ратиновом пальто, брезгливо его обходящая. Этому учил Христос. Этому, если угодно, учил В. И. Ленин. И пусть исполнятся слова: «Кто был никем, тот станет всем». Вспомните гимн, бывший гимн государства, граждане с квартирами и пóльтами. Вот смысл и цель моей работы сейчас. За что я любил и люблю Николая Островского и преклоняюсь перед его книгой — это за то, что он имел Веру и ради этой Веры готов был быть нищ, гол, вшив и болен. Это, Боря, достойно Уважения, что бы там ни блекотали по мансардам шизофреничкн с сигаретами и новоявленные пророки, у которых есть только слово: «Нет!» Но нет слов: «Я дам вам Истину».

В январе 1975 года Куваев писал сестре: «Черновик романа «Правила бегства» у меня подваливает к концу, но работы с ним еще год-полтора, ибо что-то он стал расплываться... и вообще неизвестно зачем. Надо где-то выбрать пару месяцев сосредоточенной работы только над романом. Тогда уже все будет яснее. Поработал-то я крепко». А уже в марте 1975 года Олег Михайлович писал редактору Троепольскому: «...Только что закончил черновой вариант романа...» В конце марта (24-го или 25-го) он сообщил сестре: «Сегодня поставил последнюю точку...» Галина Михайловна попросила дать роман ей прочитать. «Лучше месяца через два-три. Надо еще поработать», — ответил Олег. Оставалась работа, которую он любил больше всего, — работа по готовому тексту. 8 апреля 1975 года Олег Михайлович Куваев внезапно скончался.

При издании Магаданским книжным издательством текст романа был несколько сокращен и не везде корректно поправлен. В настоящем издании текст восстановлен по рукописи. Концовка романа — «Приложение № 3» дается из рукописных авторских набросков.

О так называемом «молодом писателе». Наброски — тезисы к выступлению написаны в 1974 году. Напечатано в сокращенном виде в газете «Литературная Россия» (1986, № 11, 14 марта).

Г. М. КУВАЕВА

СОДЕРЖАНИЕ

Куваев О. М.

К 88 Избранные произведения: В 2-х т. Т. 2. Коммент. Г. М. Куваевой. — М.: Мол. гвардия, 1988. — 494[2] с.

ISBN 5-235-00139-7 (т. 2). (2-й з-д).
ISBN 5-235-00138-9

Во второй том Избранного известного советского писателя Олега Куваева вошли повести, написанные в 70-х годах: «Дом для бродяг», «К вам и сразу обратно», роман «Территория», получивший широкое общественное признание, и последнее произведение О. М. Куваева, законченное им незадолго до смерти, — роман «Правила бегства».

К $\frac{4702010200-192}{078(02)-88}$ 103—88 ББК 84Р7

ИБ № 5584

Олег Михайлович Куваев

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ. Т. 2

Заведующий редакцией **В. Перегудов**
Редактор **Г Кострова**
Художественный редактор **А. Романова**
Технический редактор **Е. Михалева**
Корректор **И. Ларина**

Сдано в набор 01.10.88. Подписано в печать 10.05.88. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1 Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая Усл печ л 26,04. Усл кр.-отт 26,04. Учетно-изд. л. 27,9 Тираж 100 000 экз. (50 001—100 000 экз.). Цена 2 р. 10 к. Заказ 1940.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО 103030 Москва Сущевская. 21.

ISBN 5-235-00139-7 (т. 2). (2-й з-д.).
ISBN 5-235-00138-9

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ